СОДЕРЖАНИЕ

Статьи

Доклады в обществе

Преподавание истории

Критика и библиография

КРИТИЧЕСКИЕ СТАТЬИ

ОБЗОРЫ

ЖУРНАЛЬНЫЕ ОБЗОРЫ.

РЕЦЕНЗИИ

Хроника

М. Н. Покровский

Чернышевский и крестьянское движение конца 1850-х годов[1]

Эпоха, когда выступил Чернышевский, как революционер, носит у нас,—носила по крайней мере, теперь к счастью уже не носит,—название «эпохи великих реформ». Наши буржуазные историки так густо замазывали всякими реформами этот период, который Ленин приводил, как один из примеров революционной ситуации, так густо замазывали этот период всякими реформами, что приходится производить над этой эпохой работу, аналогичную работе реставраторов старых картин, когда, снимая слой за слоем то, что было намазано, иногда открывают не только новые краски и новый рисунок, но и совершенно новый сюжет, не тот, который был первоначально изображен на картине. Операция, которую буржуазные историки произвели над эпохой Чернышевского, в достаточной мере достопримечательна, и 10 минут стоит об этом поговорить.

Если вы возьмете даже самые левые, наиболее добросовестные изображения этой эпохи, ну, скажем, изображение, которое дал Вас. Ив. Семевский, вы увидите, с одной стороны, работу царских канцелярий,—«делопроизводителей», как называл их иронически Чернышевский в одном выкинутом отрывке своей знаменитой статьи «Материалы для решения крестьянского вопроса». Работа этих «делопроизводителей» освещается необычайно тщательно и о всякой, даже маленькой, контраверзе в редакционных комиссиях все знают, иногда даже знают читатели учебников. С другой стороны, чрезвычайно подробно передавалась вся та либеральная болтовня, которая шла по поводу этих проектов. Следовательно, с одной стороны—проекты, с другой стороны—либеральная болтовня. А что делали массы? Массы якобы ничего не делали. Они смирнехонько дожидались пока царь, с одной стороны, уважаемые либералы, с другой стороны, поднесут им на блюдечке волю. А воля, как вы знаете, была такая маленькая, что поднести ее можно было на блюдечке очень маленьком, можно было ее поднести на блюдечке для варенья. Вот как собственно представляется дело. Буквально так, товарищи. Буквально так! Даже в самом добросовестном изображении

---

[1] В основу этой статьи легло «вступительное слово», произнесенное ее автором на торжественном заседании по случаю столетия со дня рождения Н. Г. Чернышевского. Этим об'ясняются некоторые внешние особенности статьи: обращения и т. п. Но «вступительное слово» значительно дополнено фактическим материалом (цитаты и т. д.).

крестьянской реформы, которое мы имеем от буржуазного периода, у В. И. Семевского, мы встречаем только одно упоминание о том, что были крестьянские волнения в это время, не в 1861 году, не после манифеста—тут были такого размера волнения, что их скрыть было нельзя, а вот в предыдущий период, после того, как царь выпустил свои рескрипты, и до того момента, когда был опубликован манифест 19 февраля, в эти три года—1858—59—60, крестьяне якобы сидели смирно. Первые четыре месяца 1858 года, говорит Семевский, крестьяне волновались, до того момента, когда в «Губернских Ведомостях» были опубликованы рескрипты, значит, волновались крестьяне только потому, что они настоящего царского слова не знали и не видали, а когда они царские слова увидели, прочитав в «Губернских Ведомостях» рескрипты, то волнения прекратились. При этом тонкий намек на то, что эти волнения едва ли не муссировались крепостниками, которые хотели запугать «доброго» царя Александра Николаевича, хотевшего освободить крестьян. Вот как изображал дело самый левый и самый добросовестный из буржуазных историков. Что же говорить об остальных, ну, скажем, о профессоре Иванюкове, который списал добрую половину своей книги из самой древней истории крестьянской реформы, вышедшей в 1863 г. из под пера одного левого бюрократа, довольно ярко освещавшего некоторые эпизоды канцелярской борьбы и некоторых ее героев—оттого книга и могла выйти в 1863 г. только в Берлине. При этом случилась такая вещь, что писал-то эти страницы некий левый бюрократ, а защищал диссертацию и получил научную степень доктора Иванюков. Но это—уже из области наших старых академических нравов, на этом я сейчас останавливаться не буду.

Что же действительно происходило в деревне? О том, что происходило действительно в деревне, об этом не писали буржуазные историки, об этом не мог писать и Чернышевский, поскольку он был скован требованиями царской цензуры. Он повторяет в той статье, которую я уже цитировал, официальную ложь, будто крестьяне были совершенно спокойны. Тут надо иметь в виду, что названная статья Чернышевского («Материалы» и т. д.) является великолепным, изумительным образчиком военной маскировки. Статья, по существу, представляет собою прямую угрозу помещикам—и весьма обстоятельное изложение лозунгов крестьянского движения, о котором Чернышевский, разумеется, прекрасно знал. Чтобы провести через цензуру такую вещь, статья была уснащена бесконечным множеством благонамеренных словес и коплиментов дворянству. Можно себе представить, какая саркастическая улыбка играла на губах Николая Гавриловича, когда он выписывал все это! Крестьяне должны были быть спокойны, это была часть той инсценировки, которая была поставлена перед 1861 годом. Но в деревне были наблюдатели, не связанные цензурой, потому что они были сами цензурой, наблюдатели зоркие и деловые. Это были люди, которые нам уже много доставили ценного исторического материала, это были жандармы. И вот, когда вы читаете архив III отделения собственной его величества канцелярии, то тогда вы начинаете понимать, какое тогда в деревне было действительно идиллическое спокойствие.

Вот отрывок из доклада шефа жандармов царю за 1858 год. «Некоторые дворяне... выходили из пределов осторожности, требуемой нынешними обстоятельствами. Одни переносили крестьянские усадьбы на новые места или переменяли у них земельные участки; иные переселяли крестьян в другие свои имения, уступали их степным помещикам не только за бесценок, но и даром; третьи—отпускали крестьян на волю, без земли и вопреки их желанию, сдавали их в рекруты в зачет будущих наборов, отправляли в Сибирь на поселение; одним словом, вообще, употребляли разные средства, чтобы избавиться от излишнего числа людей и чтобы сколь возможно меньшее число их наделять землею. За сим некоторые, но весьма немногие помещики, не изменяя прежнего управления, своими несправедливыми и суровыми поступками выводили крестьян из терпения.—Крестьяне с своей стороны, при ожидании переворота в их судьбе, находятся в напряженном состоянии и могут легко раздражиться от какого-либо внешнего повода. У них, как выражаются помещики, руки опустились и они не хотят ни за что приниматься с усердием. Многие понимают свободу в смысле вольницы, *некоторые думают, что земля столько же принадлежит им, сколько помещикам*; еще же более убеждены, что им принадлежат дома и усадьбы. Как помещики, страшась чересполосицы и не желая иметь соседями крестьян-домовладельцев, более всего возражают против уступки им усадеб, так и крестьяне не могут понять, почему они должны будут выкупать усадьбы, которые ими обстроены и в которых жили отцы и деды их. Беспорядки, наиболее теперь случающиеся, состоят в том, что крепостные люди или уклоняются от платежа оброка и от других повинностей или оказывают неповиновение старостам и самим владельцам. *Волнения целых деревень, требовавшие личного действия высших губернских властей или пособия воинских команд*, происходили там, где помещики в распоряжениях своих не сообразовались с настоящим духом времени или где являлись подстрекатели. Такие волнения более или менее важные проявлялись в продолжение года в *25 губерниях. Хотя случаев неповиновения было в сложности довольно много*, но в обширной империи они почти незаметны. Если же взять во внимание покорность крестьян в большей части помещичьих имений, то можно сказать, что общее спокойствие сохранено *и что беспорядков доселе происходило несравненно менее, чем ожидали и предсказывали*».

Приходилось радоваться, что не разразилось общего бунта! Как только появились царские рескрипты, в деревне разгорелась такая классовая борьба, какой не было раньше, и это совершенно понятно, потому что теперь дело было уже у самого порога. С одной стороны, помещики начали грабить крестьян, совершенно безудержно грабить, иногда в буквальном смысле слова. Пользуясь тем, что крепостные не имели права собственности, не могли покупать землю на свое имя, помещик отбирал землю, заведомо купленную крестьянином. Вся губерния знала, что земля куплена крестьянином, а помещик говорил: за кем записана? за мной, значит моя, давай сюда. Гофмаршал князь Кочубей, потомок одного из либеральных «друзей»

Александра I, пытался оттягать у своих мужиков 10.000 десятин земли, купленной когда-то на имя его бабушки. Меня, говорит, в то время и на свете не было—да и у нашего управляющего в те года доверенность была не в порядке. Тайный советник Шереметев держал своих уфимских крестьян по ревизским сказкам в Нижегородской губернии. Крестьяне были промышленники, кожевники—быстро богатели. Как только разбогатеет мужичок, Шереметев его сейчас и требует—на «место жительства» (т. е. в Нижегородскую губернию). Тому разорение, он мечется—но ничего не поделаешь: «закон». И приходится половину своих накоплений отдать барину. Так крестьяне торговали кожей башкирских лошадей и коров, а Шереметев драл кожу с самих крестьян. Видя, что подходит реформа, Шереметев решил розничные операции заменить одной оптовой—и потребовал со всей деревни, чохом, 130 тыс. рублей (позже спустил до 100 тысяч). Отсюда, конечно, «беспорядки».

Чаще просто сгоняли со старых наделов. Это вздор, будто отрезки вышли из каких-то петербургских канцелярий. Отрезки начались в жизни помещичьих имений гораздо раньше, чем высказалась первая канцелярия. Канцелярия только, как следовало ожидать, регистрировала то, что проделывали помещики в деревне. Огромное большинство «беспорядков», упоминаемых в жандармских бумагах, вызваны перенесением усадеб на другое место—не даром Чернышевский именно этому перенесению усадеб отводит столько места в своей статье.

Еще более интересна такая вещь,—особенно для тех, кто привык думать, что наше крестьянское движение было совершенно бессмысленным, «стихийным». Шла отчаянная борьба из-за сельских властей к моменту реформы. Крестьяне желали иметь своих бурмистров и своих старост, которые представляли бы и защищали бы их интересы, а помещик желал, чтобы оставались его старые сторожевые псы, которых он поставил в крепостное время. На этой почве происходило бесконечное количество трагедий, происходило бесконечное количество столкновений, которые усмиряются только при помощи военных экзекуций,—войска пускаются в ход на каждом шагу,— только при помощи жестокой порки. И опять мы встречаем одно из самых аристократических имен, владельца огромных вотчин в Тверской губернии, генерал-ад'ютанта Зиновьева. Тут жандармские бумаги начинают казаться выписками из «Пошехонской Старины» Салтыкова. Зиновьев пишет усмирявшему жандарму: «Вы принимали самое деятельное и благотворное участие в прекращении беспорядков, возникших в имении моем, Тверской губернии в Бежецком уезде.—Благодаря твердым и вместе с тем **кротким, христианским мерам** Вами принятым, порядок был восстановлен быстро и я уверен, на прочном основании.—Вменяю себе в обязанность искреннейше благодарить Вас за труды, Вами при этом понесенные.—В заключение долгом считаю сообщить Вам, что я имел случай о полезном содействии Вашем в настоящем деле донести до высочайшего сведения государя императора, и что его величество изволил при этом отозваться, что отлично-усердная служба Ваша уже давно известна его величеству». А губернское правление—естественный конкурент жандармов—на основа-

нии произведенного им следствия писало конфиденциально в Петербург о «кротких и христианских мерах» следующее: «Подполковник Симановский, по сообщенным, частным образом, сведениям, прибыв в имение, послал священников уговаривать народ, чтобы повиновался. Крестьяне с изумлением спрашивали: в чем же и когда было наше неповиновение? Затем жандармский штаб-офицер требовал к себе по 10—20 человек и заставлял их подписать бумагу, что теперешнего бурмистра, на которого они жаловались и просили сменить, будут держать бурмистром. О жалобах крестьян на бурмистра не было и помину. Для подписки первые были потребованы несколько человек с деревни Ильинска, а из них первый должен был подписаться Трофим, старик от 50 до 60 лет. На слова штаб-офицера: подписывай, что теперешнего бурмистра будете держать бурмистром, Трофим отвечал: «это дело мирское, я не могу один без мира» (бурмистры в этом поместьи испокон веку, говорят крестьяне, избирались миром и потом утверждались помещиком). С этим словом штаб-офицер стал бить Трофима по лицу, топал ногами, а потом велел сечь. Трофим только кричал: подпишусь, на что хотите подпишусь. Крестьянина этого вынесли почти без чувств; священник причащал его. Видели Трофима на третий день после наказания: вся голова была избита; на лице синие пятна; спина темномалиновая; он лежал спиной кверху, держась руками за живот, и беспрестанно повторял: ах, батюшки, перерезали. Вслед за Трофимом должен был подписаться Андрей Гордеев. Он сказал: дай бумагу, мы ее на миру прочтем. Опять собственноручные побои; вся борода осталась в руках штаб-офицера. Крестьяне рассказывают, что он многих истязал так; ведь все в лицо, да за бороду норовит; пред ним на колена: за что истязуешь? а он кляпкой в лицо. Зачинщиками выставлено до 5 крестьян и писарь, которых назначено предать суду; а остальные человек 20, вовлеченные в дело, подвергнуты наказанию розгами административным порядком. Высекли большею частью тех, которые жаловались на бурмистра. Секли жестоко: у Филиппова на третий день после наказания вынимали сучья из тела».

В 1860 г., по одним официальным данным, было запорото на смерть 65 крестьян. По одним официальным данным, а вы догадываетесь, что едва ли один из десяти случаев попадал в официальную сферу, остальные девять десятых остались в домашнем быту. Это было в 1860 г. Не думайте, что это запарывали людей на смерть во времена царицы Екатерины, запарывали Простаковы, Скотинины. Это было в 1860 г., когда был налицо весь Пушкин, когда был налицо весь Лермонтов, был налицо весь Гоголь, был написан «Рудин» Тургенева, было написано «Утро помещика» Льва Толстого,—в это время запарывали на смерть людей в деревне. Вот каким сильным зверем было крепостное право даже накануне своего падения. Оно было отнюдь не беззубым зверем, не старым облезлым львом, у которого шкура наполовину слезла. Это был довольно таки смелый и сильный хищник, и недаром он так себя показал потом в 1905 г.

Так вот, товарищи, в какой обстановке происходила ожесточенная борьба между крестьянами и помещиками из-за выборов сельских властей. Вот вам другой момент.

Но этим то интересное, что имеется в жандармском архиве, не ограничивается. Пока мы видим еще старый трафарет борьбы помещиков с крестьянами, и дальше как-будто крестьяне не идут. Но вчитайтесь в донесения. Для усмирения крепостных иногда «имеют неосторожность» вызывать казенных крестьян и удельных и что же оказывается? Моментально устанавливается общий фронт между крестьянами удельными и казенными и крепостными, и жандармы настоятельно начинают рекомендовать не употреблять этого опасного приема, не вызывать для усмирения государственных и удельных крестьян. Мало того, очень часто агитаторами среди крепостных оказываются именно государственные крестьяне, менее задавленные рабством, более привычные к свободному обращению, нежели крепостные.

Вот что писал саратовский жандарм (уже в июне 1860 года) своему начальству—охарактеризовав сначала воззрения саратовских помещиков на крестьянский вопрос: «Гораздо более единодушия в действиях и логичности в суждениях по крестьянскому делу встречается между крепостным сельским населением; не вдаваясь ни в какие предположения, оно не изменяет уже раз составленному себе понятию относительно своего освобождения; и понимая слово освобождение чисто в буквальном смысле, остается покуда спокойным, несмотря на часто весьма несправедливые поступки своих помещиков, в твердом убеждении, что в скором времени с совершенным освобождением, произвол их помещиков прекратится сам собою, и они получат полную самостоятельность. Останется ли сельское население спокойным впоследствии, когда преувеличенные их надежды не осуществятся?—составляет уже совершенно другой вопрос, который может разрешить одно только время. Замечательно, что с некоторого времени сословие государственных крестьян начинает принимать участие в крестьянском деле; по частным сообщенным мне сведениям, государственные крестьяне с. Большая Сердоба Петровского уезда имели намерение внушить соседним с ними помещичьим крестьянам, что так как они скоро будут свободными, то могут освободить себя от излишнего повиновения своим помещикам и не платить оброка. Хотя попытка эта не имела решительно никаких последствий и не была приведена в действие, но обстоятельство это заслуживает отчасти внимания в том отношении, что служит новым доказательством в необходимости для общего спокойствия и успокоения взволнованных умов, поспешить окончательным разрешением крестьянского вопроса, чего с увеличивающимся нетерпением ожидают вообще все сословия не исключая самих дворян». А рядом с государственными крестьянами мы встречаем и мелкую городскую буржуазию, мелких чиновников, студентов, и даже мелкопоместных помещиков, совсем, как в пугачевские времена. Таким образом, вовсе не одни крепостные бунтуют против помещиков, а против крепостнического государства выступает сплошной шеренгой весь крестьянский строй.

Я вам уже сказал, что для усмирения бунтовавших и ограбленных предварительно крестьян вызывались войска. Иногда «имели неосторожность» расквартировывать солдат в крестьянских избах. Жандармы очень предостерегают против такой «неосторожности», ибо моментально устанавливается

контакт между крестьянином, одетым в мундир, и крестьянином в зипуне, и крестьянин, одетый в мундир, тоже человек более бывалый, начинает учить крестьян как им действовать. Солдаты начинают учить крестьян, как им себя вести. Для того, чтобы это вредное явление предотвратить, приходится избегать размещать солдат в крестьянских избах, а размещать их в пустом здании фабрики и т. п., строго следя, чтобы не было никакого соприкосновения между крестьянами и их будущими усмирителями. Но среди крестьянской массы были не только солдаты, посланные на экзекуции, но были солдаты отпускники и эти отпускники во главе с унтер-офицерами, иногда гвардийских полков—Павловского, Измайловского и т. д. всюду оказывались вождями крестьянского движения. Всюду они идут впереди.

Надо к этому прибавить, что на те же самые годы падает совершенно проглоченное, сжеванное нашей буржуазной историографией громадное движение крестьян против откупов, охватившее целый ряд губерний. Об этом движении упоминает Чернышевский, но как глухо до легальной печати, через сколько подушек доходит это упоминание! У него есть статья «Вредная добродетель», где он говорит о сговоре ковенских крестьян не пить водку. Вот что осталось от этого движения. Приведем и его характеристику по донесениями III Отделения. «В течение 1859 года случилось у нас событие совершенно неожиданное. Жители низших сословий, которые, прежде казалось, не могут существовать без вина, начали добровольно воздерживаться от употребления крепких напитков. Это проявилось еще в 1858 году в Ковенской губернии, под влиянием римско-католического духовенства, которое, с разрешения епархиального начальства, в церквах приглашало народ присоединиться к братству трезвости, установленному Папою Пием IX, с обещанием за то его благословения и отпущения грехов. Проповеди сии имели такой успех, что до февраля 1859 года почти вся Ковенская, а вскоре и более половины населения Виленской и Гродненской губерний, принадлежали к братству трезвости. В то же время подобное стремление возникло в Приволжском крае. Возвышение новым откупом цен на вино, весьма дурное его качество и увеличение дороговизны на все вообще предметы, привели крестьян к решимости отказаться от употребления вина, если не навсегда, то по крайней мере временно. Это началось в Саратовской и вслед затем зароки повторились в Рязанской, Тульской и Калужской губерниях, крестьяне на мирских сходках добровольно отрекались от вина, целыми обществами составляли о своих обетах письменные условия, с назначением денежных штрафов и телесных наказаний тем, которые изменят этому соглашению, и торжественно, с молебствиями, приступали к исполнению условий. Этим примерам последовали в скором времени жители разных местностей Самарской, Орловской, Владимирской, Московской, Костромской, Ярославской, Тверской, Новгородской, а также Воронежской, Курской, Харьковской и других губерний.

Содержатели откупов всемерно старались отклонить крестьян от трезвости: угрожали взысканием правительства за уменьшение питейных доходов, понижали цены на вино, даже предлагали оное в некоторых местах безвозмездно. Но крестьяне твердо хранили свои обеты и только в двух случаях отступили от своих намерений: 1) в Сердоб-

ском уезде, Саратовской губернии, откупщик об'явил, что цена водки возвышена для того, чтобы уделять по 1 рублю с ведра на их выкуп, и это удержало крестьян от составления условий о трезвости; 2) Московской губернии, в Серпуховском уезде, содержатель откупа заплатил за жителей села Дракина недоимки 85 рублей и также успел от зарока их отклонить. Правительство признало нужным при таковых обстоятельствах обратить внимание только на самовольные поступки ревнителей трезвости, которые принуждали других к воздержанию штрафами и взысканиями, а потому местным начальством было предписано не допускать произвольного составления жителями каких-либо обществ и письменных условий, а также самоуправных наказаний... С другой стороны, содержатели питейных откупов, пользуясь правом продажи улучшенного вина по возвышенным, вольным ценам, отпускали потребителям только это вино, отказывая в полугаре, который они обязаны продавать по 3 р. сер. за ведро. Таким образом, дороговизна вина и дурное его качество возбудили в народе, кроме обетов трезвости, общее неудовольствие. Еще в феврале месяце возник в С. Петербурге слух о намерении крестьян разбивать питейные дома. Этот слух не имел последствий, но тогда же здесь произведено было дознание, которым подтвердилось, что полугара в продаже не было, а равно, что вино отпускалось по ценам возвышенным и не полною мерою. По высочайшему повелению, об этом было пред'явлено Совету гг. министров и сообщено министру финансов, для общего соображения, вследствие чего министр сделал распоряжение о внушении откупщикам, чтобы они непременно отпускали полугарное вино по надлежащей цене. Сообразно с этим были даны предписания по ведомствам министерства внутренних дел и государственных имуществ. Крестьяне, узнав о таковом распоряжении, начали толковать об указе против откупа и требовать из питейных заведений дешевого вина, а отказ в том был поводом к буйному самоуправству народа. Первое волнение обнаружилось 20 мая Пензенской губернии, в г. Наровчате, где во время базара толпа угрожала разбить питейные дома. Хотя наиболее виновные были немедленно арестованы, но беспорядок не прекратился и в течение трех недель разграблено в семи уездах той же губернии более 50-ти питейных домов. При этом местные начальники и сельские старшины были оскорбляемы, подвергались побоям и даже смертным угрозам; в селе Иссе ранен офицер, а в городе Троицке толпа, с кольями, напала на прибывшую воинскую команду. В то же время, Московской губернии, в Волоколамском уезде крестьяне, собравшиеся на ярмарку, близ Иосифова монастыря, разграбили три питейных дома, а вслед за тем местные жители разбили такие же дома в семи селениях Волоколамского и Богородского уездов. Слухи об этих событиях, переходя из одного места в другое, произвели подобные беспорядки в Тамбовской, потом в Саратовской, Самарской, Симбирской, Тверской, Оренбургской и Казанской, наконец, во Владимирской, Смоленской и Вятской губерниях. Замечено, что в Самарской губернии грабежи произведены из одних только корыстных видов, а в Вятской, по ограблении питей-

ного дома в селе Петровском, опились до смерти 8 человек. Буйства эти происходили большею частью при сборищах крестьян на ярмарки и на базары, сопровождались нанесением побоев служителям откупов, сельским старшинам и в некоторых местах чиновникам земской полиции, из которых одного крестьяне ранили, а двух покушались убить. В Самарской губернии староста села Тирша от полученных побоев умер. В городе Вольске крестьяне избили нижних чинов, переломали их оружие и ранили городничего. В городе Бугуруслане толпа смяла призванную команду казаков. Во многих местах, для укрощения буйства было употреблено содействие воинских команд, а по губерниям Пензенской, Тамбовской, Саратовской и Самарской был командирован штаб- и оберофицеры корпуса жандармов, с частью нижних чинов. По высочайшему повелению в Пензенскую губернию, для принятия более деятельных мер к прекращению беспорядков, был отправлен генерал-ад'ютант Яфимович; по Тамбовской губернии восстановление спокойствия было возложено на генерал-ад'ютанта Толстого; в Самарскую послан был генерал-лейтенант Ладыженский с жандармским офицером и двумя сотнями казаков. Сверх того, в Пензенской губернии содействовал прекращению беспорядков ревизовавший означенную губернию сенатор Сафонов. Распоряжениями этих лиц, и по другим губерниям местных начальств народное волнение прекращено совершенно. Оказалось, что в 12 губерниях разграблено 220 питейных заведений, предупреждено 26 покушений». И в этом движении руководителями были отпускные солдаты: во время разгрома кабаков в г. Краснослободске, Пензенской губернии, «главными зачинщиками», которые и после «усмирения» толпы продолжали «произносить грубости и дерзости», были «бессрочно-отпускные рядовые полков: лейбгвардии Павловского Влас Емельянов, Одесского пехотного Никита Васильев, государственные крестьяне: города Краснослободска Иван Шасин и села Гулин Гаврило Рысов».

Вот в какой обстановке царю Александру II пришла в голову одна из его «великих реформ»—отмена откупов. Откупа отменялись потому, что они стали одним из источников крестьянской революции. Корыстность продавцов водки и спаивание ими крестьян вызвали такое негодование низов, что нельзя было эти низы удержать и пришлось решиться на немедленную реформу и заменить откупа акцизом. Вот как было дело. Если вы присоедините к этому же грандиознейшие волнения железнодорожных рабочих, т. е. рабочих, которые строили тогда железнодорожную сеть и бунтовали и во Владимирской губернии, и в Крыму, и в Области войска Донского, и везде, где строилась железная дорога и где разыгрывались картины, хорошо вам знакомые по «Железной дороге» Некрасова,—вы поймете, на каком клокочущем вулкане стояло самодержавие Александра II в эти годы, когда, по буржуазной историографии, крестьяне мирно дожидались реформы, и вы поймете тогда значение революционного выступления Чернышевского. Он вовсе не был слишком ранним предтечей слишком медленной весны,—это был рупор, через который говорило негодование широчайших масс. Чернышевский проводил это негодование и в легальной форме в его называвшемся мною произведении—

«Материалы для решения крестьянского вопроса», о котором я уже сказал, что это не что иное, как в цензурном виде выраженные, ловко замаскированные лозунги крестьянского движения. Прежде всего, лозунг неперемещения усадеб. На этой почве отнятия у крестьян земли и переноса усадеб, как вы знаете, больше всего было волнений. Мы имеем тут и аргументацию в пользу передачи крестьянам лугов и лесов помещичьих—этого тоже требовали крестьяне во время своих выступлений. Словом, эта статья Чернышевского правильно может быть названа легальным изданием его знаменитой прокламации—«Барским крестьянам». Вот, на какой основе возникла эта прокламация в так называемую эпоху великих реформ, когда народ якобы дождался мирно, какие воспоследуют благодеяния свыше. На самом деле, эта была эпоха, когда воздух в России был накален, как никогда, этот накаленный воздух, эта накаленная атмосфера дышет на нас из произведений Чернышевского, и она то и делает Чернышевского особенно близким следующему революционному поколению. Недаром большевики, старые большевики, основатели партии почти все,—вероятно, даже не почти,—они меня сейчас одернут,—а без исключения все воспитывались на Чернышевском. Чернышевский с той атмосферой революции, которая веет с его страниц, был той основой, на которой происходило революционное воспитание следующих поколений. И вот чем особенно близок нам Чернышевский, товарищи. Через него, через его писания смотрит на нас та революция, которая начала развертываться в России в 1859—61 годах, которая дала яркую вспышку пламени в 1905 г. и которая победила в 1917 году.

Пауль Козок

Советы в Руре во время германской революции 1918/19 гг.

I. Введение

Общие замечания. Благодаря огромному экономическому значению Рейнско-Вестфальской промышленной области, эта часть Германии имела значительное влияние на развитие германской революции 1918/19 г. В этом районе разыгрались во время революции наиболее ожесточенные экономические бои, особенно в феврале и апреле 1919 г. Здесь более, чем где-либо, социал-демокритическо-буржуазное революционное правительство подвергалось опасности потерять почву под ногами. Эта область не имеет самостоятельного политического управления, в том смысле, как имеют его отдельные германские государства; революция не осуществлялась непосредственно, в форме самостоятельных государственных распоряжений и указов, а в форме местных распоряжений и путем воздействия на правительственные распоряжения в Пруссии и всей Германии. Это своеобразное положение не позволяло Р. и С.[1] Советам промышленной области достичь полного самостоятельного политического развития, как в некоторых экономически менее важных средних и мелких государствах. Но, зато, по сравнению с ними, решения Р. и С. Советов этой области по чисто экономическим вопросам имели гораздо более важное значение. Именно это своеобразное положение Р. и С. Советов в Рейнско-Вестфальской промышленной области вызывает необходимость особого рассмотрения их деятельности.

Своеобразие Рейнско-Вестфальской промышленной области заключается в создавшейся там чрезвычайно сложной во всех отношениях обстановке. Географически область распадается на две части: на более или менее равнинную Рурскую область от Гамброна и Дуисбурга до Дортмунд—Гамма и на более гористую область (горную страну), простирающуюся от Дюссельдорфа до Гагена. В экономическом отношении можно наметить следующие подразделения: округ Дортмунд—Бохум, центр угольной промышленности; округ от Эссена до Гамборна, где находятся важнейшие железоделательные и сталелитейные заводы; горная страна, в которой преобладает производство инструментов и готовых изделий. Нужно, однако, заметить, что металлопромышленность распространена и по всей остальной части области. Дюссельдорф хотя и расположен на краю этой области, но должен быть причислен к ней, так как в нем находятся не только крупные машиностроительные

[1] Рабочим и солдатским.—*Ре*).

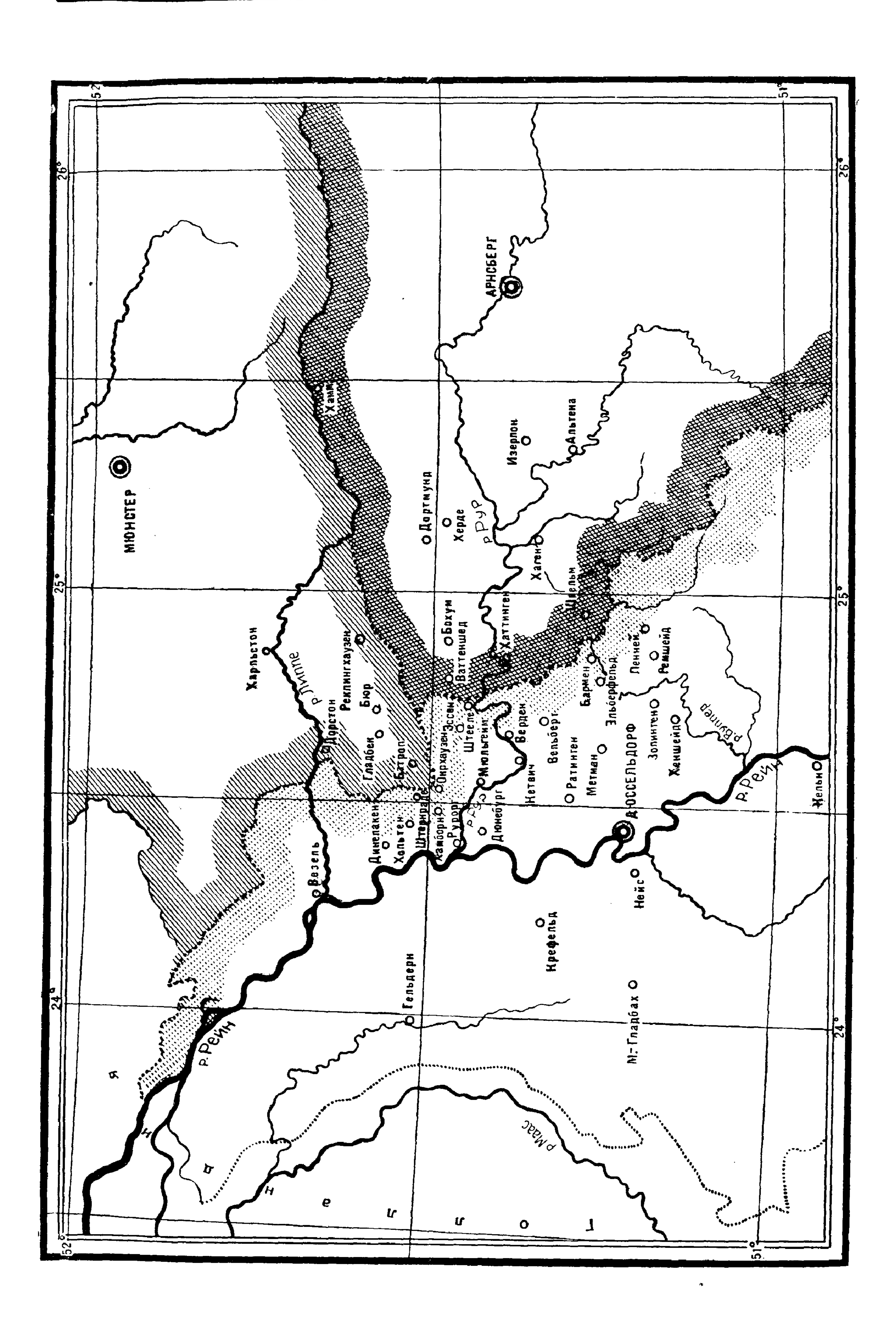
заводы, но и многие предпринимательские организации. Представлена также, в незначительном масштабе, текстильная индустрия, главным образом—в Эльберфельде-Бармене.

В пределах отдельных отраслей промышленности рабочие не образуют однородной массы. Различия между обученными и необученными рабочими вызывают экономическую и идеологическую диференциацию. Сюда присоединяется еще во всей области вероисповедное расслоение между католиками и протестантами. Но еще важнее контраст в миросозерцании между социализмом и католицизмом, так как протестантизм оказывает мало влияния на рабочих. Различия в среде пролетариата усиливаются также наличием ненемецких элементов, особенно поляков. Наиболее отрицательные результаты эта пестрота дает среди горнорабочих; здесь существуют четыре союза: свободный профсоюз горняков (социал-демократический), христианский (католический), польский и Гирш-Дункеровский (буржуазные демократы). Затем, Рурская область была главным опорным пунктом, хотя и слабого вообще в Германии, синдикалистского движения.

Предвоенная ситуация. Перед войной экономическое положение металлистов и горняков было наилучшим, а положение рабочих металлургических заводах и текстильщиков наихудшим. Из металлистов лучше всех оплачивались рабочие по производству готовых изделий, но и у них был еще почти повсюду 10-часовой рабочий день. Еще хуже было положение слабо организованных рабочих на металлургических заводах, им приходилось работать по 12 часов в день при очень низкой заработной плате.

Политическая борьба среди рабочих велась, главным образом, между католической партией центра и социал-демократией. В среде социал-демократии правое крыло имело главный свой опорный пункт в местности Бохум—Дортмунд, где и профсоюз горняков располагал наибольшею силой. Левое же крыло преобладало в горной стране, в Дюссельдорфе и Эльберфельд-Бармене, где уже издавна господствовали радикальные традиции. Со времени стачки 1912 года левое крыло усилилось также в угольном районе,—главным образом—в западной его части. Здесь, где и рабочие металлургических заводов были плохо организованы, мы видим в 1918/19 году главный очаг революционного натиска. Здесь, между Мюльгеймом, Гамборном, Обергаузеном и Гельзенкирхеном, возникли новые огромные заводы, привлекшие из разных частей Германии, а также из-за границы, промышленный пролетариат, менее «привязанный к месту». В округе же Бохума, Дортмунда, Эссена сложилась уже известная рабочая аристократия, что проявлялось также в политике горняцкого профсоюза.

Ход развития во время войны. На первых порах война не очень давала себя чувствовать в Промышленной области. Но позже, когда на работу в горную промышленность были направлены пленные, главным образом—русские и бельгийцы, многим горнорабочим пришлось отбывать воинскую повинность. То же самое наблюдалось и в металлопромышленности и текстильной индустрии, где с 1916 года стал усиленно применяться женский труд. Заработная плата не изменялась, между тем как цены на жизненные припасы росли. Когда позже заработная плата была повышена, это не озна-


МЮНСТЕР
АРНСБЕРГ
Дортмунд
Херде
р. Рур
Изерлон
Альтена
Хаген
Швельм
Харльстон
р. Липпе
Реклингхаузен
Бохум
Ваттеншед
Хаттинген
Бюр
Дорстен
Гладбек
Ботроп
Эссен
Штееле
Верден
Вельберт
Бармен
Эльберфельд
Ленней
Ремшейд
Золинген
Ратинген
Метман
Кетвич
Мюльгейм
Рурорт
Дюнебург
Штеркраде
Динслакен
Хольтен
Везель
ДЮССЕЛЬДОРФ
Нейс
Крефельд
Гельдерн
М.-Гладбах
р. Рейн
р. Маас
р. Вуппер
Кельн

чало улучшения экономического положения рабочих, так как в Промышленной области ощущался уже недостаток жизненных припасов. На протесты против нищеты рабочие получали в ответ угрозы военной службой. Чрезмерным прибавочным трудом и плохим питанием воспитывались ненависть и ожесточение против войны и правительства; цензура и страх перед окопами загоняли эти чувства внутрь. Но когда в 1918 г. правительство потерпело крах, вся эта скрытая ненависть вылилась в революционных боях 1918/19 г.

После начала войны число членов в профсоюзах стало быстро убывать. В социалдемократическом горняцком союзе, насчитывавшем в июне 1914 года 101956 членов по всей Германии, к началу 1917 года число членов упало до 33384 и лишь к концу войны начало опять возрастать. Так, в сентябре 1918 года союз имел уже опять 128470 членов. Подобным же образом дело обстояло в союзе металлистов. Оппозиция против политики «войны до конца» в профсоюзах проявлялась относительно мало; зато борьба против военной политики тем сильнее развернулась внутри СПГ[1].

После начала войны казалось, что исчезли всякие следы классового сознания. Постепенно лишь стали опять стягиваться единичные противники военной политики СПГ. Уже 9 и 10 сентября 1914 года состоялось в Эльберфельде свидание отдельных представителей, с целью выработки путей и средств борьбы против политики СПГ. 31 декабря была основана «группа Спартака». В Дюссельдорфе образовалась подобная же группа, в мае 1915 года появился там единственный военный выпуск «Интернационала», в июне того же года— первая прокламация против войны. В Эссене состоялся в январе 1915 года первый с'езд революционных элементов, в котором участвовало около 20 человек; с 1926 года аккуратно происходили ежемесячные заседания. В Дуисбурге появилась в 1916 году оппозиционная газета «Der Kampf» («Борьба»), которая после запрещения продолжала издаваться в Голландии. Далее, в Рурской области распространялись «Письма Спартака», а также бременская «Рабочая Политика».

Оппозиция против войны нарастала непрерывно, хотя и в расплывчатой, пацифистской форме. После основания центристской Независимой Социалдемократической Партии Германии (НСПГ) начался и в Рурской области раскол СПГ. После раскола целый ряд избирательных союзов СПГ в Нижне-Рейнском округе перешел почти одновременно к НСПГ. Там, где левое крыло СПГ не имело большинства, были тотчас же основаны новые организации. Но имелись и леворейнские районы, оставшиеся целиком в руках большинства, и очень нескоро НСПГ привлекла себе там отдельных членов. Перешедшие к НСПГ союзы избрали 11026 членов, оставшиеся у СПГ семь районов избрали 2333[2]. Вместе с борьбой за членов началась борьба за обладание ежедневными газетами. В 8 социалдемократических газетах большинство редакторов стояло в начале раскола на платформе НСПГ. Однако, они были большею частью отставлены, и постепенно газеты вернулись под контроль СПГ. Но хотя НСПГ насчитывала гораздо больше приверженцев, чем Союз Спартака и

[1] Социалдемократическая Партия Германии. *Ред.*

[2] Протоколы окружного партийного с'езда НСПГ Нижнего Рейна, апрель 1919 г., стр. 26—27.

группа «Интернационал», она обнаруживала гораздо меньшую активность, чем последние две группы.

Взрыв Февральской революции в России произвел на рабочих сильное впечатление. Правда, они были того мнения, что для Германии нечто подобное невозможно, так как это означало бы окончательную гибель. «Большевистскую революцию трудно было сделать понятною рабочим, особенно— отличие этой революции от революции Керенского». Отчеты о мирных переговорах в Брест-Литовске внесли известное отрезвление по вопросу о немецких целях войны. Подготовка к «победоносному» новогоднему наступлению 1918 года означала снижение революционного настроения. При переговорах с главным командованием в Мюнстере представители СПГ и профсоюзные вожаки заверяли, что приложат все усилия к недопущению стачки.

Но когда наступление не удалось и германские войска вынуждены были медленно отступать, когда все больше стал ощущаться недостаток в жизненных припасах, повсюду распространилось чувство, что «теперь что-то должно произойти»; однако, для всех, включая и НСПГ, оставалось неясным, что именно должно произойти. Летом повсюду начались мелкие экономические стачки. В августе в Эссенском округе больше недели бастовала 21 угольная шахта. Но в конце концов стачка была подавлена, и больше 500 членов союза горнорабочих получили приказ явиться в армию.

Когда в ближайшие месяцы военное положение все больше ухудшалось, один только Союз Спартака сознательно агитировал за образование Рабочих и Солдатских Советов; НСПГ не имела, по обыкновению, определенных взглядов. Массе рабочих идея создания советов была еще довольно чужда.

II. От начала революции до первого общегерманского конгресса Р. и С. Советов

Основание Р. и С. Советов. До момента, непосредственно предшествовавшего началу революции, идея создания Рабочих и Солдатских Советов не охватила еще широких кругов. А там, где эта идея уже существовала, не было сознания политического значения власти Советов. Лишь после того, как получено было известие о начале революции в Киле и об организации приморских Рабочих и Солдатских Советов, распространилась идея образования Р. и С. Советов на местах, хотя и без ясного сознания об их подлинном политическом значении для рабочего класса.

Образование первых Советов происходило большею частью таким путем: местная организация НСПГ (а также Союза Спартака) еще до начала революции составляла из своих представителей Р. и С. Совет, к которому затем после начала революции присоединялись представители организации СПГ (иногда также профсоюзные вожаки). Этот Совет принимал затем на себя местное управление, которое повсюду беспрепятственно ему передавалось. Характер первых распоряжений обусловливался, конечно, политическим составом Советов. Из десятков Советов, возникших в Рурской области, следующие три можно считать типичными для начальной стадии революции.

В Эссене, центре Рурской области, революция протекала таким образом. Уже в ночь с 7 на 8 ноября революционными вожаками был организован Рабочий Совет, который тотчас же вступил в контакт с отдельными войсковыми частями и образовал Р. и С. Совет. Этот Р. и С. Совет был составлен довольно произвольно из солдат и рабочих от производства, не считаясь особенно с партийной принадлежностью. В следующую ночь происходили переговоры между СПГ и бургомистром по вопросу о том, какими мерами можно было бы направить революционное движение в «правильное русло». Но на утро 9 числа явились матросы из Киля; в большинстве предприятий началась стачка, рабочие и солдаты устроили большую демонстрацию и заняли редакции буржуазных газет. Под давлением событий СПГ прекратила свои переговоры с представителями буржуазии и заявила о своей готовности вступить в переговоры с НСПГ и Спартаковским Союзом. После этого был преобразован Р. и С. Совет, и в состав его Исполнительного Комитета вошло по четыре представителя от трех указанных партий. Тотчас же была учреждена вооруженная охрана, и уже 14 ноября был издан приказ, предписывавший всем гражданам сдать до 17 ноября оружие.

Дуисбург является городом, типичным, по преобладанию СПГ и буржуазных профсоюзов. В ночь с 8 на 9 ноября появились морские солдаты из Кельна, обезоружили станционную стражу и освободили военных арестантов. Утром 9 ноября были обезоружены комендант и офицеры, работа во многих предприятиях была приостановлена, и состоялась демонстрация. Затем был образован «временный» Р. и С. Совет из различных партий, который «временно» принял на себя управление, с согласия обербургомистра. Затем Р. и С. Совет обнародавал следующее воззвание:

> Р. и С. Совет ставит себя в распоряжение пролетариата, но защищает право всех граждан (!) на жизнь и здоровье и охрану их справедливых интересов (!). Городская полиция состоит на службе Р. и С. Совета и всей общественности.

Р. и С. Совет состоял из 50 членов, по 10 от НСПГ, СПГ, Гирш-дункеровских профсоюзов, христианских и свободных профсоюзов. Был выделен Исполнительный Комитет из 15 членов. Решено было сорганизовать вооруженную охрану, и в то же время было заявлено солдатам, что они должны повиноваться офицерам окружного командования, подчиненным Р. и С. Совету. Наконец, 16 ноября учреждена была постоянная вооруженная охрана.

Напротив, в Гамборне революция приняла наиболее радикальную форму во всей Рурской области. 9 ноября был создан Р. и С. Совет, состоявший из 8 представителей СПГ и 9 представителей НСПГ и Спартаковцев, в том числе и Фелькера, вождя Спартаковской группы, главенствовавшего и в Р. и С. Совете. Городской парламент был распущен. Единогласно было решено образовать Красную Гвардию, в состав которой должны были войти только организованные рабочие. Решение это было осуществлено. Красная Гвардия состояла из 500 человек и выполняла свою охранную службу в Гамборне до 26 февраля 1919 года, когда была распущена. Оружие было доставлено Красной Гвардии Р. и С. Советом, издержки по ее содержанию опла-

чивались городским управлением. Из Берлина было получено распоряжение, запрещавшее роспуск городского парламента, Красную же Гвардию приказано было переименовать в вооруженную охрану. Тогда же, 9 ноября, был установлен 8-часовой рабочий день, а для горняков—7-часовой день. Горняки постановили отказать в своем доверии горняцкому профсоюзу и передать урегулирование вопросов об условиях труда и заработной платы Р. и С. Совету. Это был в Рурской области единственный случай передачи вопросов наемного труда в непосредственное ведение Р. и С. Советов и организации пролетарской Красной Гвардии.

В общем, первые мероприятия Советов обнаружили относительно слабо развитое пролетарское классовое сознание и неясное понимание целей и путей к власти. Вожаки НСПГ тоже, собственно говоря, не знали толком, за что Советам следовало бы приняться, и устанавливали их отчасти только для того, чтобы поддержать деятельность разлагающихся органов управления, а не для того, чтобы противопоставить буржуазному управлению пролетарское. Спартаковская же группа была слишком незначительна для того, чтобы руководить событиями.

Первые попытки ослабить политическую власть Советов. Едва только родились Р. и С. Советы, как уже стали возникать попытки ограничить их силу и влияние. И попытки эти исходили в меньшей степени от буржуазии—если не говорить о старых военных властях—чем от мелкобуржуазных СПГ профсоюзных вожаков, которые могли, действительно, рассчитывать на более широкие рабочие массы, косневшие еще в значительной степени, несмотря на военные невзгоды, в национально-ограниченном, мелкобуржуазном умонастроении. Эта часть рабочего класса была довольно значительна, и даже там, где она на словах и сочувствовала политической власти пролетарских Советов, она часто все-таки не решалась, частью по неопытности, частью благодаря неразвитому классовому сознанию, последовательно проводить эту власть. Советы были чем-то слишком новым для большинства связанных партийно-политическими и профсоюзными традициями немецких рабочих, которые не были в состоянии немедленно же осознать их подлинное историческое значение для рабочей массы. Большинство рабочих чувствовало, что Советы являются выражением их политической власти, но это еще не вошло в их сознание, потому они часто колебались между революционной волей и нерешительностью в действии. Благодаря этому, вскоре после захвата власти Р. и С. Советами вне и внутри их начались успешные попытки ослабить и устранить эту власть. Какие формы приняли эти начинания, указывается ниже.

Запреты. Насколько возможно было выяснить, прямых запретов со стороны старого немецкого военного управления не последовало. Напротив, вновь возникшее прусское и общегерманское правительство, составившееся из СПГ и НСПГ, попыталось ограничить власть Советов, запретив им вмешиваться в сферу управления. В то же время гарнизоны союзников, расположенные в отдельных пунктах Промышленной области, резко выступали в различных случаях против Советов. Так, например, союзные власти запретили 5 декабря Р. и С. Совет в Ремшейде, 9 декабря—в Леннепе, также и в Золингене. Здесь Советы, однако, сохранились, пере-

именовав себя «Народные Советы» и подчинившись ограничению своих полномочий. 8 декабря был распущен Солдатский Совет — в Гамборне, равно и в Дуисбурге. Далее, 18 декабря английский гарнизон в оккупированной области постановил, что Р. и С. Советы должны воздерживаться от всякого вмешательства в административные дела. Они также лишены были права пользоваться общественной собственностью для своих целей.

Попытки со стороны буржуазии. Вскоре после начала революции буржуазия также попыталась выступить против власти Советов, сначала робко, но потом, когда ее противосоветская деятельность не встретила серьезного отпора, а со стороны СПГ даже встретила поддержку, она перешла к более решительным действиям. Уже 13 декабря в Дюссельдорфе был составлен детальный план организации буржуазного Совета в противовес Р. и С. Совету. Но после разностороннего обсуждения этот план был оставлен, как преждевременный (рукописная заметка в городском архиве Дюссельдорфа, папка II Г. Рев.). Учреждение первого официального буржуазного Совета последовало 26 ноября в Ремшейде; на следующий день образовался в Эльберфельде комитет из представителей всех буржуазных партий. Оба они высказались против социалистической республики, но за национальное собрание. 7 декабря буржуазный народный комитет в Гельзенкирхене получил три места в местном расширенном Рабочем Совете. С течением времени во всех городах образовались буржуазные Советы, или Комитеты. В общем непосредственная деятельность буржуазии имела второстепенное значение. В более искусной форме она осуществляла свое влияние через буржуазные профсоюзы, через буржуазных представителей в Солдатских Советах, а также путем поддержки СПГ и свободных профсоюзов в их борьбе против НСПГ и Спартаковского Союза.

Попытки со стороны профсоюзов. Как и в других частях Германии, профсоюзы Рурской области не делали попыток добиться пролетарского контроля над промышленностью [1], общею же своей пассивностью, ограниченностью своих требований относительно повышения заработной платы и сокращения рабочего времени, а также общей своей политикой сотрудничества с предпринимателями они помогли разлагающейся капиталистической системе хозяйства вновь окрепнуть. И подобно тому, как в общегерманском масштабе профсоюзы установили сотрудничество с предпринимателями, они в Промышленной Области старались успокоить рабочих и примирить их с капиталистическим способом производства.

Уже с октября 1918 года четыре горняцких профсоюза проводили конференции в целях улучшения условий труда и установления сотрудничества, для того чтобы обеспечить капиталистическое производство. 14 ноября было подписано соглашение между 4 горняцкими профсоюзами и союзом предпри-

[1] В горной области, в некоторых производствах революционные делегаты вместе с местными организациями профсоюза металлистов, находившимися в руках НСПГ, пытались проводить известный контроль над производством. Но это были лишь случайные разрозненные попытки, не носившие систематического характера и не оставившие прочных следов.

нимателей угольного района о введении с 18 ноября 8-часовой смены для подземных рабочих, а с 1 января и для всех горнорабочих. Признан был также «в принципе» минимум заработной платы, который должен был составлять $^4/_5$ средней заработной платы. За этим соглашением, укрепившим власть профсоюзных вожаков, последовало 25 ноября дальнейшее соглашение между горняцкими профсоюзами и владельцами шахт, по которому горнорабочие, начиная с 1 декабря, должны были получить прибавку заработной платы (14 декабря последовало еще одно соглашение). Но и Рейнско-Вестфальский округ союза металлистов вел уже с сентября 1918 года с промышленниками подобного рода переговоры, которые закончились 20/21 ноября временным соглашением и обещанием 8-часового дня и известного повышения заработной платы. 5 декабря этот договор получил дальнейшее развитие.

Для профсоюзных вожаков революция представлялась только желанным средством для того, чтобы легче проводить свои требования об улучшении условий наемного труда и вместе с этими улучшениями укрепить свою власть над рабочими массами. Поэтому само собою разумеется, что всякое нарушение хозяйственной жизни казалось им угрозой их собственному положению. Этим об'ясняется, почему 11 ноября, сейчас же после начала революции, ЦК профсоюза горняков выпустил воззвание, которое о революции даже не упоминало и только требовало, чтобы все рабочие вошли в профсоюзные организации, соблюдали «спокойствие и порядок» и поддерживали новые органы власти. «Только работа может нас спасти»... В том же направлении действовали профсоюзные вожаки, чтобы ликвидировать экономическую стачку, вспыхнувшую в Гамборне под руководством Р. и С. Совета. Этого они добивались 28 ноября на большом собрании стачечников, после того как администрация Тиссен обещала, в порядке исключения, выплатить каждому рабочему особую прибавку в 200 марок, сверх того женатым еще 100 марок и по 25 марок на каждого ребенка. Но вскоре вспыхнула новая стачка и, опять таки, под руководством Гамборнского Рабочего Совета, который об'явил себя, а не профсоюзную организацию, «представителем интересов рабочих» и 10 декабря успешно провел свои требования.

Попытка со стороны СПГ. Наибольшее влияние на развитие Советов имела, однако, деятельность СПГ, которая и в Промышленной Области вела с самого начала внутри Рабочих и Солдатских Советов борьбу с НСПГ и Спартаковским Союзом за руководящую роль, чтобы противодействовать стремлению Советов к политической власти. Прежде всего, чтобы восстановить свое руководство более радикальною Нижне-Рейнскою областью, СПГ Нижне-Рейнского округа созвала на 17 ноября в Эльберфельде общую конференцию Советов. Эта попытка не удалась, так как большинство делегатов поддерживало НСПГ. Они об'явили, что НСПГ созвала другую конференцию на 20 ноября, и предложение закрыть заседание было принято огромным большинством. Новая конференция состоялась на этот раз в Бармене, более радикальном из городов-двойников Эльберфельд-Бармен. НСПГ и здесь имела большинство. Ход конференции показал наличие довольно революционного настроения, принявшего, однако, довольно расплывчатые формы, особенно в смысле отрицательного отношения к национальному со-

бранию. Проведению подлинно революционной точки зрения не помогло и принятие следующей псевдо-революционной резолюции по вопросу о национальном собрании:

Р. и С. Советы Нижне-Рейнского округа самым решительным образом отвергают контр-революционный план спасти капиталистический строй общества от осуществления революционных целей путем национального собрания. Только последовательное и безоговорочное проведение революции обеспечит победу пролетариата.

Правда, несколько делегатов, в том числе Меркель (из Золингена), высказались довольно открыто, не встретив особенных возражений, за диктатуру Советов. Было также решено не признавать Генеральный Совет Солдатских Советов в Мюнстере, как находящийся под руководством СПГ, а вместо этого организовать для защиты революции Красную Гвардию. Затем, постановлено было избрать Окружный Р. и С. Совет из 40 лиц, с исполнительным комитетом в числе 9 человек. Но образование этого окружного Совета решено было предоставить ближайшей конференции. Эта вторая конференция состоялась уже 25 ноября и наметила директивы, оставшиеся, впрочем, только на бумаге.

В то же самое время сконструировался Окружный Р. и С. Совет и об'явил себя центральным органом всех Р. и С. Советов Нижне-Рейнского Округа. Хотя на обеих конференциях преобладало в общем и целом хорошее революционное настроение, но слабость их заключалась в том, что принятые ими резолюции были только бумажные, и для их проведения не было предпринято сколько-нибудь серьезных шагов. Таким образом, как эта конференция, так и Окружный Совет имели мало действительного влияния на развитие революции, и этот революционный на вид авангард застрял в собственной своей пассивности и нерешительности.

Так как СПГ пока не имела успеха в этом округе, то она ограничилась на первых порах организацией Советов в одной только Рурской области. 30 ноября в Эссене заседала конференция Р. и С. Советов. Эта конференция, собравшая 135 делегатов, высказалась большинством против только 8 голосов за созыв национального собрания и против большевизма.

Было также постановлено, что сами Советы не должны вторгаться в область управления и что военные вопросы должны регулироваться Окружными Солдатскими Советами (стоявшими на платформе СПГ). На следующий день состоялось собрание Р. и С. Советов округа Бохум-Гельзенкирхен-Герне-Гаттинген-Виттен, отклонившее предложенную НСПГ резолюцию, по которой впредь до обеспечения революции вся власть должна принадлежать Р. и С. Советам; за эту резолюцию все же голосовало 34 делегата и 126.

5. Попытки со стороны Солдатских Советов. В том же направлении действовали Солдатские Советы, которые, если вообще проявляли политическую деятельность, то в буржуазном или социал-демократическом духе. Солдатские Советы, выдвинутые отчасти свыше, чтобы предотвратить гибель старой армии, были созваны на конференцию в пределах VII армейского корпуса, занимавшего эту область, сейчас же после начала

революции. 15 ноября представители всех гарнизонных Советов VII армейского корпуса собрались в Мюнстере, чтобы организовать Генеральный Солдатский Совет этого армейского корпуса. Вся область, занятая этим корпусом, была поделена на 23 округа, из которых каждый должен был выбрать себе Окружный Совет, а все Окружные Советы должны были образовать в Мюнстере Генеральный Солд. Совет, который имел право контролировать генеральное командование в Мюнстере. Далее, было решено оставить на местах старые органы управления под главенством Советов, причем, однако, строптивые чиновники должны были получить отставку. На этой конференции трудно было заметить признаки какого-нибудь политического сознания, если же оно проявлялось, то в духе СПГ. В декабре состоялось еще несколько конференций, но занимались они почти исключительно техническими вопросами управления, что вообще было характерно для немецких Солдатских Советов.

Выборы делегатов на первый всегерманский конгресс Р. и С. Советов в Берлине. Первый всегерманский конгресс Р. и С. Советов был созван в Берлине на 16 декабря. Типичным для германской революции является относительно малый интерес, проявленный рабочими к выборам делегатов на этот конгресс. Значительная часть рабочих попросту не поняла исторического значения Советов. Делегаты избирались окружными Р. и С. Советами, результаты выборов в Рурской области были следующие:

Правит. Округ	Союз Спартака	НСПГ	СПГ	Демократы	Без указания
Дюссельдорф	1 (Левинэ)	17	5	—	1
Арнсберг	—	4	10	—	—
Мюнстер	—	—	4	1	1
Всего	1	21	19	1	2

Таким образом, во всей Промышленной области, с ее отдельными участками сельского характера, на первом месте шла НСПГ. Если же не считать сельский Мюнстерский округ, то НСПГ имела обсолютное большинство, а в Дюссельдорфском округе даже большинство трех четвертей. Но подобный подсчет революционных сил является иллюзорным, так как значительная часть делегатов НСПГ примыкала к правому крылу партии. Если считать примерно наполовину, то получится другая картина: Союз Спартака плюс левая НСПГ—10 делегатов, правая НСПГ плюс СПГ—30 делегатов. Это значит, что меньше четверти делегатов стояло на революционной точке зрения. Даже в Дюссельдорфском округе они не имели большинства.

III. Первый бой за власть

Результаты первого всегерманского конгресса Р. и С. Советов означали победу СПГ. На нем выяснилось, что СПГ контролирует подавляющее большинство Р. и С. Советов. Теперь она могла перейти к более решитель-

ному выступлению против НСПГ и Спартаковского Союза. Но то обстоятельство, что СПГ использовала Советы для контр-революционных целей, вынуждало революционных рабочих повести свою борьбу в новых формах и иными средствами, чем до сих пор.

Еще раньше чем в Берлине стала заседать всегерманская конференция Р. и С. Советов, в Рурской области уже вспыхнул ряд «диких» стачек. Как уже упоминалось, после начала революции 4 крупных горняцких профсоюза и Союз предпринимателей постановили 14 ноября провести незначительные прибавки заработной платы и сокращение рабочего времени. Эти не весьма внушительные результаты, вкупе с тем фактом, что принятые соглашения владельцами шахт часто не соблюдались, повели к тому, что в разных пунктах Рурской области в течение декабря вспыхнул ряд «неофициальных» стачек, которые особенно в Гамборне приняли очень острый характер.

Горнорабочие требовали повышения заработной платы и особой выплаты к рождеству. Все сильнее раздавалось требование социализации горной промышленности, за которое высказался, в качестве мнимой уступки, контролируемый СПГ всегерманский конгресс Советов в Берлине. Социал-демократическое правительство Германии не делало попыток ни оказать давление на предпринимателей, ни проводить социализацию; напротив, оно уверяло их, что до созыва национального собрания не будет предпринято никаких «хозяйственных экспериментов». В конце декабря в округе Гамборна вновь вспыхнула стачка. Горнорабочие потребовали здесь выплаты обещанных правительством прибавок к заработной плате, после чего войска из Мюнстера обстреляли Гамборн и убили одного рабочего. Берлинское правительство всполошилось и делегировало в Гамборн двух своих представителей, где они совместно с представителями рудничной администрации, профсоюзов, Р. и С. Советов и стачечников провели частичное замирение стачки путем повышения заработной платы.

Но это успокоение длилось не долго, повсюду вспыхивали новые стачки и волнения. Возмущение рабочих выражалось все в более острых формах. Согласно отчетам полицейских, коммунальных и правительственных органов следственной комиссии Прусского народного собрания о волнениях в Рейнско-Вестфальской области, волнения происходили в следующих местах (документ № 3228): Дортмунд—7 и 8 января; Дортмундский сельский район—18 января; Гаген—8 января; Бюр.—9—14 января; Гладбах—11—15 января; Горст-Эмшер—11—13 января; Эссен—15 января; Дюссельдорф—8—11 января; Дуисбург—11—13 января; Обергаузен—3 января; Гельзенкирхен—10—15 января.

Борьба за социализацию. Учреждение Комиссии девяти. Создавшееся настроение, вместе с вспышкой январских боев в Берлине и отраженным их влиянием на Рурскую область, вынудило вожаков СПГ и горняцких профсоюзов занять более радикальную на вид позицию, чтобы не выпустить из рук революционного движения. Под влиянием Р. и С. Советов Гамборна, Обергаузена и Мюльгейма, Р. и С. Совет Эссена, в котором заседало по три представителя от СПГ, НСПГ и КПГ, постановил 10 января не-

медленно захватить угольный синдикат и союз шахтовладельцев контрольной комиссией, получившей название Комиссии девяти:

«Совет рассматривает это мероприятие, как подготовительную работу к социализации рудников. Он считает немедленный контроль горной индустрии безусловно необходимым для успокоения горняцких масс и для возможности самим рабочим разобраться в действительном положении промышленности. Конференция Р. и С. Советов Промышленной области, с привлечением ЦК профсоюзов, займется 13 января 1919 года вопросом о социализации рудников» (Эссенская рабочая газета СПГ, 11 ноября 1919 г.).

На этой конференции, состоявшейся 13 января, даже представители христианских профсоюзов и товарищ статс-секретаря Гисбертс высказались за немедленную социализацию. По предложению представителя СПГ Лимбертса, была утверждена так называемая «комиссия девяти», в состав которой вошло по три представителя от СПГ, НСПГ и КПГ. За свое согласие на эти «революционные акты» СПГ потребовала немедленного прекращения вспыхнувшей стачки, на что согласилась и КПГ. После этого по всему рудничному району было распространено следующее высокопарное воззвание:

Победа социализации!

Сегодня угольный синдикат и рудничный совет заняты нашей народной комиссией,—тем самым сделан первый шаг к социализмации.

Центр капиталистической эксплоатации и цитадель угольных магнатов перешли, таким образом, в руки народа.

Так как требования профсоюзных организаций также удовлетворены, то всякий повод к стачке отпал.

На этом основании конференция стачечных комитетов и уполномоченные всех Эссенских шахт вынесли значительным большинством постановление возобновить работу.

Горняки, первый шаг на пути к государству будущего сделан. По этому пути мы решительно двинемся вперед. Помогите нам дисциплинированностью и социальной зоркостью! Возобновите работу сомкнутым строем.

Эссенский Р. и С. Совет
СПГ,
НСПГ,
Спартаковский Союз.

Стачки и волнения прекратились. Уполномоченные и рудничные советы были повсюду избраны согласно директивам комиссии девяти. В Берлин была делегирована комиссия, для переговоров с правительством и представления отчета о результатах переговоров ближайшей конференции, назначенной на 20 января.

Ответ правительства и конференция 20 января. 20 января комиссия представила свой отчет. К переговорам с правительством были привлечены члены заседающей в Берлине комиссии по социализации, а также представители горнопромышленного капитала, Стиннес, Гугенберг и др. Переговоры эти не имели, вполне естественно, какого-нибудь осязательного успеха, так как едва ли можно было ожидать, чтобы капиталисты сочувствовали социализации своих собственных рудников. Каутский высказался за социализацию, но заявил, что это «не так уж просто», почему и комиссия по социализации не могла притти к определенному решению. Невозможно

также пойти навстречу рабочим путем дальнейшего повышения заработной платы. Стиннес же выступил совершенно непринужденно с заявлением, что главным источником современных затруднений служит леность [1].

Положение правительства стало, однако, настолько шатким, что необходимо было что-нибудь предпринять для успокоения рабочих. Но все, что оно сделало, заключалось в одном незначительном постановлении в области горного дела [2], принятом 18 января.

Поэтому, когда 20 января на конференции Р. и С. Советов в Эссене комиссия представила свой доклад, то заговорили о «политике втирания очков», которою занимаются в Берлине. На этой конференции было выяснено, какую опасность несет с собою затеянное правительством стягивание военных отрядов в Промышленную область. Делегаты НСПГ и КПГ усматривали в этом угрозу рабочим и подрыв делу социализации. Социалисты большинства пытались их успокоить, и Гюэ заявил следующее: «Если бы в том случае, когда идет речь о мероприятиях в духе социализации, правительство вздумало прислать войска, то нашло бы меня в стане самой крайней оппозиции».

Затем, на конференции было единогласно решено, что необходимо настаивать на принятом 13 января решении по вопросу о социализации. Комиссия девяти была сохранена и, совместно с комиссаром, подлежавшим назначению согласно инструкции по горному делу, должна была образовать центральный орган для социализации.

> «Этим центральным органом должны быть немедленно назначены подкомиссии для контроля горных предприятий и обществ по сбыту продуктов горной промышленности, а также и для регулирования тарифных вопросов... Основою социализации остается установленная на конференции от 13 ноября 1919 г. система Советов... Выборы (Советов—*П. К.*)... должны быть закончены до 1 февраля 1919 г. Все наличные Р. и С. Советы обязываются, через своих представителей, выступать со всею силой против всякого противодействия как выборам, так и социализации вообще... Р. и С. Советы обязываются к безусловному поддержанию порядка после проведения социализации, не нарушенной присылкою войск».

Хотя комиссия девяти и продолжала функционировать, но превращалась все больше в «арбитражную комиссию». Везде, где возникали конфликты между рабочими и администрацией или владельцами шахт, вызывались отдельные члены комиссии для улажения этих конфликтов. Но так как брожение происходило повсюду, то они часто днем и ночью были в раз'ездах. Время их поглощено было массой деталей, что мешало им отдаться более серьезным общим вопросам революции. Занятие угольного синдиката было тоже только красивым жестом. Так, К. Вагнер, член комиссии девяти, сообщает в одной

[1] По этому поводу К. Вагнер, один из делегатов, пишет:

«Стиннес заявил в Берлине буквально следующее: «Рабочие должны опять приучиться работать, они стали ленивы». На мое требование призвать г. Стиннеса к порядку г. Эберт ответил молчанием; тогда я заявил, что позабочусь о том, чтобы довести до сведения всей рабочей массы о поведении правительства и словах Стиннеса. После конференции пытались меня успокоить. Поведение Эберта и Стиннеса вызвало со стороны рабочих величайшее негодование».

[2] «Законодательный Вестник» (Reichsgesetzblatt), 1919 г., № 12, постановление № 6650.

заметке: «О занятии угольного синдиката, вообще, не приходится говорить. Там состоялось только три заседания, служащие оказали нам величайшее противодействие, заперли все дела и на все наши вопросы не давали никаких раз'яснений, так что дальнейшее пребывание в угольном синдикате стало бесцельным».

Усиливающееся полевение рабочих и солдат. По директивам последних двух конференций были организованы штейгерские участковые Советы и центральный рудничный Совет. Но Веймарское правительство отказывалось признать их, и возмущение рабочей массы противодействием правительства становилось все больше. 7 февраля было начато несколько «диких» попыток социализации, но этими единичными попытками дело и ограничилось.

Однако, все более и более реакционное поведение правительства революционизировало не только рабочих, но и солдат. 2 февраля состоялась в Гагене конференция окружных Солдатских Советов Западной и Северо-западной Германии. Эта конференция решила организовать пассивное сопротивление покушениям правительства и реакционных офицеров на права солдатских советов. Большинством против 2 голосов была принята резолюция против разоружения рабочих, равно и против образования добровольческих корпусов. Центральный Совет Р. и С. Советов в Берлине выставил также требование о немедленном созыве конгресса Солдатских Советов. В случае невыполнения этого требования до 10 февраля, назначенная конференция должна была созвать конгресс собственной властью.

Конференция 6 февраля и отчет правительства. 6 февраля открылась новая конференция Р. и С. Советов Промышленной области, на которой снова присутствовали представители всех горняцких профсоюзов. Конференция вновь потребовала от правительства немедленного признания комиссии девяти и права этого органа на проведение социализации. Она поставила затем ультиматум, что если правительство не признает до 15 февраля комиссию девяти со всеми ее оговоренными конференцией полномочиями, то рабочие будут вынуждены начать всеобщую стачку, чтобы добиться исполнения своих требований. Эта резолюция была сообщена министерству торговли, и представители комиссии отправились в Берлин и затем в Веймар для ведения переговоров с правительством.

Два дня спустя, 8 февраля, правительство издало постановление об организации рабочих камер в горнопромышленной области, с участием работодателей и рабочих в одинаковом количестве [1]. Эти рабочие камеры должны были иметь задачей «содействие в подготовке социализации горного дела путем справок, отзывов и предложений», затем, «представительство в союзах для урегулирования производства и сбыта» и, наконец, «соблюдение интересов как всей промышленности в целом, так и частных интересов работодателей и рабочих». Целью этого постановления было, с одной стороны, сбить с толку рабочих и ослабить их солидарность, а с другой—воспрепятствовать выборам

[1] «Законодательный Вестник» (Reichsgesetzblatt), 1919 г., закон № 6725.

в предусмотренные комиссией девяти штейгерские участковые советы и передать дело социализации в руки предпринимателей.

Тем временем настроение среди рабочих и солдат было взвинчено до последней степени выступлениями реакционного добровольческого корпуса, поддерживаемого правительством. Общесолдатский Совет VII армейского корпуса в Мюнстере, состоявший первоначально из СПГ и буржуазно-настроенных людей, стал все более леветь. Расширенный общесолдатский Совет отказался в своем заседании признать правительственное распоряжение от 19 января, восстановливавшее командную власть офицеров и превращавшее солдатские советы в какие-то придатки к ним. Далее, общесолдатский Совет требовал отмены всех знаков отличия, кроме республиканских знаков. Надлежит прекратить всякую вербовку в добровольческий корпус, взамен того должно быть учреждено народное войско, для которого каждый окружной солдатский совет посылает 50 человек в Мюнстер. (Посылка людей, действительно, началась, но так как об их довольствии не позаботились, то вскоре они раз'ехались). Все резолюции были приняты 35 голосами против 8. Затем, было назначено три делегата на конференцию в Брауншвейге, имевшую целью учреждение революционной Северо-западной Германской республики, в противовес правительству Эберта—Шейдемана. На следующий день целый ряд Р. и С. Советов Промышленной области назначил делегатов на эту конференцию. Однако, на партийной конференции КПГ и НСПГ это предложение было отвергнуто большинством против двух голосов.

Как только об этой конференции стало известно в Берлине, Носке послал общесолдатскому Совету в Мюнстере следующую телеграмму:

> Нам сообщают, что солдатский совет препятствует вербовке людей для восточной охраны и хочет распустить добровольческий корпус. Такой акт отвратительнейшей государственной измены был бы беспощадно отомщен.

Общесолдатский Совет дал немедленно следующий ответ:

> Мы неоднократно констатировали, что эти отряды использовались не для охраны на востоке, а для борьбы с классово-сознательным пролетариатом. Как социал-демократы, мы обязаны препятствовать организации нарочито контр-революционных отрядов. Здесь мы имели печальный опыт с добровольцами. Когда же будет учреждена народная охрана? Государственную измену учиняют только те, кто поддерживает контр-революционные стремления.

После этого Носке дал приказ командующему генерал-лейтенанту фон-Ваттеру распустить и арестовать общесолдатский Совет, что тот и выполнил при содействии добровольческой организации «Молниеносный удар» («Lichtschlag») и вооруженного студенчества, заменив его послушным солдатским советом. Цели Ваттера шли дальше: он замышлял полный разгром всего горняцкого движения. Этот удар по советам повлек за собой бурю негодования даже среди социал-демократов; повсеместно раздавались требования об отставке Ваттера, но правительство Носке отказалось их удовлетворить.

Ультиматум конференции 14 февраля. 14 февраля была созвана в Эссене новая конференция Р. и С. Советов всей Промышленной области, на которую были также приглашены представители горняцких советов трех социалистических партий и два офицера главного командования. Эта комиссия постановила большинством 500 голосов

против 15 провозгласить всеобщую стачку, если правительство не отзовет войска до понедельника 17 февраля. Потребовано было также восстановление общесолдатского совета и наказание виновных офицеров. Решено было делегировать в Веймар к германскому правительству комиссию девяти, чтобы пред'явить ему этот ультиматум. Конференция должна была собраться вновь 18 числа, чтобы на случай, если правительство не выполнит пред'явленного ею требования, провозгласить всеобщую политическую стачку.

Элементы внутреннего разложения в революционной борьбе. Отпадение соц.-дем. вожаков. Упомянутыми двумя ультиматумами, пред'явленными германскому правительству, соц.-демократические вожаки в Рурской области солидаризировались с НСПГ и КПГ против своих собственных партийных товарищей, сидевших в германском правительстве. В случае отклонения правительством этих двух ультиматумов, соц.-дем. вожаки в Рурской области были бы вынуждены вступить с своими товарищами в открытую борьбу. Они попали, таким образом, в крайне щекотливое положение. С одной стороны, чтобы не потерять руководства движением, они об'явили себя солидарными с независимцами и коммунистами, но с другой—движение начало их перерастать, и под руководством НСПГ, КПГ и синдикалистов стало переходить в борьбу против социалистического правительства и горнопромышленников. За это время рабочие, особенно синдикалисты, коммунисты и часть независимых, вооружились, и 16 февраля в Гарвест-Дорстене дело дошло даже до открытого столкновения, которое окончилось, правда, поражением рабочих. Они потеряли 15 человек убитыми, правительственные войска—четырех. Рабочие отступили в Ботроп, где получили подкрепление из Мюльгейма и Дюссельдорфа и настолько усилились, что противник не посмел их атаковать.

Задача соц.-дем. вожаков заключалась теперь в том, чтобы найти выход из создавшегося щекотливого положения, не теряя своих приверженцев среди рабочих. Необдуманный шаг при данном соотношении сил, главным образом, со стороны синдикалистов, дал им этот желанный повод. Синдикалисты созвали на 16 февраля с величайшей поспешностью без ведома СПГ стачечную конференцию в Мюльгейме, чтобы сейчас же провозгласить всеобщую стачку и, таким образом, поставить соц.-дем. вожаков, которым не доверяли, перед совершившимся фактом, и в то же время взять ведение стачки всецело в свои руки. При этом они рассчитывали на всеобщую поддержку горняков, возмущение которых своим бедственным положением, равно и практикуемой СПГ политикой оттяжек росло со дня на день, что выражалось также в «диких» попытках социализации и отстранении представителей администрации и шахтовладельцев. Это собрание, на которое явились также коммунисты и частью независимцы, об'явило, что срок ультиматума по вопросу о признании комиссии девяти уже истек, и что опасность вторжения правительственных войск чересчур велика, чтобы ожидать дальнейших переговоров. Было решено выполнять работы, требующие непрерывности, но не разрешать вывоза угля для правительственных нужд. Далее, постановлено было запретить выпуск буржуазных газет и приостановить оплату налогов.

Эти решения привели в замешательство рабочую массу; одни сейчас же бросили работу, другие стали ждать результатов конференции 18 февраля. В некоторых шахтах постановление Мюльгеймской конференции о забастовке вовсе не было известно, так как за недостатком времени и организации конференция не могла распубликовать своего решения путем прокламаций или собраний.

Р. и С. Советы и функционеры СПГ и горняцких профсоюзов собрались немедленно, в понедельник утром 17 февраля, в Бохуме и воспользовались решением Мюльгеймской конференции, как предлогом для выступления против НСПГ и КПГ. Во всяком случае, они воспользовались бы, конечно, и каким-нибудь другим поводом, чтобы саботировать всеобщую стачку. Они заявили, что опасность создана не правительственными войсками, а НСПГ и Спартаковским союзом, «которые потеряли власть над грабителями». Рабочие должны не бастовать, а протестовать против образа действий Спартаковского союза. В то же время собравшиеся обратились к правительству с просьбой принять безотлагательно меры к поддержанию спокойствия и порядка. Посреди этой чрезвычайно напряженной обстановки собралась в Эссене на следующий день, 18 февраля, назначенная 14 февраля окружная конференция, чтобы выяснить ответ правительства и решить, быть или не быть общей стачке. Комиссия, посланная в Берлин и Веймар, доложила, что правительство согласно признавать комиссию девяти в лучшем случае не далее четырех недель, до организации упомянутых выше новых рабочих камер. Рудничные Советы правительство согласно было признать лишь под тем условием, что они не будут иметь права контроля; только руководящие органы предприятий могли решать вопросы о производственных мероприятиях. Центральный рудничный Совет был попросту отклонен, а комиссию девяти должна была заменить согласительная комиссия из рабочих. Правительство заявило также: «Военные силы остаются в Рурской области. Это не является угрозой, но в случае каких-нибудь инцидентов войско будет пущено в ход».

Правительство, которое в январе чувствовало себя еще столь бессильным, что не решалось предложить компромисса, теперь, в связи с результатом выборов 19 января в национальное собрание, а также благодаря своей победе во время январских боев в Берлине и подавлению в начале февраля Бременского революционного правительства, окрепло настолько, что могло отклонить требования горняков.

Этот отказ обязывал конференцию, вместе с ее соц.-демократическими членами, осуществить всеобщую стачку. Однако, социал-демократы, под руководством Лимбертса, уклонились от выполнения своего обязательства, игнорируя ответ правительства и напав зато тем ожесточеннее на Мюльгеймскую конференцию, НСПГ, КПГ и синдикалистов. Они потребовали, чтобы немедленно было отменено проведение Мюльгеймских постановлений о всеобщей стачке, «представляющих величайшую опасность для нашей хозяйственной жизни». Таким образом, они выступили открыто против проведения всеобщей стачки. Они требовали немедленного голосования по вопросу о всеобщей стачке; они надеялись получить большинство в пользу своей резолюции, так как на конференцию явилось значительное количество делегатов СПГ без

мандатов. Но конференция отвергла голосование до проверки мандатов, после чего большинство прибывших представителей СПГ покинуло зал (314 из 520 делегатов), и ее представители вышли также из комиссии девяти. Таким образом, им удалось выпутаться из своего затруднительного положения путем саботажа стачки, которою сами они в свое время угрожали.

Проведение всеобщей стачки. Представители НСПГ, КПГ, синдикатов и около 20 членов СПГ продолжали совещаться. Хотя тактика в Мюльгейме и признана была ошибочной, все-таки было решено не саботировать вспыхнувшую уже повсеместно стачку, а об'явить сейчас же всеобщую стачку заводских рабочих и горняков. Предложение ограничить стачку тремя днями было отвергнуто 170 голосами против 36. Следующее предложение, против применения саботажа, было принято всеми против 3 голосов. Было вынесено решение продолжать стачку до тех пор, пока не будет проведена социализация. Социал-демократы вели параллельное заседание и вынесли противоположное решение прекратить всеобщую забастовку. Четыре горняцких профсоюза выпустили еще в тот же день воззвание против «безответственных спартаковских элементов» и против проведения всеобщей забастовки. «От имени подавляющего большинства предприятий мы настоятельно просим правительство принять немедленно надлежащие меры к поддержанию спокойствия и порядка и позаботиться о том, чтобы горняки могли без помехи выполнять свою работу».

Несмотря на саботаж СПГ и профсоюзов, значительная часть горняков бастовала. По сообщению Т. Р. В., 21 февраля числилось 145.000 бастующих. Вооруженные рабочие и солдаты контролировали Дортмунд, Бохум, Гельзенкирхен, Дуисбург, Гамборн, Обергаузен, Эльберфельд-Бармен, Штеркраде и, в первую очередь, Мюльгейм и Дюссельдорф. 5.000 вооруженных рабочих из Мюльгейма, Гамборна и Дюссельдорфа с 8 орудиями выступили 18 февраля в Штеркраде, где окопались в ожидании правительственных войск. В тот же день они три раза штурмовали городскую ратушу и другие здания, причем потеряли 11 человек убитыми. 19 числа они совершили более удачную атаку на ратушу в Ботропе. Согласно упомянутому уже отчету разных ведомств следственной комиссии Прусского народного собрания о Рейнской провинции и Вестфалии, «беспорядки» происходили в следующих пунктах: Дортмундский сельский округ—19—21 февраля; Бохумский округ—19 февраля; Бюр в Вестфалии—17 февраля; Гарвест-Дорстен—15 февраля; Ботроп—16—21 февраля; Горст-Эмшер—18 февраля; Эссен—21 февраля; Дюссельдорф—19—28 февраля; Обергаузен—14—20 февраля; Гельзенкирхен—14—20 февраля; Гамборн—17—27 февраля; Динслакен—12 февраля; Эльберфельд-Бармен—18—20 февраля.

Часть рабочих, следовавшая за СПГ и христианскими профсоюзами, по возможности игнорировала стачку и пыталась продолжать работать. Поэтому дело доходило часто до резких столкновений с бастующими, окончившихся в одном случае даже вооруженной схваткой между стачечниками и продолжавшими работу.

Тем временем, СПГ и профсоюзы созвали 19 конференцию в Бохуме, на которой господствовало довольно подавленное, безнадежное настроение.

Между тем как, с одной стороны, стачка и деятельность вооруженных отрядов все более ослабляли влияние СПГ, последняя, с другой стороны, прилагала все усилия, чтобы правительственные войска оставались подальше от Промышленной области, так как выступление этих войск толкнуло бы и социал-демократических рабочих на сторону бастующих. Выход был найден в решении отозвать всех членов СПГ из различных содлатских советов и образовать из них социал-демократическую республиканскую вооруженную охрану, чтобы таким путем поставить СПГ под защиту, не прибегая к помощи реакционных правительственных отрядов. Дело в том, что солдатские советы и солдатская охрана подпадала все больше под влияние НСПГ и КПГ и снабжали их оружием. Они пытались также свергнуть солдатские советы СПГ, что им удалось в Дуисбурге, Эссене, Ротгаузене, Ваттеншейде и Гельзенкирхене.

Эта республиканская охрана, носившая черно-красно-золотую повязку, была в тот же день организована еще в Гельзенкирхене. Приверженцы СПГ выступили из Солдатского Совета, стянули в ночь с 19 на 20 февраля около 400 единомышленников из всей округи и тотчас же заняли полицейское управление в Гельзенкирхене. Вечером рабочие из лагеря НСПГ и КПГ пытались взять полицейское управление приступом, но были отбиты с потерями. Республиканская охрана была усилена новыми приверженцами СПГ, и в разные места были разосланы вооруженные отряды, чтобы изгнать КПГ и НСПГ из их опорных пунктов, что удалось в Ваттене, Герне, Бюре, Ротгаузене, Ваттеншейде и Реклингаузене. Хотя КПГ и НСПГ еще контролировали Эссен, Гамборн и Мюльгейм, но у них нехватало сил расширить сферу своего влияния. Этими мерами пошатнувшееся влияние СПГ было восстановлено, и ей удалось вновь занять руководящее положение, не привлекая в Промышленную область реакционные правительственные отряды.

Переговоры и прекращение стачки. Главное, чего нехватало стачечникам, было центральное военное и политическое руководство, не только в пределах Промышленной области, но и в общегерманском масштабе. После того, как революционное движение в Берлине и Бремене было разгромлено, революционные рабочие не хотели ввязываться в безнадежные частичные схватки с правительственными войсками, тем более, что нельзя было рассчитывать на серьезную поддержку в других частях государства. Затем, в различных округах стачка пошла уже на убыль, отчасти потому, что не было возможности выдавать стачечные пособия.

Поэтому большинство заседающих в Эссене КПГ, НСПГ и Р. и С. Советов постановило 21 февраля закончить согласованно стачку на возможно лучших условиях и назначило 6 делегатов (по 3 от КПГ и НСПГ), которые были должны вместе с 2 представителями СПГ отправиться в Мюнстер к главному командованию для переговоров о прекращении борьбы. Эти переговоры состоялись 21 февраля, и было достигнуто следующее предварительное соглашение:

1. Немедленное прекращение всеобщей стачки.

2. Немедленное очищение Ботропа рабочими отрядами и занятие его правительственными отрядами. Оставление орудий в годном состоянии. Выдача всех конфискованных денежных сумм и жизненных припасов. Выдача рабочими всех заложников до 22 февраля вечером в Дортмунде.

3. Немедленно должна быть начата выдача всякого оружия, от которой освобождаются только признанные главным командованием охранные отряды.

4. Всякий саботаж должен быть прекращен. Немедленная отмена железнодорожного контроля и прекращение всякого вмешательства в железнодорожное сообщение. Восстановление свободы печати.

5. Взаимный обмен пленными, поскольку последует согласие правительства. Главное командование будет ходатайствовать перед правительством и окажет содействие тому, чтобы была предоставлена широкая амнистия за участие в боях до 21 февраля 1919 года, до 10 час. вечера включительно. Настоящее соглашение не распространяется на общие правонарушения, не связанные со стачкой.

6. На 25 число назначается новая конференция по вопросу об отводе правительств. войск к северу от Липпе. Главное командование обещает, что это будет выполнено в том случае, если все условия будут соблюдены, всеобщая стачка немедленно прекратится и будет восстановлено спокойствие в Промышл. области [1].

В тот же вечер заседающая в Эссене конференция Р. и С. Советов после очень бурных прений приняла всеми голосами против 9 эти условия и постановила немедленно прекратить всеобщую стачку, что и было выполнено, так как не было возможности добиться лучших условий. Но лишь через несколько дней удалось окончательно ликвидировать стачку. 25 февраля в Бохуме Р. и С. Советы важнейших пунктов постановили организовать народную охрану из 15 человек, чтобы таким путем не допустить правительственные войска в Промышленную область. Тем не менее, после ожесточенных схваток и с помощью охранных отрядов правительственные войска вступили 23 в Ботроп, 24 в Штеркраде и 27 в Гамборн, под тем предлогом, что соглашение 21 февраля не было соблюдено. На этой конференции, на которой присутствовали представители всех рабочих организаций, за исключением коммунистов, было единогласно решено послать войска и в Дюссельдорф, что и было выполнено уже на следующий день. В тот же день был опубликован приказ Главного командования о роспуске всех ненадежных охранительных отрядов Р. и С. Советов.

Критика стачки и ее результаты. Стачка с данной целеустановкой, заключавшейся в социализации горного дела в пределах существующего государства, должна была окончиться поражением, так как подобного рода цель не может быть осуществлена в рамках этого государства. А для борьбы против существующего государства рабочие массы не были еще политически достаточно зрелы. Но и при большой политической зрелости борьбу нельзя было бы ограничивать одной только отраслью промышленности, и в ней, опять-таки, только одним округом, хотя бы и важнейшим в данной отрасли. Здесь крылась, вообще, одна из величайших слабостей пролетарских боев германской революции: в данный момент она разыгралась в географически или профессионально узких границах.

Однако, рассматриваемая как частичное выступление, стачка могла способствовать развитию политической зрелости в широких рабочих массах. Роль СПГ стала для многих рабочих яснее, хотя и не в полной мере: три партии в комиссии девяти имели в виду две противоположные цели, и революционное руководство в руках КПГ и НСПГ не ставило себе единой цели. К тому же, среди рабочих усиливались синдикалистские течения, проникав-

[1] Гектографированная копия соглашения.

шие даже в КПГ. Благодаря этому, руководство революционных элементов не было единым и уступало в смысле искусности руководству СПГ. Все эти обстоятельства привели к тому, что до середины февраля тактика не отличалась достаточной решительностью, а затем на Мюльгеймской конференции уступила место, напротив, чересчур скороспелым решениям. Когда, таким образом, руководство борьбою ускользнуло от революционных элементов, стачка не могла и формально привести к победе.

Цель стачки—социализация горного дела, не удалась. Это означало формальную победу правительства, СПГ и профсоюзов. Экономическое положение рабочих после стачки и предшествующих частичных стачек в январе и феврале тоже скорее ухудшилось, чем улучшилось. Точно так же, боевое положение рабочих было ослаблено роспуском радикальных рабочих охран и оккупацией,—хотя бы даже временной,—известной части области реакционными войсками. Таким образом, если рассматривать стачку вне связи с другими событиями, то ее результаты означали поражение для революционного движения, но зато, с точки зрения общего революционного развития, она имела противоположное влияние. Благодаря поведению СПГ и профсоюзных вожаков, а также и правительства, многие рабочие, которые до сих пор следовали за СПГ или были политически индиферентны, вынуждены были признать, что она не поддерживает серьезно ни социализацию, ни интересы рабочих в их борьбе против шахтовладельцев, и даже саботирует их. Доверие рабочих к старым профсоюзным вождям было также сильно поколеблено частичным ухудшением их материального положения с начала января до конца февраля. Далее, разоружением радикальных охранительных отрядов и частичным привлечением реакционных добровольческих корпусов правительство вызывало против себя все большее ожесточение. Стачка, как отдельное звено в цепи развития, означала, поэтому, не только растущее развитие пролетарского сознания среди значительной части рабочей массы в Промышленной области (а отчасти также среди рабочих всей Германии), но способствовала также осознанию многими рабочими экономических и политических противоречий между СПГ и профсоюзными вожаками, с одной стороны, и революционными течениями, воплощающимися в синдикалистах, коммунистах и левом крыле НСПГ—с другой. Кристаллизация же революционного развития вокруг единой партии была затруднена тем обстоятельством, что КПГ в Рурской области была молода и имела еще мало революционных традиций и авторитета среди масс. К тому же, в Рурской области КПГ не прошла еще школы четкого и единого идеологического развития, не отграничилась еще резко от синдикалистов и НСПГ и не имела крупных вождей. Это об'ясняется отчасти тем обстоятельством, что благодаря анти-революционной установке профсоюзов и многих Р. и С. Советов, этих органов революции, культивировалась расплывчатая синдикалистская идеология, отвергавшая всякую крепко сплоченную, централизованную организационную форму, которую не могли создать ни эклектическая НСПГ, ни маленькая еще КПГ. В этом обстоятельстве коренилась, с одной стороны, самопроизвольная и стихийная форма несравненно более значительной стачки, которая возникла в апреле,—а с другой—ее слабость и обреченность.

IV. Второй бой за власть

Подготовка к дальнейшей борьбе. Февральская стачка не достигла своей цели, и в Рурской области дело не дошло до окончательного разрешения тяжбы между правительством и революционными рабочими. Оба противника сознавали это, и каждый из них старался насколько возможно укрепить свою позицию к предстоящему бою.

Укрепление власти со стороны правительства, СПГ и профсоюзов. а) Военные меры. Как уже упоминалось, СПГ составила из входящих в нее рабочих вооруженную охрану, действующую рука об руку с правительственной армией, и 25 февраля выпустила в Бохуме воззвание об организации такой охраны для всей области. 3 марта были установлены директивы для об'единения местных охранных отрядов в общий охранный центр, с целью подавлять в будущем все беспорядки в зародыше. Местные отряды подразделялись на активные, связанные с полицией и несшие постоянную службу за определенное вознаграждение, и пассивные, которые должны были являться только по сигналу о тревоге. Они должны были стоять на платформе правительства и национального собрания. Требовалось строгое соблюдение дисциплины и безусловное повиновение вожакам; доверенные люди должны были также собирать сведения о противнике (шпионаж).

5 марта состоялась в Бохуме под председательством представителя горняцкого профсоюза Гуземана конференция Р. и С. Советов, различных рабочих организаций и охранных отрядов Бохума, Гельзенкирхена, Гаттингена, Герне и пр., на которой присутствовали высшие чиновники и представители главного командования и Арнсбергского правительственного президента. Было решено организовать охранные отряды по-военному, с центром в Герне, и усилить их гражданской, рудничной и народной охранами. Издержки должно было нести государство. Правительственные войска, в количестве около 20.000 человек, должны были оставаться в качестве резерва вне Промышленной области. В самом Герне состоялось 26 числа заседание представителей упомянутого выше охранного центра, в котором участвовали делегаты различных городских управлений, рабочих Советов, народных охран и полицейских властей, с целью создать более тесный контакт с этим центральным органом.

б) Частичные уступки. Под давлением последней стачки, а также всеобщей стачки в Центральной Германии, вспыхнувшей в конце февраля, правительство сочло необходимым сделать рабочим некоторые уступки. 12 марта было заключено соглашение с горнорабочими Центральной Германии о введении аполитических производственных советов. Это было сейчас же использовано горняцким профсоюзом Рурской области для пропаганды в целях успокоения. Он созвал на 16 число в Бухуме конференцию рабочих комитетов, т. е. производственных советов. Здесь всеми голосами против трех была принята резолюция в пользу правительственной политики по вопросу о производственных советах. Тем же большинством голосов была отвергнута комиссия девяти. Раздававшееся повсеместно требование 6-часо-

вого рабочего дня было признано «принципиально», но с фактическим введением 1 января 1921 г.!

На следующей неделе, 23 марта, общегерманское правительство, в свою очередь, обнародовало закон о социализации, важнейшая часть которого (§ 2) гласила:

Государство полномочно, в законодательном порядке против надлежащего возмещения:

1. реорганизовать на началах общественного хозяйства отдельные хозяйственные предприятия, поддающиеся обобществлению, в особенности предприятия по добыче ископаемых и по использованию сил природы.

2. в случае неотложной необходимости регулировать на началах общественного хозяйства изготовление и распределение хозяйственных ценностей.

Детальные инструкции о возмещении имеют быть определены дальнейшими особыми законодательными актами.

Таким путем правительству удалось произвести известное, хотя и преходящее впечатление на некоторую часть рабочих, тем более, что вожаки постарались раз'яснить этот закон рабочим в самом выгодном свете.

в) Общинные выборы и последовавшее за ними устранение политического характера Советов. 2 марта, вскоре после прекращения февральской стачки, состоялись общинные выборы по всей Пруссии. Правительство надеялось на политическое успокоение хотя бы некоторой части рабочих в связи с тем фактом, что сошли со сцены старые, построенные на основе классового избирательного права городские и общинные парламенты, против которых социал-демократия постоянно боролась еще перед войною, и что взамен их теперь были избраны новые парламенты на основе всеобщего избирательного права. Хотя результаты выборов в общинах означали усиление СПГ, по сравнению с довоенным временем, но обнаружилось также и усиление буржуазного влияния по сравнению с выборами 19 января в национальное собрание. Вся буржуазная политика СПГ получила теперь и в городских общинах сильную опору. СПГ и буржуазные партии в городских парламентах приступили теперь повсеместно к ограничению полномочий Р. и С. Советов разных городов и общин, чтобы в конце-концов совершенно избавится от их контроля и упразднить их. Этому помог и центральный Совет, учрежденный первым общегерманским Конгрессом Советов. Он постановил, что до 30 марта все Р. и С. Советы в Германии должны быть переизбраны, и притом на основе избирательной системы, дававшей слишком 90% жителей право голоса при выборах в Советы. Точные результаты этих выборов не было возможности выяснить, но представление о составе Рабочих Советов в августе того же года дает приведенная ниже таблица. Так как после марта и до августа новых выборов не было, то таблица дает довольно надежную сводку результатов. Обращает на себя внимание, с одной стороны, значительное количество буржуазных представителей, а с другой—рост НСПГ.

(Не ответили на анкету: Ротгаузен, Рансдорф, Обергаузен, Ремшейд, Вельберт, Кроненберг, Невигес, Гейлигенгауз, Метман, Фовинкель).

Рабочие советы в Нижне-Рейнском округе (сводка составлена 20 августа 1919 г.)

	КПГ	НСПГ	СПГ	Буржуазные партии	Итого	Исполнительный Комитет: Политич. состав	Число членов	В том числе оплачиваемых
Дортмунд	--	6	1	17	24	Буржуаз.	?	2
Бармен	--	8	12	16	36	СП	3	--
Дуисбург	15	5	17	25	62	СП	16	6
Дюссельдорф	—	29	7	24	60	СП	5	7(?)
Эккамп	--	5	2	1	8	НС	2	1
Эльберфельд	--	8	12	16	36	СП	6	4
Эссен	--	7	8	15	30	Б/СП	4	1
Гамборн	14	--	4	5	23	КП	7	7
Кетвиг	1	—	6	3	10	СП	--	--
Край	--	6	8	1	15	СП	3	3
Купфердре	--	1	5	6	12	Б/СП	—	2(?)
Леннеп	2	8	2	—	12	НС	3	3
Граутен	--	6	3	—	9	НС	?	1
Мюльгейм	2	25	10	23	60	СП	5	5
Раде	—	10	10	—	20	НС/СП	5	2
Ратинген	--	3	--	2	5	НС	5	5
Штоппенберг	—	4	3	8	15	Б	5	5
Верден	--	4	1	—	5	НС	?	2
Вессель	5	--	12	19	36	Б	3	3
Вюльфрат	--	8	2	2	12	НС	6	1
Всего	39	143	125	183	490	--	78	60

Распущены: Купфердре, Лангенберг, Лутринггаузен, Гулькерваген, Ремшейд, Обергаузен, Вельберт, Штееле, Эркрат, Штеркраде, Верден.

Рост революционного движения. Вследствие измены проф-профсоюзных вожаков в февральской стачке, большинство горнорабочих покинуло старый горняцкий профсоюз, и среди них распространилась тяга к революционной боевой организации. Повсюду появились местные рудничные организации, созданные рабочими в противовес реакционным профсоюзным вожакам. Одновременно все больше выдвигалось на первый план пропагандируемое коммунистами требование 6-часового рабочего дня. Различные мелкие стачки вспыхнули уже в начале марта; 18-го числа на двух шахтах в Гамборне принято было решение ввести 6-часовой рабочий день. То же самое произошло 24-го числа на ряде шахт Дортмундского района, а затем и в Бохумском районе. Революционное настроение обострялось благодаря занятой правительством позиции и его мероприятиям. 10 марта Носке принял в Веймаре делегатов разных партий по вопросу о прекращении осадного положения, оплаты 75% стачечных дней, об'явления амнистии, устранения экзекуций и учреждения рабочей охраны. Правительство дало им уклончивый ответ: стачечных дней в правительственных предприятиях оно, якобы, не оплачивает, должна быть устроена не рабочая охрана, а всеобщая народная охрана. В телеграмме правлению Германско-Люксембургского горнозаводского акционерного общества правительство высказалось также против 6-часового рабочего дня. Растущее революционное настроение, которое теперь и политически

проявлялось гораздо сознательнее, чем двумя месяцами раньше, выразилось в новой стачечной волне. В Эссене, Дортмунде, Бохуме и других местах к концу месяца десятки тысяч рабочих были охвачены забастовкой. Все более проявлялась сознательная революционная позиция, что показали следующие требования, пред'явленные правительству 27 марта в Лангендреере:

1. Признание Р. и С. Советов. 2. Немедленное проведение Гамбургских пунктов (направленных против восстановления командной власти офицеров). 3. Освобождение всех политзаключенных. 4. Немедленное образование революционной рабочей охраны. 5. Немедленное установление политических и экономических сношений с Советским правительством России. 6. Немедленное введение 8-часовой смены. 7. Обезоружение полиции в Промышленной области и во всей Германии.

•

Начало всеобщей стачки. Стачечная конференция 30 марта. В описанном заседании старая комиссия девяти созвала новую конференцию на 30 марта. Присутствовало 370 делегатов от 195 рудников, хотя соц.-дем. профсоюз горняков запретил всякое участие в конференции под страхом исключения из союза. Большинство делегатов принадлежало к коммунистам и синдикалистам. Эта конференция, которая была хорошо подготовлена и созывалась с целью основания сплоченной революционной организации в противовес профсоюзам, приняла следующую «учредительную резолюцию»:

Все горняки об'единяются в одну организацию под названием «Всеобщий Союз Горнорабочих». Их органы и штейгерские участковые Советы, производственные Советы, горные участковые Советы и центральный рудничный Совет принимают на себя задачи комиссии девяти. Взносы всем другим организациям прекращаются. Новый центральный рудничный Совет должен составить проект организации.

Конференция об'явила всеобщую стачку с целью проведения следующих 11 требований:

1. 6-часовая смена, включая спуск и под'ем, с оплатой из расчета 8 часов.
2. Повышение зарплаты на 25%.
3. Регулирование вопросов ученичества.
4. Признание советской системы.
5. Проведение 6 гамбургских пунктов.
6. Немедленное освобождение всех политзаключенных.
7. Немедленное образование революционных рабочих охран.
8. Немедленный роспуск добровольческих корпусов.
9. Немедленная установка сношений с Советской Россией.
10. Разоружение полиции в Промышленной области и во всей стране.
11. Оплата стачечных смен.

Ответ правительства. На следующий день реакционным генералом фон Ваттером было об'явлено осадное положение, и правительство направило сильные войсковые части в область, охваченную стачкой; повсюду были установлены чрезвычайные военные суды. Требования горнорабочих были отвергнуты со следующей мотивировкой: «Правительство, принявшее подобные требования, было бы могильщиком республики, народа и свободы». Бастующим запрещалось выдавать жизненные припасы, продолжающим же

работать была обещана премиальная прибавка снабжения соответственно повышению добычи. Правительственное сообщение заканчивалось словами:

> Германское правительство обязано сохранить жизнь народу. Оно не должно отдавать республику убийственному террору со стороны одной провинции и одного сословия. Все тому, кто работает! Ничего тому, кто в настоящий момент бастует! Иначе для Германии нет спасения.

31 марта против стачки выступили и 4 крупных горняцких профсоюза. Они завили себя за 6-часовой рабочий день, если он будет установлен интернациональным путем (!). Тем не менее стачка разразилась с гораздо большею силой, чем в феврале. 1 апреля бастовало ¼ миллиона рабочих всех профессий.

Дальнейший ход стачки. 4 апреля собралась вторая конференция революционных горняков; присутствовало 450 делегатов от 207 рудников. Данный правительством ответ и принятые им меры так возмутили рабочих, что они вынесли следующие постановления:

> 1. Конференция отнимает у старого союза право говорить и действовать от имени революционных горняков. Руководство переходит в руки центрального рудничного Совета в Эссене (комиссия девяти).
>
> 2. Призыв к революционным рабочим Средней Германии и Верхней Силезии заявить о своей солидарности.
>
> 3. Конференция постановляет, что если до полудня 9 апреля требования горнорабочих не будут полностью удовлетворены, должны быть прекращены работы, требующие непрерывности.
>
> 4. Те, кто нанимается в правительственные отряды, не будут больше допущены к работе.

В тот же самый день правительство ответило об'явлением усиленного осадного положения в Рурской области. Повсеместно забастовщики арестовывались, подвергались насилиям и по незначительным даже поводам расстреливались военными судами. Но несмотря на все это, число бастующих разрасталось со дня на день; 6 апреля оно составляло, по сведениям горняцкого профсоюза, 268.000 человек всех профессий, а по данным стачечного комитета—400.000 человек. Вырабатывался даже план, хотя и не осуществленный, образовать красную армию; на каждой шахте должен был производиться опрос о боеспособности ее рабочих, а также о наличии оружия и военного снаряжения.

Удушение стачки. Попытки компромисса. Все движение приняло гораздо более бурный характер, чем первоначально полагало правительство. Сверх того, реакционная военщина действовала с таким зверством, что еще более ухудшало положение правительства. Так, например, отряды майора Шольца стреляли в собрание доверенных людей синдикалистского свободного об'единения и убили двух из присутствовавших. Остальное собрание было предано военному суду; через 5 дней 45 человек были присуждены к тюремному заключению от 6 месяцев до 2 лет, большинство из них—только за участие в недозволенном собрании. Но насилиям подвергались не только забастовщики, но и СПГ и профсоюзные вожаки.

Как и после февральских беспорядков, доносительство процветало, и нередко самые верные слуги правительства подвергались придиркам, насилиям и даже аресту на основании совершенно ложных доносов. (Зеверинг «Im wetter und wetterwinkel», стр. 35).

В конце концов правительство послало 7 февраля в Рурскую область Карла Зеверинга, в качестве государственного комиссара, чтобы возможно скорее ликвидировать стачку. Прибыв в Дортмунд, он устроил совещание с СПГ и профсоюзными вожаками, а также с уполномоченным командования в выборном районе, после чего решил отозвать военную силу только там, где соблюдались порядок и спокойствие. Наконец, в Эссене состоялась 9 февраля, под шум уличной борьбы, конференция представителей союза шахтовладельцев и горняцких профсоюзов под председательством министра труда Брауэра и в присутствии Зеверинга. Под давлением событий была, наконец, принята 7-часовая смена, но профсоюзы заявили теперь, что потеряли власть над рабочими. Комиссия девяти была схвачена добровольческим корпусом «Молниеносный удар», после того, как отклонила приглашение комиссии для переговоров. В то же самое время комиссия Каутского по социализации подала в Берлине в отставку вследствие невозможности совместной работы с Министерством народного хозяйства. Правительственные же отряды продвигались все дальше. 9 числа они заняли заводы Круппа, распустили народную охрану СПГ и образовали буржуазную охрану. Реакционный добровольческий корпус «Молниеносный удар» действовал столь зверски, что даже социал-демократическая рабочая газета в Эссене запротестовала. Мюльгейм был тоже занят, и 17 членов местного Р. и С. Совета были арестованы по обвинению в государственной измене Все политические газеты подверглись запрещению. Затем войска были посланы в Дюссельдорф, где дело дошло до жарких схваток, и в других местах тоже воцарился террор. В командный округ VII Армейского корпуса был назначен новый комиссар, который по соглашению с военным начальством об'явил 10 апреля следующий приказ:

Все жители мужского пола с 17 до 50 лет обязуются в случае нужды по призыву общинных властей выполнять работы, требующие непрерывности.

Неподчинение сему наказуется штрафом в 1 500 марок или 1 годом тюрьмы.

На следующий день Зеверинг воспретил все собрания НСПГ, КПГ, Свободного об'единения и Союза горнорабочих. Тем временем правительственные войска получили новые подкрепления пулеметами и полевыми орудиями. На это конференция бастующих в Кетвиге постановила 11 апреля продолжать стачку до признания комиссии девяти и выполнять неотложные работы лишь в том случае, если будет снято осадное положение.

Между тем уполномоченные старых-горняцких профсоюзов собрались 11 апреля в Бохуме на конференцию, на которой 318 голосами против 82 высказались за возобновление работы, но лишь на следующих условиях: 1. Введение 7-часовой смены; 2. Вопрос о 6-часовой смене должен быть «изучен» правительственною комиссией; 3. Лучшее снабжение жизненными припасами; 4. Повышение больничных пособий; 5. Повышение прибавок на дороговизну для инвалидов и вдовцов; 6. Увод войск.—Ударная сила стачки

перешла уже, однако, в это время свою кульминационную точку. Материальное положение рабочих было плачевное. Стачечных пособий нехватало. Политическое руководство не было единым и четким. Часть бастующих попыталась достигнуть соглашения. 15 апреля последовала первая общая попытка ликвидировать забастовку. Присутствовали стачечный комитет, представители НСПГ, окружных Р. и С. Советов, районных Р. и С. Советов, делегация городских предприятий, представители городского управления, гражданских и военных властей и всех профсоюзов. Стачечный комитет выразил готовность возобновить неотложные работы, если войска будут отозваны и служба охраны будет выполняться полицией.

Эти попытки были сорваны, так как в тот же вечер в Вердене, в Метманском районе, стачечная конференция в составе около 650 делегатов, обсуждавшая вопрос о 7-часовой смене, подверглась нападению отрядов добровольческого корпуса «Молниеносный удар», которые ее обстреляли и убили одного участника. Около 400 делегатов были захвачены, и их погнали в Эссен с поднятыми руками. По дороге они не только подвергались оскорблениям и насилиям, но был расстрелян еще один делегат. Это событие вызвало во всей Рурской области неописуемое возбуждение.

Вслед за тем состоялась 17 апреля в Дортмунде чрезвычайно бурная конференция бастующих горняков в присутствии правительственного комиссара Зеверинга. Присутствовало 1.000 делегатов. Зеверинг заявил, что должны остаться в силе условия, выработанные 11 апреля соглашением между центральным союзом и горняцкими организациями, и что он ничего не может сделать для освобождения комиссии девяти. На это конференция ответила единогласным решением продолжать стачку, пока не будут приняты следующие требования:

1. Освобождение комиссии девяти;
2. Признание комиссии девяти;
3. 6-часовая смена;
4. Повышение заработной платы на 25%;
5. Повышение рент (оплаты подручных);
6. Против рабочих камер;
7. Советская система в горном деле;
8. Оплата ⅔ стачечного времени;
9. Гамбургские пункты;
10. Роспуск добровольческих союзов и вооружение революционного пролетариата;
11. Сношения с Советской Россией;
12. Свобода собраний и снятие осадного положения.

Но это был уже только арьергардный бой, так как конференция не имела больше за собой рабочей массы, которая частью уже истощила в борьбе свои силы и была терроризована.

Ликвидация стачки. Хотя 24 апреля делегатским собранием в Дуисбурге, на котором присутствовало 200 человек, решено было проводить «усиленную всеобщую стачку», с прекращением непрерывных работ, стачка со дня на день таяла. Так, по сообщению W. T. B., в этот день числилось лишь 147.658 бастующих, а 26 апреля—87.145. Нехватало стачечных пособий.

Вновь назначавшиеся стачечные комитеты опять все арестовывались. 26-го числа германский министр народного хозяйства Шмит об'явил в Дортмунде, что полученные из Америки припасы будут распределяться в качестве прибавки небастующим горнякам. Так как материальное положение бастующих непрерывно ухудшалось, то эта прибавка способствовала, разумеется, укреплению правительственной власти, и в конце месяца стачка потухла. Предпринятая в конце мая центральным рудничным Советом (комиссией девяти) попытка поднять новое движение под лозунгом «социализация горного дела» не имела успеха. Профсоюзные вожаки и шахтовладельцы увенчали свою победу, закончив 2 июля соглашение о сотрудничестве в горной промышленности всей Германии.

Значение и результаты стачки. Апрельская стачка была величайшей экономической битвой за всю германскую революцию. Она продолжалась один месяц и охватила до полумиллиона рабочих, значительно превзойдя по своим размерам февральскую стачку. Из пропущенных 7.009.431 смен в горной промышленности от начала революции до конца апреля 5.159.000 смен падает на апрельскую стачку. О размахе апрельской стачки можно также судить по следующей сводке угольной промышленности в Рурской области.

Ежедневная добыча каменного угля

	Годы	Добыча в тоннах	
		Всего	На 1 рабочего
За весь год	1913	379 700	0 972
Январь—октябрь	1918	329 100	0 744
Ноябрь	1918	260 500	0 659
Январь	1919	240 700	0 565
Февраль	1919	226 100	0 526
Март	1919	242 100	0 578
Апрель	1919	88 600	0 213
Май	1919	223 800	0 542
Октябрь	1919	257 300	0 568

Сюда нужно еще причислить другие профессии, которые, правда, принимали только частичное участие в стачке.

В соответствии с этим, апрельская стачка имела также более крупное политическое значение, чем февральская стачка. Особенно важно гораздо более острое и четкое выявление политических требований, чем во время февральской стачки. Несмотря на не вполне еще ясную в некоторых отношениях установку, требование Советской системы, вооружение пролетариата и чувство солидарности с русской и венгерской революциями были большим шагом вперед по сравнению с февралем.

Но именно потому, что стачка ставила себе гораздо более четкую политическую цель, несравненно отчетливее выявилась невозможность осуществления этой цели, когда активное выступление ограничивается таким узким полем. Нехватало связи с событиями в остальной Германии. Стачка наступила слишком рано или слишком поздно. Она наступила уже по окончании стачки в Центральной Германии и после того, как мартовские бои в Берлине окончились неудачей и способствовали ухудшению революционной ситуации. С другой стороны, она наступила слишком рано, чтобы вместе с Мюнхенской Советской республикой образовать единый революционный фронт. Отсутствие единого центрального руководства отомстило теперь за себя еще больше, чем в феврале.

На этот раз стачка все-таки отвоевала у правительства и шахтовладельцев ряд уступок: сокращение рабочего времени, незначительное повышение зарплаты, лучшее снабжение жизненными припасами, отчасти—производственные Советы. Хотя эти уступки были частью лишь кажущимися или преходящими, тем не менее они имели результатом некоторое «успокоение» известной части рабочих. С другой стороны, революционных рабочих охватило уныние, так как они имели ввиду совершенно иные цели. К тому же, около 3.500 доверенных людей, выбранных забастовщиками, находились в тюрьме. Оба эти фактора действовали совместно в том направлении, что в Рурской области установилась передышка, сменившаяся лишь боями в связи с Капповским путчем.

В военном отношении рабочие были ослаблены дальнейшими разоружениями, происходившими во время боя и после него. Этому способствовало также обещание военных властей выплачивать по 100 марок за каждое сданное ружье.

Озлобление рабочих против профсоюзов и СПГ выразилось в том, что значительное количество горняков покидало горняцкий профсоюз. Если в конце марта он насчитывал еще 190.309 членов, то к концу июня это количество упало до 147.882, и только в декабре медленно возросло до 159.136. Эти рабочие частью оставались неорганизованными, частью же перешли в сильно синдикалистски окрашенный Союз Горнорабочих («Бергарбейтерунион»). Политически это настроение выразилось в относительном ослаблении СПГ и тем более сильном росте НСПГ и синдикалистов. Усиление синдикалистского течения сказалось на созванной синдикалистами 2 мая конференции горнорабочих. Конференция, на которую явились представители 100 производственных советов и комитетов, решила впредь больше не выставлять политических требований и ограничиваться исключительно экономическими требованиями, в первую очередь—добиваться проведения 6-часового дня в рудничных предприятиях. Был образован комитет из 15 членов, с поручением составить список работодателей, с которыми надлежит вступить в переговоры относительно введения 6-часовой смены.

КПГ более выдвинулась на сцену лишь к концу года и затем во время Капповского путча в 1920 г., так как во время стачки и после ее окончания большинство ее вожаков было арестовано, что, естественно, очень тормозило

деятельность партии. Несмотря на все эти отрицательные моменты, стачка имела тот положительный результат, что способствовала среди части рабочей массы развитию политической зрелости, которая проявилась не сразу, а лишь год спустя, во время Капповского путча.

V. Исчезновение Р. и С. советов

В то время как в февральской стачке Р. и С. Советы являлись еще носителями революционного движения, в апрельской стачке они играли лишь совершенно второстепенную роль. Об'ясняется это, конечно, главным образом, тем, что СПГ и правительство систематически ограничивали власть и полномочия Советов, благодаря чему многие революционно настроенные рабочие потеряли доверие к этим бессильным организациям. Это доказывает, в свою очередь, что Р. и С. Советы могут быть подлинно пролетарскими органами лишь в том случае, если берут на себя борьбу за всю экономическую и политическую власть пролетариата. Принять же на себя такую задачу они в состоянии лишь при том условии, если революционное классовое сознание рабочих масс настолько сильно и широко развито, что может в форме централизованной политической партии контролировать Советы. Но так как в 1918/19 г. этих предпосылок не было налицо, то, естественно, Р. и С. Советы должны были постепенно исчезнуть.

Это произошло частью путем ограничения об'ема их власти, частью путем лишения их правительством всякой финансовой поддержки. Так, в послании Прусского правительства от 6 мая правительственному президенту Крузе в Дюссельдорфе сообщалось следующее решение:

> Так как согласно законодательным постановлениям полномочия по контролю после проведения общинных выборов принадлежат новоизбранному общинному совету, то в настоящее время не должно вмешиваться в порядок надзора, поскольку новоизбранный общинный совет считает, что дальнейшая деятельность местных рабочих советов на ряду с общинным представительством является излишней.

Подобный же ответ дал Центральный Совет в Берлине на запрос Дюссельдорфского рабочего Совета.

Далее, Центральный Совет Арнсбергского правительственного округа в заседании 27 мая постановил, что Рабочие Советы должны до 30 июня прекратить свой контроль в городских, административных и общинных учреждениях. Рабочие Советы могли продолжать существовать «до распоряжения Национального Собрания об их судьбе», но не получали финансовой поддержки.

После этого, Рабочие Советы существовали еще некоторое время благодаря поддержке различных рабочих организаций, но деятельность их ограничивались тем, что они там и сям прикладывали свою печать к уже выпущенным коммунальным постановлениям. К концу 1919 г. большинство их уже сошло со сцены, некоторые же влачили жалкое существование еще до конца следующего года, как карикатуры былого органа пролетарской власти.

(Перевод с немецкой рукописи)

Н. Рубинштейн

К истории Учредительного собрания в России[1]

Партии на выборах в Учредительное собрание

Эсеровские «историки» Учредительного собрания в эмигрантской литературе—эта тема почти монопольно принадлежит эсерам—весьма любовно останавливаются на истории первого и последнего дня российской Конституанты. Играет ли здесь роль расчет на сострадание мелкобуржуазной демократии, или «скоротечная» память учредиловцев сохранила только самый момент крушения меньшевистско-эсеровских идеалов,—факт остается фактом. Пред'история 5-го января 1918 г. не находит исследователей среди зарубежных историков и мемуаристов.

А эта пред'история Учредительного собрания представляет исключительный интерес, потому что она показывает нам роль главного персонажа развертывавшихся в ноябре—январе 1918 года событий. Как отнеслись массы к Учредительному собранию накануне его созыва? Не намечались ли контуры 5-го января в октябре—декабре 1917 г., во время предвыборной кампании и выборов в Учредительное собрание?

Вопросы эти заслуживают пристального рассмотрения.

Партия, которая могла надеяться получить большинство в У. С., была партия эсеров. Эсеровская партия, располагавшая слабо развитой организацией, неслыханно выросла за время Февральской революции, включив в свои ряды большое количество городской мелкой буржуазии—т. н. «мартовских» эсеров и, в особенности, крестьян. Расплывчатая программа, тактика Burgfrieden'a, славные предания о терроре 1900-1911 годов—все это привлекло к эсерам симпатии городской мелкой буржуазии. Крестьянство помнило эсеровскую партию еще по 1905 году, как партию «крестьянскую». Эту репутацию эсеры по наследству сохранили и в феврале. Старые лозунги «Земля и воля»,—«вся земля всему народу»—укрепляли доверие крестьян к партии. Насколько быстро рос количественный состав партии—показывает следующий пример. В особой армии юго-западного фронта число «сочувствующих» партии эсеров, регулярно плативших членские взносы, равнявшееся в мае 1917 г. 8.000—в сентябре достигло 135.000, т. е. выросло в 17 раз.

Но этот рост был нездоровым. Он показывал, что крестьянская масса доверяла партии эсеров, надеялась на скорый раздел земли, на заключение

[1] Статья представляет собой отрывок из подготовляемой к печати работы об Учредительном собрании.

мира. Политика же партии до и во время коалиции все больше и больше подрывала доверие к партии. Обещания социализации земли попрежнему красовались на газетных листах, практика же демонстрировала задержку закона о запрещении земельных сделок, затягивание выработки земельного законодательства, отсрочку созыва У. С., которое должно было окончательно решить вопрос о земле, и наконец, аресты земельных комитетов, произведенные по приказу «селянского» министра Чернова. В этом же направлении действовала военная политика партии. Наступление 18 июня было подготовлено при деятельном участии эсеров, эсерами были заняты почти все посты комиссаров войсковых соединений, эсер Керенский ввел смертную казнь на фронте.

Вскоре сказались последствия разношерстного классового состава партии. Первыми самоопределились правые с.-р., сгруппировавшиеся вокруг «Воля народа». Группа «Воля народа», обвинявшая в половинчатости партийное руководство, стояла за «твердую» политику, осуществляемую в тесном союзе с корниловской буржуазией. К осени начало оформляться левое течение—главным образом Петроградской организации, где партийные низы испытывали наибольшее давление со стороны большевистски настроенных рабочих столицы.

Центр во главе с Черновым делал судорожные попытки сохранить партийное единство.

Наиболее ярким выражением внутри-партийного кризиса является обращение к партийным товарищам группы старых работников партии эсеров (Сем. Маслов, Ракитников, Быховский, Зензинов, Фейт, Пумпянский, Тимофеев, Авксентьев и др.), примыкавших к «центру». Обращение констатировало, что партия переживает состояние кризиса. Приток в партию большого числа «ненадежных» членов, разногласия по текущей политике, в особенности в вопросе о войне, идейный разброд в Центральном Комитете и центральном органе партии, ослабление партийной работы вследствие того, что многие члены партии заняты в муниципалитетах, обусловили, по мнению авторов обращения, необходимость изменить положение вещей. «Целость партии, ее моральный авторитет—в опасности»,—заявляло обращение. «По всем вопросам у нас два, а то и три мнения; во все важные моменты у нас две, а то и три линии поведения. И по какой идет партия социалистов-революционеров,—никто не скажет... Партия соединила в своих рядах много, слишком много народа. Но она уже не столько армия, которая ведет борьбу за свои идеалы, за свою программу, сколько арена борьбы разнородных элементов...». Авторы обращения видели выход в выработке строгой тактической линии, не останавливаясь перед отсечением. «Теперь нельзя растяжимыми каучуковыми резолюциями создавать видимое единство между элементами, разошедшимися в разные стороны. Такое единство не проживет и дня». [1].

Но если «Обращение» нащупывало некоторые верные черты диагноза болезни, то в определении методов ее устранения оно оказывалось бессиль-

---

[1] «Народ» газета партии с.-р. и Нижегородск. Губ. Совета Крест. Депутатов. Н.-Новгород, 1917 г., № 46, 30/VIII.

ным. В качестве целебных средств авторы «Обращения» предлагали бороться за мир без аннексий и контрибуций, за демократизацию и укрепление мощи армии. Считая, что социализацию земли должно провести У. С., они считали необходимым урегулировать аграрный вопрос до созыва У. С. специальным законодательным актом, который передал бы всю землю во временное ведение земельных комитетов. Само собой разумеется, что непременным условием всех этих мероприятий авторы обращения считали сохранение коалиции.

Другими словами, болезни, коренившиеся в мелкобуржуазном центризме, предлагалось лечить центристской же программой действия. Это заранее осуждало «Обращение» на роль лишнего документа.

Полевение партийных низов сильно сказалось после июля. Правда, партийному руководству удалось добиться перед выборами некоторого компромисса, когда разногласия в партии не были еще так заострены (вспомним, что списки кандидатов составлялись до Октябрьской революции). В Учредительное собрание партия шла с единым списком, включавшим и кандидатуры левых с.-р. Но в местных парторганизациях, в особенности в рабочих центрах партии, происходило размежевание.

На первом с'езде партии левых с.-р. (интернационалистов) в конце ноября большинство делегатов отмечало трудность агитации за совместные списки партии с.-р. «Сколько там ни говори, что мы—левые, они—правые,— заявлял представитель Одессы — Шифер, — массы, видящие общий список в У. С. и прежнюю совместную работу, этого не понимают, и партия эсеров в глазах массы в данный момент сильно дискредитирована» [1].

Нередко избиратели, посылая в У. С. эсера, давали ему наказ, содержавший большевистскую программу. В Ямбурге один крестьянин внес поправку к эсеровской резолюции: «Возьмем землю сами, если не даст У. С.». Благодаря этой «поправке» резолюция была провалена.

Кое-где эсеровские низы, не желая голосовать за об'единенный список, переходили на сторону большевиков. Так было, напр., в Баку, где собрание с.-р. Сураханского района 23 ноября (6 декабря) высказалось за поддержку власти Совета Народных Комиссаров, присоединилось к левым с.-р. (интернационалистам) и постановило голосовать за большевистский список в У. С. [2].

Отход масс от партии эсеров шел гигантскими шагами. Целые организации переходили к левым эсерам, которые образовали особую партию в ноябре. Лозунги большевиков проникали в самую гущу эсеровских партийных низов. На уездном крестьянском с'езде в Елисаветграде, в декабре 1917 г., с.-р. Компаниец, докладчик по земельному вопросу, начал свой доклад словами: «Декрет Ленина о земле вполне выражает крестьянские идеалы». По словам очевидца,—«это произвело впечатление разорвавшейся бомбы. Аплодисменты на скамьях большевиков. Полная растерянность и возмущение среди эсеров».

---

[1] Протоколы I с'езда партии левых с.-р. (интернационалистов). 1918 г., стр. 11.

[2] Беленький и Манвелов. Революция 1917 г. в Азербайджане. Баку, 1927 г., стр. 212.

Сказать, что партия с.-р. ко времени выборов не пользовалась никаким влиянием в массах, было бы преувеличением.

В деревне, в особенности в Сибири, на окраинах, в Центральной Черноземной Области, на Украине—эсерам продолжали доверять. Партийные организации эсеров развили во время выборов усиленную агитацию, спекулируя на старых лозунгах социализации земли, которую проведут эсеры в У. С. Немало выгоды получили эсеры и потому, что они могли использовать крестьянские организации, которые, будучи формально непартийными, по существу, целиком и полностью находились в руках эсеров. Эсеровская крестьянская печать на местах большей частью выходила под маркой Советов крестьянских депутатов: от имени этих же Советов эсеры организовывали собрания, митинги, всю предвыборную кампанию. Как правило, эсеры на выборах выступали с об'единенным списком эсеровской партийной организации и Совета крестьянских депутатов. В Ставропольской губернии, напр., инструкция волостным Советам крестьянских депутатов о выборах в У. С. откровенно предлагала разослать всем избирателям кандидатские списки с.-р. и крестьянского совета, вместе с конвертом для бюллетеня, а Исполнительные Комитеты Советов Крестьянских Депутатов отказывались выдавать удостоверения большевистским агитаторам.

К наличию прочной организационной базы эсеров в деревне присоединилась репутация эсеров, как единственной «крестьянской» партии.

Иначе обстояло дело в городах и в армии,—особенно на тех фронтах, которые находились ближе к Петрограду. Дискредитация эсеровской партии здесь была налицо. Отношение солдатской массы к эсерам ярко нарисовал с.-р. Утгоф—видный деятель эсеровской военной организации, впоследствии помощник Савинкова в Ярославском мятеже [1].

Уже первые впечатления, полученные эсеровским агитатором на фронте, были неблагоприятны. В корпусном партийном бюро Утгоф столкнулся с настроением невозможности бороться против большевистской стихии. В армейском комитете партии он узнал, что солдаты не дают говорить эсерам, что из двадцати пяти членов партии, освобожденных для предвыборной агитации, осталось только пять, остальные разбежались. Даже из кандидатов в У. С. в армии осталось только два человека—остальные последовали примеру агитаторов.

Доклад Утгофа о выборах в У. С. в 66 Бутырском полку собрал мало народу—пришло 300—400 человек, и то из двух полков.

Утгоф к своему удивлению обнаружил, что его слушатели вовсе не интересуются темой собрания. «Лекция окончилась, попрощались. Хлопать не хлопали, возражать не возражали». На вопрос Утгофа о причинах такой пассивности председатель крестьянской секции ответил: «В о т е с л и б ы в ы н е о б У ч р е д и т е л ь н о м с о б р а н и и г о в о р и л и, а о м и р е, т о н а р о д у б ы л о б ы м н о г о». Явление это было не единичным—предположение Утгофа выступить с докладом об У. С. в других полках—не

---

[1] «З а н а р о д»—журнал, изд. военной комиссией при ЦК п. с.-р. № 1. 1 декабря 1917 г. В. Утгоф. По фронту.

осуществилось. Утгоф долго еще ездил по частям, «подгоняемый, по его словам, мыслью, что У. С. бывает один раз в 300 лет и ради него стоит постараться», но результаты поездки не изменились. В одном полку председатель полкового партийного комитета категорически заявил, что предвыборного собрания устроить нельзя, так как «солдат ничто не интересует, кроме мира». В другой части, где все же удалось созвать собрание, Утгоф попал под перекрестный огонь неприятных вопросов. «Зачем организовывали ударные батальоны, — спрашивали солдаты, — в чьих интересах было наступление 18 июня, для чего ввели смертную казнь на фронте; почему расстреливали солдат, а Корнилова оставили в покое». Тема митинга—Учредительное Собрание—осталась в стороне, а Утгоф постарался закончить собрание. Он выбрал, по его словам, «удачный момент кончить диспут, пока меня не арестовали и не намяли мне бока».

В результате поездки Утгоф твердо усвоил отношение масс к эсеровской платформе—«Две вещи не будут слушать ни в коем случае,—это проповедь продолжения войны и защиты Керенского».

Итак, массы интересовались не характером будущей Конституанты, а политикой сегодняшнего дня. Но как раз эсеровская агитация либо не давала ответов на «проклятые вопросы», либо отвечала так, что отвечавшие Утгофы рисковали своими боками.

Авторитет эсеров сильно колебался и на тех фронтах, где влияние большевиков было, сравнительно, слабым. Так, например, Авксентьев, приехавший в последних числах ноября на Юго-Западный фронтовой с'езд, на котором эсеры располагали двумя третями всех голосов, не мог добиться сочувствия даже со стороны своих товарищей по партии. «Все его (т. е. Авксеньтьева—*Н. Р.)* резоны, все его стремления выяснить сущность большевистского переворота и показать, что этот переворот направлен прежде всего против принципа народоправства и Всероссийского Учредительного Собрания, разбивались о каменную стену взаимного непонимания большей части фронтового с езда», вспоминает эсер, участник с'езда. «Но если было в порядке враждебное отношение к Авксентьеву со стороны большевистски настроенной половины с'езда, то более досадным и неприятным был факт непонимания его тезисов эсеровской фракцией. Сколько энергии пришлось потратить Авксентьеву, чтобы убедить своих единомышленников по фракции, что нельзя совмещать и сливать воедино два лозунга—«Вся власть Советам» и «Вся власть У. С.». И, когда, наконец, большинство фракций согласилось с положением, защищаемым Авксентьевым, то меньшинство откололось, образовав несуществовавшую до тех пор на с'езде фракцию левых с.-р.».

Автор воспоминаний подчеркивает, что распад эсеровщины шел стихийно, снизу. «Наши фронтовые левые эсеры, пишет он, не только не имели партийных лидеров, но были чужды интернационалистских тенденций левых с.-р., внутри страны находящихся. Они хотели одного—чтобы вся власть принадлежала Советам до созыва пресловутого У. С.» [1].

---

[1] Б. Соколов. Защита Всероссийского Учредительного Собрания.—Архив Русской Революции, изд. Гессеном. Т. VIII, стр. 22, 23.

Когда большевики, во главе с Крыленко, согласились с указанием на временный—до Учредительного Собрания — характер Советской власти, эсеровский с'езд принял большевистскую резолюцию.

Но если эсеры все же рассчитывали на большинство голосов в У. С., то меньшевики не могли претендовать даже хоть на сколько-нибудь компактное меньшинство.

В деревне меньшевики не пользовались абсолютно никаким влиянием, в городах за ними шли ничтожные группы рабочих и часть мелкобуржуазной интеллигенции. Впрочем, настроение меньшевистских низов показывало, что меньшевикам трудно выступить со своей программой даже перед сочувствующими. Это сказалось при составлении кандидатских списков. «Петербургская организация (меньшевиков),—расказывает Суханов,—находившаяся в руках интернационалистов, составила список только из своих людей. Этим выбрасывались все лидеры официального меньшевизма, что было совершенно неприлично для последнего. После долгих хлопот и ходатайств Мартова, решили было внести в список Церетелли. Но это вызвало такой отпор в районах, что Церетелли к ужасу и негодованию буржуазной печати был спешно вычеркнут опять. Сфициальный меньшевизм остался не представленным в столице» [1]. Меньшевик Ерманский, проводивший предвыборную кампанию в Псковской губернии, еще до Октябрьской революции был поражен изменившимся настроением масс. В одном и том же городе Ерманский провел два предвыборных собрания—с промежутком в одну-полторы недели. В первый раз его встречали хорошо. На втором собрании злополучный оратор мог уйти с митинга лишь под охраной «другой части» собрания (с очень небольшим участием солдатского элемента, в то время, как солдатская масса «пылко поддерживала его оппонента») [3].

Агитация большевиков

Избирательные комиссии Пошехонского уезда Ярославской губернии аннулировали по причинам формального порядка два избирательных бюллетеня: оба избирателя, из которых один подал свой голос за кадетов, другой—за большевиков, написали на оборотной стороне бюллетеня агитационные надписи:

«Нам нужен совесть, порядок. Должен быть хозяин, а не так: сегодня я, а завтра ты,—писал кадетский избиратель, избравший наивный псевдоним «крестьянина надельной (!) земли».—А большевики что сделали—только разгромили столичные города и губернские и уездные и присоединили всю шатию, вора, душегуба, зимгора, лентяя, которые жили чужим воровским добром. И, что это большевик может сделать хорошее? И чем наделить, только оголодать всю Россию и раздеть до конца».

Крестьянин, подавший голос за большевиков, был более лаконичен, он ограничился одной фразой, написанной корявым почерком и существенно гре-

---

[1] Суханов. Записки о революции. Кн. VI, стр. 196.
[2] О. Ерманский. Из пережитого. Гиз. 1927, стр. 181.

шившей против правил орфографии: «жалаю скорей долой войну. Из-за войны помираю з голоду».

Эта провинциальная агитация не оставляет желать ничего лучшего по своей красочности и выразительности. В случайных надписях, как в капле воды, отразились приемы и классовые мотивы большевистской и буржуазной агитации на выборах в У. С.: вся предвыборная кампания была, в сущности говоря, вариантом агитации безымянных избирателей Пошехонья.

Агитационная кампания большевиков по своему характеру резко отличалась от кампании к.-д., с.-р. и меньшевиков. Во-первых—она не была агитационной предвыборной кампанией в обычном смысле. Если эсеры и меньшевики, выступая во время выборов против советской власти, переносили центр тяжести своей агитации на формальный момент, на созыв У. С., которое ликвидирует узурпаторскую попытку большевиков, то большевики выставляли четкую положительную программу. Мир и земля—с этими лозунгами прошла Октябрьская революция, с этими же лозунгами обращались большевистские агитаторы к массам. В этом направлении велась и подготовка агитаторов. Доклад Военной организации на Петроградской общегородской конференции об агитаторских курсах отмечал: «на произведенном экзамене выяснилось, что по таким вопросам, как война, земля, классы и партия, они (т. е. агитаторы) оказались вполне готовыми» [1]. И недаром главные агитаторы большевистской партии на выборах в У. С. в деревне шли из армии, где оба требования—земли и мира—заострялись сильнее всего еще до октября. «Кто был в это время (выборы в У. С.) агитатор-пропагандист большевистских идей среди крестьянства, — спрашивает историк революционного движения в Черниговской губернии и отвечает,—Конечно, прежде всего, солдат, который вернулся с фронта. Он сеял семена «большевистской заразы» в массах. Он часто, неясно уясняя себе программные положения (вимоги) большевиков, бросал в массы уже достаточно хорошо усвоенные большевистские лозунги—долой войну, земля крестьянству, да здравствует советская власть трудящихся» [2].

Большевистский агитатор большей частью являлся и непосредственным проводником октября в деревне—поэтому его агитация нередко принимала «предметный характер»: «солдат-фронтовик, — пишет В. Кнорин, — был основным большевистским агитатором в белорусской деревне, он приносил крестьянину листовку, он советовал ему и на деле помогал поскорее расправиться с помещиком».

Козловский корреспондент «Дела народа» сообщал, что большевистские агитаторы—«в большинстве солдаты, свободные от всякой работы, не связанные никаким делом (?). Да и проще к делу относятся. Был бы грамотен, смог бы прочесть большевистский декрет, этого и довольно [3].

---

[1] Вторая и третья петроградские общегородские конференции большевиков в июле и сентябре 1917 г. Гиз. 1927, стр. 114, 115.

[2] В. Щербаков. Жовтнева революція й роки громадянської боротьби на Чернігівщині. Чернігів. 1927.

[3] «Дело Народа» № 242, 28/XII—1917 г.

Подобные сведения передавал корреспондент нижегородской эсеровской газеты, об'яснивший победу большевистского списка в одной из волостей «агитацией солдат, только что прибывших на родину». Немалую роль сыграли солдатские письма.

Нередко большевистские партийные организации успешно использовали в деревне рабочих агитаторов. Так, напр., петроградская «военка» направляла через рабочие землячества литературу в деревню, Вологодская организация послала по деревням специальную экспедицию из рабочих Вологодских железнодорожных мастерских, Сухонского артиллерийского завода и фабрики «Сокол». В результате агитационной кампании этой экспедиции многие крестьянские советы перешли на сторону большевиков. Рабочих агитаторов посылали по деревням ижевские и сормовские большевики. В Московской губернии работницы-большевички Яхромской фабрики обошли пешком почти весь Дмитровский уезд, подготовив победу большевистского списка [1].

Главным преимуществом большевистской агитации была ее действенность. Большевики опирались не на «законные» учреждения, достаточно дискредитировавшие себя перед массами за 8 месяцев Февральской революции—они звали к строительству своей власти. Против эсеровского рефрена «ждите до Учредительного Собрания» большевики в предвыборной агитации призывали к «прямому действию». И эти призывы были не только декларацией—законодательство Совета Народных Комиссаров выполняло обязанности лучшего агитатора. Ко дню выборов были широко известны два основных декрета—о мире и земле; был об'явлен жилищный мораторий, декретированы вселение рабочих в квартиры буржуазии, организация рабочей милиции, восьмичасовой рабочий день, запрещение женского труда, организация волостных земельных комитетов, берущих в свое распоряжение всю землю и угодья (1/XI газеты опубликовали декларацию прав народов России о свободе национальностей. 9/XI Совнарком обратился к трудящимся с призывом взять в руки управление государством, установить контроль над производством и приступить к социализации земли; против буржуазии был направлен декрет о печати.—Словом все было сделано для того, чтобы классовый характер новой власти и действенность политики партии стали максимально ясны).

Партия сознательно считались с перспективой У. С. и как раз эта перспектива обусловила интенсивность советского законодательства в первый месяц существования советской власти. «Издавая декреты, мы не исключали возможности прохождения их через У. С., вспоминает Шляпников. Поэтому многое в декретах носило декларативный и агитационный характер. Некоторые товарищи даже спешили издавать как можно больше декретов и постановлений, чтобы поставить будущее У. С. перед фактами. К таким принадлежал т. Ларин, поспешивший без ведома коллегии издать декрет о

---

[1] М. Ветошкин. Революция и гражданская война на Севере. Вологда.1927. Е. Попова. Московская провинция в 1917 г. М. 1927, стр. 100.

8-часовом рабочем дне, поправив проект, заготовленный в бывшем Министерстве Труда» [1].

Что могли противопоставить этим законам эсеры и меньшевики? «Дело народа», полемизируя с большевиками в день выборов, доказывало, что большевистская партия не имеет своей аграрной программы и не верит в уравнительное распределение земли. Квалифицируя декрет, как кость, брошенную голодному крестьянству, «Дело Народа» вместе с тем обвиняло большевиков в краже эсеровской аграрной программы. Н. С. Огановский, примкнувший к эсерам, назвал декреты Совнаркома заборными плакатами. А предвыборная агитация вологодских эсеров «клонилась к восхвалению личностей кандидатов, заслуги которых они афишировали в огромных плакатах с портретами Маслова, Сорокина, с их подробными биографиями. Казалось, весь политический смысл избирательной кампании сводится к личным заслугам и качествам тех людей, которых крестьянство должно было послать в У. С. [1].

От эсеров не отставали меньшевики. В предвыборном листке, появившемся еще до Октябрьской революции, Дан настаивал на «самоограничении» как рабочих, так и буржуазии в революции, П. Маслов писал об «отчуждении» частновладельческих земель, деликатно умалчивая о вознаграждении помещика. В другой листовке, относящейся к послеоктябрьским дням, меньшевики обвиняли большевиков в том, что они «вели борьбу против заключения мира», так как большевистская партия выступала... против Стокгольмской конференции.

Беспочвенность меньшевистско-эсеровской агитации бросалась в глаза. Массы не справлялись с историей партии, чтобы найти подтверждение эсеровским обвинениям (Чернов апеллировал для доказательства враждебного отношения большевиков к крестьянству даже к «отрезкам»)—их столь же мало интересовало авторское право в применении к аграрной программе, сколько и отношение большевиков к Стокгольму. Но авторство декретов о земле и мире не могло вызвать никаких сомнений. По «заборным плакатам» уже делили землю; уже начинались переговоры о перемирии, переговоры, оказавшиеся весьма эффектной агитацией. «Надо сказать, признается Станкевич, человек, которого нельзя упрекнуть в сочувствии большевизму, что смелый шаг большевиков, их способность перешагнуть через колючие загра-

---

[1] «Пролетарская революция», 1922 г., № 10, стр. 33.

[2] М. Ветошкин. Революция и гражданская война на севере. Вологда. 1927 стр. 88.

С.-р. и к.-д. располагали, кстати сказать, бóльшими средствами на предвыборную агитацию, нежели большевики. Красочной иллюстрацией этого является листовка новгородских большевиков, выпущенная перед выборами в У. С.—«Почему нас, большевиков, все опровергают и клеветничают, говорилось в листовке,—а потому, что наша партия состоит из самого беднейшего рабочего и крестьянского класса и не может распространить в полном количестве литературы и газет, чтобы пояснить вам все наши требования и программу. А все прочие партии состоят из богатых сословий, поэтому они забрасывают вас своими книгами и газетами и заблуждают вас и клевещут на нашу бедную, не имеющую средств Р С Д Р П (большевиков). («Красная Летопись», № 3/24, 1927 г., стр. 43).

ждения, четыре года отделявшие нас от соседних народов, произвели сами по себе громадное впечатление. Мы все настаивали, что большевики не могут дать мира стране» [1].

Эсеры и меньшевики были известны массам, как партии, выступавшие за войну; большевики укрепляли репутацию своей партии, как партии м и р а. В Витебской губернии крестьяне, узнав, что агитатор, приехавший в их деревню—большевик, спрашивали—скоро-ли вернутся с фронта «кормильцы». В Нижегородской губернии крестьянин в беседе с эсеровским агитатором говорил, что за большевиков будут голосовать солдатки: «Они прямо взбаломутились, — большевики-де обещают сейчас же мир, а солдаткам это главное—подай нам наших мужей!». В той же губернии солдатка говорила другой женщине, подавшей голос за список духовенства: «Тебе, конечно, все равно, за какой номер голосовать: у тебя муж-то дома,—так ты и подаешь за попов. А у меня вот уже три года муж на войне—я за № 7 (большевиков), чтобы скорее кончить войну».

И недаром даже оптимистически настроенный нижегородский эсер, описывавший выборы в Нижнем, отмечал: «Больно было глядеть в угрюмые солдатские лица, с упорством твердившие: большевики дадут мир, революция уже во всех странах, мы боремся с буржуазией, перемирие уже на всех фронтах» [2].

Козловский корреспондент «Дела Народа» не мог не отметить, что простота и доступность аргументации также были на стороне большевиков: «Ежели кто за мир,—голосуйте за № 7 (большевиков)».

Таким образом большевистская агитация во время выборов в У. С. по существу своему была направлена против буржуазного парламентаризма и фетишизации У. С.

«Наши агитаторы,—вспоминает один из руководителей витебской большевистской организации,—зачастую пешком, полуграмотные, полуголодные и оборванные шли в деревни в крестьянство, и м е я н а р у к а х н е п л а к а т ы и к р и ч а щ и е а ф и ш и, а л и ш ь с к р о м н ы й д е к р е т р а б о ч е - к р е с т ь я н с к о г о п р а в и т е л ь с т в а о з е м л е с н а п е ч а т а н н ы м с в е р х у «№ 5» и п р и з ы в о м г о л о с о в а т ь з а н е г о, з а с п и с о к с о ц и а л - д е м о к р а т о в б о л ь ш е в и к о в» [3].

Листовка витебских большевиков наиболее красочно, даже символично выразила сущность большевистской агитации на выборах в Учредительное собрание.

Оценка выборов

Каковы общие выводы из результатов выборов в У. С.? Выборы показали, что налицо имелись «три условия победы большевизма: 1) подавляющее большинство среди пролетариата; 2) почти половина в армии; 3) подавляющий

---

[1] С т а н к е в и ч. Воспоминания 1914—1919 гг., стр. 149.

[2] «Н а р о д». Газета партии с.-р. и Нижегородского Губ. Совета Крестьянски Депутатов, 1917 г., № 101, 14/X.

[3] «К р а с н а я б ы л ь», Витебск, 1923 г., стр. 110.

перевес сил в решающий момент в решающих пунктах, именно: в столицах и на фронтах армий, близких центру»[1].

Налицо была также возможность завоевания крестьянства, связанная с осуществлением декретов советского правительства и с форсированным процессом расслоения в деревне.

Выборы показали и те трудности, с которыми пришлось впоследствии столкнуться пролетарской революции. Районы, где большевистская партия получила наименьшее число голосов (Восточный Урал, Сибирь, Украина, Поволожье) стали ареной ожесточенной гражданской войны. «Именно в этих районах держалась месяцы и месяцы власть Колчака и Деникина, писал Ленин, колебания мелкобуржуазного населения там, где меньше всего влияние пролетариата обнаружились в этих районах с особенной яркостью».

Там, где, как например, на Кавказе, выборы демонстрировали большое влияние националистических партий, национальная проблема продолжала оставаться решающей проблемой в годы гражданской войны. Цифры о результатах голосования на Украине, в Баку предвосхищали будущую петлюровщину, муссаватистское правительство. География гражданской войны почти целиком совпала с географией выборов в У. С.: контурная карта ноября 1917 г. стала картой «в несколько красок», в 1918—1919 гг. очертания остались те же.

Выборы показали не только географию гражданской войны. Они демонстрировали также—и притом с исключительною наглядностью—тенденции классовой борьбы, общие для всей России. Буржуазия почти целиком сплотилась вокруг к.-д., пролетариат—вокруг большевиков. Поляризация классов, вымывание мелко-буржуазных партий означало, что борьба идет между двумя классами—пролетариатом и буржуазией—и что промежуточные группировки будут отброшены в сторону в ходе борьбы.

Наиболее ярко это выяснилось на примере партии меньшевиков. «Партия потерпела жестокое поражение на выборах, признавались сами меньшевики..., поражение, в сущности, стерло в порошок политическое представительство партии и свело к нулю ее организационное значение и влияние»[2].

«Вымывание» коснулось эсеровской партии. Это явление в особенности ярко сказывается при анализе сравнительных данных о выборах в земства и в У. С. Динамика этих таблиц наглядно показывает тенденции политического развития масс[3]. (См. таблицу сравнения выборов в гор. думы в 44 городах и в У. С. в 80 городах на стр. 56).

Усиление влияния крайних групп—буржуазных партий и большевиков при катастрофическом падении эсеровских голосов иллюстрирует направление процесса. Для одной губернии—именно для Черниговской—еще более выразительны сравнительные данные в выборах в У. С., и в Украинское Учредительное собрание. Первые происходили в ноябре; вторые—в начале января: в промежутке 1½—2 месяцев в настроении крестьянских масс произошла разительная перемена.

---

[1] Ленин, т. XVI, стр. 447.
[2] «Наш голос»—с.-д. сб-к № 2.
[3] Святицкий. Итоги выборов в У. С.

	Выборы в гор. думы в 44 гор.	Выборы в У. С. в 80 гор.
С.-р.	44	15
С.-д. и др. соц. НС	15	15
Буржуазные группы и партии	24	32
Большевики	15	38

Выборы в У. С. и в Укр. У. С. по Черниговской губернии

Партии	Выборы в У. С. по губернии (число голосов)	Выборы в Укр. У. С. по 12-ти уездам (число голосов)	Партии	Выборы в У. С. число голосов	Выборы[1] в Укр. У. С. число голосов
			Городнянский уезд		
Укр. с-р. . . .	484,4 тыс.	154,8 тыс.	Укр. с-р. . . .	12,9 тыс.	5,4 тыс.
			Большевики .	9,9 »	21,4 »
			Черниговский уезд		
Рус. с-р. . . .	28,3 »	1,2 »	Укр. с-р. . . .	34,4 тыс.	9,6 тыс.
			Рус. с р. . . .	7,7 »	239 голосов
			Большевики .	6,8 »	20,4 тыс.
			Село Державница Козельского уезда		
Большевики .	271,1 »	200,6 »	Укр. с-р. . . .	732 голоса	39 голосов
			Большевики .	10 »	537 »

Нужны были, таким образом, небольшие сроки для того, чтобы большевистская партия отбросила эсеров далеко назад.

«Данные о выборах в У. С., если уметь ими пользоваться, уметь их читать, показывают нам еще и еще раз основные истины марксистского учения о классовой борьбе», писал Ленин. Недаром Ленин, обобщая уроки выборов в У. С., утверждал, что «сопоставление выборов в У. С. к ноябрю 1917 года и развития пролетарской революции в России с октября 1917 года по декабрь 1919 года дает возможность сделать выводы, относящиеся к буржуазному парламентаризму и пролетарской революции всякой капиталистической страны» [2].

Учредительное собрание и его роспуск

Историк, который рассчитывал бы найти драматические эффекты в день пятого января 1918 года, был бы разочарован. Внешняя обстановка первого заседания У. С. и его роспуска была до нельзя проста.

[1] В. Щербаков. Жовтнева революция й роки громадянської боротьби на Чернігівщині. Чернігів. 1927 г., стр. 35, 36.

[2] Ленин, собр. соч., т. XVI, стр. 455.

«Все, решительно все как обычно: простой серенький день», вспоминает Святицкий о пятом января. Эсеровская фракция до прихода в Таврический дворец включила в программу дня вопрос о продовольствии. Эсеры узнали, что в адрес У. С. направляющиеся продовольственные грузы—лишний козырь в руках У. С. От места сбора эсеровская фракция направилась в Таврический дворец. «Эсеры, вспоминает С. Мстиславский, в большинстве явились в серьезнейших, наглухо, доверху застегнутых сюртуках, все с красными розетками в петлицах, накрахмаленные, торжественно пробритые до лакированности» [1]. Открытие заседания задержалось, так как собрание большевистской фракции, начавшееся после полудня, сильно затянулось.

На собрании фракции большевиков стояли вопросы о характере работ У. С. Очевидно, настроение фракции (в которой раньше было много правых) под влиянием работы ЦК за это время изменилось. Большинство фракции поддержало предложения ЦК о немедленной ликвидации У. С. «Когда кто-то из тт.,—вспоминает Раскольников,—заикнулся о возможности длительного существования учредилки, т. Бухарин воскликнул: «Не будем же мы здесь терять целую неделю. Самое большое мы просидим три дня» [2]. Иллюзий об органической работе в У. С. уже не было. За отсрочку роспуска У. С. до III С'езда Советов голосовал только один Рязанов. Собрание решило предложить У. С. принять декларацию ВЦИК и утвердило кандидатуру М. Спиридоновой в председатели У. С.

Некоторые эсеры, недовольные задержкой открытия заседания, предлагали силой ворваться в зал и начать собрание. Это предложение было отвергнуто, по настоянию бюро фракции, которое рекомендовало «действовать осторожно, не давая самим повода к разрыву с тем, чтобы осуществить свой план: во что бы то ни стало в первом же заседании принять законы о республике, о земле» [3].

В зале заседания большевики и левые эсеры заняли левый сектор; эсеры расположились в правом секторе. В центре разместились национальные партии. «Никогда, пишет Святицкий, мне не снилось, что я буду сидеть на одной из октябрьских скамей». Правей эсеров был народный социалист и 3—4 кадета. Воспользовавшись опозданием Свердлова, эсеры пытались сами открыть собрание. Депутат Швецов уже поднялся на трибуну. Но большевики устроили самозванному председателю обструкцию. Поднялся страшный шум. «В течение нескольких минут, пишет Раскольников, мы своим шумом буквально заглушили голос Швецова, который растерянно позванивал колокольчиком и, беспомощно шевеля губами, являл собою весьма жалкий вид. Неизвестно, сколько времени продолжалась бы эта катавасия, если бы в самый критический момент на председательской кафедре не выросла полная энергии фигура Я. М. Свердлова. Безукоризненно владея собою, т. Свердлов отобрал у Швецова звонок, и с властной уверенностью отстранил его в сторону. Вслед за тем, когда воцарилась тишина, он громким, импонирующим басом провоз-

---

[1] С. Мстиславский. Пять дней. 1922.

[2] Истпарт. Я. М. Свердлов. Сб. статей и воспоминаний. Изд. 1926 г. Ленинград, стр. 99.

[3] Святицкий. 5—6 января 1918 г. «Н. Мир», стр. 224.

гласил на весь зал: Исполнительный Комитет Совета Рабочих и Крестьянских Депутатов поручил мне открыть заседание Учредительного Собрания»[1].

Вслед за этим Свердлов прочел декларацию ЦИК, начинавшуюся словами «ЦИК постановляет следующие основные положения: Учредительное Собрание постановляет: 1) Россия об'является республикой Советов Рабочих, Солдатских и Крестьянских Депутатов. Вся власть в центре и на местах принадлежит этим советам».

Дальше декларация подтверждала декреты и программу Советского правительства. Констатируя неправильность противопоставления У. С., избранного по спискам, составленным до Октябрьской революции, власти Советов «даже с формальной точки зрения», декларация отмечала, что исключительная полнота власти должна принадлежать советам и что задачи У. С. «исчерпываются общей разработкой коренных оснований социалистического переустройства общества».

Внесение декларации представляло собой блестящий тактический ход большевистской партии. Этот ход разбивал вдребезги тщательно обдуманный эсеровский план «первого дня». Эсеры строили свои расчеты на том, чтобы провести основные законы, игнорируя Советскую власть и ее законодательство. Они стремились к тому, чтобы законы, принятые У. С., стали отправным пунктом для критики большевистских декретов. План их был разгадан большевиками задолго до 5-го января. На заседании Петроградского Комитета партии 12 (25) декабря Урицкий, намечая возможные перспективы действий противника, указывал, что наиболее выгодной для большевиков была бы постановка вопроса о власти в первую очередь. Но предполагалось, что эсеры могут поставить вначале вопрос о мире, и, лишь укрепившись, перейти к проблеме власти.

Декларация ВЦИК—выбивала инициативу из рук противника и заставляла его принять бой на невыгодных для него позициях. Декларация вызывала эсеров на столкновение по вопросу об отношении к Советской власти, т. е. как раз по тому вопросу, который эсеры хотели обойти. Теперь это оказывалось невозможным—эсеры вынуждены были дать прямые ответы на «вопросы роковые» и тем самым демонстрировать противопоставление У. С.—советам и их уже осуществляемой программе. Недаром тактического искусства, проявленного большевиками, не могли отрицать даже их противники. «Это был ловкий стратегический ход, которого мы, эсеры, не предви-

---

[1] Истпарт. Я. М. Свердлов, сб. статей, стр.

Бывшее Временное Правительство пыталось соблюсти преемственность власти. Министры, находяшиеся в Петропавловской крепости, прислали на имя председателя У. С. заявление, сообщавшее об аресте их «мятежниками войсками».

«Теперь, говорилось в заявлении, передавая свою власть У. С.—единственному хозяину земли русской—мы просим Высокое Собрание дать нам и всем заключенным представителям Временного Правительства свободу, которой мы беззаконно лишены уже в течение целого месяца, и этим предоставить нам возможность дать полный отчет У. С. в действиях наших, как членов Временного правительства» (Вестник партии народной свободы, № 28, 1917 г.).

Но эсеры и не подумали огласить это заявление. Даже, они, вероятно, понимали, что такая «законность» была в данный момент неуместной.

дели», пишет Святицкий. «Рассчитывая обойти противника, мы сами оказались обойденными», замечает Вишняк.

С.-р. пробовали смягчить впечатление от декларации. Представитель эсеровской фракции Лордкипанидзе, предлагая в председатели Чернова, заявил, что хотя У. С. может открыть свои работы только по собственной инициативе, но, эсеры по этому формальному вопросу боя не дадут.

Скворцов, предложивший от б-ков и л. с.-р. в председатели Спиридонову, ответил, что разрыв с правыми эсерами уже совершился на баррикадах. Большинством 244 против 153 в председатели У. С. был избран Чернов.

Речь Чернова представляла собой пример обычной эсеровской декламации, окрашенной в весьма левые тона. Председатель У. С. начал речь упоминанием о том, что русская революция родилась со словами мира на устах. Он упомянул о Циммервальде (это вызвало смех на скамьях большевиков), высказался против сепаратного мира за всеобщий демократический мир, переговоры о котором должно повести У. С.

Слова Чернова о земле вызвали особенно оживленные реплики. Когда Чернов заявил о необходимости передать землю без выкупа в общенародное достояние, его перебили возгласом «Да здравствуют Советы, передавшие землю крестьянам».

«...Граждане,—продолжал Чернов,—народ хочет не слов, а дела. И в земельном вопросе перед вами колоссальная задача: из области голых лозунгов и общих формул перейти, наконец, в область осуществления, «всеобщая передвижка земельного пользования» не делается одним росчерком пера, не делается никакими плакатами».

— Знаем, слышали, уже принято; комиссары и советы все это уже дали; поздно, не вы ли расстреливали крестьян!—кричали с мест.

Заявляя, что «социализм не есть скороспелое приближение к равенству и нищете», Чернов призывал к гражданскому миру, который положит конец всеобщей разрухе. В числе организаций, на которых ложится задача проведения в жизнь решений У. С., Чернов назвал прежде всего профсоюзы и кооперативы. Советы оказались лишь на третьем месте. В вопросе о Советах Чернов сделал весьма неловкий вольт. «Советы, говорил он, которые первые провозгласили лозунг борьбы за У. С., первые провозгласили, что только буржуазия может быть заинтересована в оттяжке У. С., изменили бы себе, изменили всему своему прошлому, если бы... отказались от лозунга его поддержки и защиты».

Формальное мышление суб ективного идеалиста ярко отразилось в этой тираде—в зале У. С. не было человека, который не понимал, что советы «изменили своему прошлому» еще до Октябрьской революции, перейдя на сторону большевиков.

«Право каждого из вас сидеть на одном из этих кресел добыто... бесчисленными жертвами со стороны многих поколений», продолжал Чернов, «Добыто Октябрьской революцией», поправляли его с мест.

Речь Чернова не удовлетворяла не только его противников, но и сторонников, в особенности с.-р. правого крыла. Вишняк считает, что Чернов говорил «фальшиво», умышленно искал блока с большевиками, об «акроба-

тических упражнениях на лозунгах большевиков», говорит и Огановский. Минор отмечал «уклоны» и речи, которые «как бы давали исход некоторой левизне, некоторым уступкам в сторону большевиков». Многие правые эсеры полагали, что Чернов слишком резко отклонился влево по сравнению с репетиционной речью.

Вторичная попытка эсеров обойти вопрос о власти была разоблачена Бухариным, предложившим обсудить декларацию ВЦИК. «Мы полагаем,— говорил Бухарин,— что вопрос о власти партии революционного пролетариата есть коренной вопрос текущей русской действительности, есть вопрос, который окончательно будет решен той самой гражданской войной, которой никакими заклинаниями никаких Черновых остановить нельзя вплоть до полной победы победоносных русских рабочих, крестьян и солдат».

Бухарин раз'яснял, почему У. С. не может решить ни одного вопроса, не решив вопроса о власти. Необходимость регулирования производства ясна, напр., всем, но решение этой проблемы зависит от того, какое государство займется регулированием—советское правительство или коалиция, которая будет действовать в интересах буржуазии. «С кем идет У. С.,—спрашивал Бухарин,—с Калединым, с юнкерами, с фабрикантами, купцами, директорами учетных банков или с серыми шинелями, с рабочими, солдатами, матросами».

Левые эсеры в самом начале заседания заняли колеблющуюся—хотя и с большим креном налево—позицию. Штейнберг предложил обсудить декларацию в целом, не выделяя ни одного вопроса, в том числе вопроса о власти, и принять ее, как программу У. С. Предложение это смягчало заостренную формулировку большевиков, но не вносило ничего нового по существу вопроса. Декларация была построена именно таким образом, что проблема власти являлась ее стержнем, все остальные вопросы были только функцией центральной проблемы.

Церетели был встречен шумом и свистками. «Долой тех, кто голосовал за смертную казнь», кричали с мест. Церетели обвинял большевиков в том, что их позиция по отношению к У. С. противоречива—не признавая У. С., как органа народной власти, нельзя давать ему декретов на санкцию. Вслед за этим оратор перешел к критике Октябрьской революции. Хлеба нет, земля «переменила владельца», но беднейшее крестьянство не обзавелось ни землей, ни инвентарем; нет уверенности, что реформа не станет ставкой на крепкого мужика, утверждал Церетели. «Пусть Керенский хуже вас, но это не доказывает, что вы лучше У. С.», заявлял оратор. Этот тезис бил, прежде всего, по автору—ведь большинство У. С. и было тем «Керенским», который по допущению Церетели мог быть хуже большевиков.

В речи Церетели звучали трагические ноты—вождь мелкобуржуазной демократии напрягал все усилия для того, чтобы доказать необходимость «соглашательства в рядах демократии». «Восемь месяцев вы имели в своем распоряжении все средства, говорите вы. Но проклятием тех восьми месяцев было то, что этого общенародного... органа народной воли не было». Если У. С. будет разрушено, то в стране разгорится гражданская война и господство перейдет в руки цензовой буржуазии, предсказывал Церетели. В заключение он огласил декларацию меньшевиков, требовавшую, «чтобы все органы

власти, возникшие на почве гражданской войны, признали верховную власть У. С., передав ему целиком дело устроения российской демократической республики, дело немедленного заключения мира, укрепления земли за народом, регулирования промышленности и торговли и возрождения народного хозяйства при деятельном участии трудящихся масс.

От большевиков Церетели отвечал Скворцов, разоблачавший в своей речи «общенародную волю», о которой говорил Церетели. Скворцов отвел также выпад Церетели по поводу санкции декретов советского правительства У. С. «Граждане, вы самообольщаетесь, заявил Скворцов. Мы хотим развеять тот туман, тот фетишизм, которым еще в глазах многих окружено У. С.». Речь Скворцова, между прочим, понравилась Ленину.

Декларацию от левых эсеров прочел Сорокин. Декларация в своих основных чертах повторяла декларацию ВЦИК, но представитель левых эсеров и здесь не мог обойтись без того, чтобы не смазать противоречия между правым и левым крылом У. С. Призывая крестьян добиться земли и воли, Сорокин говорил: «В этом отношении у нас, у крестьян никакой разницы нет. Мы все здесь одинаковые—и правые и левые». Эти слова были встречены продолжительными аплодисментами справа и в центре. Эсеры, все время пытавшиеся повернуть прения от вопроса о власти к своей программе дня, выдвинули (еще до речи Скворцова) Зензинова, который предложил перейти к обсуждению вопросов о мире, земле и т. д.

Но и эта попытка оказалась напрасной, поскольку эсеры не могли устранить того факта, который сделал их позицию невыгодной—декларация ВЦИК была внесена.

После речи Сорокина было произведено голосование: за переход к порядку дня, предложенному эсерами, высказалось 237—за обсуждение декларации ВЦИК—146 депутатов. Большевики и левые эсеры потребовали перерыва. Руководящая тройка запретила членам эсеровской фракции уходить из зала из опасения, что обратно их не впустят. Эсер Тимофеев пробовал затушевать основную коллизию, заявляя, что эсеры не возражают против обсуждения декларации ВЦИК вообще, но в торжественный день «нужны не декларации и слова, а дело».

На заседании фракции большевиков во время перерыва выступал Ленин. Его речь дошла до нас только в передаче Мостовенко. Ленин сказал, что известная тревога, с которой Центральный комитет партии ожидал первого дня У. С., не оправдалась, так как меньшевики и эсеры оказались неспособными к действию. Поэтому ЦК решил дать им «поговорить», чтобы не создать для правого сектора ореол мучеников. По словам Мостовенко, некоторые члены фракции возражали Ленину, заявляя, что ЦК навязывает свою волю депутатам. От имени ЦК Ленин предложил после оглашения декларации покинуть зал заседания. «А что же будут делать эсеры после нашего ухода?», спросил кто-то из товарищей. «Вероятно, будут продолжать свою болтовню.—До каких же пор они будут продолжать ее? Пока им не надоест это занятие» [1].

[1] Н. Л. Мещеряков. Из воспоминаний о Ленине. «Печать и революция», 1924 г., кн. 2, стр. 8.

Ленин настоял на том, чтобы в зал не возвращаться. По словам Мещерякова, он мотивировал свое предложение опасением, что уход большевиков подействует на караул и солдаты и матросы могут перестрелять эсеровских и меньшевистских депутатов. Решено было, что в зал пойдет один Раскольников, который и огласит декларацию.

После перерыва правая часть У. С. приняла предложение Скобелева об избрании комиссии для расследования событий 5-го января и почтила память убитых демонстрантов вставанием. Вслед за этим эсер Тимофеев, выступавший по вопросу о мире, высказывался в пользу всеобщего мира и настаивал на том, чтобы У. С. взяло в свои руки инициативу созыва Стокгольмской конференции. Тимофеев предлагал также принять закон о демобилизации. Солдаты «имеют законное право на отдых и они его от У. С. получают». Эти громкие слова звучали таким же анахронизмом, как и речи Чернова о земле. «Право на отдых», земля—все это уже было получено, но не от У. С.

Вскоре слово получил Раскольников, огласивший краткую декларацию большевиков.

Декларация констатировала, что большинство У. С. «в согласии с притязаниями буржуазии» отвергло требование трудящихся масс признать завоевания Октябрьской революции, советскую власть и ее декреты. Квалифицируя эсеровскую часть У. С., как контр-революционного большинства У. С., выражающее «вчерашний день революции» и решившее на деле бороться против социалистических мероприятий власти Советов, декларация заявляла, что большевики, «не желая ни на минуту прикрывать преступления врагов народа», покидают У. С. «с тем, чтобы передать советской власти окончательное решение вопроса об отношении к контр-революционной части Учредительного собрания».

Декларация об уходе завершала тактический план, блестяще проведенный большевиками. Большевики дали бой эсерам и меньшевикам по вопросу о власти. Теперь позиция их была весьма выгодной. Не большевистское меньшинство голосовало против законов, принятых У. С., как того хотели эсеры, а, наоборот, эсеры и меньшевики открыто высказались против советской власти, против декретов о земле, мире.

Теперь эсеры могли принимать какие-угодно законы: Учредительное собрание после ухода большевиков не было Учредительным собранием.

Левые эсеры продолжали колебаться (по сообщению «Новой жизни» во фракции развернулись горячие прения по вопросу об уходе из У. С.), Штейнберг от имени левоэсеровской фракции заявил, что, отклоняя обсуждение декларации ВЦИК, большинство У. С. стало против Советов. Но левые эсеры решили не покидать собрания, чтобы не дать формального повода для разрыва. Штейнберг ультимативно предложил обсудить ту часть декларации ВЦИК, где говорилось о мире.

Только после того, как выяснилось, что предложение Штейнберга не вызывает сочувствия у большинства У. С., левые эсеры покинули собрание. Что левые эсеры плелись в хвосте большевиков, не порывая идейной связи с правыми эсерами, показывает обращение левоэсеровской фракции к изби-

рателям. «Мы не вышли из заседания вместе с большевиками,—говорилось в обращении,—так как считали отказ от обсуждения советской декларации лишь формальным поводом к разрыву с большинством У. С. Только давши бой на разрешение одного из конкретных социальных вопросов жизни (будто вопрос о в л а с т и не являлся наиболее конкретным вопросом—*Н. Р.),* вопроса о мире—мы покинули зал заседания».

После ухода большевиков продолжалось обсуждение вопросов принятого порядка дня. Было вынесено даже специальное решение—не расходиться, пока не будут приняты законы о земле и мире.

Любопытным диссонансом к выступлениям официальных представителей эсеровской фракции прозвучала речь «рядового солдата» эсера Григорьева, выступавшего от имени Томской группы эсеров. Григорьев как бы иллюстрировал тот пункт большевистской декларации, где говорилось о старых избирательных списках в У. С., не отвечавших пооктябрьской действительности. «Хотя еще оставшись во фракции, но мы себя считаем левыми и не примкнули к левым эсерам лишь по некоторым маленьким недоразумениям», говорил Григорьев. «На мир, мы, томские депутаты, смотрели так: мир во что бы то ни стало; предложим союзникам,—ежели не примут, ежели не пойдет... заключим сепаратный мир... В вопросе о мире мы, томские эсеры, интернационалисты, отклоняемся от партии... Я стоял за братание и против смертной казни... Мы, крестьянский Совет Томский, не приняли большевистской власти, потому что социал-демократ, который вчера называл нас буржуями, к сожалению, не может дать земли, и мы только в этом расходимся».

Лучшего примера от эсеров, постепенного прояснения масс—трудно найти. Интересно, что к резолюции ЦИКа о мире—присоединилась также и мусульманская социалистическая фракция У. С.

Вопрос о дальнейшей судьбе У. С. обсуждался после ухода большевиков в одной из зал Таврического дворца. Было решено 6 января никого в Таврический дворец не пускать и тем самым распустить У. С. Когда У. С. покинули и левые эсеры, комендант У. С., матрос Железняков, заявил Дыбенко, что караул устал. Дыбенко приказал разогнать У. С. после ухода наркомов из Таврического дворца. Против этого запротестовал Ленин, потребовавший не разгонять У. С. до окончания заседания. После ухода Ленина Железняков, по словам Дыбенко, спросил последнего: «Что мне будет, если я не выполню приказания т. Ленина?»—«Учредилку розгоните, а завтра резберемся»—ответил Дыбенко[1].

После оглашения эсеровского законопроекта о земле Железняков потребовал от Чернова прекратить заседание, так как караул устал. Оратора Фундаминского перебили криками—«Долой», «узурпаторы».

Разгон У. С. произошел в спокойной обстановке. В минуту ликвидации буржуазной демократии история поскупилась даже на малейший драматический эффект. Чернов посовещался с секретарем У. С.—Вишняком и ответил Железнякову, что хотя «все члены У. С. также очень устали, но ника-

[1] П. Е. Д ы б е н к о. Мятежники. М. 1923 г., стр. 111.

кая усталость не может прервать оглашения того земельного закона, которого ждет Россия».

Слова Чернова были покрыты шумом и криками «довольно, довольно». Железняков настаивал на немедленном прекращении заседания.

Эсеры—как передает Святицкий— согласились закончить заседание, так как боялись, что большевики распорядятся погасить свет. Некоторые представители правого лагеря упрекали впоследствии большинство У. С. в том, что оно подчинилось «узурпаторам». «Почему они испугались матроса Железнякова, почему не поставили его перед необходимостью насильственного разгона, арестов, расстрела высокого собрания,—писал Рожков.—Политически это был бы серьезный шаг. Надо было об'явить заседание непрерывным и бороться с мужеством отчаяния».

Об'ективно поведение большинства можно об'яснить только его изолированностью. Демонстрация 5 января показала депутатам, что на какое бы то ни было сочувствие масс рассчитывать не приходится. Внутренний распад партий эсеров и меньшевиков зашел настолько далеко, что в нужный момент неоткуда было почерпнуть то «мужество отчаяния», о котором говорил Рожков.

Чернов стал проводить законопроекты «на курьерских». Открытым голосованием был принят закон о земле (пункты, оставшиеся неоглашенными, были сданы в комиссию), обращения к союзникам об определении срочных условий демократического мира. Резолюция выражала «сожаление» по поводу того, что мирные переговоры приняли сепаратный характер, и заявляла, что У. С., продолжая перемирие, берет на себя дальнейшее ведение переговоров в интересах всеобщего демократического мира и обещает содействие социалистическим партиям в деле немедленного созыва международной социалистической конференции. Было постановлено избрать делегацию (пропорционально представительству фракций) для переговоров с союзниками. После провозглашения российской демократической федеративной республики Чернов закрыл заседание в 4 ч. 40 м. утра 6 января, об'явив перерыв до 5 часов вечера того же дня.

Но следующего заседания У. С. не состоялось. А ночью 7 января ВЦИК принял декрет о роспуске У. С. Выясняя противоречия между органом буржуазного парламентаризма У. С. и Советами, декрет констатировал, что, отказываясь принять к обсуждению декларацию ВЦИК, У. С. «разорвало всякую связь между собой и советской республикой России». Большевики и левые эсеры не могли не покинуть такого У. С., партии большинства которого ведут за стенами У. С. открытую борьбу против советской власти.

«...оставшаяся часть У. С. может в силу этого играть роль только прикрытия борьбы буржуазной контр-революции для свержения власти Советов.

Поэтому ВЦИК постановляет:

«Учредительное Собрание распустить».

---

[1] Октябрьский переворот. Факты и документы. Пгр. 1918, стр. 42.

Массы и роспуск У. С.

«Когда я попал из бьющего ключом, полного жизни Смольного в Таврический дворец, я почувствовал себя так, как будто бы я находился среди трупов и безжизненных мумий», говорил Ленин на заседании ВЦИК'а, принявшего декрет о роспуске У. С. В самом деле наблюдателю должна была, прежде всего, броситься в глаза полная изолированность эсеровско-меньшевистского большинства У. С. Характерно то, что ни в одной из речей представителей большинства У. С. мы не находим даже призыва к народным массам, попытки противопоставить народ—большевикам. Сознание своей отчужденности сказалось в отношении эсеровских депутатов к петроградским рабочим и солдатам, заполнившим хоры Таврического дворца. «Что это был за народ!—Простодушно восклицал правый эсер Минор,—Красногвардейцы в папахах, матросы, конечно, все в полном вооружении». Для Пумпянского это были «хулиганы из чайной союза русского народа», для т. В. Соколова «банда пьяных матросов», для Огановского «становище хамоидолов».

Что У. С. не пользуется поддержкой широких масс, это показала уже демонстрация 5 января в Петербурге. В воззваниях союза защиты У. С. по поводу событий 5 января усиленно распространялись сведения о «многих тысячах рабочих», участвовавших в демонстрации. Едва ли нужно доказывать вздорность этой легенды. «Состав шествия был такой:—говорил организатор с.-р. боевых рабочих дружин, эсер Паевский,—немногочисленное количество партийных, дружина (около 60 чел.—*Н. Р.*), очень много учащихся, барышен, гимназистов, в особености много чиновников всех ведомств, организации к.-д. со своими зелеными и белыми флагами, Поалей-Цион и т. д. при полном отсутствии рабочих и солдат». «Были эти группы неопределённы по своему составу, замечает Соколов: чиновники, рабочие, студенты и просто обыватели и интеллигенты», потом в демонстрацию влилось несколько десятков семеновцев. По словам к.-д. Изгоева, среди 50—60 тысяч демонстрантов, было тысяч десять рабочих. «Но основную массу вышедших на улицу людей составляли интеллигенция, студенчество разных школ» [1]. «В многочисленной толпе преобладала интеллигенция: студенчество, мелкие школьники и т. п.,—писала «Новая жизнь»,—группы рабочих с Васильеостровского района были немногочисленны—в каждой из таких групп было всего несколько десятков человек. Солдат почти не было».

Мелкобуржуазные парламентские иллюзии были поддержаны, главным образом, городской мелкой буржуазией. Рассчеты на то, что демонстрация превратится в востание, не оправдались. Ни количество собравшихся, ни настроения их не могли способствовать такому ходу событий. «Я отлично помню, пишет Изгоев, как за все четыре часа, проведенные в рядах демонстрантов, у меня ни на одну минуту не было сомнения, что ничего не будет, что это только торжественные похороны по первому разряду». «В толпе не

[1] См. обвин. заключение по делу ЦК и отд. членов иных организаций партии с.-р. М. 1922 г., изд. ВЦИК, стр. 12, 13. Архив русск. революции, изд. Гессеном, т. X, стр. 24, т. VIII, стр. 63.

чувствовалось ни малейшего энтузиазма, сколько-нибудь заметного»,—вспоминает Соколов.

В руководящих кругах большевиков считались с возможностью серьезных столкновений. Приказ командующего чрезвычайным военным штабом Еремеева предписывал строгую охрану района Смольного. «Безоружных возвращать обратно, говорилось в приказе, вооруженных людей, проявляющих враждебные намерения, не допускать близко, убеждать разойтись и не препятствовать караулу выполнять данный ему приказ. В случае неисполнения приказа обезоружить и арестовать. На вооруженное сопротивление ответить беспощадным вооруженным отпором. В случае появления демонстрации каких-либо рабочих, убеждать их до последней крайности, как заблуждающихся товарищей, идущих против своих товарищей и народной власти» [1].

Надежды на солдат не оправдались. Полковой комитет Семеновского полка отказался отдать приказ об участии в демонстрации. Столкновение все же произошло. Когда демонстранты пытались в разных местах порвать караулы, солдаты и красногвардейцы открыли огонь—несколько демонстрантов было убито.

То же, примерно, произошло и в Москве, где эсеры и меньшевики вели усиленную агитацию в тыловых частях, в военнопромышленных комитетах, в Земгоре, Земсоюзе и т. п. учреждениях. Пятого января демонстранты ворвались в Совет и комитет партии большевиков городского района, пробовали оттеснить цепи красногвардейцев. В результате столкновений на Красной и Лубянской площадях 5 и 7 января было убито 9, ранено около 30 демонстрантов и несколько красногвардейцев [2].

Выступления в защиту У. С. имели место и в провинции. Так, например, в Новгороде стачечный комитет союза служащих правительственных и общественных учреждений, организованный еще в октябре, об'явил забастовку, к которой примкнула часть рабочих. Прекратили работу телефоны и телеграф, почта, типографии и водопровод; в Антониев монастырь стали стекаться вооруженные офицеры-ударники и гимназисты. Пятого января состоялась антисоветская демонстрация. На следующий день отряд, прибывший из Петербурга, занял контр-революционную базу [3].

Среди рабочих и солдат роспуск У. С. не вызвал никакого отклика. Шестого января во время митинга на фабрике Гознак, известной своим антибольшевистским настроением (что, в свою очередь, об'яснялось большой мелкобуржуазной прослойкой рабочих этой фабрики), Б. Соколов «уже не мог заметить ни возмущения большевиками, столь резко и ярко выраженного до 5 января, ни того поклонения перед демократией и идеей У. С., которое было характерно для этого фабричного центра». Пятого января на Франко-русском заводе преобладало нерешительное настроение; шестого там встречали

---

[1] Бонч-Бруевич. Созыв У. С. («Огонек», 1925 г. № 46 (137).

[2] Я. Пече. Контр-революционное выступление в Москве в связи с разгоном У. С. («Пролет. Революц.». 1928 г. № 1).

[3] «Красная Летопись» № 3/24 1927 г. К истории организации советской власти в Новгород. губ.

с энтузиазмом Зиновьева, «и рабочие, самые умеренные, между собой толкуют:—Ведь никто, собственно, не разогнал Учредиловку, она разошлась сама собой. Немного понадобилось большевикам, чтобы с нею справиться». Преображенцы и семеновцы, на сочувствие которых надеялись эсеры, отнеслись к разгону У. С. равнодушно. «Сознательные» были настроены более активно. «И до чего же, скажу вам, народ озверел, рассказывал о своем столкновении с караульным депутат-эсер, возвращаясь из У. С.: я беру его на винтовку и говорю: «брось! Ты только подумай, что делаешь, кого хочешь застрелить». А он мне: «Если, говорит, таких не стрелять, так кого же расстреливать? Контр-революционеры вы все. Буржуям продались».

Митинги шестого января успешно прошли для большевиков; только два эсеровских депутата рискнули выступить на этих митингах в защиту распущенной Учредилки.

Так отнеслась к ликвидации русской Конституанты революционная столица. Но как реагировали на роспуск У. С. провинция, армия, крестьянство? Что разгон У. С. не вызвал сколько-нибудь серьезного отклика в массах, видно из того, что выступления меньшевистско-эсеровской верхушки в защиту У. С. оказались спорадическими и изолированными. Учредительские лозунги начинают появляться гораздо позднее, во время кулацких восстаний, где они фигурируют в качестве камуфляжа подымающей голову контрреволюции.

Помимо доказательства от противного мы располагаем также непосредственными откликами солдат и крестьян по поводу роспуска У. С., по по свежим следам событий. Наказы депутатам на III с'езд советов Великолуцкого уездного с'езда крестьянских депутатов, крестьян 312 пехотной дивизии, одобряли роспуск У. С. Липецкий крестьянский с'езд приветствовал III с'езд Советов и выражал надежду, что С'езд в лице ЦИК и Совнаркома поведет трудовой народ на борьбу с У. С., *которое, не показав своей работы, хочет взять власть в свои руки*». Также отнесся к роспуску У. С. II общесибирский С'езд Советов, отметивший «равнодушие трудовых масс к разгону У. С., отражающего интересы имущих и мелкобуржуазных классов». С.-р. Малошицкий, член У. С., приехавший на крестьянский с'езд Могилевской губернии и с возмущением рассказывавший о разгоне У. С., был встречен равнодушным молчанием всего с'езда.

Организационная комиссия III Всероссийского С'езда Советов Крестьянских депутатов, открывшегося 12 января 1918 г., т. е. через неделю после роспуска У. С., выяснила, путем анкетного опроса, отношение делегатов с'езда к советским декретам, к У. С. и к уходу большевиков и левых эсеров из У. С. 419 анкет распределяется по роду ответов на вопрос об отношении к уходу большевиков и левых эсеров из У. С. следующим образом [1]:

Из 419 делегатов высказалось: против У. С., за уход большевиков и левых эсеров из У. С.	377	
Против ухода	11	(В большинстве с-р. или сочув.)
Считают уход преждевременным	4	(В большинстве левые с-р. или сочувств. им).

[1] АОР, ф. 1235 сер. А/6 III. Дела III Всерос. с'езда Сов. Кр. Деп. 12/I—1918 г. Анкеты делегатов. Дела №№ 56, 60.

За новые выборы У. С.	1
Не знали о факте ухода	13
Дали неопределенные ответы или вовсе не дали ответов	14

Делегаты с'езда ярко отразили отношение масс к буржуазной демократии. Во всех анкетах без исключения, делегат, положительно ответивший на вопрос о приемлемости советских декретов, высказывал одобрение роспуску У. С.

Выразительность большинства ответов дает рельефное представление не только об отношении рабочих и солдат к У. С., но и об их настроении. Отношение к Учредительному Собранию, писали делегаты, «отвратительно» недоверчивое, так как туда ушли нехорошие люди (буржуазия)», «У. С. должно состоять из советов трудового народа», «не доверять говорильне», «в таком составе не нахожу справедливым», «на У. С. не надеюсь», «отношение—как к приказчику, если хорошо работает, то пусть, а плохо—распустить», «не приветствую до тех пор, пока не будут заседать лишь крестьянин, солдат и рабочий», «солдаты не дают доверия У. С. и не ждут от него ничего хорошего», «я сам за него вотировал сообща с партией эсеров, в настоящее время постараюсь, чтобы отозвать некоторых правых с.-р., потому что они оказались авантюристами». «При советской власти У. С. будет лишь тормозом», «не признаю никого, кроме советской власти», «вера в У. С. сильно поколеблена», «презираю», «все в прошлом».

Не менее выразительно отвечали делегаты на вопрос об отношении У. С. к уходу большевиков и левых эсеров. «Хладнокровно восхищены решительностью», писал один делегат, «сочувственно и одобряем», «раз упали с нашего горба мироеды, то раз навсегда», «работать с саботажниками—значит затушить завоевания революции», «там им, т. е. большевикам и левым эсерам, делать нечего», «иначе они не могли и поступить», «ему (У. С.) конец и проклятье», «сердечно благодарим», «смотрим радушно, что не допустили мироедам властвовать». «Оно (У. С.) умерло и слез не проливаю, похороните, на поминки не придем», «нежелательно, чтобы работать в контакте с соглашателями», «очень сочувствую разогнанию У. С. и вся власть должна быть Советам рабочих депутатов, а не буржуазным элементам». «Похвально», «Молодцы, что не хотят слушать буржуазию». «Браво, не место с ними было работать». «Хорошо сделали, что ушли, не схотели слушать буржуев». «Вечная память У. С.». «(У. С.) Хотел жить грешно и умер смешно»...

Вряд ли нужно продолжать эти красочные лапидарные реплики, в изобилии рассыпанные по анкетным листкам. Передовые представители крестьянства и армии одобрили роспуск Учредительного собрания. Тактика большевиков была понятна массам и ими подтверждена.

13 яньаря в бюллетене союза защиты появилось извещение «председателя У. С. всем гражданам России».

«Дальнейшее обсуждение закона о земле, равно как рабочего вопроса и избрание делегации для осуществления постановлений У. С. по вопросу о мире, не могло состояться, так как вооруженные караулы, поставленные Советом Народных Комиссаров, силой воспрепятствовали открытию следующего заседания, назначенного на 6 января. Извещая об этом всех граждан

Российской Демократической Федеративной Республики, об'являю, что будут приняты все меры к скорейшему возобновлению занятий У. С., прерванного преступным насилием. О месте и времени следующего заседания У. С. будет об'явлено особо». Читателям бюллетеня так и не пришлось узнать о «месте и времени» работ У. С. За день до опубликования обращения Чернова на III с'езде Советов Россия была об'явлена Республикой Советов Рабочих, Солдатских и Крестьянских Депутатов. После 5 января Учредительное Собрание прекратило свою деятельность навсегда.

Заключение

Пролетарская диктатура ликвидировала буржуазную демократию 25 октября. Но социалистическая революция, как говорил когда-то Маркс, делает свое дело основательно. Как бы для большей наглядности история повторила это столкновение—почти формально, обеспечив лабораторную законченность эксперимента: 5 января по одну сторону баррикады стояла пролетарская диктатура, организованная в государство, по другую—Учредительное собрание—орган буржуазной демократии в ее наиболее развернутой классической форме.

Тактический опыт партии большевиков в У. С. сыграл большую роль. 5 января не было случайным, чуждым партии тактическим шагом. Оно завершало пятнадцатилетний путь большевизма в борьбе за диктатуру пролетариата—не даром остатки социал-демократизма в партии исчезают после роспуска У. С.: предметный урок 5 января начисто ликвидировал «парламентские» уклоны.

Отвечая Чернову на упрек в том, что большевики, разогнав У. С., претворили в жизнь то, что было высказано Плехановым на II с'езде Р. С. Д. Р. П., Плеханов писал: «Очень наивно думать, будто влияние речи, произнесенной мной на нашем с'езде 1903 г. побудило большевиков запереть двери Таврического дворца после первого же заседания собравшихся в нем депутатов. Разгон нашего У. С. подсказан был им не внутренней логикой тактики, освобожденной от безусловных принципов. Он подсказан был им внутренней логикой политического действия, совершенного ими в конце октября» [1].

Плеханов напрасно отделял 1903 г. от 1918 г. В действительности, партия, осуществляя разгон У. С., стояла на той же позиции, которую занимал большевизм на II с'езде. Не случайно аплодировавшие в 1903 г. словам Плеханова большевики в 1918 г. разогнали У. С., а шикавшие Плеханову меньшевики—оказались вместе с самим Плехановым в лагере учредиловцев: в этой эволюции несомненно была своя внутренняя логика.

Значение партийного опыта в вопросе об У. С. переросло национальные рамки. Ленин не раз обобщал уроки этого опыта для международного пролетариата. Использование лозунга У. С. для мобилизации масс против буржуазии, разоблачение мелкобуржуазных иллюзий, связанных с У. С.,

---

[1] «Наше единство». 1918 г. №№ от 11 и 13/1.

участие в выборах с целью облегчить «политическое изживание буржуазного парламентаризма», выигрыш времени—«первого—по словам Маркса—условия для последовательной революции», наконец, разгон У. С.—вся эта практика вошла в железный инвентарь теории международного коммунизма.

В истории Октябрьской революции эпизод У. С. не имел самостоятельного значения, но сыграл в ней немалую роль.

После разгона У. С. мелкобуржуазные партии эсеров и меньшевиков сходят на-нет. 5 января нанесло сильнейший удар мелкобуржуазной идеологии эсеров и меньшевиков. Лозунг У. С. для этой партии воплощал то же содержание, которое, по словам Маркса, мелкобуржуазные демократы 1848 года вкладывали в идею—братства (fraternité)—«благодушное абстрагирование от классовых противоречий, сантиментальное примирение противоречащих классовых интересов, фантастическое воспарение над классовой борьбой».

После роспуска У. С. эти иллюзии начинают таять, как дым. Уже 7 января на совещание эсеровской фракции покойного У. С. некоторые руководители фракции «ругали» самих себя за «викжеляние», и бия кулаками в грудь, клялись «отныне вести твердую линию». Спустя полтора месяца после разгона У. С. эсеры со скорбью признавались, что «основной проблемой русской революции была и, увы, до сих пор остается проблема власти».

Правда, и после 5 января Черновы и Церетели продолжали доказывать необходимость У. С., лозунг У. С. «имел хождение» первые месяцы гражданской войны. Но это было лишь последнее воспоминание о прошедшем. В Самаре состоялся «выход под занавес»—идея об У. С., как внеклассовом арбитре, безнадежно агонизировала.

«Отвлеченная политическая мысль полагает, что У. С. силой своей внутренней идеи, авторитетом своего всенародного значения разрешает все стоящие перед ним зтруднения. Сила реальных отношений, суровая проза государственного строительства каждый раз опровергает этот отвлеченный способ рассуждения» [1]—поучал эсеров кадетский юрист Новгородцев.

«Сила реальных отношений» не замедлила сказаться на сохранившихся остатках эсеровской и меньшевистской партии. Активное сотрудничество с.-р. и меньшевиков с буржуазно-помещичьей контр-революцией показало, что от прежних иллюзий не осталось ни следа. При поддержке мелкобуржуазных демократических партий контр-революция 1919—1920 гг. начинала прямо с генеральской диктатуры.

Для пролетарской революции это сплочение сил противника сыграло положительную роль. Оно быстро ликвидировало колебания крестьянства и некоторых отсталых слоев рабочего класса в гражданской войне, провело четкий водораздел между революцией и контр-революцией. Кристаллизация сил обоих лагерей укрепила диктатуру пролетариата.

---

[1] «Русские ведомости», № 42—22/9—III—1916 г., ст. Места и действительность в вопросе об У. С.

Н. Лукин

Альфонс Олар

(1849—1928)

Начиная с Реставрации и вплоть до наших дней не было, кажется, эпохи, когда классовая борьба не находила бы своего отражения в наиболее ярких работах по истории Великой революции, когда то или иное понимание этой революции не становилось бы орудием борьбы на идеологическом фронте. Полемика Минье и Тьера с авторами роялистских памфлетов на Революцию, Луи-Блана с Мишле, Олара и Жореса с Тэном, Олара с Матьезом—все это своеобразное идеологическое отражение классовой борьбы во французском обществе на разных стадиях его развития. С этой точки зрения мы и попробуем подойти к оценке работ недавно умершего заслуженного профессора Сорбонны А. Олара.

Альфонс Олар родился в 1849 году в Монброне (департамент Charent), в семье инспектора высших школ. Свое среднее образование Олар получил в лицее Людовика Великого, в 1871 году он окончил Высшую Нормальную Школу (Ecole Normale Supêrieure) со степенью agrégé des lettres [1].

Преподавал в лицеях Нима и Ниццы. С 1878 года по 1881 Олар состоял последовательно преподавателем на Словесных факультетах университетов в Э (Aix), Монпелье и Пуатье.

По своей академической подготовке Олар не был историком: Нормальную Школу он окончил по отделению «чистой словесности» (la section des lettres pures), а темой его докторской диссертации, защищенной в 1877 году, было исследование об итальянском поэте Леопарди [2].

Пробуждение интереса к истории Революции совпало с политическим самоопределением Олара, падающим на конец 70-х г.г. Еще в Нормальной школе Олар получил известную либеральную закваску, вместе со своими товарищами он был «непримиримым врагом Империи», но его республиканизм был чисто стихийным: никаких серьезных знаний по политическим вопросам школа не дала. Впоследствии Олар признавался, что даже в 1876 году, уже будучи преподавателем лицея, он совсем не разбирался в различных оттенках республиканской мысли.

[1] Диплом на право преподавания в средней и высшей школе.

[2] Сведения об академической карьере Олара заимствуем из статьи Матьеза («M. Aulard historien et Professeur»), напечатанной в 1905 г. в «Revue des Charentes» и перепечатанной затем с комментариями самого Олара в Rév. Française за 1908 г. (t. 55, p. 41).

Чтобы уяснить себе разногласия, существовавшие тогда внутри республиканской партии, он, по собственному выражению, «засел за изучение истории демократии» [1], т. е. изучение Великой революции. Там, у истоков республики и демократии думал он найти материал для разрешения задач текущего момента. А момент был ответственным и полным драматизма. После несчастной войны и Коммуны Франция только что пережила полосу «республики без республиканцев», попытку монархического переворота с помощью «честной шпаги». В 1879 году после упорной борьбы умеренные республиканцы приходят к власти, но монархисты, опиравшиеся на могущественную организацию католической церкви и старый военно-бюрократический аппарат, еще надеялись сокрушить республику в ближайшие же годы. В пылу борьбы обе стороны спешили подновить свое идеологическое вооружение апелляцией к прошлому. Для монархистов важно было еще раз заклеймить Первую революцию, от которой пошло все зло. Известная четырехтомная работа Тэна («Происхождение современной Франции»), вышедшая в 1875—1884 г.г. и представлявшая по позднейшей оценке Олара «злостную карикатуру на историю Революции», сознательно или бессознательно была настоящим «социальным заказом». Республиканцам, переживавшим тогда еще свою героическую пору, наоборот, важно было оживить традиции Революции, связав их своей программой упрочения республики и проведения либеральных реформ, рассеять клеветнические легенды, распространявшиеся о ней монархистами под ученым и неученым соусом.

Став у власти, республиканцы перенесли заседания Палат из Версаля в Париж, об'явили «Марсельезу» национальным гимном, а день 14-го июля национальным праздником. В 1881 г. архивист Этьен Шаравэ основал специальный журнал—«Французская Революция», вокруг которого вскоре сорганизовалось научное «Общество изучения Французской Революции» при участии видных членов республиканской партии (сенатора Дида, Кольфаврю, внука члена Конвента— Ипполита Карно и др.). Журнал ставил своей задачей распространение знаний о Первой революции и подготовку празднования ее столетнего юбилея, которое должно было состояться в 1889 году, и которое предполагалось ознаменовать открытием исторической выставки. В 1885 году вышел первый том известной работы Сореля («Европа и Французская Революция»).

Такова была общественно-политическая атмосфера, когда Олар начал свою профессорскую карьеру. Молодой ученый—республиканец и демократ—поспешил внести в это движение свою лепту: связать современность с революцией, доказав, что Третья республика завершает дело, начатое людьми 89-го и 93-го года,—вот задача, которую поставил себе Олар. Но вначале он подошел к изучению Революции больше как знаток изящной литературы, чем как историк. Рискуя вызвать настоящий «скандал» среди своих фешенебельных слушателей, Олар об'явил в Пуатье публичный курс на тему об ораторах Революции. Устами Олара с кафедры заговорили не препари-

[1] О политических настроениях Олара в 70-х гг. см. его брошюру: «Science, patrie, religion», 1893, 6—7.

рованные Тэном, а доподлинные якобинцы. Сравнивать Верньо или Робеспьера с Демосфеном или Цицероном—это была «циничная наглость»! Университетское начальство было шокировано, Олара стали считать «опасным анархистом»[1]. Лекции Олара вышли потом (в 1882—1886 г.г.), ввиде большой работы (Les orateurs de la Constituante, de la Législative et de la Convention)[2], сразу завоевавшей ему почетное имя среди историков, но затхлая атмосфера провинциального университетского городка была невыносима, и Олар перебирается в Париж, поближе к драгоценным источникам по истории Революции, к изучению которой он почувствовал теперь настоящий вкус. В столице ему приходится удовлетвориться вначале должностью преподавателя в лицее Janson-de-Sailly.

Но вскоре перед Оларом открылись более широкие перспективы. До 1870 г. в университетах новейшая история Франции заканчивалась 1789 годом, изучение же эпохи самой Революции, в виду ее связи с современностью, было воспрещено, за исключением тех случаев, когда лектор ставил своей прямой задачей дискредитировать эту героическую эпоху. В Сорбонне, где существовали «кафедры истории всех народов», не было кафедры, посвященной изучению той революции, из которой вышла современная Франция[3].

В 1886 году этот позорный пробел был восполнен: Парижский Муниципалитет отпустил специальные средства на создание при Университете вольной кафедры Истории Французской Революции. Занять эту кафедру пригласили Олара.

В первые годы преподавания в Сорбонне положение молодого ученого было не из завидных. Не только старая реакционная профессура, считавшая Олара «пролазой», попавшим на кафедру не в силу своих научных заслуг, а за свой республиканский образ мыслей, но и часть студенчества заняли в отношении его враждебную позицию[4]. Против Олара подняли травлю и реакционные газеты, вроде «Matin».

Однако республиканский строй, который еще в конце 80-х г.г. был под сомнением (вспомним буланжизм!), вскоре упрочился окончательно, а вместе с ним упрочилось и положение Олара в Сорбонне: через 5 лет после его назначения вольная кафедра по истории Революции была преобразована в постоянную, а курсы Олара были сделаны обязательными для студентов. Свежая струя проникла даже в затхлую атмосферу «Ecole de Chartes» (Школа хартий), где до сих пор не шли дальше изучения источников по средневековью; теперь, под влиянием Олара, там стали обучать и работе над архивными материалами новейшего времени.

Олар не печатал целиком своих курсов в Сорбонне, но опубликовывал результаты своих научных изысканий в «Révolution Française» или в особых сборниках, выходивших под общим заглавием: «Etudes et leçons de la Révolution Française» (всего вышло с 1893 по 1924 год 9 серий).

---

1 Mathiez, op. c., Rév. Fr. 1908, t. 55, p. 49.
2 Эта работа была переиздана в 1905 и 1907 гг.
3 Rév. Fr. 1886, m. X, t. 771.
4 Mathiez, op. c. p. 50—51.

Вокруг молодого профессора сплотилась группа ближайших его учеников, засевших за разработку отдельных вопросов Французской революции. Из этой «школы Олара» вышел ряд диссертаций и монографий («Фуше»—Мадлена, «Жонбон-Сент-Андре»—Леви, «Филиппо»—Мотуше и др.) [1].

Вместе с тем изменила свой облик и «La Révolution Française». С тех пор, как Олар, бывший одним из первых ее сотрудников, стал (с 1887 г.) ее главным редактором, из полу-публицистического журнал стал строго научным. Помимо статей крупнейших специалистов по истории Революции [2] журнал публиковал ряд архивных материалов и, что особенно важно, впервые поставил отдел библиографии.

Мы не можем согласиться с утверждением Матьеза, что Олар «создал действительно научную историю Революции» [3]: для нас история становится наукой только при условии ее материалистического истолкования, которое, как увидим ниже, было чуждо Олару. Но заслуга Олара заключается в том, что в своих лекциях и научных работах он впервые применил к изучению истории Революции те строго научные приемы, которые до него применялись лишь к изучению древности и средневековья. Иначе говоря, поднял на надлежащую высоту технику исторического исследования. Ничего, говорил Олар, нельзя утверждать без точной и подробной ссылки на соответствующий источник; не может быть научной работы без критического отношения к источникам (выяснение их подлинности, исторической ценности, проверки их показаний показаниями других источников и т. д.). С этими требованиями Олар, как известно, подошел к Тэну, беспощадно разоблачив его мнимую эрудицию, всю ненаучность его методов обращения с источниками и т. д.

До Олара историки Революции использовали неопубликованный материал лишь мимоходом; Олар ввел работу над архивными документами в систему, сделав их основным стержнем своих работ. Теперь всякий, кто претендует дать что-либо новое в освещении той или иной стороны Революции, не может не обращаться к изучению архивного материала. В то же время Олар, так сказать, приблизил этот сырой и в то же время наиболее надежный источник к исследователю, опубликовав ряд сборников важнейших материалов и документов по политической истории Революции. Таков его знаменитый шеститомник протоколов Якобинского Клуба (вышли в 1889—1897 г.г.), «Собрание актов Комитета Общественного Спасения» [4], «Собрание документов, относящихся к истории Парижа во время Французской революции» [5].

---

[1] Mathiez, op. cit, p. 52—53.

[2] Chassin, Débidour, Champion, Caron, Bloch, Marion, Sagnac, Mautouchet, Bourgin, Mathiez, Braesch и др.

[3] Rév. Fr., t. 55, p. 54.

[4] Первый том появился в 1889 г., до 1928 г. вышло 26 томов. Это издание было предпринято особой комиссией, созданной Министерством Народного Просвещения еще в 1886 г.

[5] Эта коллекция («Paris pendant la réaction thermidorienne et sous le Directoire»), вышедшая в 4 том. в 1899—1900 гг., и «Paris sous le consulat, t. I—IV, 1903—1909, обязаны своим опубликованием Парижскому Муниципалитету, создавшему с этой целью особую комиссию и отпустившему крупные средства.

Заслуга Олара в деле публикации архивных документов приобретает особенное значение, если учесть хаотическое состояние Национального и, особенно, провинциальных архивов в 80—90-х гг. прошлого века.

Олару же мы обязаны опубликованием ряда мемуаров (Луве, Фурнье-американца, Шометта), снабженных его критическими примечаниями. Издание этих мемуаров взяло на себя Общество по изучению Истории Революции. Это Общество, президентом которого Олар состоял до самой своей смерти, издало также известную брошюру Сиэса (под редакцией Шампиона), протоколы Парижской Коммуны (1792—1794) (редакция Мориса Турнэ), материалы по истории парижских секций (Mellie) и т. д. Оно же способствовало появлению в свет инвентарей отдельных серий Национального Архива. Из последних публикаций Общества особенно ценно критическое издание газеты «Pére Duchesne» (примечания Брэша).

С 1903 г. Олар принял живейшее участие в организованной Палатой под председательством Жоресса Комиссии по изданию документов, относящихся к экономической истории Франции.

В результате работ этой Комиссии[1] мы имеем ряд таких ценнейших публикаций, как протоколы Комитетов Земледелия и Торговли (éd. Gerbaux et Schmidt), материалы по разделу общинных земель (Bourgin), материалы по ликвидации феодального режима (Саньяк и Карон), протоколы Центральной Продовольственной Комиссии 11 г., изданные Кароном и т. д.

Необходимо также отметить, что Олар прекрасно сознавал, что при современном состоянии источников сколько-нибудь крупная научная работа не может быть выполнена силами отдельного ученого, хотя бы и посвятившего ей всю свою жизнь. Во Франции именно он явился пионером коллективной научной работы, ведущейся по заранее выработанному календарному плану, с далеко проведенной системой разделения труда, с привлечением научно-технического персонала. Такого рода работой должны бы, по мнению Олара, заняться Общество по изучению истории Революции и многочисленные провинциальные общества того же типа, которые должны покончить с кустарничеством и сорганизоваться в своего рода научные лаборатории («formez vous en ateliers)[2].

Результатом кропотливой двадцатилетней научной работы Олара явилась его «Политическая история Французской революции», вышедшая в 1901 г. и впоследствии переведенная на ряд европейских языков. В этом наиболее крупном труде Олара, основанном на изучении всех главнейших источников, его научные приемы нашли блестящее применение: в результате было разрушено немало легенд, устранено множество неточностей и фактических ошибок, имевшихся в старых работах по истории Революции.

Но здесь же наиболее определенно обнаруживается идеалистическое понимание истории, которое вообще характерно для социологических взглядов

[1] Рабочим аппаратом этой Комиссии была Подкомиссия, председателем которой был Олар, а секретарем Карон. Первый том работ комиссии появился в 1906 г. К 1913 г. вышло 57 томов (Études . . . 7-me série, 1913).

[2] Rév. Fr. 1900, 38, «Провинциальная история современной Франции» (речь Олара, произнесенная на с'езде ученых обществ).

Олара. В самом деле. Вся революция рассматривается им исключительно с точки зрения борьбы идей, принципов. Как об'ясняет, например, Олар борьбу между Горой и Жирондой? Разногласиями по вопросу о преобладании Парижа над провинцией в период национальной защиты. «Самое существенное, —говорит он,—или даже единственное различие между монтаньярами и жирондистами заключалось в том, что первые не желали, чтобы временно, в течение войны, Париж был поставлен во главе этой единой республики, в качестве руководящей столицы; последние же хотели, напротив, чтобы во время войны у Парижа не было никакой верховной власти над департаментами». Вот истинная причина вражды»[1]. Отсюда—«департаментская», «антипарижская» политика Жиронды, пытавшейся свести влияния Парижа к 1/83 части и т. п. Отсюда обвинение в «федерализме», выдвигавшееся ее противниками. Но удовольствоваться подобным об'яснением—это значит остаться во власти политической фразеологии того времени, не подозревая, что за ней скрывались более реальные интересы партий, что дело было не в теоретическом споре о совместимости принципа национального верховенства с диктатурой Парижа, хотя бы и временной,—а в борьбе, опиравшейся на крупную **провинциальную** буржуазию Жиронды с Горой, которую поддерживал мелкобуржуазный рабочий Париж, где у жирондистов почти не было социальной базы. Словом, когда встречаешься у Олара с подобного рода «об'яснениями», а их сколько угодно в его книге, хочется процитировать известное место из «10 брюмера» Маркса: «Если даже в частной жизни делают различие между тем, что говорит человек и что думает он сам о себе, и тем, что он есть и делает в действительности,—тем более, в истории необходимо различать фразы и химеры от реального положения реальных интересов той или другой партии»[2]. Но вся, так сказать, установка, с которой подошел Олар к своей работе, исключает возможность этого реалистического подхода в изучении революции. В самом деле. В предисловии автор говорит, что его, прежде всего, интересовало, «как применялись на практике принципы Декларации Прав в период от 1789 до 1804 г., как осуществлялись они в учреждениях, истолковывались в речах, в печати, в действиях различных партий, в тех или других проявлениях общественного мнения[3]. Революция это—«все попытки, делавшиеся с целью осуществления Декларации Прав, редактированной в 1789 году и дополненной в 1793 году»; «контр-революция состояла в попытках отвратить французов от поведения, согласного с основными принципами Декларации Прав, т. е. согласно с разумом, просвещенным историей»[4]. Почему революция «приостановилась», а при Наполеоне I казалась даже «уничтоженной»?—«Потому,—отвечает Олар,—что французский народ еще не был достаточно просвещен, чтобы осуществлять свою верховную власть»[5]. Но разве это не идеализм самой чистейшей воды?!

---

[1] Олар—Политическая история Французской революции, изд. 1902 г. 462.
[2] Маркс К.—18-е Брюмера Луи Бонапарта. Изд. «Колокол». М. 1906, стр. 39.
[3] Олар, op. cit. стр. V.
[4] Ibidem, стр. 867.
[5] Ibidem, стр. 865.

Долгое время Олар совершенно не интересовался экономической историей революции, что, несомненно, стоит в связи с тем обстоятельством, что до начала 90-х гг. социальный вопрос играл весьма скромную роль даже в программе радикалов, не говоря уже об умеренных распубликанцах, глава которых, Гамбетта, отрицал самое существование такового.

В предисловии к своей «Политической истории Французской революции», автор говорит, что он сознательно оставил в стороне военную, дипломатическую и финансовую историю Французской революции[1]. Об экономической истории Революции Олар не счел нужным здесь даже упомянуть!

Но уже через несколько лет этому игнорированию экономической истории пришел конец. Решающую роль в этой перемене, как нам кажется, сыграло усиление интереса к социальному вопросу, которое наблюдалось среди радикально настроенной французской интеллигенции уже с начала 90-х гг. под влиянием успехов рабочего и социалистического движения. Политически оно, как известно, сказалось в образовании радикально-социалистической партии и сближении радикалов с социалистами-реформистами, практике мильеранизма и «левого блока». Олар,—который еще в 1893 г. советовал студентам изучать экономическую революцию, создавшую современные отношения труда и капитала[2],—не мог остаться незатронутым этим движением: новые политические веяния отражались на его научных интересах. К этому времени относится и знакомство Олара с Жоресом, «Социалистическая история» которого впервые уделившая должное внимание социально-экономической истории Революции, начала выходить в 1901—04 гг. и, несомненно, оказала большое влияние на Олара. Не меньшее значение имела и та работа, которую вел Олар в организованной в 1903 г. под председательством Жореса Комиссии по изучению экономической истории Революции. Впоследствии Олар сам признавал, что опубликованные Комиссией архивные материалы дали новый толчок и новое направление исследованиям по истории Революции[3]. В 1912—13 академическом году Олар избирает для своего курса в Сорбонне совершенно необычную для него тему—«Социальная политика Конвента». Накануне мировой войны им была уже подготовлена работа: «Французская революция и феодальный режим», появившаяся в свет лишь в 1919 г.

Но дело не ограничилось тем, что Олар (а вместе с ним и его школа[4]) заинтересовались экономической историей Революции: они в значительной мере испытали на себе влияние марксизма и в области своих социологических взглядов. На этот счет мы имеем ряд совершенно категорических заявлений самого Олара. «Верно то,—писал он в 1926 г.,—что до социализма экономические реальности не занимали в истории того места, которое им принадлежит или принадлежало в действительной жизни общества. Да, вся наша

[1] Ibid., стр. VIII.

[2] Доклад, прочитанный Оларом на собрании «Демократической Лиги» высшей школы по изучению политических и социальных вопросов. Вышел отдельной брошюрой: «Science, patrie, religion (1893).

[3] См. его речь на годичном общем собрании О-ва изучения Французской революции 25/VII 1928 г. (Rév. Fr. 1928, № 38).

[4] Достаточно напомнить работы Boissonnade, Lefeubvr, Bourgin'a и других.

историческая школа, может быть, не отдавая себе в этом отчета, эволюционировала под влиянием социализма вообще и Карла Маркса в особенности (разр. моя.—*Н. Л.*).Мода на исторический материализм понудила даже истинных идеалистов среди историков обратить большое внимание на ту существенную сторону действительности, которой они до сих пор слишком пренебрегали» [1].

На годичном общем собрании Общества изучения Французской Революции в марте 1928 года Олар снова возвращается к этому вопросу и поясняет, в чем именно изменила свою точку зрения его школа под влиянием исторического материализма. «Можно быть,—говорит он там,—сторонниками или противниками социальных теорий К. Маркса и его учеников, но надо признать, что, указывая, что экономическое движение захватывает (entraine) цивилизованное человечество, и сделав это положение модой, марксисты всех нас привели к большему признанию этой экономической точки зрения, которая оставалась в таком пренебрежении в большей части крупных историй Революции. На эту экономическую точку зрения не смогли стать целиком (trop s'y placer), но пришлось признать, что в подготовке и развитии Революции экономические вопросы играли гораздо более важную роль, чем это раньше думали» [2] (разр. моя.—*Н. Л.*).

Действительно. Тот самый Олар, который еще в 1901 году не допускал и мысли, что может быть какая-то экономическая история Революции, через 12 лет, в предисловии к своей работе—«Французская революция и феодальный режим»—писал: «Провозглашенная депутатами 3-го сословия в Версале, начатая парижанами, которые—в лице буржуа и рабочих—взяли Бастилию, революция, возможно, не удалась бы, если бы крестьянские массы не приняли в ней участия, не распространили ее на всю Францию, и, когда победа была достигнута, не закрепили бы и не углубили бы этой победы. Крестьянство восстало, чтобы стряхнуть с себя бремя, которое тяготело над ним веками, чтобы добиться уничтожения ставших невыносимыми феодальных прав..

Буржуазия, меньше страдавшая от старого режима, порой даже извлекавшая из него выгоды, сначала хотела лишь политической революции; поэтому вначале она пошла только на частичное удовлетворение крестьянства,

---

[1] «Голос Минувшего на чужой стороне», 1926, I. «Русское влияние в изучении Французской революции». Правда, в этой статье Олар указывает, что перемена во взглядах французских историков в значительной мере произошла и под влиянием работ «русской школы», представителей которой он наивно зачисляет в социалисты. В действительности «русская школа» сама испытала на себе влияние марксизма не в меньшей степени, чем французская.

[2] Rév. Fr. 1928, № 34, p. 97. Еще в 1913 г., выступая на собрании того же общества, Олар заявил, что он различает два параллельные движения, правда, находящиеся в некотором контакте, но чаще всего различных: это—движение политическое, по преимуществу парижское и буржуазное—с одной стороны, и экономическое и социальное, главным образом провинциальное и крестьянское; но «что знакомство с экономическим развитием является полезным или даже неизбежным (indispensable) условием изучения всех других сторон (aspects) национальной деятельности во время революции» (Études et leçons, 7-me série).

да и то после новых крестьянских восстаний. В ночь на 4 августа Конституанта вовсе не уничтожила феодальный режим полностью: две трети или три четверти его осталось и так раздражали крестьян, что они снова подняли жакерию». Буржуазия могла отвечать на это восстание репрессиями, пока сама держалась за монархию. Но с падением последней ослабела и сила сопротивления буржуазии. Отсюда крупные уступки, полученные крестьянством от Законодательного Собрания в августе 1792 г. Но и после этих уступок остатки феодальных повинностей были достаточно тяжелы. Окончательно феодальный режим был ликвидирован Конвентом, который особенно нуждался в поддержке крестьян летом 1793 г., в разгар гражданской и внешней войны. Эта ликвидация феодальных прав имела решающее значение для судьбы революции [1].

Как видит читатель, в данном случае мы имеем не только материалистическое об'яснение судьбы крестьянской реформы, но и признание крестьянского движения определяющим фактором Революции [2].

Но если на склоне своей жизни Олар порой говорил почти марксистским языком, то это еще не значит, что он стал почти-марксистом. Совершенно так же, как это было с нашими историками революции—Ковалевским, Кареевым и другими, признание важности экономического «фактора» еще не означало для Олара принятия теории исторического материализма. Сейчас мы постараемся показать, что Олар до конца своей жизни оставался идеалистом, а его понимание и критика марксизма остались весьма примитивными, напоминающими доводы нашей «суб'ективной» школы, с которой в свое время столь блестяще полемизировал Плеханов.

Под «неясным» и «неудачным» термином—исторический материализм Олар «подразумевает, что человечество как в своем прогрессе, так и в своем движении, руководимо исключительно действием экономических сил. Единственным или почти единственным об'ектом истории, таким образом, являлось бы обнаружение действия этих сил и их изучение» [3]. В другой статье Олар пишет, что это—«ограниченная теория, поскольку она полагает, что желудок всегда управляется головой, что в равной мере неверно, как относительно народов, так и относительно индивидуумов,—теория, не об'ясняющая религиозных явлений, столь важных в жизни народов, не об'ясняющая и почему парижские рабочие, столько извлекавшие из роскоши привилегированных, шли на смерть, чтобы взять Бастилию...» [4].

«Идеи (разр. моя.—*Н. Л.)*,—говорит он в другом месте,—двигали революцию, даже в выступлениях деревенского и рабочего народа в такой же,

[1] Aulard—La Révolution Française et le régime féodal, 1919 (Préface).

[2] Все же Олар был органически неспособен представить себе всю революцию в свете борьбы классовых интересов, или признать ее буржуазную сущность. См. напр., его доклад по поводу выставки Революции, организованной в Bibliothèque Nationale в янв. этого года. («Rév. Fr.», 1928, № 37, p. 10).

[3] «Жорес и исторический материализм» («Воля России», 1925, № 3).

[4] «Русское влияние в изучении французской революции» («Голос Минувшего на чужой стороне» 1926, I, стр. 7—8). За неуклюжий стиль эмигрантских журналов мы не отвечаем.

а иногда, может быть, даже в большей степени, чем материальные нужды (le besoin matérial) [1].

Олар не без удовольствия констатирует, что «честное стремление Жореса «примирить» материалистическое понимание истории с идеалистическим в конце концов потерпело неудачу» [2].

Сам он претендует на синтетический подход к изучению Революции: «Надо,—говорит он,—изучать духовную (spirituelle) форму революции одновременно с изучением ее физической формы». «Не допустим извращения истории с помощью какой-либо систематической абстракции: пусть из наших трудов выйдет широкая истина, истина целиком» [3]. Итак, в своих социологических концепциях Олар не пошел дальше так называемой «теории факторов», признания «равноправия» обоих аспектов—«политического» и «экономического».

До сих пор мы говорили об Оларе, как об ученом, профессоре Сорбонны, главе школы. Но такой подход к Олару может быть тоже лишь результатом научной абстракции. В действительной жизни он менее всего был кабинетным ученым. Республиканец и демократ по своим политическим убеждениям, он считал, что «просвещенный человек должен просвещать своих сограждан», не отказываться от выборных общественных должностей, брать на себя долю ответственности за управление нацией. Он внушал своим молодым слушателям, что они не должны стоять вне политики [4]. Сам он принимал самое активное участие в политической жизни страны, сотрудничал в ряде радикальных газет («La Juctice», «Lundis revolutionaires», «Depéche de Toulouse», «L'Aurore» и др.), выступал с публичными лекциями и докладами на злободневные политические темы, то в студенческих кружках по самообразованию, то перед учителями, то просто перед широкой «публикой» [5]. В то же время Олар работал в ряде общественных организаций: в «Лиге Прав Человека», вице-президентом которой он состоял; в «Обществе Кондорсе», «Комитете пропаганды светских миссий», «Лиге Образования» и т. д.

В сущности, Олар историк и Олар политический деятель не отделимы друг от друга: обе стороны этого человека так тесно переплелись, что иногда трудно установить, является ли данное произведение Олара публицистикой или историей. Мы уже знаем, что ожесточенная борьба между республиканцами и монархистами 70—80 гг.. передвинула научные интересы Олара от итальянской литературы к эпохе Великой революции; что позже успехи рабочего

[1] См. речь Олара на годичном собрании О-ва изуч. Фр. рев. (1928, № 38, р. 98).

[2] «Голос Минувшего на чужой стороне» 1926, 1, 8. В своем недавнем докладе, сделанном по поводу открытия выставки, посвященной Великой революции, Олар говорит, что без «философов», этих «вдохновителей» и «воспитателей» темных и невежественных масс, революция могла ли быть лишь «своекорыстным варварством» (une sauvagerie egoiste), предоставленные сами себе, эти массы могли бы в своем скотском ослеплении создать лишь нечто «эфемерное» (R. Fr., 1928, р. 7—11). Как видит читатель, оларовский «демократизм» был весьма своеобразен.

[3] Rév. Fr. 1928, 38.

[4] «Science, patrie, religion», р. 8. (Речь, произнесенная Оларом).

[5] Газетные статьи Олара вышли в виде двух сборников: «Polémique et historie» (1904) и «La guerre actuelle commentée par l'histoire» (1916).

движения и социализма способствовали пробуждению интереса к социально-экономической истории Революции. Можно показать, что вообще круг вопросов, привлекавшихся Оларом к научной разработке, стоял в теснейшей связи с наиболее актуальными проблемами современности, стоявшими в фокусе партийной борьбы. Просмотрите список курсов, читавшихся в течение 25 лет Оларом в Сорбонне [1] и вы, например, увидите, что в годы борьбы радикальных кабинетов с конгрегациями и подготовки закона об отделении церкви от государства, Олар об'являл такие курсы, как «Религиозная история Первой Империи» (1902—03 г.), или «Конвент и отделение церкви от государства» (1904—05 ак. г.). Той же борьбой с клерикализмом, лозунг которой бросил еще Гамбетта («клерикализм—вот враг!»), и которая до начала 10-х гг. нашего столетия фигурировала в политическом арсенале радикальной партии,—обязаны своим появлением в свет обе работы Олара по религиозной истории Революции—«Культ разума и культ верховного существа» (1892 г., переизд. в 1913 г.) и «Христианство и французская революция» (1925).

Еще в 1886 г. в своей первой вступительной лекции в Сорбонне, набрасывая беглый очерк историографии Революции, Олар дал убийственную характеристику книге Тэна. Не называя прямо этого идола французских реакционеров, Олар обрушился на такие работы по истории революции, которые изображают народ 93 г., как какого-то «зверя, испускающего крики тоски и ярости», но забывают сказать, «что в этот момент Вандея вонзает ему нож в спину»; такие работы напоминают ему картину какого-нибудь художника, который вздумал бы изобразить раз'яренного борца, не показав его противника [2]. Но только возобновление и обострение борьбы с радикализмом и реакцией в начале XX века побудило Олара окончательно расквитаться с Тэном и низвергнуть этот считающийся незыблемым «мировой» авторитет перед большой публикой.

В 1905—07 гг. Олар посвящает Тэну два академических курса подряд, а в 1908 г. появляется его знаменитая работа «Тэн, как историк французской революции»,—которая заканчивается суровым приговором: «в своих главных результатах, его (Тэна) книга кажется почти бесполезной для истории» [3].

В своей статье, предназначенной для русских читателей [4], Олар так об'ясняет появление своей работы. «...Я видел, как католическая церковь и реакционные партии используют Тэна, борясь с истиной, с наукой, с разумом, с республикой, с демократией, со всем, что я любил... Я видел, как, благодаря авторитету Тэна, история французской революции мало-по-малу извращалась в умах, за границей, пожалуй, еще больше, чем во Франции, и что изучение современной истории получало в самой своей исходной точке неверный отпечаток, отпечаток фанатизма и ретроградности».

Крупные перемены, происшедшие в начале XX века на арене международной политики и, в сущности, предрешившие расстановку сил в мировой

[1] См. Études et leçons, 7-me série («Vingt-cinq années d'enseignement»).
[2] Rév. Fr. 1886 г., т. X, стр. 771.
[3] Taine «Historien de la Rév. Fr.», p. 330.
[4] «Тэн как историк». «Совр. Мир», 1908, кн. X, 132—136.

войне, привлекли внимание Олара к истории международных отношений, которые до того времени почти его не интересовали[1]. В 1907 г. вместе с Bourgeois и Pages'ом Олар вошел в организованную Министерством Иностранных Дел Комиссию, которая предприняла опубликование дипломатических документов, относящихся к войне 1870—71 г.[2].

С началом мировой войны этот интерес к внешней политике еще более возрастает, что видно уже по тому, как изменяется содержание его лекций: «Патриотизм и французская революция», «Исторические замечания относительно поведения Болгарии», «Исторические замечания относительно позиции Греции, Сербии и Румынии в настоящей войне»,—вот какие темы берет теперь Олар[3].

Но этого мало. После заключения Версальского мира Олар принимает участие в коллективном труде по военно-политической истории «Великой Войны»[4], вышедшем в 1924 г. со вступительной статьей Олара, а также вступает в Общество по изучению истории войны (La société de l'histoire de la guerre), которое предприняло издание дипломатических документов, выходящее под названием «La politique extérieure de l'Allemange» (1870—1914) и представляющее собою переработку (ввиде хронологического размещения) материалов, опубликованных в «Die Grosse Politik». Так, «прирожденный» (выражение Матьеза) историк Революции мало-по-малу становится историком современности.

Почти все писавшие об Оларе, начиная с Матьеза (в 1905 году) и кончая Vorwärts'ом, поместившим специальную статью в связи со смертью историка[5], неизменно подчеркивали «беспристрастность» и «об'ективность» Олара. «Вместе с ним,—писал Матьез,—революция вошла в спокойную область беспристрастной науки», тогда как до этого «она слишком часто становилась добычей людей партийных, искавших в ней материал для красноречивых тирад и страстных выводов»[6]. Сам Олар также претендовал на полное беспристрастие и «беспартийность», якобы преимущественно свойственных его научным трудам. «Мы любим Революцию,—писал Олар,—мы питаемся ее духом, но мы хотим, чтобы факты, которым она дала место, были рассказаны верно, без фанатического уважения к ней, на основании текстов, как если бы дело шло о царствовании Филиппа-Августа или Людовика XIV»[7]. «Я желал,—говорится в предисловии к «Политической Истории»,—по мере моих сил, исполнять функции историка, а не защищать какой-нибудь тезис. Я имею претензию думать, что на мой труд можно смотреть, как на образ-

---

[1] Среди работ Олара, печатавшихся в «Études et leçons», мы находим лишь одну статью, посвященную дипломатии первого Комитета Обществ. Спасения. 3-ème série, 1914, p. 1—24.

[2] Это издание—«Origines diplomatiques de la guerre de 1870—71 an.» стало выходить с 1910 г. Всего вышло 20 томов.

[3] См. Rév. Fr. 1915, т. 68.

[4] «Histoire politique de la Grande Guerre» (publiée sous la direction de A. Aulard, Bouvier et Ganem).

[5] См. Vorwärts 4/XI 1928 г.

[6] La Rév. Fr. т. 55, стр. 51, 52, 55.

[7] Цитируем по статье Матьеза в 55 т. Rév. Fr., стр. 55.

чик применения исторического метода к изучению эпохи, извращенной страстями и легендами». Во всяком случае, эта книга—не партийное сочинение» [1].

Надо, однако, сказать, что сам Олар не очень то верил в возможность сохранить при изучении Революции то же «безразличие», «беспартийность», «отрешенность» (détachement), какое так естественно при изложении «превратностей древнего Египта». «Если рассматривать Революцию, как дуэль между народом и монархией,—говорил он на одной из своих лекций,—или.. как конфликт между наукой и религией, то, как бы мы ни отвлекались от своих взглядов, мы не скрыли бы своих симпатий и антипатий». Да это и не нужно: «Тот, кто не солидаризируется с революцией, не способен проникнуть в ее глубины» [2].

Но «солидаризироваться» с Революцией можно по разному: «любовь» к ней Олара есть специфическая любовь республиканца-радикала Третьей республики. Вопреки его утверждениям, принадлежность к радикальной партии наложила весьма заметный отпечаток на его научные работы и, в частности, на «Политическую историю». В самом деле: вопреки заверениям автора, в этой работе защищается совершенно определенный тезис. Разве не доказывается здесь, что сущность революции заключалась в декларациях прав 1789 и 93 г., а контр-революции—в нарушении их, что, поэтому, обе дорогие радикалу-Олару идеи—республика и демократия—остались «незапятнанными», несмотря на террор якобинцев и узурпацию власти Наполеоном? В противовес Тэну Олару нужно было реабилитировать именно якобинский период Революции, эпоху «демократической республики», возрождение которой Олар и его политические друзья видели в Третьей республике. Для этого ему пришлось защищать монтаньяров от обвинений в организации «сентябрьских убийств», доказывать, что инициаторами легального террора были жирондисты, что вообще между Горой и Жирондой не было никаких сколько-нибудь существенных разногласий по программным вопросам, в частности, по вопросу о новой конституции; пришлось дать сочувственную характеристику эмиссаров Конвента, отметить гражданские заслуги народных обществ, предостеречь против односторонней оценки деятельности революционных комитетов и т. п. [3].

Но, конечно, не случайно, что никогда не применявшейся на практике, но зато «демократнчнейшей» Конституции 1793 г., отведено почти столько же места, сколько «революционному правительству до 9 термидора». С другой стороны, не все «люди 93 г.» в одинаковом почете у Олара. Его любимейший герой, это—Дантон, предшественник Гамбетты, настоящий «реальный политик», который «никогда не шел впереди общественного мнения, пламенный трибун, «умиротворитель» революции 10 августа, спаситель Франции от вражеского нашествия,—человек, «хотевший избежать -какой угодно ценой» окончательного раскола между Горой и Жирондой» [4].

---

[1] Олар «Политическая история», стр. III, V.

[2] Études et leçons 1-ère serie, p. 16.

[3] См. «Политическая история», ч. II, гл. V, VII, IV.

[4] Ibidem, гл. VII и VIII. См. также Études et leçons, 2-ème série («Danton et les massacres de septembre», p. 39—106).

Но для того, чтобы возвеличить этого соглашателя, которому Третья республика поставила памятник в Париже, Олару пришлось занять почти недоброжелательную позицию в отношении Жиронды и дать довольно нелестную характеристику Робеспьеру (самовлюбленный демагог, «беспредельно мстительный», «безжалостный клеветник, помешавший примирению партий весной 1793 года» и т. д.).

Идеолог буржуазной демократии не прочь пококетничать с мирным, оппортунистическим социализмом, но он решительный противник революционного социализма, порывающего с традициями Великой революции. С этой точки зрения становится понятной оценка, даваемая Оларом Декларации Прав 1789 года. Не давая классового анализа этой Декларации, который разрушил бы легенду о ее вечном значении для человечества, Олар решительно возражает против противопоставления «принципов социализма принципам 1789 г.»[1]. И это вполне естественно: эта легенда была особенно дорога сердцу всякого радикала, видевшего в современном социализме не что иное, как дальнейшее развитие идеала, провозглашенного буржуазной революцией, а потому не нуждающегося для своего осуществления в революции пролетарской. Не будет преувеличением сказать, что вся «Политическая История» пропитана духом буржуазного радикализма; суб'ективно Олар хотел дать своим читателям только истину, об'ективно его книга вышла «партийным сочинением».

Можно, наконец, проследить, как эволюция политических взглядов Олара сказывалась на его исторических концепциях. В конце 80-х гг. Олар вместе со многими радикалами был ярым сторонником реванша. В этот период своей научной карьеры Олар считал наиболее характерным для Дантона его патриотизм 92 г., его страстный призыв к национальному единению во имя борьбы с внешним врагом: «Враг у наших ворот, а мы терзаем друг друга. Но ведь вся наша грызня разве убьет она хоть одного пруссака?». Тогда Олар убеждал своих слушателей никогда не забывать этих слов Дантона и предлагал даже взять их в качестве «гражданского девиза» школьникам. В 900-х гг., когда Олар стал пацифистом и отказался от войны за возвращение Франции Меца и Эльзаса, квинт-эссенцию дантоновского патриотизма он стал видеть уже не в шовинистической тираде 92 г., а в речи 1790 г., когда в годовщину клятвы в Jeu de Pomme Дантон говорил, что патриотизм не должен иметь других границ, кроме границ вселенной, и предложил тост за свободу и счастье всего мира, за об'единение всего человечества в одну братскую федерацию[2].

С началом мировой войны этот пацифизм уступил, разумеется, место совсем другим настроениям, и Олар отдал свое слово, свое перо на службу французскому империализму. Но вместе с тем на службу тому же империализму он мобилизовал и свою науку, свою историю Революции. Не будем оста-

---

[1] «Политическая история», стр. 54.

[2] См. «Патриотизм в традициях Франц. революции», речь, произнесенная Оларом на банкете учительской организации департамента Соммы (R. Fr., 1904—47, p. 238).

навливаться на взглядах Олара на происхождение мировой войны и ее цели: тут не было ничего оригинального, ничего, выходящего за круг идей и мыслей, созданных в те годы буржуазной публицистикой в странах Антанты. Интересно другое: как новая, созданная войной идеология подкреплялась Оларом его учеными экскурсиями в эпоху Революции. В своих публичных лекциях и статьях 1914—16 гг.[1] Олар доказывал, что по своему происхождению и по своим освободительным целям война является продолжением революционных войн, которые вела Первая республика. Он же обосновывал притязания Франции на Эльзас и Лотарингию ссылкой на праздник Федерации 1790 г.: если эти провинции поклялись тогда в верности «единой» Франции, заключили своего рода торжественный «пакт» со всеми другими частями страны, они никогда не могли примириться с насильственным отторжением от Франции, а Франция—отказаться от них. «Вот где основание наших прав и требований!»—восклицал Олар[2]. Агитируя за создание сильной власти, которая не задумалась бы покончить с принципом разделения властей во имя наилучшей организации обороны страны, Олар ссылался на практику Комитета Общественного Спасения, сравнивал положение Вивиани и Мильерана в кабинете с положением Робеспьера, Карно и Приэра в К. О. С.; рекомендовал правительству, если оно хочет покончить с бюрократической волокитой в деле снабжения армии, воскресить практику эмиссаров Конвента. «Война революционна по существу: желать вести ее с соблюдением мирных форм и средств—безумие»[3].

Любопытно, что в пылу воинственной пропаганды Олар изменил свою точку зрения на так называемые сентябрьские убийства. Было время, когда Олар возмущался этим проявлением народного самосуда, считал его преступлением, всячески старался снять ответственность за них с Дантона, тогдашнего министра юстиции, доказывал провокационную роль Марата и т. п.[4]. В одной из лекций 1915 г. Олар считает сентябрьские погромы фактом вполне понятным психологически и неизбежным в той трудной обстановке, какая сложилась для парижан осенью 92 г. «Теперь,—говорил он,—мы тоже не поколебались бы установить настоящий террор (разрядка моя.—*Н. Л.*), против тех французов, которые оказались бы изменниками родине, и теперь нам близки и понятны слова Дантона, сказанные им в ответ на настойчивые просьбы прекратить избиение в тюрьмах: «А мне наплевать на заключенных!»[5].

Но вот произошла Февральская революция в России. Олар плохо представлял себе ту политическую ситуацию, которая создалась тогда в нашем отечестве, но вместе со всей империалистической Францией он инстинктивно

---

[1] Эти статьи, печатавшиеся в «Journal», «Information», «Dépêche de Toulouse», «Bulletin des armées de la République», «Guerre sociale» и др. французских и американских газетах, были затем изданы отдельным сборником (Aulard, La guerre actuelle commehtée par l'histoire. 1916).

[2] Rév. Fr. t. 68, p. 12.

[3] «La guerre actuelle», p. 54—57, 110—115.

[4] Études et leçons, 2-ème série, p. 39—106.

[5] Rév. Fr., t. 68 (1915), p. 11.

почувствовал возможность выпадения из Антанты этого важного союзника. Выступая на митинге, устроенном (4 апр. 1917 г.) в Париже в честь русской революции, и проводя исторические параллели, Олар не преминул напомнить русским, что «их первая задача прогнать врагов с своей земли, для чего необходимо создание сильного, «диктаторского правительства»[1]. (Керенщина мало устраивала Антанту!). По просьбе французского правительства Олар написал специальную пропагандистскую брошюру для русских солдат, находившихся во Франции. В ней он доказывал иллюзорность сепаратного мира с Германией и призывал русскую республику об'единиться с французской для разгрома прусского милитаризма, освобождения немецкого народа от деспотизма, для установления вечного мира.

Но то, чего так боялся Олар, произошло, к его великому негодованию, после Октября. Вместо «русских Дантонов» и «русского Вальми» пришлось иметь дело с Лениным и с «несчастным Брест-Литовским миром, который чуть-было не доставил победу империализму иностранных держав»[2]. Этого сюрприза Олар никогда не мог простить большевикам.

Правда, в одной статье, напечатанной в 1923 г. в бело-эмигрантской газете «Воля России»[3], Олар допускает возможность диктатуры пролетариата и социализации промышленности в России и отдает должное большевикам, сумевшим из разрозненных кусков снова создать «унитарную» республику. Остается также фактом, что в 1919 г. он высказался резко отрицательно против блокады России, осуществляемой в союзе с Германией, что было тогда же отмечено В. И. Лениным[4]. Но в общем и целом, Олар до конца своей жизни остался враждебным Советской России. Он сотрудничает в бело-эмигрантских журналах («Воля России» и «Голос минувшего на чужой стороне»), привлекает в «Révolution Française»—в качестве постоянного сотрудника и обозревателя русской литературы по Французской революции—бело-эмигранта Миркина-Гецевича, рекламирует в своем журнале работы этого господина, посвященные советскому государственному праву[5]; ведет оживленную полемику с издателем «Livre Noir» Рене Маршаном[6]. Хорошо известна, наконец, наделавшая столько шума брошюра Олара «Насилие и Французская революция», вышедшая в 1921 г. и переведенная на русский язык тем же Миркиным-Гецевичем и с предисловием последнего. Мобилизовав всю свою эрудицию, Олар тщетно пытается здесь доказать, что теория насилия и диктатуры, проповедуемая ныне русскими большевиками, ссылающимися на пример Конвента, была совершенно чужда всему духу Французской революции и никогда не разделялась ее вождями[7].

---

[1] Rév. Fr. 1917, t. 70, p. 185—7.

[2] См. речь Олара на годичном собрании Общества истории Французской революции в марте 1927 г. (Rév. Fr., 1927, № 34).

[3] «Воля России», 1923, № 20.

[4] См. Собр. соч., т. XVI, стр. 412.

[5] Rév. Fr. 1928, № 38.

[6] Ib. № 26.

[7] Олар. Теория насилия и Французская революция. Русск. изд-во Я. Поволоцкий. Париж. 1924. (См. также Études et leçons 1924 г.), В нашей литературе бро-

В 1927 г., выступая на годичном собрании своего Общества, Олар снова вернулся к оценке Октября. «Русская революция,—говорил он там,—которая была вначале в «чистых» и «добродетельных», «хотя и слабых руках», «сбилась с пути», очутившись в руках насильников. «Права Человека были принесены в жертву», но Олар надеется, что мало-по-малу в России возродится демократия на основе принципов Французской революции [1].

Верная служба французскому империализму, которую с таким усердием нес Олар в военные и послевоенные годы, все же не сделали его вполне приемлемым для современной официальной Франции, которая не могла простить маститому историку его анти-клерикализма, его выступления против Тэна [2], его уничтожающих рецензий на мнимо научную литературу, издаваемую Action Française [3].

Недаром, несмотря на все заслуги Олара, он не был избран членом «Французской Академии», когда в 1927 г. открылась вакансия на звание «бессмертного»: ему предпочли молодого, но шустрого реакционера Мадлена, нашумевшего своей «Историей Революции», написанной в явно монархическом духе [4].

С другой стороны, Олару приходилось вести борьбу с противником слева. Олар мирился с полумарксизмом Жореса, ибо жоресовская концепция Великой революции во многом родственна его собственной. Неудивительно, что и в жоресовской Комиссии по изданию документов царствовало священное единение («Union sacrée»), которое так умиляло Олара [5]. Иное дело школа Матьеза, заменявшего в последние годы (с 1926) Олара на кафедре в Сорбонне. Антагонизм между Оларом и Матьезом начал сказываться еще в конце 900-х гг. прошлого века [6], когда Матьез, сам вышедший из школы Олара, начал издавать свой орган Annales révolutionaires.

На первый взгляд обе школы разделяют чисто научные контроверзы и интерес к различным сторонам истории Революции. Одна, продолжая традицию Луи-Блана, занялась реабилитацией Робеспьера, другая, воскрешая традицию Мишле, сделала своим героем Дантона и упорно закрывала глаза на серьезные

шюра Олара подверглась обстоятельному разбору в ст. Авербух («Олар и теория насилия», «Печ. и Рев.» 1825, I), Моносова («Насилие и Французская революция», «Под знам. марксизма», 1924, № 8, 9; Малецкого «Ком. Интернационал» 1925, 1927 и С-кого «Рев. и Право», 1927, № 2—3.

[1] Rév. Fr. 1927, № 34.

[2] О той бешеной травле Олара, которая поднялась в правой прессе после появления его книги о Тэне, см. «Совр. Мир», 1908, кн. X, стр. 133—135. В защиту Тэна выступили и реакционно-настроенные академические круги. См., напр., работу Cochin'a «La crese de l'histoire», 1909.

[3] См., напр., его рецензию на ультра-черносотенную книгу по Французск. революции Пьера Гаксотта, пережевывающего памфлет Тьера и восклицающего в заключение рассказа о 9 термидора «Коммунистическая (sic!) революция умерла!». (См. R. Fr. 1928, № 38).

[4] Еще в 90-х гг. Олар представлял свои «Акты Комитета Общ. Спасения» на конкурс в Академию моральных наук, но почтенные академики предпочли ему какого-то корсиканского аббата. (См. ст. Матьеза в R. Fr, T. 55, p. 54).

[5] См. ст. Олара в Rév. Fr. 1927, № 34.

[6] См. Rév. Fr. t. 55, p. 81—83.

обвинения во взяточничестве, продажности, сношениях с врагами революции, выдвинутые, на основании документальных данных, против Дантона Матьезом. Одна интересовалась преимущественно политической историей революции, другая—ее социально-экономической стороной.

Но за академическими спорами скрывалась новая (послевоенная) фаза в борьбе социальных сил. В качестве главы буржуазно-демократической школы, Олар не мог помириться с привнесением Матьезом в историю Революции точки зрения классовой борьбы, казалось осужденной навсегда после политики «священного единения»; не мог примириться и с разрушением легенды о Дантоне, потому что политические идеалы Дантона и его соглашательская тактика сближают его с современным французским радикализмом. Матьез не марксист и не коммунист, но в его последних работах чувствуется дыхание Октябрьской революции и практики диктатуры пролетариата в СССР, чувствуются и революционные настроения французского пролетариата, идущего за Коммунистической партией. Предпринятая Матьезом реабилитация Робеспьера вела к реабилитации режима диктатуры и террора; с точки зрения Олара и его школы это означало лить воду на мельницу коммунистов. В своей брошюре «Теория насилия и французская революция» Олар уверенно говорит, что во времена революции теорию насилия проповедывал лишь Марат, да вожди «бешеных», которые промелькнули каким-то незначительным эпизодом в эпоху Якобинской республики. Матьез (в своей новой книге—«Дороговизна жизни») убедительно показал, какую важную роль играла партия бешеных в 93 г. в деле установления режима максимума. Тем самым он подвел научную базу под новую традицию Революции, намеченную еще Марксом («Социальный Клуб», Заговор Бабефа, коммунистическое движение после революции 1830 г.) и непримиримо враждебную всей буржуазно-либеральной традиции, разделяемой Оларом.

Подведем итоги. С Оларом умер крупнейший представитель буржуазно-демократической традиции в изучении Великой революции, лучший знаток ее политической истории. Его подход к этой героической эпохе, его метод чужды нам, но его научная техника должна стать достоянием всякого, занимающегося новейшей историей, марксиста, а изданные им архивные материалы—об'ектом научного исследования с точки зрения исторического материализма.

В. Стальный

Попытка англо-германского сближения в 1898—1901 гг.

Германская революция, сбросившая Гогенцоллернов, приоткрыла двери «святая святых» империалистического государства—архивов министерства иностранных дел. Уже выпущено в свет 39 томов «Sammlung der Diplomatishen Acten des Auswärtigen Amtes» [1], которые дают нам возможность осветить некоторые весьма темные углы предвоенной дипломатии. К числу таких мало изученных эпизодов принадлежит и вопрос о попытках англо-германского сближения в 1898—1901 г.г. По вполне понятным причинам дипломаты обеих стран предпочитали молчать об этих интимных переговорах, закончившихся к тому же неудачей. Британские документы издаваемые Gooch и Temperley даже теперь, по прошествии почти трех десятков лет, обходят эту тему молчанием [2]. Наоборот, в побежденной Германии этот эпизод привлек большое внимание и породил уже некоторую литературу [3].

Германия, укрепившая свое народное хозяйство, в настоящее время восстанавливает свои позиции великой державы на арене европейской и даже мировой политики. Характерной чертой международной политики Германии последнего периода является активная политика балансирования между Востоком и Западом, а с другой стороны, попытка использовать противоречия между западными империалистскими державами.

В этих условиях для немецкого публициста особый интерес приобретает как раз рассматриваемый нами период, когда молодой германский капитализм стремился использовать вражду двух тогдашних империалистских антагонистов—царской России и Великобритании. Борьба внутри различных слоев германской буржуазии за восточную или западную ориентацию, отражается и в писаниях историков, берущихся за этот предмет [4]. Буржуазному

---

[1] «Die Grosse Politik der Europäischen Kabinette 1871—1914».

[2] «British documents on the origins of the War» (вышли в свет I, II, III, XI тома). В предисловии к I и II томам говорится, что «в наших официальных архивах нет сведений о первом англо-германском сближении, которое началось в марте 1898 г. и которое так подробно изложено в XIV томе «Die Grosse Politik». Об'ясняется это тем, что все сношения ведись через Дж. Чемберлена, тогда министра колоний, и, т. о., рассматриваются редакцией как его частное дело!

[3] См. Meinecke, Geschichte das deutsch-englischen Bündniss-Problems 1898—1901.

[4] См. напр. Fischer, «Holstein grosses Nein». Автор считает, что Гольштейн, тогдашний фактический руководитель внешней политики, сделал роковую ошибку, не

историку и публицисту антагонизм между Англией и Советским Союзом нередко представляется продолжением исторической борьбы царской России с «коварным Альбионом». Такой историк или публицист не может, а часто и не желает понять всей принципиальной разницы между внешней политикой империалистической России и пролетарского государства. Созданная же с большой легкостью аналогия может все же сыграть свою роль в борьбе за те интересы, которые представляет такой писатель. Поэтому, прежде чем перейти к описанию всей дипломатической подоплеки вышеуказанных переговоров, что собственно и является предметом настоящей статьи, считаю необходимым хотя бы в самых общих чертах вскрыть всю специфичность экономической и международной ситуации конца XIX века.

Введение. Международная ситуация к концу 19 века

Международная ситуация конца 19 в. характеризуется крайним обострением отношений. Причину этого обострения нужно искать в тех сдвигах, которые в этот период наблюдаются в мировой экономике. Англия, которая со второй четверти 19 в. была «мастерской мира», мировым перевозчиком и банкиром, к 70-м г.г. начинает утрачивать свое монопольное положение. Уже в 1867 году Маркс видел, как «против старой владычицы морей все более и более грозно восстает исполинская юная республика»[1]. Не одна Америка выходит на мировой рынок претив Англии. После войны с Францией (1870) начинается бурный рост германской промышленности. Сухой, но яркий язык цифр показывает, что к 90-м годам промышленное превосходство Англии было бесповоротно подорвано. Еще в 70-х г.г. на ее долю приходилась половина мировой добычи черного металла, но в 90-х годах ее оставили позади Соединенные Штаты, а в 900-х годах и Германия, столкнувши бывшую «всемирную фабрику» на третье место[2]. Те же Соединенные Штаты к 90-м годам обогнали ее и в размерах добычи каменного угля, где в 1870-м году на Англию приходилось 52% мировой добычи. В области электротехнической и химической промышленности, как в новых отраслях производства, она целиком уступила первое место Германии. И если Англия продолжала оставаться на первом месте в текстильной промышленности, то все же темп ее развития в этой области зловеще замедлялся по сравнению со странами соперницами. Moon в своей книге «Imperialism and world politics» приводит следующие цифры (в %%), прироста хлопчато-бумажной индустрии по десятилетиям по сравнению с предыдущими:

	1870—80	1880—90	1890—1900
Великобритания	19	18	3
САСШ	90	42	50
Европейский континент . .	38	53	25

пойдя на предложенный Англией союз. Выводы для современности напрашиваются сами собой.

[1] Маркс, К., Капитал, т. I, с. 705.

[2] Cunningham, W., The Rise and decline of free trade movement, 1912, P. 139—140. Moon, Imperialism and world politics, указывает что за время 1870—1903 годы британские производители железа смогли увеличить свое производство всего на 50%, между тем как американцы увеличили продукцию на 966%, а немцы на 609%.

Наконец, что, может быть, всего показательней,—доля Англии в мировом торговом судоходстве падала из года в год, составляя 48,4% в 1890 г., 45,8%—в 1900 и 42%—в 1910[1]. За три десятилетия от 1870 года до 1910 год, в то время, как американский экспорт возрос почти в 4 раза и германский удвоился, английский экспорт увеличился только на 45% (Moon, там же). Ко всему, Соединенные штаты и Германия, уже выступающая как активная конкурентка на мировом рынке, начинают ограждать себя стеной покровительственных пошлин. В 1879 г. Бисмарк ввел свой знаменитый протекционистский тариф, нанесший тяжелый удар английскому экспорту изделий тяжелой промышленности. Выявившаяся уже в 70-х г.г. депрессия не могла не вызвать острой тревоги правящих классов Англии.

В эпоху наибольшего процветания свободной торговли, в 1840—60 годах, когда Англии принадлежала промышленная гегемония в Европе, руководящие буржуазные круги были против колониальной политики. Английские либералы и фритредеры усматривали в Британской империи лишь бремя, дорого обходящееся английскому налогоплательщику, и даже такой склонный, вообще говоря, к империализму, государственный деятель, как Дизраели, в 1852 году говорил: «колонии—это мельничные жернова на нашей шее». Однако, по мере роста тяжелой индустрии, капитальных вложений в колонии и торговли с ними происходят изменения и в идеологии. В недрах английской промышленности протекал процесс передвижения центра тяжести от короля-хлопка к тяжелой промышленности, в частности к железоделательной и машиностроительной[2]. Вывоз продукции тяжелой индустрии, составлявший во второй половине 60-х г.г. лишь немногим более 40% вывоза текстиля, уже через 10 лет составляет почти 70% и, постепенно повышаясь, обгоняет его в начале текущего столетия и составляет 110%. «Это изменение в строении английского капитализма, как указывает т. Ротштейн, имеет большое значение как потому, что как раз металлургическая промышленность подвергается сильнейшей конкуренции со стороны германск. и америк. соперниц и раньше других отраслей англ. промышленности проникается протекционистскими тенденциями, что сближает ее с крупным землевладением, так и потому, чт она придает колониальной и отчасти внешней политике Англии новое направление, превращая ее из орудия поисков и обеспечения рынков сбыта, каким преимущественно она была в эпоху гегемонии текстильного капитала, в орудие захвата источников сырья и приобретения концессий на сооружение больших предприятий. Это стремление заставляет капитал в этих индустриях организоваться в гораздо большей степени, чем это делал капитал в хлопчатобумажной промышленности, блокироваться

[1] Ср. цифры экспорта шелка, угля, железа, стали и т. д. с 1854 по 1902 г. W. Ashley, «The tarif problem», 1920, 56—57.

[2] Чрезвычайно показательны цифры, характеризующие передвижку населения, занятого в этих отраслях промышленности. В 1851 г. в текстильной промышленности было занято 1,6 млн. лиц, а в 1881—1,3 миллиона (в следующие годы число лиц оставалось почти на одном уровне); в металлургической в 1851 г.—505 тыс. лиц, а в 1901—1.462 тысячи; в горнозаводской в 1851 г.—372 тысячи, а в 1901—906 тысяч. (См. Ротштейн, «Великобритания», БСЭ, т. IX).

с финансовым капиталом, который отныне и в Англии начинает играть организационную роль, и проявлять сильную активность вовне, опрокидывая старые манчестерские лозунги о невмешательстве и всеобщем мире»[1]. Консерватизм и империализм становятся господствующей идеологией английской буржуазии.

В 1895 году Джозеф Чемберлен, творец Британской имперской лиги, создает новую хозяйственную программу британского империализма. Чемберлен проектировал создание имперского таможенного союза, который должен был об'единить Англию с владениями и колониями, отгородив Британскую Империю высокой стеной таможенных пошлин. При этом он рассчитывал, что Англия будет в состоянии удовлетворить потребности британских владений в фабрикатах, а британские доминионы и колонии будут снабжать Англию необходимым ей продовольствием и сырьем. Программа Чемберлена встретила препятствия как со стороны английской промышленной буржуазии, в особенности представителей текстильной промышленности, опасавшихся вздорожания продовольствия и сырья, так как британские владения не могли бы удовлетворить всей потребности английской промышленности, так и со стороны буржуазии доминионов, не желавших мириться с ролью поставщиков сырья и продовольствия, и стремившихся к развитию собственной промышленности. Протекционистские проекты возбудили против себя более или менее явное недовольство и со стороны широких народных масс, в которых лозунг свободной торговли был еще чрезвычайно популярен. Именно по этому вопросу: за или против программы Чемберлена, консервативная партия потерпела жестокое поражение на выборах в 1905 году.

План создания отгороженной стеной таможенных пошлин колониальной империи явно не удавался, оставалось только дальнейшее насильственное расширение рынков путем, в первую очередь, колониальных приобретений. Это отлично понимал тот же Чемберлен, который проповедывал империализм как «истиную, мудрую и экономную политику», указывая особенно на ту конкуренцию, которую встречает теперь Англия на мировом рынке со стороны Германии, Америки, Бельгии[2] А Сесиль Родс, фактический владыка Южной Африки, как рассказывает его интимный друг журналист Стэд, говорил ему по поводу своих империалистических идей в 1895 году: «Я был вчера в Лондонском Ист-Энде (рабочий квартал) и посетил одно собрание безработных. Когда я послушал там дикие речи, которые были сплошным криком «хлеба, хлеба», я, идя домой и размышляя о виденном, убедился более чем прежде в важности империализма. Моя заветная идея есть решение социального вопроса, именно: чтобы спасти 40 миллионов жителей Соединенного королевства от убийственной гражданской войны, мы, колониальные политики, должны завладеть новыми землями для помещения избытка населения, для приобретения новых областей сбыта товаров, производимых на фабриках и рудниках. Империя, я всегда говорил это, есть вопрос желудка.

[1] В статье «Великобритания» БСЭ, т. IX, с. 487.

[2] Ленин, Империализм как новейший этап капитализма, собр. соч., т. XIII, с. 297.

Если вы не хотите гражданской войны, вы должны стать империалистами». Для Англии период громадного усиления колониальных владений приходится на 1860—1880 годы и очень значительного на последнее двадцатилетие 19 в.[1]. Особенной энергии колониальная экспансия достигла с начала 80-х г.г., действуя с одинаковой настойчивостью во всех частях света. За 15-летний промежуток с 1884 по 1900 гг. Британская Империя возросла с 8.059.179 кв. миль с населением в 284 милл. до 11.771.136 кв. миль с населением в 305.436.000. В своей колониальной экспансии Англии пришлось столкнуться с другими капиталистическими странами, вынужденными ходом об'ективного развития выйти на путь империалистической политики. В частности молодой империализм Германии силою вещей выталкивался в те точки мира, где он был наиболее неприемлем и опасен для Британской Империи. Однако в конце 90-х годов 19 века, как раз в тот период, который и рассматривается настоящей работой, главный узел всей международной политики был завязан не в англо-германском соперничестве, а в столкновении Британии с Россией в Азии и с Францией в Африке и на юге Китая. В Азии было немало пунктов, где сталкивались интересы английского и русского империализма. Англичане с большим неудовольствием и сильной тревогой за свои индийские владения следили за русскими успехами в Средней Азии. Кроме Афганистана, местами враждебной встречи английских и русских интересов были еще Персия и Тибет. По отношению к Балканским делам виды и намерения обоих правительств тоже были противоположны. Тут же нужно отметить, что в эти годы центр тяжести всей международной политики передвинулся с Ближнего Востока на Дальний, где распространение русского влияния, после японско-китайской войны 1894—95 года, начало самым непосредственным образом угрожать английским интересам в Китае. С Францией, которая с 80-х г.г. вступила на путь широкой колониальной политики, Англии пришлось столкнуться прежде всего в Индо-Китае и в различных частях Африки. Захват Англией в 1882 г. Египта, на влияние в котором были притязания и у Франции, разумеется не мог не вызвать у последней сильного неудовольствия. Точкой пересечения французского движения в Африке, шедшего с запада к востоку, с английским, ведшимся с севера на юг, оказалось местечко Фашода, куда почти одновременно подошли французский отряд капитана Маршана и английский лорда Китченера. Дело грозило кончится войной. Тут под угрозой одновременного вооруженного столкновения с Россией и Францией английская дипломатия решает отказаться от традиционной политики «Splendid isolation» (блестящего одиночества) и начинает поиски союзников на континенте. В Англии начинается движение за сближение с Германией. Нельзя сказать, чтобы у Англии в это время отношения с Германией были блестящими. Причиною этому была конкуренция английских и немецких товаров на мировых рынках, германские планы об увеличении своего военного флота (1897), отказ Германии от предложенного в 1895 году примьер-министром Сольсбери сотрудничества по вопросу о разделе Турции, вмешательство Германии в англо-бурские дела (знаменитая

[1] Там же, с. 296.

телеграмма Вильгельма II президенту Крюгеру от 3 января 1896 года) и ряд других моментов[1].

Германия только недавно вышла на путь энергичной колониальной политики, тогда когда уже лучшие «места под солнцем» были заняты другими державами. До поры, когда она могла бы прямо померяться силами с другими, ей оставалась политика лавирования между двумя тогдашними главными антагонистами—Англией и Россией, используя с выгодой для себя их противоречия. Это об'ективное международное положение Германии отразилось в теории Гольштейна, человека, который будучи скрыт за кулисами берлинского министерства иностранных дел, в течение 15 лет, последовавших за падением Бисмарка, являлся фактическим руководителем германской внешней политики. «Он был большим неизвестным,—писал о нем его коллега Отто Гамман, начальник отдела печати мин. инстранных дел,—он обладает многими подпольными связями и работает по большей части в полной тайне. Он привык давать советы дипломатам, пользующимся его доверием, в частных телеграммах; им приводятся в движение невидимые пружины, которые влияют на политическую игру». Влияние этой таинственной личности, отказавшейся от поста министра иностранных дел, когда Бюлов сделался канцлером, было хорошо известно всем правительствам Европы[2]. Но это был человек не только досконально знакомый с практикой дипломатической интриги, а теоретик международной политики, весьма склонный к схемам и логическим построениям. Теория его сводилась к мысли о т. н. «двух кусках железа», т. е. к тому, что для Германии, находившейся между двумя тогдашними империалистическими антагонистами, необходимо возможно большее время лавировать между Англией и Россией с тем, чтоб в подходящий момент подороже предложить свой союз той или другой стороне. Мы дальше увидим, как эта теория отразилась в практике германской дипломатии.

1. Первые английские предложения по вопросу о союзе. 1898 год.

Международная обстановка к концу 90-х годов 19 в. сложилась так, что главным соперником Англии, с которым казалось неизбежно было столкновение, представлялось Франко-русское соглашение, острие союза которого было направлено главным образом против Великобритании. Германия в тот момент руководителям английской дипломатии казалась наиболее подходящим союзником. Одной из главных причин, толкающих на сближение с Германией, являлось, по справедливому замечанию Франке, то обстоятельство, что на Дальнем Востоке Англия «должна была искать германской помощи, т. к. одна против России она была бессильна»[3]. Если еще в конце 1897 года Англия надеялась путем соглашения с Россией поделить Китай, то после захвата русскими Порт-Артура (декабрь 1897), который поставил под угрозу весь Ляодунский полуостров, и давал возможность распространяться дальше

---

[1] Политика союзников Германии, Италии и Австрии, координировалась, естественно, с политикой первой.

[2] См. Гуч, История современной Европы, с. 119—120.

[3] O. Franke, Die Grossmächte in Ostasien, 152—153.

на юг, о соглашении не могло быть и речи. Если еще в декабре 1897 года Чемберлен об'являет русскому послу, что он стоит за сближение с Россией и рикошетом с Францией [1], а 31 января 1898 года британский посол О'Коннор передает Петербургскому кабинету ноту с предложением разграничить сферы влияния в Турции и в Китае, то уже с февраля замечается явная тенденция в сторону сближения с Германией. Это сразу же нашло резонанс и в английской прессе. «Daily Chronikle», до того времени настроенная антигермански, 8 марта требует соглашения с Германией. На свет появляется идея о союзе наций германского языка, и другие органы английской прессы прекращают травлю против Германии. О настроениях капиталистических кругов в связи с событиями на Дальнем Востоке мы можем судить по двум документам. Первый—это обращение английской «китайской ассоциации» к лорду Сольсбери от 14 апреля 1897 (помещено в англ. «Синей книге China», № 1 (1899), стр. 22, также у Гримма «Сборник», стр. 125):—«Оккупация Манчжурии, читаем мы в обращении, чудовищно усилила ее военную мощь (т. е. России)... Ныне, когда эти ресурсы дополнены и завершены приобретением первоклассной морской твердыни, она достигла положения, которое Англия быть может найдет затруднительным оспаривать, когда для России наступит время закрыть дверь. Переваривание Манчжурии может ее занять более или менее долгое время. После этого она будет иметь возможность спуститься в Печчили, а между Печчили и Янцзы нет естественных преград». Еще более ярко опасения английской буржуазии рисует советник германского посольства в Лондоне, Экардштейн, человек, весьма близкий к высшим сферам английской дипломатии, связанный кроме того родственными узами с одним из крупнейших английских промышленников (был женат на дочери Blandell Marle). С этим германским дипломатом, настроенным крайне англофильски и относящимся критически ко всей линии берлинской дипломатии, нам придется встретиться еще не раз [2]. В своей книге Lebenserrinerungen und politische Denkwürdigkeiten» [3] он сообщает о том, что герцог Девонширский (член английского кабинета) говорил ему, что едва может спастись от писем, которые он ежедневно получает от интересующихся текстильных фабрикантов в Ланкашире и приводит письмо герцога от мая 98 года, где тот пишет: «если паника, которая охватила нашу текстильную промышленность в Ланкашире относительно рынков сбыта в Китае, будет так продолжаться, то тогда очень скоро большая часть наших бумагопрядилен остановится, и рабочие будут уволены». Затем Экардштейн прибавляет:

---

[1] Halevi, Histoire du peuple anglais, Epilogue, p. 44.

[2] Экардштейн, как и многие публицисты современной Германии, полагает, что Вильгельм и Бюлов совершили роковую ошибку, отвергнувши английские предложения о союзе. Если бы Германия пошла тогда с Англией, то не только была бы немыслима катастрофа 1918 года, но и самая война 1914 года была бы излишней: Германия получила бы такие колониальные владения, такие экономические возможности, что ее полный расцвет был бы делом вполне обеспеченным. Между прочим, во время войны мин. иностр. дел фон-Ягов конфисковал рукопись мемуаров Экардштейна и посадил его в тюрьму, а затем в сумасшедший дом (см. об этом эпизоде рассказ Шейдемана в его «Zusammenbrúch», русск. перев., стр. 95—98).

[3] Eckardstein, Lebenserrinerungen u. s. w., B. I, 292.

«Ротшильд также был в высокой степени обеспокоен развитием дел в Китае». Важно отметить именно последнее замечание Экардштейна и поставить его в связь с сообщением Halevi (в книге «Histoire du peuple anglais») о том, что «не без поддержки обоих правительств, англо-германская группа банков авансировала в феврале 1898 года Китаю деньги, необходимые для уплаты военных долгов Японии, и этой группе удалось добиться отказа Китая от соответствующих денежных предложений России» [1], которую для этой цели субсидировала Франция. Отсюда понятно, почему Альфред Ротшильд, один из крупнейших представителей английского финансового капитала, играл далеко не последнюю роль в начавшихся в феврале 1898 года переговорах англо-германской дипломатии. Тот же Экардштейн рассказывает об обеде у барона Ротшильда в конце февраля, где присутствовали министр колоний Чемберлен, герцог Девонширский, министр народного хозяйства Harry Chaplin и он — советник германского посольства. Обсуждалось политическое положение на Дальнем Востоке и его действие на европейскую торговлю. В конце-концов английские министры просили Экардштейна переговорить с его шефом немецким послом в Лондоне, графом Гацфельдом, чтоб тот согласился на тайную встречу с Чемберленом для того, чтобы возбудить сперва только чисто академическое обсуждение вопросов между немецким и английским правитель-дующий день тайная встреча между Чемберленом и Гацфельдом произошла ствами. Гацфельд очень охотно пошел навстречу этому желанию. На следующий день тайная встреча между Чемберленом и Гацфельдом произошла опять-таки у Ротшильда. «С тех пор, сообщает Экардштейн, оба министра встречались ежедневно два или три раза, частью у Ротшильда, частью у меня, где большей частью завтракали без других гостей. Высказывания, которые вначале касались только положения дел на Дальнем Востоке, перешли затем на переговоры об общих союзных отношениях между Англией и Германией» [2]. Нужно отметить, что переговоры велись в отсутствии главы правительства Сольсбери, который в это время лечился на Ривьере, и по иностранным делам его заменял племянник Бальфур. Главным вдохновителем всего этого дела был повидимому Джозеф Чемберлен, как раз тесно связанный с крупно-промышленными слоями Бирмингама и с финансовыми баронами. Есть много данных, чтоб утверждать, что Чемберлен начал переговоры на свой риск и страх, не уведомив об этом премьер-министра. Авторитет Чемберлена, как отмечает Halevi, в эти месяцы поднялся, так как Сольсбери ушел от дел в такой трудный момент. Первый период этих неофициальных переговоров состоял в том, что с английской стороны, не предлагая ничего определенного, зондировали почву, а с германской выставляли целый ряд опасений и возражений против возможного союза. Т. о., все эти разговоры превратились в своего рода академическую дискуссию, где дружески обсуждаются все «pro et contra». Во всяком случае немцы решили, что уж за одну возможность такой дружеской дискуссии можно кое-что с англичан содрать. Сообщая о предполагаемой встрече с английскими министрами, Гацфельд спрашивает у Гольштейна, должен ли он «высказаться или держаться как слушатель» и затем говорит, «что было бы не опасно высказать свой

[1] Halevi, Histoire du peuple anglais, 44.
[2] Eckardstein, Ibid.

личный взгляд на то, что в Лондоне очень глупо поступают, тем что бесполезным протестом против занятия немцами Киао-Чао, толкают их в противную сторону. В то же время я дам ясно понять, что для того, чтобы вообще в Берлине можно было замолвить слово за сближение, необходимо получить убеждение в том, что можно будет ожидать благоприятного отношения в известных колониальных вопросах, например, о нейтральной зоне»[1]. В Берлине согласились с тем, что нужно сделать ударение на недружелюбных по отношению к немцам действиях Англии в Китае и возможных отсюда последствиях, и рекомендовали занять выжидательную позицию в отношении английских предложений[2] Гацфельд и применял эту тактику, указывая в разговорах с Бальфуром и Чемберленом, что англичан приводит к отчуждению от Германии «английская политика на Востоке, которая создает серьезную опасность для европейского мира, и недружелюбное отношение Чемберлена во всех колониальных вопросах» и «что совсем не умно нас толкать таким образом на сближение с Россией»[3]. Бальфур в ответ на это неоднократно подчеркивал, что «Германия и Англия в больших политических вопросах никаких разногласий не имеют» и что прошлое отчуждение надо об'яснять прискорбными недоразумениями. Бальфур заявил, что «английское правительство в армянском и восточном вопросах действовало под влиянием общественного мнения и не имело совсем цели вызвать международные осложнения». В вопросе о нейтральной зоне английское правительство пойдет навстречу. В Киао-Чао, считает Бальфур, немцы не затрагивают никаких английских интересов[4]. Таким образом Лондон санкционировал занятие этого порта Германией. Более определенно вопрос о союзе был поставлен Чемберленом. В разговоре от 29 марта Чемберлен заявил немецкому послу, что «политическое положение Англии теперь на повороте. Ожидаются серьезные осложенения с Россией и с Францией, и Англия, чтоб обеспечить мир, должна искать союзника. Английское правительство стоит перед необходимостью принять в ближайшие дни серьезное решение, и они, перед отказом от проводимой до сих пор политики изолированности, желают заключить соглашение с Германией и германскими друзьями. Другими словами, если Германия желает теперь стать на сторону Англии, то Англия, в случае если Германия подвергнется нападению, станет на ее сторону». Обе страны, по его мнению, «имеют одинаковые политические интересы вплоть до торгового соперничества, которое может быть только мирным, и наличие мелких колониальных противоречий не сможет их разделить, если можно будет притти к соглашению по большим политическим линиям. Он повторил при этом, сообщает Гацфельд, большое количество раз, что дело не терпит отлага-

---

[1] Die Grosse Politik der Europäischen Kabinette, 1871—1914, B.XIV. Hatzfeldt an Holstein 24/III 1898, № 3779.

[2] Gr. P. XIV, Bülow an Hatzfeld, 25/III, 1898, № 3780.

Gr. P. XIV, Hatzfeld an Auswärtiges Amt, 25/III, 1898, № 3781.

Надо отметить, что 4 апр. 98 года английский посол в Берлине, сэр Фр. Лассельс, довел до сведения германского правительства о том, что Англия «ради восстановления равновесия в заливе Печчили» нарушенного русскими, решила заключить с Китаем договор об аренде Вей-Хай-Вей.

тельств и должно быть решено в ближайшие дни» [1]. С немецкой стороны решили дискутировать по всем правилам и из Берлина Гацфельду посылают, так сказать, антитезисы, которые он должен представлять английским министрам. По существу в этот период переговоров уже были выставлены все возражения против союза, которые затем повторялись и вариировались на протяжении последующих лет. Через все опасения красной нитью проходит недоверие к честности английских намерений. Уже в первой беседе с Чемберленом, Гацфельд указал ему, что «английским обыкновением является посылать другого в огонь, самим отходить на задний план» [2]. 30 марта Бюлов пишет Гацфельду: «если враги германско-английской группы, по старому правилу Горация, захотят своих противников разбить по отдельности, а затем напасть на Германию, то я должен сказать, что моя вера в то, что английский союзник в этом случае придет нам на помощь, пока еще очень слаба». В Берлине считали, что английское правительство не может брать на себя никаких тайных обязательств, т. к. благодаря процедуре парламентского голосования Англия находится в положении, когда всегда можно отклонить каждый неудобный иностранный договор. Преемник данного правительства, вышедший из парламента, может и не считать себя связанным договором. «При взгляде на эту постоянно открытую заднюю дверь, немецкому государственному деятелю,—как ни могли бы быть велики его симпатии к Англии, и как бы он ни был уверен, что существование английской мощи необходимо для поддержания равновесия на земном шаре,—тяжело брать на себя ответственность за последствия для Германии от заключения договора с Англией» [3]. Без ратификации английским парламентом Германия договора заключить не может. Узнав об опасении германской дипломатии, что Англия по заключении договора может отступиться, Чемберлен нашел это неосновательным и не имеющим примеров в истории Англии. Для того, чтоб рассеять подозрения, высказанные Гацфельдом, что Англия хочет Германию только втянуть в конфликт с Россией, Чемберлен ясно высказался в том смысле, что он признает под влиянием России Порт-Артур, Талиен-Ван и всю Манчжурию, так как изменить то, что произошло, без большой войны невозможно. Но он полагает, что во взаимных интересах обеих стран спасти остаток Китая для будущего. Соглашение между Германией и Англией об остатках Китая образует ту границу, которую Россия позднее не сможет перейти. По мнению Чемберлена, договор должен быть представлен в парламент, и он не сомневается ни одной минуты, что договор будет охотно принят палатой, так же как общественным мнением [4]. Но и в таком случае, полагает он, принятие одного или более тайных пунктов не исключено. В Берлине к последнему заявлению отнеслись крайне скептически. 3 апреля Бюлов пишет Гацфельду: «по известному закону техники сила цепи равна силе ее слабейшего звена. Слабейшим звеном логической цепи г. Чемберлена является утвер-

[1] Gr. P. XIV, Hatzfeldt an Ausw. Amt, 29/III 98, № 3782.
[2] Ibid.
[3] Gr. P. XIV, Bülow an Hatzfeldt, 30/III 98, № 3783.
[4] Gr. P. XIV, Hatzfeldt an Ausw. Amt, 1/IV 98 № 3784.

ждение, что принятие союзного договора с Германией через Британский парламент обеспечено. Вся Англия от кабаков до парламента, месяцами, даже годами, вторила оскорблениям германского императора и народа. Г. Чемберлен слишком практичный политик, чтобы мог поверить, что такое поведение сегодня или завтра как здесь, так и там, могло быть забыто. Это нашло бы свой отзвук в парламентских прениях, где представители английского народа, к их собственному удивлению, услышали бы о союзном договоре с той самой Германией, которая еще столь недавно преследовалась, как злейший враг, с криком «Delenda est». Так фактически обстоят дела. В виду этого, утверждение, что принятие союзного договора обеспечено—неосновательно»[1]. Всегдашняя возможность отклонения должна была бы иметь неизбежным последствием войну со стороны франко-русского союза против Германии. Англия отодвинулась бы на задний план и наблюдала бы, как континентальные державы друг друга обессиливают. Подозрительность по отношению к Чемберлену тем более усилилась, что по этому же самому вопросу Бальфур 5 апреля сказал Гацфельду, что он сам не уверен в том, что при настоящем состоянии общественного мнения в обеих странах данный договор будет принят парламентом. При этом он прибавил весьма откровенно: «особенностью Чемберлена является желание быстро действовать». Гацфельд в своем собщении отмечает, что «из резких высказываний г. Бальфура о Чемберлене у меня создалось впечатление, что неудача последнего в его переговорах с нами не была бы особенно нежелательной Бальфуру»[2]. Здесь мы подошли к чрезвычайно интересному вопросу о разногласиях внутри английского кабинета. Оставив пока в стороне вопрос по существу, чтоб к нему вернуться дальше, посмотрим, как немецкая дипломатия расценивала эти разногласия в тот момент. Такой тонкий знаток английской обстановки как граф Гацфельд, считал, что разногласия имеются, если так можно выразиться, только по вопросу о темпе. Характеризуя Чемберлена как «энергичного и большого парламентского ловкача, Гацфельд говорит, что в отношении внешней политики он производит впечатление новичка, руководимого только тщеславием и не отдающего себе отчета в последствиях своих поступков и слов. Ясно, что будет его личным триумфом и приблизит его к премьер-министру, если ему удастся выступить инициатором англо-германского союза. Но если из личного самолюбия он желает быстрее действовать, чем Бальфур, то это ничего не изменяет в том факте, что по моим сведениям все члены кабинета с преследуемой им целью в общем согласны»[3]. Немецким дипломатам Чемберлен, со своими манерами «modern Kaufmann», как называл его Бюлов, с напористостью и откровенностью, казался 60-летним «enfant terrible», с которым лучше дела не иметь[4]. Совсем другое—Бальфур (который, между прочим, Бюлову почему-то напоминал немецких людей

[1] Gr. P., XIV, Bülow an Hatzfeldt, 3/IV, № 3785.
[2] Gr. P., XIV, Hatzfeldt an Ausw. Amt, 5/IV, № 3786.
[3] Gr. P., XV, Aufzeichnungen von Bülow, 24/XI 1899. № 4398.
[4] Позже (в 1902 г.) с трибуны Рейхстага депутат Либерман назвал Чемберлена «самым отвратительным шалуном, какого только носила земля».

50-х годов[1], с ним дипломату разговаривать легче[2]. «Высказывания г. Бальфура, пишет Гацфельду Бюлов, особенно те, где полное соглашение откладывается на будущее, производят симпатичное и внушающее доверие впечатление в особенности против высказываний Чемберлена, который нас совращал на опасные шаги, и между тем, повидимому, не мог способствовать сближению умов уступками в отдельных частных вопросах»[3]. Очевидно недоверчивое отношение немцев к личности Чемберлена было учтено и руководителями английской политики, ибо в дальнейшем течении переговоров Чемберлен уже крайне редко фигурирует в непосредственных разговорах с немецким послом, что конечно не мешало оставаться ему вдохновителем всех попыток сближения с Германией. Мы дальше увидим, что немецкие дипломаты в общем правильно расценивали разногласия внутри английского кабинета. Во всяком случае программа, выставленная Бальфуром,—подготовить сближение путем уступок в отдельных вопросах,—была вполне приемлема для Берлина, так как там предполагалось, что уступать должна будет Британия. В Берлине полагали, что для Германии нет никакой нужды связывать себя договором с Англией. Такая необходимость появилась бы в том случае, если бы английское могущество действительно находилось под угрозой, и благодаря этому опрокидывалось бы равновесие на континенте, что могло бы привести к ревизии Франкфуртского мира[4]. Пока не считали для себя возможным и нужным портить отношения с Россией и, как выражался Бюлов, «пускаться в азартную игру»[5]. Вильгельм по-солдатски грубо, но ярко вскрывает следующей фразой причины холодности немецкого правительства к английским предложениям: «Чемберлен не должен забывать, что на границе Восточной Пруссии я имею один армейский корпус против трех русских армий и девяти кавалерийских дивизионов, от которых меня никакие китайские стены не отделяют, и никакие английские броненосцы не спасут»[6]. 7 апреля германский посол записывает: «Попытки английского правительства к сближению, поскольку я могу судить, пришли к концу». Таким образом, две недели (25/III—7/IV) нащупывания почвы с английской стороны не привели ни к каким осязательным результатам. Вопрос о совместных действиях в Китае и о союзе с Германией ставился чисто академически, как возможность далекого будущего. Чемберлена такой ход дел удовлетворить не мог. Ему нужен был быстрый эффект. И вот была сделана попытка подогреть затухающие переговоры. Опять мы видим: самую активную роль в этом играет Альфред Ротшильд. Ему принадлежала мысль, чтоб Экардштейн как можно скорее поехал в Гамбург, где в это время находился Вильгельм, для того, чтобы придать твердость переговорам. Вопрос этот был решен в интимной беседе тесным кругом английских министров, за обедом, который происходил у Экардштейна. Тут чрезвычайно интересно еще раз отметить роль Экард-

---

[1] Ibid.
[2] Gr. P. XIV, Hatzfeldt, an Hohenlohe, 6/IV, 98, № 3787.
[3] Gr. P. XIV » » № 3787.
[4] Gr. P. XIV, Hatzfeldt an ausw. Amt, 1/IV, № 3787.
[5] Gr. P. XIV, Bülow an Hatzfeldt, 3/IV, № 3785.
[6] P. XIV, Gr. Hatzfeldt an Hohenlohe, 7/IV № 3788.

штейна. Когда читаешь его мемуары, то иногда недоумеваешь, кем он скорее был, советником германского посольства или доверенным лицом английского кабинета. Гацфельд был поставлен Экардштейном в известность об этом предложении и согласился с ним. Вечером 9-го апреля Экардштейн был принят императором. Вот в каких словах об этом эпизоде рассказывает сам Экардштейн: «В мнениях императора наблюдалось полное согласие с взглядами графа Гацфельда, и видно, что он и во многих других вопросах прекрасно ориентирован... Я был очень удовлетворен успехом своей миссии и был полностью убежден, что лондонские переговоры относительно совместных действий в Китае, развивающиеся в направлении полного союза, будут приведены к положительным результатам. Но едва прошла неделя, как посол сказал мне отчаянным тоном, что бесполезно продолжать дальнейшие переговоры, так как Вильгельм-Штрассе в Берлине и император совершенно неожиданно настроились против соглашения с Англией». Тут же Экардштейн прибавляет: «Какие новые влияния оказали действие на императора, я никогда не узнал». Это конечно только литературный оборот, т. к. вслед за этой же фразой он горестно сообщает, что «только опыт показал мне, что у Вильгельма II оказывается всегда правым только тот, кто приходит последним»[1]. Он прекрасно знал, кто пришел «последним». В той же главе он говорит, что виды на успех, бывшие столь большими в первой половине апреля, потерпели крушение, благодаря нерешительности со стороны влиятельнейших личностей в Берлине, которых «московиты» очаровали «ловкой политикой пряника и кнута». «Влиятельнейшие личности» это Гольштейн и Бюлов, с выжидательной политикой которых никак не могла помириться его англофильская душа. Очень характерно, что в тот вечер, когда он ушел от Вильгельма окрыленный надеждами, он прежде всего пишет письмо барону Ротшильду, а затем немецкому послу в Париже Мюнстеру, настроенному крайне враждебно по отношению к Гольштейну. По приезде в Лондон Экардштейн получает ответ от Мюнстера, в котором тот, называя Гольштейна ««irsinnigen zentralrindvieh», резко критикует все направление внешней германской политики. Напрасно Экардштейн полагал, что у Вильгельма во время беседы с ним не было твердо установленных взглядов на внешнюю политику. Были не только взгляды, но форменный план, хотя вероятно и не им выработанный. На завтра (10 апреля) после того памятного для Экардштейна вечера, когда он ушел от императора, считая свою миссию блестяще выполненной, Вильгельм посылает из Гомбурга в мин. иностр. дел настоящую программу действий в области внешней политики, которая показывает, что он, во всяком случае тогда, совсем не плохо разбирался в ситуации. «Нигер и Печчилийский залив, пишет он, заботят нас меньше, чем Эльзас-Лотарингия... Но, несмотря на это, даже и в настоящее время имеет большое значение поддерживать официальное настроение в Англии благосклонным для нас и обнадеживающим. Благодаря дружески расположенной к нам Англии мы получаем в руки лишнюю карту против России и приобретаем от Англии колонии и выгоды в торговле». Перед Гацфельдом он ставит

[1] Eckardstein, Lebenserrinerungen u. s. w., B. I, 295.

задачу: «задержкой формального союзного договора не давать Англии чувствовать оскорбительности отказа, а давать понять желание к сближению и дружбе в отдельных совместных действиях». «В противном случае прибавляет Вильгельм, при яростном (rabiaten) душевном состоянии английского кабинета не исключается неожиданный поворот в сторону Франции» [1]. На долю Гацфельда выпал действительно тяжелый труд. Когда 25 апреля, после двухнедельного перерыва, Чемберленом было выражено желание продолжать переговоры, Гацфельд, указав ему на то, что общественное мнение в Германии и Англии не подготовлено к союзу, заявил, что «нашей задачей с обеих сторон является подготовить общественное мнение обеих стран, путем дружеских уступок во всех встречающихся мелких вопросах, к возможности такого соглашения». Однако, Чемберлен отнюдь не обнаружил согласия с рекомендацией улаживать дело с Германией путем уступок в мелких вопросах, если одновременно не будет заключено полного соглашения. Он намекнул послу, что если Германия не пойдет на полное политическое соглашение, то немцы не должны рассчитывать ни на какое благожелательство в отношении колониальных вопросов [2]. В заметках на полях донесения Гацфельда, Гольштейн записывает: «Эта возможность союзов наступит: если 1) Россия будет нам угрожать и 2) если б Англия выступила бы с меньшими претензиями, чем в настоящее время (weniger breitspurig)». На протяжении всех последовавших бесед, немецкий посол, выполняя инструкции берлинского кабинета, старается уверить английских дипломатов, что в настоящий момент союз с Германией будет невыгоден для самой Англии и что для Британии гораздо выгоднее было бы, если б она отделила Россию от Франции, нейтрализовав первую в англо-французской войне уступками в Китае. Только соглашение Англии с Россией может предотвратить ее от фатальной войны. Для Германии это было бы также особенно желательно, так как естественно ослабило бы русско-французский союз [3]. Но эта идея при тогдашней обстановке была явно утопична, а по сему выдвигается новая мысль о том, что нейтралитет Германии сам по себе обеспечивает французский нейтралитет в случае англо-русской войны. Франция никогда не вступила бы в войну с Англией, в то время как Германия, будучи нейтральной, стояла бы с оружием к ноге. И вот Гацфельд старается убедить Чемберлена, а затем и Сольсбери, что для Англии выгодней вести войну с Россией одной, в то время как французский меч, благодаря нейтралитету Германии, будет оставаться в ножнах, чем такую войну, где будут сражаться Россия и Франция на одной стороне, а Англия и Германия на другой. Аргументация при этом такова: «во-первых, русские приготовления для нападения на азиатские границы Англии совершенно неудовлетворительны, и отвлечение русского войска Германией не является необходимым; во-вторых,—еще многие годы поддержка со стороны германского флота, в случае поддержки России французским флотом, приниматься в расчет не может». Вывод: для Англии нейтралитет Германии более выгоден, чем союз с ней. Но и свой нейтралитет

[1] Gr. P. XIV, Wilhelm an Ausw. Amt 10/IV 98, № 3790.

[2] Gr. P. XIV, Hatzfeldt an Hohenloe, 26/IV 98 № 3793.

[3] Gr. P. XIV, №№ 3783, 3784 und Bülow an Hatzfeldt, 24/IV, 3792.

Германия также предлагала не даром, он будет зависеть от того, как по отношению к Германии будет вести себя Лондон в колониальных вопросах. «Существует более чем один пункт в мире, как выражался Бюлов, где Англия, не ставя нам препятствия в будущем, могла бы создать основу для нашей дружбы»[1]. Кроме того, Бюлов советовал англичанам связаться с Австрией и Италией. Последнее Чемберлен решительно отклонил, говоря, что общественное мнение Англии не склонно поступать с турецкими владениями так, как это предполагает Австрия. Не с этими странами думает итти Англия, а с Германией, другие последуют за ней. Тут же Чемберлен заявил, что если Англия не встретит сочувствия у Германии, то совсем не невозможно для нее притти к соглашению с Францией или с Россией[2]. В Берлине прекрасно знали, что за этой словесной угрозой не кроется никакого фактического содержания, и считали даже полезным предоставить Англии сделать такую попытку в Париже. «Тогда Англия, писал Бюлов, избавится от той иллюзии, что выбор свободен, так как Франция никогда не пойдет на то, чтоб испортить отношения с Россией» и заключал «все теперь говорит против дальнейшего продолжения переговоров о союзе» и прежде всего то «обстоятельство, что со стороны России нам не угрожает никакая опасность, но таковая возникает, как только Россия убедится, что мы стремимся связать себя с Англией крепким союзом. Отклонение парламентом договора может принести нам много зла»[3]. Несмотря на явную неудачу английских предложений, Чемберлен не оставлял мысли о союзе с Германией. Буржуазное общественное мнение требовало энергичной политики в Китае и даже члены правительственной партии решительно недовольны были колеблющимся руководством. Еще 4 мая Сольсбери, возвратившись в Англию, произнес перед консервативной «Лигой подснежника» (Primerose ligue) речь, в которой говорил о неизбежности войны[4]. 13 мая Чемберлен произнес свою знаменитую речь перед избирателями, в центре тяжелой индустрии, в Бирмингаме. Здесь Чемберлен совершенно ясно заявил, что Англия стоит перед необходимостью отказа от политики изоляции. По его мнению, интересы Англии требуют хороших отношений с Соед. Штатами и союза с Германией. Громадные интересы в Китае, сказал он, не могут быть защищены против России без союзника. Поэтому, необходимо связаться с такой державой, интересы которой сходятся с интересами Англии. По отношению к России он употребил такую фразу: «кто ест с дьяволом, тот должен брать большую ложку»[5]. Гацфельд расценивал эту речь как «Ballon d'essay» (пробный шар), от которого ожидают действия на общественное мнение[6]. Речь вызвала громадную сенсацию. Русское правительство всполошилось. На запрос русского посла в Лондоне, Сталя, Сольсбери заявил, что по английским обычаям и традициям, за общественную речь, если она произнесена вне парламента,

---

[1] Gr. P. XIV, 3789 und Bülow an Hatzfeldt, 24/IV, № 3792.
[2] Gr. P. XIV, Hatzfeldt an Hohenloe, 26/IV, № 3793.
[3] Gr. P. XIV, Bülow an Hatzfeldt, 30/IV, № 3794.
[4] Halevi, Histoire du peuple anglais.
[5] Ibid.
[6] Gr. P. XIV, Hatzfeldt an Bülow, 15/V, 3797.

даже членом кабинета, правительство никакой ответственности не несет[1]. Небезынтересно отметить, что по возвращении примьер-министра в Англию, Гацфельд виделся с ним и, несмотря на свое намерение поставить его в известность о разговорах с Бальфуром и Чемберленом, в первых беседах им это сделано не было. Сольсбери затронул обсуждавшийся вопрос лишь косвенно, высказавшись о малой ценности союза с Италией и Австрией для Англии, в виду австро-русского соглашения от мая 1897 года по Балканскому вопросу. «Дружба с тройственным союзом, сказал премьер, никакой цены не будет иметь, если один из наиболее важных членов сам придет к соглашению с Россией о разделе сфер интересов на востоке». По поводу этой фразы мы на полях донесения имеем характерную заметку Вильгельма: «Это потому, что он через соглашение с тройственным союзом поставил задачу—заставить нас сражаться за английские интересы против России»[2]. Будучи согласным с Гацфельдом, что необходимыми уступками надо содействовать более интимному сближению между обеими странами, Сольсбери полагал, что Германия запрашивает слишком много. Он сказал немецкому послу, что необходимой предпосылкой должно быть, чтоб «не одна сторона была постоянно дающей, а другая всегда только берущей. Действительная польза может быть, если обе стороны равно идут друг другу навстречу и равно принимают во внимание интересы обеих сторон». На это замечание премьера, произнесенное, как сообщает Гацфельд, «с известным внутренним волнением, чтоб не сказать с горечью», посол возразил, что «едва ли может итти речь о равных отношениях между странами. Особенно это кажется мне в колониальном вопросе, так как Англия в этом отношении имеет все, мы же почти ничего. Нам поступаться своими владениями не так легко, в то время как Англия может сделать это из своего избытка». На это Сольсбери ничего не ответил. Гацфельд дает совет в Берлин «поскольку теперешнее настроение Сольсбери продлится, надо воздержаться от всякой инициативы к разговорам по этим вопросам. Не было бы как мне кажется никакой беды, если б мы создали впечатление, что все мои старания к установлению лучших отношений я считаю безнадежным»[3]. Гацфельд из бесед с Сольсбери все же вынес впечатление, что премьер так же как и все члены кабинета расположен к дружеским отношениям с Германией и притом оставляет за собой право возбудить вопрос о формальном соглашении с Германией, когда его к этому вынудит обострение международного положения. При этом Гацфельд полагал, что в отличие от Чемберлена, Сольсбери не требует прямого участия Германии в провокации против России на Дальнем Востоке, очевидно удовольствуясь, как целью соглашения, желанием сохранения мира и взаимной обороны для определенно формулируемых случаев. Тут же Гацфельд прибавляет, что «соответствует нашим интересам то, что оба государственных человека, как ни различны их мировоззрения и цели в остальном, сегодня согласны в желании искать политического соглашения с Гер-

[1] Halevi, ibid.
[2] Gr. P., XIV, Hatzfeldt an Hohenloe, 28/V, № 3798.
[3] Gr. P., XIV, Hatzfeldt an Hohenloe, 28/V. № 3798.

манией»[1]. Бюлов писал Вильгельму, что мнение Гацфельда «о разнице между предложениями союза Сольсбери и Чемберлена кажутся ему слишком изощренными (subtil)»[2]. Вильгельм считал, что «Chamberlain hat Solisbury föllig in der Tasche. Сольсбери мог бы с нами торговать, Чемберлен желает обобрать нас без торговли»[3]. Итак, мы видим, в конце мая переговоры зашли в тупик. Вильгельм восклицает на полях письма Гацфельда: «Tirez les premiers, messieurs les anglais!». В Берлине, как и раньше, полагали, что «всего правильней не связываться пока ни с одной стороной», так как всякий договор с Англией был бы заострен против России и безопасность германской восточной границы уменьшилась бы, а всякий договор с Россией был бы заострен против Англии и все германские намерения о приобретении колоний были бы уменьшены или разрушены. При таких обстоятельствах, император, насколько можно судить, по собственному почину и совершенно независимо от руководителей мин. иностр. дел, решился на весьма рискованный шаг, который граничил с шантажем. 30 мая кайзер написал Николаю II письмо, которое начинается следующими словами: «Милейший Ники, совершенно внезапно и для меня неожиданно я должен принять очень серьезное решение, имеющее для моей страны огромную важность; последствия его могут зайти так далеко, что я совершенно не могу их предвидеть»[4]... Дальше идет изложение английских попыток к сближению с Германией.

По словам Вильгельма, на предложение заключить союзный договор с Англией, по его приказу ответили холодно, с промедлением и неопределенно. «Я полагал, писал он, что дело кончено. Теперь, однако, запрос возобновлен в третий раз и в форме очень определенной, причем окончательный ответ требуют от меня в очень короткий срок, и сверх того, запрос сопровождался такими огромными предложениями, обещающими широкую и великую будущность моей страны, что я считаю своим долгом перед Германией основательно обдумать свой ответ. И вот, прежде чем сделать это, я прямо и откровенно обращаюсь к тебе, мой уважаемый друг и кузен, и сообщаю тебе об этом, так как я чувствую, что это, так сказать, вопрос жизни и смерти. Мы оба мыслим одинаково, мы желаем мира и мы его до сих пор поддерживали! Какова цель союза, ты поймешь хорошо, так как мне сообщено, что он должен быть заключен с тройственным союзом, с присоединением к нему Японии и Америки, с которыми уже начаты предварительные переговоры!». Последняя фраза звучит особенно великолепно. Об «огромных предложениях» со стороны Англии мы уже знаем, а что касается до Америки, то как известно, германо-американские отношения как раз в этот момент войны с Испанией были особенно обострены, и по всей Германии шла газетная кампания против захвата Америкой Филиппинских островов. Не далее как через две недели после этого письма Германия отправляет к Филиппинам военные корабли под начальством адмирала Дидерихса. Итак, если мы видели до сего Вильгельма, выступающего в роли Хлестакова,

[1] Gr. P., XIV, Hatzfeldt an Hohenloe, 3/VI, 98, № 3891.
[2] Bülow an Wilhelm, 5/VI, № 3802.
[3] Randbemerkungen von Wilhelm, 20/V, № 3798. Gr. P., 14.
[4] Переписка Вильгельма II с Николаем II, стр. 24.

то в следующих строках, в которых собственно и заключается центр тяжести всего послания, он трансформируется в «modern Kaufmann». Вот эти строки: «Ты можешь сам вообразить, какие тут заключаются возможности, в зависимости от того, откажемся ли мы или примем это предложение! Так вот, мой старый верный друг, я прошу тебя, скажи мне, что ты можешь предложить мне и что ты сделаешь, если я откажусь? В этом трудном положении, прежде чем я приму окончательное решение и дам ответ, необходимо, чтоб мне было все ясно, а потому и предложения твои должны быть ясны, открыты и без каких либо задних мыслей, чтобы я, согласно с моим долгом, мог обсудить и взвесить в своем уме и перед богом, что нужно для поддержания мира для блага моего отечества и всего мира. Относительно своей союзницы ты не беспокойся, ей будет отведено подобающее место в комбинации, согласно твоему желанию, каково бы ни было твое предложение». Вильгельм, как видим, все предусмотрел, даже великодушно позаботился о Франции. На какую, мягко выражаясь, наивность Николая нужно было рассчитывать, чтоб думать, что он поверит во всю эту фантастику, об этом лучше всего судить самому Вильгельму. Эта черта в характере Вильгельма, подделывание под воображаемую глупость противника или «друга» (отмечаемая и проф. Тарле) [1] нам еще не раз встретится. Смысл письма заключался в том, чтоб под давлением угрозы англо-германским соглашением, нашла осуществление давно лелеемая Вильгельмом мысль о континентальном союзе (см. его разговоры на эту тему с Витте. «Воспоминания», т. I). Обратный ответ Николая, если он только был написан им самим, показывает, что русский царь отнюдь не был лишен чувства юмора. Письмо составлено в тон посланию Вильгельма. Николай сообщает своему кузену, ожидавшему совсем другого ответа, что, «три месяца тому назад, во время наших переговоров с Китаем, Англия вручила нам меморандум, содержавший много заманчивых предложений, пытаясь побудить нас притти к полному соглашению по всем пунктам, где наши и ее интересы соприкасаются... Предложения эти носили столь необычайный характер, что я должен признаться, мы были поражены и даже их истинный смысл показался нам подозрительным; никогда еще Англия ничего подобного России не предлагала. Это нам ясно показало, что Англия в это время нуждалась в нашей дружбе, чтоб иметь возможность скрытым путем помешать нашему развитию на Дальнем Востоке. Мы, не задумываясь, отклонили ее предложение. Двумя неделями позже Порт-Артур был наш. Как тебе известно, мы пришли с Японией к соглашению по поводу Кореи, а с Северной Америкой у нас еще задолго до того установились прекрасные взаимоотношения, я, право не вижу причины, почему последняя обратилась бы вдруг против старых друзей только ради «les beaux yeux» (прекрасных глаз) Англии. Мне очень трудно, если не совсем невозможно, ответить на твой вопрос: полезно ли будет для Германии принять эти часто повторяемые предложения Англии, ибо я не имею ни малейшего представления об их ценности. Ты, конечно, должен сам решать, что лучше и что более необходимо для твоей страны. Германия и Россия издавна в мире,

[1] См. Тарле, Европа в эпоху империализма, стр. 104.

как добрые соседи, и, даст бог, останутся и впредь близкими и лойяльными друзьями»[1]. Итак, вместо обратных предложений, ожидаемых Вильгельмом, последовало изумительное открытие—«коварный Альбион» обращался с такими же «заманчивыми» предложениями и к России. В Берлине не сомневались в правильности сообщения царя. Бюлов писал Гацфельду, что «исключается возможность того, чтоб русский император мог бы утверждать, что Англия в письменной форме делала России далеко идущие предложения, если б никакой фактической почвы под этими утверждениями не имелось бы»[2]. Тут конечно уместен вопрос, почему для русского царя исключается возможность, которую германский император претворил на деле. Но немецким дипломатам было тогда не до таких психологических тонкостей. Недоверчивость Вильгельма к Англии возросла и удвоилась осторожность. «В Петербурге, замечает Бранденбург, могли потирать руки»[3]. Во всяком случае так далеко пойти, чтоб совершенно прервать переговоры с Лондоном, в Берлине не решились. Гацфельд должен был и дальше чисто академически поддерживать вопрос о сближении и внушать английским политикам мысль, что нужно проникнуться принципом «живи и другим жить давай» (leben und leben lassen)[1]. Благодаря тому, что поддерживались надежды на союз, в Лондоне удалось продвинуть вперед вопрос о разделе португальских колоний. Но в то же время там было дано понять, что в остальных спорных колониальных вопросах, как-то: о Китовой бухте, Занзибаре, границе Того и Самоа пойдут на уступки только в том случае, если будет заключено общее соглашение. Это пожелание заключить союз с Германией в августе было подтверждено императору, непосредственно английским послом в Берлине Франком Лэссельсом. Английский посол сформулировал по предписанию Чемберлена, что можно было бы заключить союз под условием «что обе державы обязуются друг друга обоюдно поддерживать, если только нападение будет произведено также с двух сторон». Император сказал, что таких определенных предложений до сих пор еще не делали. Он не будет иметь ничего против того, чтоб вступить в переговоры, если б предложение было повторено официальным образом. Он полагал, что подобного рода соглашение не обязывало бы Германию помогать англичанам на Дальнем Востоке против России, и представлял, что царь ничего не имел бы против такого рода страховки. «Англо-русский антагонизм, писал Вильгельм Бюлову, сам по себе при оборонительном союзе с Англией не может втянуть нас в осложнения, под условием, что должны напасть два врага, чтоб наступил «casus foedris»[5]. Но Бюлов и Гольштейн, очень обеспокоенные этой вдруг обнаружившейся склонностью императора к соглашению с Англией, постарались, чтоб она не пустила корней. В телеграмме от 26 августа Бюлов выражает императору свое восхищение по поводу того, что кайзер ясно

[1] Переписка Вильгельма II с Николаем II. Письмо Николая, стр. 26.
[2] Gr. P., XIV, Bülow an Hatzfeldt, 8/VI 98, № 3804.
[3] Brandenburg, Von Bismark zum Weltkriege, 99.
[4] Aufzeichnungen von Bülow, 11/VI 98, № 3805.
[5] Kaiser an Ausw. Amt, 22/VIII, № 3865, Gr. P. XIV. «Казус федерис» случай, когда вступает в действие договор о военной поддержке союзника.

сказал англичанам, что из-за прекрасных глаз Джона Буля он не хочет таскать каштанов из русского огня. Одновременно Бюлов отмечает, что война между Англией и Россией неизбежна. Он советует дальнейшую дружбу с Англией сохранять, но без того, чтоб компрометировать себя в глазах царя, так чтоб к 80-летию рождения королевы Виктории Вильгельм мог бы выступить в полной независимости от обеих сторон, как «arbiter mundi» [1]. В это же время Вильгельм опять пишет письмо Николаю, где сообщает, что «Англия время от времени возобновляла свои переговоры с нами, но ни разу не раскрыла вполне своих карт. Насколько я понимаю, они стараются изо всех сил найти континентальную армию, которая стала бы сражаться ради их интересов! Я полагаю, им будет не легко найти таковую—по крайней мере это будет не моя» [2]. Как видим, Бюлов мог не беспокоиться. Официальное предложение оборонительного союза с английской стороны, которого можно было тогда ожидать, не последовало [3]. Но даже если б оно и последовало, то при тогдашнем настроении Бюлова и Гацфельда вряд ли можно было ожидать чего-либо другого, кроме затяжных переговоров. В этот же период переговоры о будущей судьбе португальских владений пришли к концу. Во время этих переговоров дело дошло до такой остроты, что Вильгельм просил передать английскому послу Лэссельсу, что если последние немецкие предложения Англией приняты не будут, то дальнейшее пребывание германского посла в Лондоне он пока считает излишним. «Англия должна себе усвоить ту мысль, писал Вильгельм, что Германия, с Великобританией или против нее, но построит колониальную державу». В Лондоне, зная крайне неуравновешенный темперамент Вильгельма, не отнеслись трагически к этому размахиванию картонным мечом. 30 августа тайный договор был заключен. Португалия находилась в то время в таком денежном затруднении, что продажа ее колониальных владений являлась возможной; в случае если бы это произошло, Южный Мозамбик с бухтой Делагоа, которой так сильно добивалась Англия, для того, чтоб отрезать Бурские республики от моря, должен был достаться Великобритании, примыкающие же к германской Восточной Африке часть Мозамбика, к северу от Замбези, а также Ангола должны были достаться Германии. Этот договор для Англии конечно был выгоднее, чем для Германии. Во-первых, делилась шкура еще не убитого зверя, и Англия, по существу ничего не отдавая, создавала в Германии иллюзию уступок, да и сам вопрос, убить ли зверя—зависел исключительно от Англии. Мы дальше увидим, что предпосылка, необходимая для этого соглашения, — желание Португалии продать свои колонии—не осуществилась (не без поддержки Англии, совсем не желавшей видеть германские владения рядом со своими), и договор остался, как выражается Гамман, «пустой ловушкой» [4]. Но что

[1] Gr. P., XIV, Bülow an Kaiser, 26/VIII № 3867.

[2] Переписка Вильгельма II с Николаем II. Письмо 18/VIII, стр. 28.

[3] Бранденбург высказывает следующие предположения о причинах, по которым Англия не возобновила своего предложения: 1) после победы в Фашоде и отказа помощи бурам со стороны Германии, союз не был больше нужен, 2) или стало известно о письме Вильгельма царю и не желали новой дискредитации.

[4] См. Дармштеттер. История раздела Африки, 145.

самое главное—этим договором германское правительство давало понять, что оно совершенно отказывается от вмешательства в англо-бурские дела и продает Трансвааль англичанам. Это прекрасно сознавалось германскими дипломатами. Позже, в 1901 году, Гольштейн признавался, что «Южно-африканским договором немецкое правительство ясно выразило намерение предоставить буров их судьбе[1]. Через несколько дней после заключения договора, лорд Китченер разбил магдистов при Омдурмане (3 сентября 1898 г.) и через несколько недель подошел к верховьям Нила, где стоял французский отряд капитана Маршана. Острота отношений между Англией и Францией достигла кульминационного пункта. Лорд Сольсбери начал весьма недвусмысленно грозить войной, если французы не уйдут из Фашоды. Французское правительство вынуждено было пойти на уступки и вопрос был окончательно улажен лишь весной 1899 года (21 марта). Во Французской прессе (даже очень националистически настроенной) впервые появляется вопрос: кого следует считать скорее «вечным наследственным врагом», Германию или Англию, и начинают раздаваться голоса за сближение с Германией. Возможность континентального союза казалась очень близкой. Витте, который как известно, был горячим сторонником такого союза, тоже был весьма настроен в этом направлении. Но скоро эти колебания во Франции были изжиты и Германия могла убедиться, что в общественном мнении французской буржуазии опять именно она выступила, как главный соперник, так же как для Англии Россия. С английской стороны была сильная склонность использовать момент колебаний для окончательного расчета с Францией. Чемберлен сообщил в Берлин, что в случае войны рассчитывает на полный нейтралитет Германии. Все это время он не упускал из вида плана союза с Германией. 8 декабря он произнес речь в Векефильде, где сказал: «мы не собираемся заставить Германию таскать для Англии из огня каштаны, как некоторые там думают. Англия может сама защищать свои интересы. Но у нас имеется много общих интересов с Германией, и в интересах обеих стран и общего мира было бы, чтоб величайшая морская и сильнейшая континентальная державы в будущем шли бы плечом к плечу»[2].

Заканчивая обзор переговоров 1898 года, мы видим, что в конце года они стояли на той же линии, с которой начались. Осторожные английские попытки завязать союзные отношения с Германией не нашли встречного отклика в Берлине, поскольку там понимали, что это приведет к антирусской политике на Дальнем Востоке. При наличии франко-русского союза, англо-германская война с Францией неминуемо привела бы к войне и на Восточном фронте,—к борьбе, главные трудности которой пали бы на плечи Германии. А взваливать на себя тяжести войны на два фронта, т. е. по существу предоставить свою армию в распоряжение Англии, беспомощной на континенте, Германия не собиралась. Но с другой стороны и с Англией, от которой зависело разрешение многих колониальных вопросов, не хотели портить отношений. Как следствие—тактика выжидания и затягивания переговоров.

---

[1] Gr. p. B. XVII «Holstein an Hatzfeldt» 11/II 1901, № 4989.

[2] Brandenburg, Von Bismarck zum Weltkriege, 106.

Англичанам ясно давали понять, что Германия не будет поддерживать их в Китае против России, но в то же время их обнадеживали на оборонительный союз в будущем. А пока, маня англичан этой надеждой, старались вырвать у них кое-какие колониальные уступки. Отсюда лозунг: «Сначала соглашение по колониальным вопросам»... Этой же тактики немцы держались и на протяжении двух следующих лет (1899—1900), которые для Британской Империи, как мы увидим в следующей главе, были годами чрезвычайно больших затруднений в области внешней политики.

II. Англо-германские отношения в период бурской войны и боксерского восстания в Китае (1899—1900)

В конце 19 века Германии пришлось впервые столкнуться с новой державой, выходившей на сцену мировой политики, с молодым американским империализмом. Мне уже приходилось в предыдущей главе упоминать о кампании германской прессы против притязаний Соед. Штатов на Филиппинские острова, которые были ими захвачены в войне с Испанией, и о посылке к Филиппинам германской эскадры. До прямого столкновения дело однако не дошло. Не меньше поводов для трений имелось в том пункте, где сталкивались интересы Соед. Штатов, Англии и Германии, т. е. на островах Самоа, которые находились в совместном владении (так называемый кондоминиум) этих трех держав. Еще в конце августа 1898 года Германия предлагала Лондону территориальный раздел Самоа. «Сан-Джемский кабинет, который не мог и не хотел утверждения германского влияния в районе австралийских владений, не соглашался с этим предложением, надеясь, очевидно, вместе с Соед. Штатами вышибить Германию из занятой ею позиции... Дальнейшие переговоры доходили до такой степени напряженности, что можно было ожидать разрыва дипломатических отношений между Германией и Англией» [1]. В марте 1899 года Бюлов просит у кайзера разрешения, в случае если договор о Самоа будет сорван, хотя и не об'являя войны Англии, отозвать немецкого посла из Лондона, так как «международные отношения бесцельны там, где не соблюдаются международные договоры». Император дал свое согласие. 11 апреля Германия требует созыва комиссий из представителей трех заинтересованных держав и одной незаинтересованной, чтоб окончательно разрешить вопрос. Англия отклонила и это требование. Разрешение вопроса было принесено ходом бурской войны, когда, как мы увидим, Франция пыталась спровоцировать германское вмешательство, когда в германских влиятельных кругах находились лица, склонные к такой интервенции и когда Англии, пытавшейся найти точки облинжения с Германией, было дано понять, что предпосылкой переговоров может быть только ее отказ от непримиримой позиции в Самоа. В конце-концов, на исходе 1899 года заинтересованные страны подписали соглашение, по которому Англия отказывалась от своих владений на Самоа, получив за это целый ряд компенсаций в других пунктах. Острова Самоа были поделены между Германией и Соед. Штатами.

[1] Ерусалимский, А. См. «Германо-американские отношения в конце 19 в.», в журнале «Мировое хозяйство и мировая политика», за 1926 г., № 10—11, с. 114.

В Германии в виду назревавшего англо-бурского конфликта твердо решили занять осторожную и выжидательную позицию. Бюлов считал необходимым, чтоб по отношению к Трансваальскому кризису официозная печать приняла «более спокойный и об'ективный тон» [1]. В начале октября Бюлов дает следующую директиву в мин. иностр. дел: «наша позиция касательно южноафриканского кризиса строго нейтральна и абсолютно лойяльна. В сравнении с позицией французов и русских, должна быть заметна ценность дружеских отношений с нами» [2]. В Лондоне это заметили, и Чемберлен в интимной беседе с Экардштейном сказал ему, что «английское правительство знает точно, что позиция Берлина по отношению к Англии вполне корректна» [3]. В то же время Бюлов считал, что необходимо использовать обострение трансваальского кризиса для получения уступок в колониальных вопросах. «В действительности, писал он в мин. иностр. дел, было бы недостатком дипломатической ловкости, если б мы теперь не привели к удовлетворительному заключению различные насущные дела, и прежде всего Самоанский вопрос» [4]. Последний вопрос, как мы уже знаем, действительно был разрешен в удовлетворительном для Германии смысле. Несмотря на то, что в заметках на полях донесений кайзер очень резко высказывался против Англии (Вильгельм ко всему еще был крайне обижен тем, что его не пригласили в мае на празднование 80-летия его бабушки королевы Виктории), на позиции берлинского кабинета в отношении англо-бурской войны это не отразилось. Хотя Вильгельм и высказывал пожелания, чтоб в своей военной политике англичане «сели в калошу», все же он, в созвучии с руководителями немецкого государства, строго избегал всего, что могло бы задеть английское правительство. Очевидно, урок «Крюгеровской телеграммы» даже для Вильгельма даром не прошел. 11 октября открылись враждебные действия в Трансваале. К этому же времени относится и первая попытка Франции возбудить вопрос о совместном с Германией выступлении в пользу буров. Вильгельм, в письме Бюлову от 29 октября, рассказывает, что сидел в театре рядом с французским послом Marquis de Noailles, который сказал, что завоевание Африки Англией вселяет заботу заинтересованным нациям совместно урегулировать вопрос об английской экспансии. Вильгельм возразил, что если англичанам будет кто-нибудь мешать в их африканских делах, то они смогут сбросить того с периферии в море, без того, чтоб можно было оказать какое-либо сопротивление. Английский флот превосходит всякую коалицию. Германия, как хорошо известно, не имеет флота. Следовательно, в данном положении, не остается ничего иного, как соблюдать строгий нейтралитет и заботиться о флоте. «Через 20 лет, воскликнул кайзер, когда флот будет готов, я буду разговаривать по другому» [5]. Позднее, 16 декабря, в Париже также пытались создать у немецкого посла Мюнстера представление о том, что Франция ожидает только повода, чтоб столкнуться с Англией.

---

[1] Gr. P., XV, Bülow an Ausw. Amt, 21/IX, 395,
[2] Gr. P., XV, » » » 398.
[3] Gr. P., XV, Hatzfeldt an Ausw. Amt, 30/IX 1899. 397.
[4] Ibid. 395.
[5] Gr. P., XV, Kaiser an Bülow, 29/X 1899, № 4394.

Послу казалось, что истинный смысл этих высказываний—толкнуть Германию на неосторожные шаги,—не может вызывать сомнений [1]. Такой же точки зрения придерживались в Берлине. Там считали, что выгоднее не ссориться с англичанами. 15 ноября Бюлов посылает послу в Лондоне инструкцию: «Дайте понять, что сегодняшняя немецкая политика ставит своей задачей улучшить англо-германские отношения» [2]. При этом исходили также из той мысли, что русские и французы будут тем более склонны итти на уступки, Германии, чем более интимные отношения установятся между последней и Британией [3]. Эту же задачу,—установление более близких отношений между двумя странами, преследовало и посещение Англии кайзером и Бюловым в конце ноября (20—28 ноября), по приглашению королевы Виктории [4]. Так как это посещение вызвало недовольство и в немецкой, и в русской, и во французской прессе, занимавших в общем враждебную к Англии и сочувственную к бурам позицию, Вильгельм считал более правильным придать своему пребыванию в Англии чисто родственный характер. Поэтому он даже отказался от посещения Кембриджского университета и герцога Девонширского. Бюлов в своих заметках подробно описывает все разговоры, которые велись с руководителями английской политики во время пребывания кайзера в Виндзоре [5]. Бальфур и Чемберлен и даже королева Виктория начинали свои беседы с кайзером и с Бюловым с жалоб на позицию немецкой прессы, которая, как заявил Бальфур, «настроена более антианглийски, чем английская пресса антигермански». Королева Виктория прибавила к этому, что «не хорошо раздражать англичан нападками прессы. Англичане медлительны и нетороплива. Но если их будут очень бесчестить, то и они могут в конце концов потерять терпение». Германский император полагал, что и англичане должны обращаться с немцами осторожно, ибо как он выражался «немцы обладают чувствительной, своевольной и скорей сентиментальной натурой, и в английских интересах не выводить их из терпения, а итти им навстречу даже в мелочах. Немцы недотроги («touchy»), и чем более это принимается во внимание со стороны англичан, тем полезнее это для отношений между обеими странами» (Разговор с Чемберленом 21 II). Очевидно, способность терять терпение свойственна всем нациям! Чемберлен и Бальфур далее заявили, что в Англии все партии желали бы итти совместно с Германией, и если возможно с Америкой. С немецкой строны против союза с Англией выставлялись все уже известные нам из предыдущей главы возражения, и самое главное, что германскому миру ничто не угрожает. Наоборот, Англия благодаря большому распространению своих государственных границ, во многих пунктах может иметь серьезные затруднения. В то время, как английским традициям не соответствует заключать формальный договор, для

[1] Gr. P., XV, Fürst Münster, 22/XII, 430.

[2] Gr. P., XV, Bülow an Hatzfeldt, 15/II 1899, 412—13.

[3] Gr. P., XV, Hatzfeldt an Holstein, 15/II, 99, 410—11.

[4] Между прочим, когда Вильгельм получил это приглашение, он написал Бюлову «раз Англия нас хочет, мы можем себя оценить дороже». Gr. P., XV, Bülow an Ausw. Amt, 25/IX, 396.

[5] Gr. P., XV Aufz. von Bülow in Windzor. 24/II, 413—20.

Германии этим был бы положен конец прекрасных отношений с Россией. Поэтому единственно возможный путь к сближению,—соглашения от случая к случаю по отдельным пунктам. Что касается до Соед. Штатов, то если Чемберлен действительно выставляет как идеал совместные действия трех держав, он мог бы позаботиться, чтоб между Германией и Америкой не повторялись недоразумения (Беседа Бюлова с Чемберленом 24/XI). На все это Бальфуром было замечено, что нет непреодолимого противоречия между Англией и Россией: «Азия достаточно велика для обоих». Чемберлен в этом отношении был настроен менее оптимистично. «Он не имеет никаких иллюзий относительно того,—писал Бюлов,—что русское влияние в Китае возрастает. Он смотрит с опасением, как в противоположность англичанам русских принимают, и как они ассимилируют азиатов. Может притти такое время,—сказал он,—когда сотни тысяч китайцев и татар, вооруженных русскими ружьями, обученных и руководимых русскими офицерами, усилят русскую армию» (Беседа 24/XI). Чемберлен подчеркивал, что никакого дальнейшего захвата земель в Азии он не хочет. «Вторая Индия на Янцзы—говорил он,—будет не под силу Англии». Но Англия не может согласиться с тем, что Россия вытесняет ее из Китая и Персии. Поэтому в английских интересах оказывать поддержку Китаю, Персии и Турции. Что касается до последней, то Англия не думает ставить препятствий для Германии в Малой Азии. Бальфур также заявил о том, что «ему приятнее видеть в Малой Азии немцев, чем русских или французов» и выразил пожелание, чтоб английские капиталисты приняли участие в постройке багдадской железной дороги. (Беседа кайзера с Бальфуром 24/XI). Вильгельм подчеркнул, что немцы от Англии ничего не хотят и «явились не в качестве бедных родственников, а для того, чтоб установить с Англией более спокойные отношения» (Беседа с Бальфуром 22/XI). Между прочим, Бальфуром уже в этих беседах был поставлен вопрос о необходимости соглашения касательно Марокко, с тем, чтоб Танжер перешел к Англии, а часть побережья Атлантического океана к Германии. Зашла речь и о позиции премьер-министра. Чемберлен сказал, что Сольсбери потому не хочет с Германией союза, так как считает, что Англия вообще не должна ни с кем связываться. Он хочет столь же мало союза с Германией, как с Францией или с Россией. В конце изложения всех этих разговоров, Бюлов сообщает, какое впечатление произвели на него английские государственные деятели. Сообщение стоит того, чтоб его привести. «Английские политики мало знают континент,—поучает Бюлов. Они знают о континентальных условиях не более, чем об отношениях в Перу или в Сиаме. Они наивны в их бесконечном эгоизме, а также в известной доверчивости. Они с трудом верят в действительные злые намерения других. Они очень спокойны, очень оптимистичны». Эта характеристика, конечно, не делает чести наблюдательности будущего германского рейхсканцлера, а скорее свидетельствует о его собственной наивности и самодовольстве. Но там же имеется очень верное замечание о том, что все партии едины в необходимости поддержки правительства в войне с бурами. «Если правительство после больших успехов задушит буров,—пишет он,—то самый либеральный англичанин будет находить это в порядке вещей. Если же прави-

тельство после дальнейших неудач, для того чтоб избежать непосильных жертв и издержек, заключит едва почетный мир, то оно и от джингоистов не встретит препятствий. Здесь примут то, что будут считать практичным. Страна дышет богатством, благосостоянием и верой в свои силы и будущее». Бюлов уехал из Виндзора с тем впечатлением, что настроение в Англии гораздо менее антинемецкое, чем в Германии антианглийское. Если-б, полагал он, английская публика ясно знала бы о теперешнем господствующем в Германии настроении, то это вызвало бы большой поворот в ее мнениях об отношении Англии с Германией. Задачу немецкого правительства он видел в том, чтоб «обладая сильным флотом и сохраняя хорошие отношения с Англией, также как и с Россией, ожидать с терпением дальнейшего развития событий».

В Лондоне эти разговоры вызвали большие надежды. Чемберлен, как рассказывает в своих мемуарах Экардштейн, из бесед с Вильгельмом и Бюловым вынес впечатление о том, что те симпатизируют мысли о соглашении, и считал, что принципиальное согласие на союз получено [1]. Пресса не позволяла себе против Германии никаких выпадов. 2 декабря Гацфельд сообщал рейхсканцлеру Гогенлое, что «общественное мнение и пресса держались с тактом и оказали знаки внимания высочайшему посещению». В такой, казалось бы самой благоприятной для англо-германских отношений, асмосфере, 29 ноября, прозвучала знаменитая речь Чемберлена в Лейстере. Он начал с жалоб на нападки со стороны иностранной прессы и затем перешел к неоднократно уже им развиваемой теме. «Время изолированности Англии прошло, сказал министр, Англия и Германия связаны общностью интересов. Если союз между Англией и Америкой явился бы могущественным фактором в целях сохранения мира, то новый тройственный союз между тевтонской расой и двумя ветвями англо-саксонской расы будет иметь еще более могущественное влияние на будущее мира». При этом он прибавил, что «каждый дальновидный государственный человек (по словам Экардштейна, намек на лорда Биконсфильда) давно желает, чтоб мы не оставались длительно изолированными на континенте, и я думаю, что самым естественным является союз между нами и Германией». Как известно, в Англии эта речь была принята скептически, в Германии же была встречена крайне враждебно и вызвала бурю негодования в немецкой прессе. Экардштейн уверяет, что Чемберлен был спровоцирован на эти высказывания никем иным, как самим Бюловым, который как-будто в своем разговоре с министром 24 ноября побудил Чемберлена представить свой план на суд общественного мнения, с тем, чтоб посмотреть как он будет принят. Подтверждение этому имеется и в письме Экардштейну, которое Чемберлен написал на другой день после своей речи в Лейстере. В письме говорится следующее: «Я имел две длинных беседы с кайзером, который подтвердил мое первоначальное мнение о его необычайном понимании существа европейских проблем. Бюлов также произвел на меня сильное впечатление. Он просил меня сказать что-нибудь об общности интересов Соед. штатов, Германии и Англии. Отсюда моя вче-

---

[1] Eckardstein, Lebenserrinerungen u. s. w., B. II, 106.

рашняя речь в Лейстере». Гацфельд считает, что Чемберлен, когда он произносил эту речь, либо имел в кармане принципиальное согласие лорда Сольсбери, либо исходил из убеждения, что удастся склонить того на свою сторону с помощью большинства коллег. Для Германии эта речь, полагал посол, только полезна, так как поддерживает в Англии надежду на близкое соглашение[1]. Как бы то ни было, речь вызвала в Германии взрыв возмущения. Бюлов не мог не считаться с господствовавшим тогда в буржуазных кругах англофобским настроением, и это отразилось в его речи, произнесенной в рейхстаге 11 декабря по поводу новой программы усиления флота. «Мы должны, говорил Бюлов, быть готовы ко всяким неожиданностям со стороны моря и суши. Мы должны иметь флот, достаточно могущественный, чтоб отразить нападение всякой державы. События с 1898 года показали мудрость первого закона о судостроении. Все державы увеличивают свой флот. Без значительного усиления нашего флота мы не можем удержать за собой наше положение между Францией и Англией, Россией и Америкой. Мы являемся предметом зависти, политической и экономической. Времена нашей политической анемии и экономического и политического унижения прошли. В наступающем столетии мы будем или молотом, или наковальней». Об отношениях с Англией в этой речи Бюлов говорил с намеренной холодностью, в то время как по отношению к Франции и России расточал любезности. Он намекнул и на то, что нужно использовать английские затруднения для того, чтобы обеспечить себе в будущем выгоды. В Англии эта речь произвела действие подобное холодному душу. Чемберлен жаловался Экардштейну на то, что Бюлов отвернулся от него с холодным видом (cold shoulder). Он писал Экардштейну: «Мне жалко, что все ваши кропотливые и долгие старания теперь сведены нанет. Но мне также жалко самого себя. Все шло хорошо. Даже лорд Сольсбери был настроен весьма дружески и согласен с нами в вопросе будущего англо-германских отношений. Больше такой случай не повторится... Я ничего не скажу по поводу того, как Бюлов обошелся со мной, но теперь бесполезно продолжать переговоры»[2]. Высказываясь столь резко, Бюлов преследовал известную тактическую цель, создать в рейхстаге благоприятное настроение в пользу закона о флоте. Но в то же время он позаботился о том, чтоб окольным путем дать понять Чемберлену, что это только тактика, и что он совсем не отказался от мысли о соглашении. Экардштейн рассказывает, что он получил из Берлина тайную инструкцию, сообщить Чемберлену о том, что эта речь была вызвана исключительно трудным положением правительства в парламенте, и что она преследовала цель выбить из рук врагов правительства то оружие, которым они действовали против него, т. е. инсинуации о том, что якобы готовится тайное соглашение с Англией, которым приносятся в жертву германские интересы[3]. Все же, отношения между обеими странами по сравнению с ноябрем ухудшились. Этому содействовал еще случившийся через несколько недель после выступления Бюлова инцидент

---

[1] Gr. P., XV, Hatzfeldt an Hohenlce, 2/XII, 99. 422—426.
[2] Eckardstein, Lebenserrinerungen, B. 2, 125.
[3] Ibid. 127.

с задержкой англичанами на юго-востоке Африки немецкого парохода, подозреваемого в провозе военной контрабанды. Германия немедленно заявила протест. Тон немецких требований был столь угрожающ, что в Лондоне ожидали ультиматума. В конце-концов, Сольсбери обещал освободить задержанное судно «Бундесрат», не дожидаясь решения призового суда, заплатить компенсацию, и не задерживать в будущем немецких пароходов вне зоны военных действий. Немецкое правительство заявило, что оно удовлетворено и инцидент считает исчерпанным. Естественно, что весь этот инцидент с радостью был использован прессой, стоящей близко к адмиралу Тирпицу для целей пропаганды усиления флота. Этим же воспользовались Франция и Россия для того, чтобы снова поднять в Берлине вопрос о совместном вмешательстве в англо-бурскую войну. Еще в январе 1900 года Остен-Сакен возбудил в Берлине вопрос о коалиции против Англии, особенно по вопросам международного морского права. Император еще раз подчеркнул свою нейтральную позицию. На вопрос, будет ли Германия содействовать России, если та выступит против Англии в Персии или Турции, он ответил, что «он столь же мало стоит на страже интересов Англии в Индии, как и двойственного согласия в Африке»[1]. 3 марта Россия неожиданно сделала дальнейший шаг. Заручившись предварительным согласием в Париже, царь от своего и французского имени возбудил в Берлине вопрос о посредничестве этих трех держав между Англией и бурами. Граф Муравьев указывал при этом на всеобщие симпатии к освободительной войне буров и на основы гуманности. Теперь после побед Англии и занятия ими Кимберлея, говорил граф, Англия не примет такой шаг как оскорбление. Бюлов ответил на это, что он в высокой степени ценит великодушные (hochherzigen) мотивы царя, которые привели к Гаагской мирной конференции, но будет лучше, если царь один проявит в Лондоне инициативу и сам предложит посредничество. Германия должна избегать всяких осложнений, пока она не обеспечена со стороны Франции. «Эта обеспеченность могла бы возникнуть, писал Бюлов, только посредством договора с Францией, где договаривающиеся державы гарантировали бы их европейские владения на долгий ряд лет»[2]. Мы видим, со стороны Германии была сделана весьма осторожная, но ярко выраженная попытка связаться с Францией и Россией ценой отказа первой от идеи реванша. На такой шаг французское правительство конечно пойти не могло. Муравьев ответил, что такой сложный вопрос может быть решен только специальной конференцией, в то время как сейчас требуются быстрые действия. Переговоры естественно прекратились. Позже в своей книге «Державная Германия» Бюлов, вспоминая этот период, об'ясняя строго-нейтральную позицию Германии следующим образом: «даже если бы вмешательством в Европе нам удалось помешать южно-африканской политике Англии, наши отношения были бы исчерпаны на долгий период. Пассивное сопротивление Англии международной политике Германии, превратилось бы в активную враждебность. Даже в случае поражения Англии в южно-африканской войне,

[1] Gr. P., XV, Aufz. von Bülow. 13/1 1900, 509.
[2] Gr. P., XV, Aufz. von Bülow. 3/3 1900. 516.

Англия могла бы разрушить нашу морскую мощь в самом начале ее развития». В Лондон из Петербурга все эти переговоры о вмешательстве были переданы в искаженном виде:—якобы инициатива исходила от Вильгельма, который предлагал русскому послу интервенцию. С немецкой стороны эти инсинуации встретили возражения. Бюлов писал в Лондон, что все выставленные им условия были просто замаскированной формой отказа. «В 1895 году, когда действительно хотели вмешаться в бурские дела, Франции таких условий не ставили»[1]. В английских правительственных кругах серьезно и не думали о том, что Германия станет воевать из-за буров. Принц Уэльский даже выразил благодарность своему племяннику за дружеское отношение во время войны. Но с другой стороны, в Лондоне отнюдь не считали, как это считал Бюлов, что немцы в критический момент оказали Англии услугу мировой важности. Вскоре после русских шагов, бурские республики сами попросили посредничества у Германии и у других государств. Немецкое правительство ответило, что это было бы возможно, если б буры перед этим сами узнали в Лондоне, что Англия готова принять это посредничество[2]. Когда позднее президент Крюгер, возглавлявший депутацию в Европу, чтоб искать у держав помощи, прибыл в Берлин, он, как известно, кайзером принят не был, хотя в Париже встретил восторженный прием. Маленькой, но характерной чертой отношений в первые месяцы бурской войны были ставшие позже знаменитыми советы Вильгельма принцу Уэльскому о ведении войны, так называемые афоризмы. Вильгельм начал их в начале февраля, перед тем как лорд Робертс принял командование и дела англичан были еще плохи. Вильгельм советует англичанам войну кончать скорей, пока не вмешались другие державы, при чем он сравнивал войну с футбольным матчем. Это имело тот смысл, что для того, чтобы избежать большей опасности, Англия должна признать свое поражение[3]. Такие советы принцу Уэльскому, который и без того относился достаточно плохо к своему племяннику, казались глубоко оскорбительными. Принц об'явил, что сравнения этой войны, которая ведется Англией с величайшими жертвами, с футбольным матчем он вообще не понимает; впрочем, Британия приложит все усилия, чтоб закончить победоносную войну[4]. События во время бурской войны и опубликование резких немецких нот в английской «синей книге» ухудшили настроение в обеих странах. Лорд Сольсбери попрежнему холодно относился к мысли об англо-германском союзе. Граф Вольф-Метерних, который тогда заменял заболевшего графа Гацфельда, сообщает, что в конце февраля Сольсбери сказал, что хотел бы видеть Германию сильной, но это еще не означает того, что речь идет о союзе. «Старая английская политика невмешательства в малые дела континента, сказал премьер, остается в силе. Эта позиция не противоречит

[1] Gr. P., XV, Erlass von Metternich, 28/III 539—540.

[2] Gr. P., XV, Aufz. von Bülow, 524—25.

[3] Уместно вспомнить о том знаменитом интервью, которое Вильгельм дал в 1908 году и которое принесло ему столько неприятностей, где он уверял, что во время трансваальской войны он послал в английский генеральный штаб план военных действий.

[4] Gr. P., XV, 553—558.

тому, что в случае необходимости Англия станет на сторону той державы, чьи интересы будут сходиться с английскими»[1]. Сольсбери полагал, что Германия в случае международного конфликта скорей пойдет со своими пограничными соседями, чем с Англией, но поддерживает в Англии надежду на союз, чтоб получить колониальные или другие преимущества[2]. Несмотря на все это, Чемберлен крепко держался за свою идею. В марте он сказал графу Метерниху, что несмотря на все препятствия он до конца своей жизни не оставит мысли о союзе. Впрочем, он думает больше об общем соглашении по большим вопросам, чем о строго формулированном союзном договоре. Он не педантичный дипломат. Германия и Англия должны избегать такого обострения отношений, которое иногда наблюдалось раньше. С Францией более трудные вопросы обсуждаются в более спокойном и вежливом тоне. Меттерних ответил, что немецкое правительство свою позицию не изменило, но должно все же считаться с общественным мнением. Англия должна судить о германской политике не по отдельным словам, а по всем действиям и не забывать, что Германия воспрепятствовала враждебной Англии континентальной коалиции. Он находит, что Чемберлен слишком чувствителен и советует сдержанность в отношениях[3]. Бюлов также не хотел, чтобы вопрос о союзе потух. Он хотел отложить его до того момента, когда общее настроение переменится и когда Англия поймет, что при слабости ее сухопутных сил, которая так отчетливо выявилась в бурской войне, она при международных осложнениях будет нуждаться в немецкой помощи и для этого должна будет компенсировать Германию. Сперва, полагал он, нужно уладить вопрос о Марокко[4]. Как мы помним, о последнем речь шла еще в разговорах во время посещения кайзером Виндзора. Но в эти годы этот вопрос так и не продвинулся вперед. Все переговоры оставались безрезультатными. По мнению Гаммана это об'ясняется тем, что немецкие государственные деятели боялись, как бы Англия не использовала их против Франции, с целью заставить их таскать из огня каштаны для англичан[5]. Летом 1900 г. всплыл опять дальне-восточный вопрос. В Китае началось боксерское восстание 18 июня в Пекине был убит немецкий посланник Кеттелер. На фоне всех этих трагических событий разыгрывается известный фарс с назначением фельдмаршала Вальдерзее командующим международной экспедицией в Китае, посланной туда державами для подавления боксерского восстания и освобождения посольств в Пекине. Действия, которые предприняло немецкое правительство для того, чтобы поддержать свой престиж в восточной Азии, нельзя назвать очень ловкими. В напутственной речи Вильгельм рекомендовал своим войскам быть «гуннами». «Пощады не давать! Пленных не брать!» восклицал император, «воюйте так, чтоб через тысячу лет ни один китаец не посмел даже косо взглянуть на немца». В таком духе было произнесено 5 речей. Когда фельдмаршал, или как издеваясь называет его Экардштейн

[1] Gr. P., XV, Metternich, 28/II 1900, 515.
[2] Gr. P. XVII, Metternich, 15/VII 1900, 3.
[3] Gr. P. XV, Metternich, 19/III, № 4884.
[4] Gr. P. XVII, Erlass an Hatzfeldt, 23/V, 308 № 5160.
[5] См. Дармштеттер. История раздела Африки. С. 135.

«Weltmarschall» в средине октября, наконец, прибыл в Китай, почти все военные действия были закончены и восстание подавлено. Совместные действия в Китае остро выявили соперничество великих держав на Дальнем Востоке, и в особенности англо-русское. Так как Англия все же раньше и скорее других заняла в Китае первенствующее положение, то ее позиция была тверже и закрепленнее позиций других держав. Другим оставалось только противодействовать английской монополии в Китае. Статс-секретарь Соед. Штатов Гэй заявил, что Соед. Штаты будут отстаивать принцип «open doors» (т. е. свободной торговли) в Китае для всех наций при полном их равноправии. Такой же по существу позиции придерживалось и германское правительство. Гольштейн 27 июля писал Бюлову о том, что «вопрос, который превалирует над другими, является вопросом о Янцзы. Так как мы не можем рассчитывать на то, что в ближайшее время сможем монополизировать Янцзы, задача наша должна состоять в том, чтобы по крайней мере помешать Англии ее монополизировать. Мы станем на сторону тех держав, которые хотят оставить Янцзы открытой для всех наций [1]. Во время посещения будущим королем Эдуардом своего племянника в средине августа 1900 года, Вильгельм развивал эту же точку зрения перед своим гостем. Кайзер заявил своему дяде, что «в долине Янцзы существует две возможности: либо Англия хочет установить там свою монополию, тогда она должна будет одна защищаться, что будет не легко, в особенности против Америки; или она об'явит также и для Германии свободу торговли и принцип «открытых дверей», тогда обе державы смогут совместно выступить против тех, которые не захотят признавать этого принципа» [2]. Эдуард и сопровождавший его посол Лэссельс заявили, что они согласны на последнее и переговорят с Сольсбери. После долгих переговоров и целого ряда поправок к проектам, соглашение между Германией и Англией о Янцзы было в конце-концов установлено и опубликовано 16 октября 1900 года. Им устанавливалась целостность Китая и свобода торговли в бассейне реки Янцыцзян и в тех областях, где подписавшие могут использовать свое влияние. В случае, если третья держава будет добиваться территориальных привилегий, подписавшие державы должны обсудить совместные действия. Другие державы присоединились к договору, так как Россия с своей стороны подтвердила целостность Китая и обещала эвакуировать Манчжурию. Кроме того Бюлову удалось исключить из соглашения Манчжурию, что дало повод герцогу Девонширскому в письме к Экардштейну от 23 октября заметить, что «весь договор является документом, не стоящим той бумаги, на которой он написан» [3]. Мы дальше увидим, насколько он был прав. В том же письме он писал «что Россия не обратит внимания на заключенный договор и будет продолжать свои экстравагантные выпады в Китае до тех пор, пока ей это будет нужно. Если дела так и дальше пойдут в Китае, что же станет с нашей хлопчатобумажной промышленностью в Ланкашире. Но и ваша промышленность в Германии тоже почувствует себя

[1] Gr. P., XVI, № 4701.
[2] Gr. P., XVI, Kaiser an Bülow, 22/VIII, 212.
[3] Eckardstein, Lebenserrinerungen u. s. w., B., 202.

скоро в затруднительном положении». Действительно уже через несколько недель после заключения соглашения, когда русский генерал Линевич с согласия китайского правительства занял поселение в Тянь-Дзине, начались разногласия в толковании договора. Договор действительно остался клочком бумаги. Англия и Россия стояли перед новым обострением отношений на Дальнем Востоке. Чемберлен вновь возвращается к мысли о союзе и в январе 1901 года снова возобновляются в Лондоне переговоры по этому вопросу.

(Окончание в следующем №)

И. Ходоров

К вопросу об исторической эволюции землевладения в Туркестане

По состоянию туркестанской историографии представляется невозможным проследить по документам и надежным историческим свидетельствам процесс эволюции землепользования и землевладения в наиболее ранние периоды средне-азиатской истории. «Сколько-нибудь подробные исторические известия в Средней Азии начинаются в такую эпоху, когда крупная земельная собственность уже достигла полного развития» [1]. Крупная земельная собственность вполне сложилась и оформилась в Туркестане в V веке н. э., начало же ее образования относится к много более ранним временам. В средне-вековой Западной Европе завершение процесса образования крупной земельной собственности произошло несколько позже—он начался здесь в V—VI веке и вполне оформился в VIII—IX веке, н. э. Еще позже произошло образование крупной земельной собственности в России, по которой достоверные известия об этом процессе относятся к XIII веку.

В и р а н с к и й, д о а р а б с к и й, п е р и о д туркестанской истории (до VIII века н. э.) центр тяжести социально-экономической и политической жизни Средней Азии лежал не в городе, а в селе, и определяющее значение в строе хозяйственной и общественной жизни принадлежало земледелию—центральной же фигурой земледелия был дехкан, крупный землевладелец и аристократ, сильный экономически и политически. Слово «дехкан», происходящее от персидского обозначения села словом «дех» (турецкое слово «кышлак»—зимовка—вытеснило слово «дех» много позже), выражало понятие владетеля, жившего в укрепленном замке, неот'емлемой принадлежности каждого поместья. Остатки этих замков сохранились в Туркестане во многих местах в виде жилых курганов. Вся Средняя Азия распадалась в этот период на множество мелких владений, возглавлявшихся дехканами. Сильные владетели носили титул ихшид, который может быть приравнен к древне-русскому титулу князь или к западно-европейскому титулу герцог. Ихшидами были дехкане самаркандский и ферганский, дехкан же Бухары, бывший одним из наиболее сильных, носил титул бухар-худата. О числе дехкан может дать представление то обстоятельство, что в одной только Осрушне, области между Самаркандом и Ходжентом, было четыреста замков дехкан.

---

[1] В. Бартольд.—Об одном историческом вопросе.

Крупные землевладельцы-дехкане образовывали сословие, подобное средневековым европейским рыцарям—сильные дехкане имели в подданстве более слабых: налицо была система отношений, близко напоминавшая отношения феодальной иерархии. Власть слабых дехкан распространялась на небольшие территории—волости, власть сильных—на такие обширные области, как Фергана, Согдиана, Шаш. Сильные дехкане, стоящие во главе больших областей, не всегда признавали над собою власть высших дехкан, временами происходило отпадение слабых дехкан от более сильных, как это имело место в Западной Европе и России в виде прекращения «княжеской службы». Дехкане владели поземельной собственностью не только в селениях, но и в городах—так, в Бухаре одному дехкану принадлежала целая улица.

Сильные дехкане-землевладельцы имели дружину—в арабских источниках говорится о личной гвардии владетелей—шакирах, или чакирах, т. е. княжеских слугах, дома этих слуг располагались вокруг замка дехкана, чакиры составляли военную силу, которой располагали князья и вельможи. Знаком дехканского, рыцарского достоинства был золотой пояс с привешанной к нему саблей. Крупные землевладельцы-дехкане осуществляли на своей территории политическую власть, творили на ней суд и были организаторами ее военных сил. В замках своих дехкане восседали на тронах, причем в замках богатых дехкан были золоченые престолы и золотые изваяния богов. Сильной централизованной монархической власти, которая бы об'единяла всю Среднюю Азию, в иранский период ее истории не было—государственная власть была территориально раздроблена.

В результате действия каких сил могло сложиться в Туркестане крупное землевладение?—В Западной Европе и России образование земельной собственности произошло вследствие постепенного ослабления связей в родовой земледельческой общине и закрепления права пользования землей за семьею путем наследования, в силу освоения территорий, ранее не обрабатывавшихся. От частной земельной собственности эволюция вела к образованию крупного землевладения—через завоевание новых земельных просторов, обычно в значительной степени присваивавшихся князьями, герцогами или дружиной, и через насильственные захваты крупными землевладельцами земель мелких свободных, полусвободных и несвободных землевладельцев.

И на Востоке действовали сходные причины, приводившие к аналогичным следствиям. И здесь имело место, употребляя выражение Макса Вебера: «выделение из общей массы (населения) живущего для войны господствующего слоя и содержание его при помощи привилегированного землевладения, рент и барщин зависимого безоружного населения» [1]. Для стран с искусственным орошением Макс Вебер указывает на специальное влияние в процессе образования крупной земельной собственности больших оросительных работ, которые могли проводиться только благодаря воздействию сильной власти, что приводило к сосредоточению в руках царей и их приближенных—путем пожалования крупных участков земли. Это относится Максом Вебером к Месопотамии и Египту. Возможно, что оросительные работы, произво-

[1] Вебер, Макс. —Аграрная история древнего мира с. 4.

дившиеся и в Средней Азии на заре ее истории, также содействовали сосредоточению новых земельных массивов—полностью или частью—в руках ихшидов и дехкан.

Было ли крупное землевладение в иранский период также и крупным землепользованием, или земли дехкан обрабатывались крестьянами? Имели ли крупные землевладельцы возможность обрабатывать свои земли при помощи труда рабов, и были ли крестьяне людьми свободными или подневольными?

На эти вопросы очень трудно дать документально обоснованные ответы. Вероятно и в иранский период в Туркестане существовало рабство, но судя по молчанию источников, можно думать, что оно в это время не играло большой роли в сельском хозяйстве. Что же касается положения крестьян, то здесь исторические свидетельства относятся одновременно к Средней Азии и Персии, которая в эту эпоху была связана политически и культурно с большей частью территории современной Средней Азии. В Персии имело место в V веке н. э. сильное крестьянское движение, проходившее под религиозно-коммунистическим знаменем и возглавлявшееся сектой моздакитов. Это крестьянское движение происходило как раз в период усиления крупного землевладения, оно выражало социальный протест против него и, поставив коммунистический лозунг равенста прав на землю, имело целью удержать социально-экономические позиции крестьянства в борьбе с восходившим и теснившим его крупным землевладением.

Но крестьянское движение не увенчалось успехом—оно подверглось жестокому разгрому, и в результате и в Персии и в Средней Азии, по выражению акад. В. Бартольда: «вместо свободного крестьянства, мы видим теперь полную власть помещика над крестьянами... дехкане над земледельцами-крестьянами стали иметь полное господство» [1]. До этого восстания крестьян самое слово «дехкан» означало свободного земледельца, теперь оно стало означать крупного землевладельца-помещика. Состояние материалов не позволяет установить во всех подробностях, в чем именно состояло «полное господство» крупных землевладельцев-дехкан над земледельцами крестьянами, но, повидимому, основой этого господства должна была быть зависимость крестьян от помещиков по земле, возникавшая из факта экономической необходимости для крестьян обрабатывать землю, которой у них было мало или вовсе не было, но которая была у крупных землевладельцев.

Приход турок в Среднюю Азию в VI веке н. э. мало что изменил в судьбах землепользования—турки, оставаясь в степи, не разрушили той социальной организации, которую они застали у оседлых иранцев—они только возглавили ее: турки опирались на иранских князьков и феодалов, которых они заставляли платить дань себе—турецкие верховные правители были посажены каганом (турецким ханом) лишь в немногих областях. То же надо сказать и относительно кратковременного владычества китайцев в Туркестане в VII веке.

---

[1] В. Бартольд. Место прикаспийских областей в истории мусульманского мира, с. 20—21.

В следующий, арабско-иранский период истории Туркестана (VIII—XI веках) крупных принципиальных изменений в истории землевладения и землепользования не произошло, но, тем не менее, многое в этой области изменилось. Влияние арабов на социально-экономическую жизнь Средней Азии было много более глубоким и прочным чем влияние прежних пришельцев с запада—персов и греков. «Арабские наместники калифов, жившие обычно в Мерве и часто сменявшиеся, пользовались своим коротким пребыванием у власти для всякого рода стяжаний, среди коих первое место занимало приобретение земель, оставшихся потом во владении их потомства, таким образом, создавалась новая землевладельческая аристократия в завоеванной стране»[1]. В то же время шло и низовое переселение—значительные площади земли в Туркестане захватывались бедуинскими племенами, постепенно оседавшими. Это новое арабское землевладение оказалось более прочным, нежели сама власть арабов в Туркестане. По мере ослабления единства мировой империи арабов и усиления тенденций, ведших к ее распаду, стала ослабевать реальная власть арабов и над Средней Азией. В X веке она выражалась, по преимуществу, уже только в получении дани. В порядке управления Средней Азией по мандату арабов произошло возвышение местных иранских княжеских династий: сначала—Тахиридов (821—873), а затем—Саманидов (875—999)—династий, вышедших из рядов крупных землевладельцев—иранцев, дехкáн.

Земля в арабско-иранский период была предметом торгового оборота. Так, гулямы, т. е. лица, входившие в состав гвардии Саманидов, могли приобретать земли путем покупки. Могущественный владетель династии Саманидов Исмаил купил у частного лица за 10 000 диргемов (диргем, примерно, 25 коп.) пустошь, покрытую тростником. Жители торгового селения Иски-Джкет, находившегося в 25 верстах от Бухары, выкупили землю у владельцев ее за 170 000 диргемов. Историк Мухаммад Наршахи сообщает, что участок земли, который можно обработать парой быков, стоил 4 000 диргемов, т. е. 1 000 рублей. Предметом купли и продажи была также и вода, необходимая для орошения земли. «Диван каст-афзуд»—учреждение, которое вело списки податeлей, причитавшихся с каждого из «владельцев воды» (арбаб-ал-миях), отмечало увеличение или уменьшение суммы податей за воду в зависимости от перехода права собственности на нее[2].

На первый взгляд, этот свободный переход земли и воды по праву купли-продажи как-будто противоречит исламу, принесенному арабами в Туркестан. Однако, крайняя приспособленность ислама к реальным условиям действительности и пластичность его норм легко примирили мусульманское правосознание с нуждами гражданского оборота, т. е. тем, что практически лежало на линии интересов крупного землевладения. Религиозно-правовой принцип: «Аллаху принадлежит все, что на небе и на земле» приобрел чисто декларативное значение. Магомету приписывается изречение: «Три вещи

[1] Проф. А. Семенов,—К проблеме национального размежевания Средней Азии (историко-этнографический очерк).

[2] В. Бартольд,—К истории орошения Туркестана.

являются общей собственностью людей: вода, природные пастбища и огонь». Но обе эти формулировки отличаются в юридическом смысле большой неопределенностью. Человек—лишь странник на земле, таково общее воззрение ислама, но это не мешает человеку, пока он живет, владеть собственностью, предоставленной ему Аллахом или его заместителем в лице власти предержащей. Комментаторы ислама путем смелых толкований текстов и прямого нажима на них приспособляли нормы шариата к практике собственности на землю и воду[1].

Земля в арабско-иранский период подвергалась также обложению. Так, Наршахи сообщает, что при Саманидах хeрадж (налог на землю) в Бухаре и ее окрестностях составлял 1.168.666 диргемов и 5½ данака.

В арабско-иранский период произошла в Средней Азии консолидация государственной власти—арабы в значительной степени выполнили в Средней Азии роль «собирателей земли», но собрав землю, они оказались вынужденными передать ее сильнейшим из местных княжеских родов, т. е. сильнейшим из местных крупных землевладельцев. Несмотря на появление сильной центральной власти, в ряде местностей крупные землевладельцы продолжали сохранять политическую власть. По словам Макдиси, правители Балха, Сеиджистана, Гузгана, Газны, Гарджистана, Хорезма, Исфиджаба, Сага- ниана и ряда других областей отправляли в столицу не подати, а только подарки. Илакский дехкан сохранил за собою даже право чеканки монеты. Землевладельческая аристократия была еще достаточно сильна, и центральной власти, которая номинально развивала теорию своей ответственности только перед богом, в действительности приходилось считаться с сильным классом крупных землевладельцев.

Центральная власть старалась осторожными, но настойчивыми мероприятиями ограничить политическое значение класса крупных землевладельцев—дехканства; среди этих мероприятий наибольшее значение имела добровольная и полупринудительная скупка земель у крупных землевладельцев представителями центральной власти. Борьбу свою с политическими притязаниями крупного землевладения центральная власть вела, опираясь на созданную ею гвардию, в которой большую роль играли степные турки. Крупным землевладельцам-дехканам приходилось, как и потомкам европейских феодалов, мириться с утратой их прежнего политического значения ради выгод государственной службы и сохранения экономических и социальных привилегий крупных земельных собственников.

Соответствовало ли в арабско-иранский период крупному землевладению крупное землепользование? Или, наоборот, крупные землевладельцы сами не вели большого хозяйства и пользовались только оброком связанных с ними крестьян, ведших мелкое хозяйство?

В. Бартольд, говоря о калифате, вообще, замечает: «Никто не мешал землевладельцам отнимать землю у одних крестьян и передавать ее другим, предлагавшим более высокую плату»[2]. Понятие землевладельца и земле-

[1] А. Е. Шмидт,—Шариат и право водопользования в Средней Азии.
[2] В. Бартольд,—Культура мусульманства, с. 49.

дельца отнюдь не покрывали друг друга в рассматриваемый период: земля принадлежала крупному собственнику, но обрабатывалась она крестьянами. Так же представлял себе землепользование на востоке и Макс Вебер: «На Востоке не возникало никакого господского барщинного (разрядка наша) хозяйства, но зато утвердилось выжимание поборов» [1].

Отсутствие крупного землепользования на Востоке часто ставят в связь с наличием искусственного орошения, при котором производительным может быть якобы только труд индивидуально хозяйствующего крестьянина. Однако, в Месопотамии, где земледелие тоже основано на искусственном орошении, царский домен представлял из себя крупное хозяйство, ведшееся при помощи крепостных и иных зависимых людей. Крупное хозяйство велось и в Египте, на ряду со сдачей части земель в аренду мелким землепользователям. И в Риме велось крупное хозяйство на орошаемых землях—с помощью рабов. Очевидно, в вопросе о формах землепользования решающее значение имело не искусственное орошение, а та стадия экономического развития, на которой находилась Средняя Азия в VIII—XI веках. И в Средней Азии, как и в Западной Европе и в России, крупная собственность на землю не была на первых порах своего существования крупным землепользованием. Соединение крупного землевладения с мелким хозяйством, которое Н. П. Павлов-Сильванский относил к главным признакам феодолизма, об'яснялось слабостью меновых связей и тем, что вследствие этого образ жизни крупного землевладельца и крестьянина не очень сильно различались между собой. Для землевладельца этого периода, по выражению К. Маркса, «емкость желудка полагала предел эксплоатации крестьян», вследствие чего нужды в барщине не было. Что бы делало крупное землевладельческое хозяйство того периода с большим количеством хлеба и других сельскохозяйственных продуктов, которое оно производило бы у себя? Ведь не следует преувеличивать об'ема внешней торговли, который велся в то время Средней Азией. Эта торговля велась с Китаем и Передней Азией, с Россией и Багдадом, но по составу товарного ввоза и вывоза можно видеть, что торговля обслуживала, главным образом, потребности в роскоши и в индивидуальном вооружении—но потребности этого рода в то время не могли быть велики.

И в Западной Европе поместье IX—XI веков распадалось на две части—барскую и крестьянскую. В эпоху Каролингов и Оттонов барская земля представляла собой во многих случаях не более одной гуфы.

В поместьи Румерсгейм, аббатство Прюм, барская земля составляла, например, едва пятую часть всей площади земли [2]. В России «только появление внутреннего хлебного рынка могло заставить вотчинника и помещика VXI века серьезно приняться за самостоятельное хозяйство» [3]. Для этого момента труд крестьян на барской пашне не играет роли, и крупный земле-

[1] Вебер, Макс.—История хозяйства, с. 52.

[2] Проф. Кулишер, И. Н.—Лекции по истории экономического быта в Западной Европе, изд. 5, стр. 47—48.

[3] Проф. Покровский, М. Н.—Русская история с древнейших времен, том I, изд. 3, стр. 31.

владелец довольствуется получением с крестьян оброка и крестьянскими натуральными повинностями.

Едва ли крупные землевладельцы в Средней Азии могли в рассматриваемый период широко использовать рабский труд для ведения собственного хозяйства. Одним из основных источников рабства было пленение, но сравнительный мир и спокойствие, которые были в Средней Азии в арабско-иранский период, сводили к скромным размерам возможность пополнения кадра рабов из этого источника. Вторым источником увеличения числа рабов была покупка их—но, повидимому, и этот источник имел ограниченное значение. Характерно, что в отношении вывоза рабов из Средней Азии в это время был установлен разрешительный порядок, при чем порядок этот распространялся только на мужчин, рабынь же можно было вывозить свободно. Не говорит ли это о том, что рабы нужны были, главным образом, для воинской службы, для пополнения кадров гвардии, на которую опирались иранские династии?—Это не исключает, конечно, использования рабов и на земледельческих работах, однако, прямых свидетельств о массовом применении труда рабов в земледелии мы не находим, между тем о роли рабов, как воинской силы, свидетельств много. В Средней Азии, как и на всем Востоке, рабство, вообще, не играло большой роли; в Китае, как известно, рабство было исключительно домашним и было мало развито; в Египте было в большей степени развито крепостное право, нежели рабство, незначительным было рабство также в Вавилонии, Ассирии и Индии. Рабство в Средней Азии, конечно, не может итти ни в какое сравнение по об'ему явления с рабством в Древней Греции и Риме, где отношения численности рабов к свободному населению доходило до отношения 3 : 1. Крупное землевладение Средней Азии, не располагавшее большим количеством рабов в арабско-иранский период, не могло и по этой причине сделаться крупным землепользованием.

Мало обоснованным представляется нам мнение, будто дробность и парцеллярность землепользования в Средней Азии вызывались тем, что население культурных оазисов, опасаясь набегов кочевников из степи, окружало города стенами, а земледелием занималось внутри этих стен—именно это обстоятельство создавало якобы ограниченность площади землепользования и вело к ее крайнему дроблению с течением времени. Дело, однако, в том, что не следует смешивать валов, возводившихся против кочевников и имевших характер далеко выдвинутых укрепленных линий, с городскими стенами. «В противоположность этим длинным валам»—говорит В. Бартольд—«городские стены имели уже в арабский период не столько военное, сколько полицейское значение» [1]. Валы против кочевников часто вовсе не имели формы окружности, а там, где они имели такую форму, они окружали целые культурные оазисы, включавшие по нескольку городов и много селений. Не стена ставила предел культурной полосе и тем вызывала дробление земли, а, наоборот, там, где кончалась культурная полоса, куда уже вода не доходила, ставилась стена, призванная защитить оазис. Это видно и из подробного рассказа историка Наршахи о судьбе стены, окружавшей бухарский оазис.

[1] Бартольд, В.—История культурной жизни Туркестана, стр. 27.

Население, которому было трудно ежегодно ремонтировать эту стену, попросило хана освободить его от этой повинности, хан дал свое согласие, стену перестали содержать в порядке, и она разрушилась. Это происходило в VII—VIII веках. Во второй половине XIX века остатки этой стены осматривал Н. Ф. Ситняковский: хотя со времени разрушения стены прошло более тысячи лет, население за границу ее из культурного оазиса не вышло—по той простой причине, что к востоку от вала начиналась голая, бесплодная степь, тянувшаяся и простирающаяся и сейчас до района Кермине. Таким образом, не вал, очевидно, был причиной дробления земли, он, в смысле землепользования, был только внешним обозначением черты, где кончался оазис и начиналась стена.

Источники дают лишь весьма скудные сведения о положении крестьян, обрабатывающих землю крупных землевладельцев. Повидимому, в арабско-иранский период существовал довольно значительный слой свободных земледельцев—именно на них и опирались в значительной степени иранские династии Тахиридов и Саманидов в своей политической борьбе с крупным землевладением. Мы приводили уже указания на то, что жители селения Иски-Джкет выкупили свое село у дехкана. Правда, это было торговое село, но факт, тем не менее, свидетельствует о наличии жителей деревень, обладавших полной юридической правоспособностью. Может быть, к свободным земледельцам относятся также и слова приказа Абдалаха Тахирида, предписывающего защищать интересы крестьян в таких словах: «бог их руками нас кормит, их устами нас приветствует и обижать их запрещает».

Но, несомненно, что, на ряду со свободными дехканами, были и дехкане подневольные. Так, Мухаммад Наршахи сообщает: «земельные участки большей частью принадлежали ему (т. е. дехкану Бухары), и большинство остальных людей были или крепостные, или слуги его» [1]. Может быть, это выражение «крепостные», употребленное Лыкошиным в его переводе Наршахи, и не совсем точно, но очевидно, Наршахи имел в виду крестьян, находившихся в какой то зависимости от крупных землевладельцев. О наличии такого класса крестьянства, резко недовольного своим экономическим и социальным положением, говорит и известное религиозно-коммунистическое движение VIII века, возглавлявшееся Муканной. Это движение требовало отмены привилегий, в чем бы они ни состояли, и установления полного равенства людей в отношении собственности—экономическое неравенство об'являлось этим учением делом демонов зависти, гнева и жадности. Открытое восстание Муканны, начатое в 767 году и длившееся четырнадцать лет, было подавлено военной силой, но, в качестве тайной секты, приверженцы Муканны еще долго сохранялись в разных местностях—особенно, в деревнях Бухары и на Ангрене. В это же время происходили частные аграрные движения в районах Персии, непосредственно примыкавших к Средней Азии. В частности, в Гиркании имело место в 784 году, т. е. почти в то же время, когда происходило движение Муканны, выступление крестьян, при чем символ движения было красное знамя. Участники этого движения назывались сурх-ален, т. е. людьми красного знамени.

[1] Мухаммад Наршахи—История Бухары, стр. 13.

II

Существенные изменения в судьбе землевладения в Туркестане произошли в турецкий домонгольский период (XI—XIII века). Турки, покорив Среднюю Азию, разделили ее на ряд уделов, которые в дальнейшем превратились в самостоятельные владения. Приход турок в Среднюю Азию в конце X и начале XI века не был кратковременным набегом малочисленного племени—наоборот, турки пришли в очень большом числе, и об'ективной целью их движения было не только политическое, но и экономическое освоение территории Средней Азии. Политическая победа турок над иранцами в VI веке вытеснила иранцев из средне-азиатских степей, их победа над иранцами в начале XI века открыла собою эру постепенного вытеснения иранских народностей из культурных областей средне-азиатской равнины в горы. Этот процесс означал борьбу за землю. Многочисленность турок привела к тому, что они не переняли языка иранцев, а наоборот, сами распространили свой язык среди туземцев—с их проходом в XI веке начался процесс отуречения Средней Азии, продолжавшийся до сих пор. Как известно, термин Туркестан, применяющийся иранским населением до XI века для обозначения северных степей, населенных турецкими кочевниками, стал теперь применяться и в отношении всего Мавераннагра, т. е. полосы между Аму-Дарьей и Сыр-Дарьей.

Для турецкого домонгольского периода характерны в области землевладения два основных факта: падение иранского крупного землевладения, т. е. землевладения дехкан, и образование нового турецкого ленного землевладения.

Крупные землевладельцы-иранцы, дехкане, были сильно урезаны в своих политических правах еще в предыдущий, арабско-иранский период, при Саманидах, но права их, как частных землевладельцев, не были затронуты при этом. В борьбе иранской центральной власти, возглавлявшей оседлую Среднюю Азию, со степными турками дехкане-иранцы, т. е. крупные землевладельцы, были не со своим правительством, а с внешним врагом. Эта их политическая позиция об'яснялась резким недовольствием династией Саманидов, систематически ущерблявшей политические права крупного землевладения—дехкане рассчитывали вернуть себе политические вольности с помощью турок, шедших из степей. Рассчет этот, однако, оказался ошибочным—непосредственно вслед за победой, турки дали возможность дехканам использовать выгоды новой политической ситуации, но уже очень скоро они изменили к ним свое отношение—и настолько круто, что на протяжении двух веков произошло полное уничтожение класса иранских крупных землевладельцев-дехкан. В начале XI века дехкане еще упоминаются в исторических источниках, как рыцарская конница. В XIII же веке, когда для борьбы с монголами были мобилизованы все силы Туркестана, о дехканах, как воинской силе и крупных землевладельцах, уже нет упоминания—хотя южнее, в Хоросане, они сохранились как крупные землевладельцы, продолжавшие жить в родовых замках. Слово дехкан в Туркестане стало вновь, как это было и до V века, обозначать рядовых земледельцев-крестьян. Подобно польско-украинской шляхте, которая из знатного и богатого общественного класса превра-

тилась местами к XX веку, по выражению Н. П. Архангельского, в лапотных безграмотных землеробов с дворянскими фамилиями и паспортами, и иранцы-дехкане сохранили в этот период от своего блестящего прошлого одно только имя свое.

Одновременно происходил процесс сложения нового-турецкого-крупного землевладения. Рядовой турок-кочевник использовал победу турецкой степи над иранским оазисом в направлении массового постепенного оседания и захвата земли. Много сложнее обстояло дело с турецкой кочевой аристократией, которая не хотела порывать со степным образом жизни, кочевыми традициями и выгодами победоносных военных походов. На этой почве возникали крупные трения между турецкой кочевой гвардией и бюрократией оседлых районов, в составе которой большую роль играли персы и иранцы. Турецкие ханы постепенно склонялись на сторону гражданского государственного аппарата, вследствие чего у них портились отношения с армией, тянувшей в степь и к новым завоеваниям. Известен спор при Мелик-шахе между гражданским аппаратом и гвардией—бюрократия хотела превратить военные отряды кочевников в оплачиваемую, наемную, регулярную армию наподобие той, какая существовала в Средней Азии при иранских государях—Саманидах, штатный состав армии должен был быть доведен до 70 тысяч человек; турецкая же гвардия выдвигала прямо противоположную идею—об увеличении армии с 400 тысяч до 700 тысяч человек (может быть эти цифры и преувеличены) и о покорении с такой армией Восточной Азии, Африки и Греции. (Эта была идея, которую спустя несколько веков—при Тамерлане—Средняя Азия в несколько ином виде и осуществила). Экономия, которой стали руководствоваться турецкие ханы под влиянием советов бюрократии, очень не нравилась гвардии, настаивавшей на том, что щедрость, и в частности богатые пиры для войска, есть первая добродетель царей и героев.

Таким образом, у турецких ханов и их бюрократии было немало забот со степной аристократической военной знатью, которой нужно было представить реальные выгоды от завоевания Средней Азии. Эти выгоды и были ей даны в виде военных ленов,—пожалований. Случаи пожалования земель бывали и прежде при иранских государях, но они были исключением, а не правилом, т. к. Тахириды и Саманиды содержали армию на жаловании. Турецкие же ханы стали широко практиковать пожалования наделов-икта. Лены раздавались через военное ведомство—диван-арза, уже это говорит об их назначении: лен представлял собой пожалование за службу и под условием службы. Предметом пожалования была не сама земля, а доходы от нее—знатные турки, получавшие лены, не поселялись в деревнях, не вели собственного хозяйства и не вмешивались в ведение хозяйства крестьянами. Они жили в столицах ханов, составляли их опору и двор, и деревня их интересовала лишь, как источник твердого дохода.

Турецкий институт икта представляет значительное сходство с институтом русского кормления с определенной территории—П. Н. Милюков считал даже, что есть полное основание предполагать непосредственное влияние турецкого икта, как и византийской пронии, на русскую форму кормления. Однако, в действительности и в Западной Европе было много мелких

феодов, предоставлявшихся тому или иному ленннику за службу, но без присвоения держателю такого феода каких-либо сеньоральных функций. Макс Вебер проводил аналогию между турецким икта и средне-вековой пребендой—твердыми доходами, определявшимися на содержание—первоначально, духовных лиц. Землевладельческая пребенда, по Максу Веберу, не знает в принципе постоянного присвоения индивидуальных владений, но только лишь пожизненное предоставление земли или другого источника дохода во временное вознаграждение за воинские услуги; пожалование оценивается по доходу и предоставляется в соответствии с рангом, происхождением и военной должностью. Макс Вебер сближает турецкий икта-пребенду с феодальными порядками, практиковавшимися у японцев после X века.

Была ли какая нибудь внутренняя связь между описанными двумя процессами: падением иранского и образованием турецкого крупного землевладения, или же они происходили независимо один от другого?—Повидимому, такая связь была. Из какого же земельного фонда турецкая аристократия могла черпать землю для себя, если не из фонда иранского крупного землевладения? Ценность в смысле земледельческой культуры представляли только орошаемые земли—однако из истории орошения Туркестана не известно, чтобы турки в этот период, т. е. в XI—XIII века, оросили новые, крупные земельные массивы. Очевидно, что они для своих целей эксплоатации земельных доходов должны были воспользоваться готовыми, наличными ресурсами орошенных площадей, а доступ к ним возможен был, главным образом, путем захвата. Падение иранского крупного землевладения и образование нового турецкого землевладения, очевидно, не просто совпали во времени—турецкое землевладение вытеснило иранское по праву силы и завоевания.

Академик В. Бартольд высказал мнение, что раздача наделов представителям турецкой кочевой аристократии происходила за счет земельной собственности государя, и что когда этот фонд стал уменьшаться, произошел упадок значения должности векиля [1]. Но из какого источника смогли образоваться земельные фонды, принадлежавшие государю или государству? Едва ли в это время в Средней Азии могли быть большие свободные площади орошенной, но невозделанной земли, очевидно, такой фонд мог образоваться путем присвоения турецкими ханами земель дехкан-иранцев и обращения в государственную собственность земель рядовых землевладельцев, земель, лишавшихся хозяев вследствие ухода иранцев в горы. Именно в таком направлении проходил процесс в Малой Азии, колонизацию которой турки закончили в XIII веке. В тех случаях, когда турки при своем вторжении в Малую Азию не встречали сопротивления со стороны местного населения, они оставляли землю за прежними владельцами, согласно специальным указаниям султана. Если же население встречало новых пришельцев враждебно, то покоренные земли конфисковались в пользу султана, который дарил их своим военачальникам, создавая, на ряду с прежними феодалами, новых турецких феодалов.

Характерно указание переводчика Наршахи о том, что в это время цена на землю крайне пала, что землю никто не брал и даром, что если даже находился покупатель, то земля все же оставалась необработанной «вслед-

[1] В. Бартольд.—Туркестан в эпоху монгольского нашествия, ч. II, стр. 328.

ствие жестокостей правителей и немилосердного отношения к подданным». Сто-двести лет тому назад, при Саманидах, цена на землю была настолько высока, что историки не могли не отметить этого обстоятельства; при турках, наоборот, историки должны констатировать, что земля совершенно потеряла цену: это было естественно в условиях, когда всякий участок земли мог быть превращен в предмет пожалования.

Уничтожение класса крупных землевладельцев-иранцев, живших в деревнях, и замена его новым классом пришлой землевладельческой аристократии имели существенное влияние на судьбу крестьянства. Владельцам лена разрешалось только взимать с жителей определенную сумму, живя вдали от деревень, они, естественно, не были заинтересованы в тех многочисленных натуральных повинностях, которые составляли одну из основ зависимости крестьян от крупных землевладельцев прежнего периода. Ленники не имели прав на личность крестьян, на их имущество, жен и детей. В Западной Европе и в России, как и в Средней Азии при иранцах, основная масса землевладельцев сидела непосредственно на земле и привязывала к себе крестьянство узами не только материальной, но и личной зависимости. С приходом же турок в Среднюю Азию обстоятельства изменились; зависимость крестьянской массы от новой землевладельческой аристократии приобрела материальный, но не успела приобрести личный характер.

Дальнейший этап в исторической эволюции туркестанского землевладения приходится на монголо-турецкий период (XIII—XVI века). Монгольское завоевание в отличие от турецкого не было массовым переселением монголов в Среднюю Азию, и не было с их стороны исканием новых земель. Подавляющее большинство монгольского населения осталось в Монголии, и сам Чингиз по окончании войны вернулся в Монголию, там же жили и его преемники. Что монголы не искали для себя земель с целью их культурного использования, видно из того, как пагубно повлияло монгольское завоевание на сельское хозяйство пограничных со степью культурных оазисов, к которым придвинулись дикие кочевники. В Семиречье и в восточной части Сыр-дарьинской области исчезли значительные площади возделанных полей, а на их месте появились пастбища, об этом свидетельствует писатель первой половины XIVвека Омари. Сильно пала земледельческая культура и в Хорезме, как это известно из описания арабского путешественника Ибн-Бутата, приехавшего в 1333 году из Ургенча в Бухару. Нашествие монголов гибельно отразилось на ирригации; монголы разрушили Мерв и ирригационные сооружения на Мургабе, лучшие в Северной Азии; в Хорезме иррационная система превратилась в орудие военной борьбы, если можно сомневаться в том, что монголы умышленно разрушили плотину Аму-Дарьи у Герганджа, то во всяком случае, несомненно, что после массового избиения жителей этого города Аму-Дарья сама должна была прорвать плотину, которая требовала ежегодного ремонта: именно в это время река и проложила себе новое русло к западу от прежнего. Очевидно, не ради земледельческого освоения территории пришли монголы в Среднюю Азию.

Мировое государство монголов было кочевой империей в том смысле, что монголы, завоевав культурные земли всего материка Азии, кроме Индии,

Сирии и Арабского полуострова, и всю Восточную Европу, сами не перешли к оседлости, а продолжали оставаться в степи. Обширные территории культурных земель нужны были монголам не для земледельческих эксплоатаций, а для получения с них доходов в виде дани. Будучи кочевниками, совершенно чуждыми земледелию и городской жизни, монголы понимали, что нельзя поручить управление культурными землями степнякам, что от этого раньше всего жестоко пострадают доходы казны. Поэтому, при монголах управление всеми культурными областями Средней Азии поручалось главой государства одному лицу, из состава мусульманского купечества. Но эта центральная власть в Средней Азии, правившая по мандату великого хана, отнюдь не исключала местной власти: в областях—власти меликов, т. е. княжеских родов домонгольского происхождения, в городах—власти аристократических садров. Власть областных меликов была значительна, они имели даже право чеканки монеты. Исторические тексты, надписи и монеты говорят о том, что самостоятельные мелики были в Бухаре, Отраре, Шаше (Ташкенте), Ходженте, Фергане, Таласе. Повидимому, политическое значение меликов покоилось на том крупном ленном землевладении, которое сложилось в Туркестане в предшествовавший период, до прихода монголов.

С XIV века монгольские ханы и близкая к ним, но весьма тонкая прослойка кочевой монгольской аристократии стала селиться в городах, выражая этим тенденцию сближения пришлых завоевателей с местными земледельческим населением—это был процесс социально-политического перерождения монгольской ханской власти, которому соответствовали и глубокие культурно-психологические перемены: ханы стали принимать мусульманство и усваивать турецкий язык настолько, что он становился их родным языком. Но указанное явление коснулось лишь аристократической монгольской верхушки, оторвавшейся территориально от основного монгольского ядра и начавшей пускать новые корни на новой земле, между тем как основная масса монголов продолжала оставаться в степи.

В степи оставалась и монгольская кочевая степная вольница—джагатай, составлявшая гвардию, на которую опирался Тамерлан. Посол Кастильского короля, Гонзалес де-Клавихо, посетивший в 1404 году Среднюю Азию, говорит о джагатаях, что они могли ходить везде, где хотят со своими стадами, пасти их, сеять и жить, где хотят, и зимою и летом, они свободны и не платят податей царю, потому что служат ему на войне, когда он их призовет. Отправляясь в поход, джагатаи брали с собой не только жен и детей, но и стада—по характеру своему это была типичная армия кочевников, и воевала она для грабежа, по преимуществу. Эту дикую степную силу, в составе которой преобладали монголы, хотя были в ней и турки, можно было держать в повиновении, только плывя с ней по течению и санкционируя ее стремления к завоеваниям ради обогащения. Государственных средств для содержания армии не было, и эти завоевательные походы, т. е. походы Тимура, были единственным средством для содержания ее многочисленных армий» [1]. Дикая

[1] Бартольд В.—Место прикаспийских областей в истории мусульманского мира, стр. 85.

орда джагатаев, сдерживаемая Тимуром только при помощи железной дисциплины, понимала войну исключительно как прибыльную профессию. О размере добра, награбленного джагатаями, например, в Индии, может дать представление то, что даже рядовые воины возвращались с добычей по 400—500 голов скота на человека. О числе же рабов, взятых в плен, дает понятие приказ Тимура, распорядившегося перебить единовременно сто тысяч пленных, так как таковая масса их уже становилась опасной для самого войска [1]. Из завоеванных областей Тимур и его джагатаи выводили все, что только можно было взять, от скота и рабов до искусных ремесленников, писателей и ученых, которые должны были придать блеск столице Тимура—Самарканду.

Выход силы кочевых монголов во-вне Средне-Азиатского государства снимал с порядка дня задачу массовой колонизации монголами Средней Азии и переход их от кочевого к оседлому образу жизни. Кормить степных джагатаев доходами с оседлых ленов не было надобности, ибо эти доходы могли быть лишь незначительными по сравнению с военной добычей, которую джагатаи добывали себе, разоряя Персию и Малую Азию, Закавказье и Россию, Индию и Восточную Монголию. В военных походах Тимура принимали участие не одни джагатаи, но и турки из той военной аристократии, которая прежде, в домонгольский период, должна была довольствоваться сравнительно скромными доходами от своих ленов. Лены должны были потерять значение и для этой привилегированной группы турецкого населения, а ее участие в постоянных походах должно было ослабить связи ленников с землею.

Монголы не практиковали ленной системы, и для монгольского периода мы не встречаем указания на то, чтобы эта система играла сколько-нибудь заметную роль в экономической и социальной жизни Средней Азии. В монголо-турецкий период аристократ—это не крупный землевладелец, не местный удельный владетель, а профессиональный воин, по преимуществу кочевник, сабля которого не ржавеет от безделья, и казна которого пополняется обильными поступлениями, много более значительными, чем те, которые можно было бы получать в мирной обстановке от скромных трудов крестьян-земледельцев. Крупное землевладение, бывшее в Средней Азии стержневым, социально-организующим фактом экономической жизни и основанием политической власти в иранский период, через деградацию его политического значения в арабско-иранский период и через превращение в пребенду в турецкий период, сходит на-нет в период монголо-турецкий. Крупное землевладение теперь не только не является имущественным основанием политической власти, но и перестает быть экономической категорией сколько-нибудь значительного удельного веса; основной опорой власти сделался аристократический класс профессиональных воинов, в массе своей не связанных с землею.

Вторым привилегированным общественным слоем была в это время богатая торговая аристократия; беспрерывные ограбления чужих государств, производившиеся в эпоху Тимура, вели к быстрому накоплению торгового

---

[1] Грум-Гржимайло Г. Е. — Западная Монголия и Урянхайский край, т. II, стр. 557.

капитала в Средней Азии и к закреплению за купеческим классом преимуществ в международной торговле. Для основной массы демократического народного населения Средней Азии этого времени торговая аристократия была предметом классовой вражды, переходившей в открытые выступления.

В связи с падением крупного землевладения при Тимуре и тимуридах произошло улучшение положения крестьян. Богатая дань, сбиравшаяся властью во время походов с покоренных областей, позволяла правительствам уменьшать податные тяготы, лежавшие на крестьянском населении—Даулетшах сообщает, что при Улугбеке земельные подати были доведены до минимума. Падение крупного землевладения, переставшего играть роль в монголо-турецкий период, освобождало крестьян от разнообразных форм экономической зависимости, какие знала история крестьянства и в Европе и в самой Средней Азии в более ранний период. В Западной Европе и в России именно в это время—в XIV—XVI веке—происходило превращение экономической зависимости крестьян в крепостное право, юридически-оформленное общими законами или частными юридическими актами. В Средней Азии, в виду того, что крупное землевладение не играло большой роли в монголо-турецкий период, развитие пошло иным путем—сложившегося крепостного права мы для этого периода в Средней Азии не знаем. В памяти народа время жестокого Тимура сохранилось, как пора, когда принимались меры для увеличения благосостояния крестьянского населения—в известной мере это об'ясняется осуществлением в это время больших оросительных работ, но с другой стороны, в такой оценке народными массами периода Тимура сказывается и факт некоторого улучшения положения широких масс крестьянства, происшедшего в это время. И Иоанн Грозный, как известно, был преступником и безумцем на престоле—для крупных бояр, у которых он отнимал землю в опричину, и для историографии, близкой к боярским и дворянским кругам—в народном же сознании тогдашней России болезненная жестокость грозного царя воспринималась, как суровая справедливость сильного государя, творившего правду.

Вот почему монголо-турецкий период почти не знает крупных крестьянских движений. Известно только одно крупное народное движение в монголо-турецкий период, которое было крестьянским—это крестьянское восстание, происшедшее в Бухаре в 1238 году, т. е. в первые же годы после покорения монголами Средней Азии. В эти годы местная—по преимуществу турецкая—аристократия—и землевладельческая, и торговая—не только приняла власть монголов, но и вступила с нею в союз, приняв на себя управление покоренными областями за обязательство давать монголам определенную дань. Для крестьянской массы этот союз отечественной аристократии с кочевыми завоевателями—в первую часть монголо-турецкого периода, когда землевладению еще принадлежала крупная роль,—означал двойной—экономический и политический—гнет. Восстание 1238 года было направлено крестьянами одновременно против монголов и против местной аристократии, державшей руку монголов — восстание закончилось тяжелым поражением крестьян.

Других крупных крестьянских движений в монголо-турецкий период, насколько известно, не было. Между тем, именно это время было временем массовых крестьянских восстаний и войн в Западной Европе и в России—на XIV—XVII века приходятся жакерия, восстание Уота Тайлора, крестьянская война, движение Болотникова, восстание Разина, как и крестьянские бунты в Японии. В Средней Азии, которая в более ранний период ее истории знала широкие массовые крестьянские движения, длившиеся по много лет и ставившие себе задачей захват власти, в этот период таких движений, насколько известно, не было. Большое демократическое движение, которое происходило в этот период в Средней Азии под религиозным знаменем и которое возглавлялось низшим духовенством—дервишами правоверных орденов, богословами-подвижниками, не встретило сколько-нибудь активной поддержки крестьянских масс. Если главу движения, ходжу Ахрара, и звали «деревенским шейхом», то, повидимому, эта кличка должна была выражать только простонародный, малокультурный характер притязаний Ахрара. Ходжа Ахрар был поддержан не широкой крестьянской массой, как в свое время Муканна, а турками-степняками, узбеками, которых Ахрар призвал на помощь. В монголо-турецкий период происходили и другие очень активные народные движения, но они имели своим средоточием не села, а города.

III

Начало XVI века ознаменовалось в истории Средней Азии новым наступлением кочевых степняков на культурные, оседлые районы Средней Азии. Новая степная волна была по своему этническому составу—по преимуществу узбекской. Впрочем, в отношении рассматриваемого периода правильнее было бы говорить не об одном наступлении, а о ряде движений степняков на культурные области Средней Азии, происходивших в течение XVI—XIX веков. Наиболее мощной была первая волна—узбекская: узбеки, двинувшись из степей на юг, овладели большей частью оседлых районов Средней Азии и укрепились в них, но вслед за узбеками давление на оседлые районы оказывали: с севера—казаки и калмыки, с востока—киргизы, с запада—туркмены. Это давление степи, выражавшееся и в организованных походах, и в партизанских набегах, продолжалось около 300 лет. Только с конца XVIII—начала XIX века, под влиянием укрепления начала государственности в культурных районах Средней Азии, стала более спокойна и степь.

Рассматриваемый — узбекский — период туркестанской истории был в первой своей части временем экономического, политического и культурного упадка Средней Азии. Деградация вызывалась действием двух рядов причин: внешних—процессом возвышения Западной Европы в мировой экономике и политике, и внутренних—длительным и трудным процессом ассимиляции культурными областями новых волн кочевников.

Возвышение Западной Европы, связанное с развитием техники судостроения и вооружения и выразившееся в открытии новых морских путей и захвате новых богатых стран и районов, повело к падению караванной торговли и торгового значения Средней Азии и к падению ее военно-политиче-

ского значения—Туркестан, лежавший раньше на широкой столбовой дороге мировой истории, оказался теперь на ее проселке. Не имея выходов в открытое море, разобщенный пустынями и песками от новых центров мировой культуры, Туркестан оказался предоставленным самому себе и, если не совсем остановился в своем развитии, то во всяком случае стал проделывать его в сильно замедленном темпе. В ряду внутренних причин, приведших Среднюю Азию к упадку, основой является восстановление узбеками удельной системы—с порядком передвижек от стола к столу и с постоянными спорами и войнами за очередь, за право на княжеский стол. Единое среднеазиатское государство периода Тимура распалось на ряд мелких частей, находившихся в состоянии постоянной войны—так было и при Шейбанидах (1510—1597), и при Аштарханидах (1597—1748). Ханы, олицетворявшие центральную власть, потеряли всякое значение. Вся власть в стране перешла фактически к военной аристократии, к феодалам новой формации—аталыкам в Мавераннагре и инакам—в Хиве.

Под влиянием указанных причин внешнего и внутреннего характера большие культурные области и города подверглись запустению. Из городов более всего пострадал в XVIII веке Самарканд, в котором в 1540 году было всего 5 тысяч жителей. В Мерве в конце XVIII века было, повидимому, только 500 жителей, в городе Хиве—только 75—200 человек, совершенно обезлюдел и Ургенч. Как и в более ранние периоды истории Средней Азии, военная борьба уделов и княжеств отражалась самым гибельным образом на ирригационных сооружениях. В Хиве, по свидетельству историков, деревни и пашни обратились в леса и заросли. Даже еще в первой половине XIX века во всей долине Кушки совершенно не было населения. Как говорили путешественнику Абботту, посетившему бассейн Мургаба в 1839—1840 году, во всем Мервском оазисе было всего 6 тысяч жителей-туркмен. Под влиянием войн и разрушений исконное таджикское население культурных областей Средней Азии стало массами уходить в горы. Кризис XVI—XVIII веков подрывал самые основы земледелия.

Борьба между владетелями узбекских уделов, длившаяся около 250 лет (1510—1756) закончилась победой сильнейших феодалов и последовавшим за этим процессом «собирания земли», но этот процесс политической консолидации Средней Азии не успел закончиться—к моменту завоевания Туркестана Россией—на исторической арене оставались еще три ханства: Бухарское, Кокандское и Хивинское, продолжавшие между собою борьбу за политическое господство над всей территорией Средней Азии. Как в свое время в Западной Европе и в России, борьба новых ханов с феодальной родовой знатью сопровождалась конфискацией ее имущества, высылками строптивых феодалов, наложением опалы, заговорами и убийствами. Образование трех сравнительно крупных государств и концентрация в них политической власти привели к установлению сравнительного порядка внутри них и к замирению степи. Наступление относительного покоя сказалось заметным под'емом экономической жизни—время, предшествовавшее русскому завоеванию было временем экономического расцвета Средней Азии: были проведены обширные оросительные работы, сельское хозяйство стало

возрождаться—особенно, в Фергане, значение которой среди других районов Средней Азии стало в это время быстро возрастать.

К моменту образования трех ханств в Средней Азии, т. е. к концу XVIII—началу XIX века, мы застаем здесь сравнительно крупное и среднее землевладение, вновь возродившееся после упадка предшествующих периодов. Об этом можно судить и по богатству аталыков и инаков, и по тем конфискациям земель, которые производили ханы в борьбе с феодальной знатью. Сами ханы были крупными землевладельцами, что не мешало им, как это было и с королями Западной Европы и царями России в соответственные периоды истории, быть в то же время и крупными торговцами.

Ханы, стремясь всемерно подорвать политическое значение крупного землевладения, тем не менее отнюдь не ставили себе задачи уничтожения самого института крупного землевладения. Производя одной рукой массовые конфискации земель у непокорных элементов, ханы другою наделяли землями своих сторонников и верных слуг из создававшейся армии и формировавшейся бюрократии—пожалование земель было источником образования новых кадров крупных и средних землевладельцев, при этом жалованная земля нередко обелялась в налоговом отношении. В хивинском ханстве Мухаммед-Рахим, не желая обострять отношений с местными владетелями, оставил за ними все родовые земли и поместья, но лишил их прежних политических прав [1].

Земли крупных и средних землевладельцев были двух категорий—совершенно освобожденные от налогов и платившие налоги, но по льготным ставкам. Относительно наименований этих категорий существуют разногласия. Акад. В. Бартольд определяет земли, освобожденные от налога, как мильк-и-хурри-халис и вполне отождествляет с этим наименованием понятие мильк, считая, что это только сокращенная форма того же самого наименования. Далее В. Бартольд обращает внимание на неправильность противопоставления земель мильковых и амляковых, т. к. слово амляк представляется только множественным числом от слова мильк. По мнению В. Бартольда, и мильк-и-хурри-хилис, и мильковые и амляковые земли представляют собою, по существу, одну и ту же категорию земель, именно, земель, считающихся в теории собственностью государства, но находящихся в бессрочном и наследственном пользовании обрабатывающих ее землевладельцев. При этом землевладельцам принадлежало право продавать свои участки (с некоторыми ограничениями в пользу соседей) и фактически распоряжаться ими, как своею собственностью [2].

Н. Ханыков же, писавший в первой половине XIX века и изучавший вопрос на месте, различал земли мильковые и амляковые, он проводил между этими понятиями различия юридические и налоговые. Мильком Н. Ханыков называл земли, которые были пожалованы эмирами подданным в вечное и потомственное владение. Владельцы этих земель могли располагать ею

---

[1] П. Веселовский—Очерк историко-географических сведений о Хивинском ханстве, стр. 268.

[2] В. Бартольд, История культурной жизни Туркестана, стр. 193.

четверояким образом: 1) передавать в наследство, 2) дарить, 3) продавать и 4) назначать в уакф (вакуф). Формальным титулом милька являлось наличие дарственного акта эмира, скрепленного его печатью, при чем копии таких актов хранились в государственном казначействе. Это юридическое основание владения подкреплялось еще параллельным свидетельством на землю, выдававшимся казий-каляном за соответственной печатью. В налоговом отношении мильк был совершенно обелен. Что касается амляка, то по свидетельству Н. Ханыкова, амляк произошел из милька—амляк есть мильк, на который утрачена дарственная запись из государственного архива, но в отношении которого владелец земли имеет другие законные доказательства своих прав. Такого рода земля уже платила некоторый налог. Владелец амляка мог распорядиться им только двояким образом: 1) передать по наследству и 2) продать, но подарить землю или назначить ее в вакуф он не мог [1].

Д. Логофет, изучавший порядки в Бухарском ханстве много позже, в начале XX века, передает толкование понятий мильк и амляк, даваемые Н. Ханыковым, но придает этому толкованию только религиозно-историческое значение. Для своего же времени Д. Логофет дал совершенно иную классификацию землевладения: амляковыми землями он считал земли государственные, понятие же милька он распространял на всю земельную частную собственность вообще. Мильк он подразделял на: 1) мильк-и-хуррихалис—земли, освобожденные от налогов, 2) мильк-ушриа—земли, платящие 10% урожая в качестве налога и 3) мильк-хераджи—земли платящие 20% от урожая [2]. С мильк-ушриа налоги взимались деньгами, а с мильк-хераджи—натурою. Разница в ставках вызывалась тем, что хераджные земли были землями, требовавшими специальных ирригационных сооружений для обеспечения их поливом. (Совершенно малоправдоподобную классификацию земель дал А. Вамбери и очень спутанно изложил вопрос А. Ростиславов).

Д. Логофет, таким образом, применяет термин мильк не только в отношении крупного землевладения, но и в отношении мелкого частного землевладения. В Туркмении, во всяком случае, термин мильк применялся в отношении мелких частных владений. Для Мавераннагра (Междуречья) мильк выводят исторически из освященного шариатом верховного права государя на всю землю и из передачи государем этого права—вначале с ограничениями, а потом и без ограничений—отдельным лицам. В Туркмении мильк произошел не путем эволюции права государства на землю, а путем эволюции права общины на землю или путем захвата свободных земель.

По этому поводу исследователь водо-земельных отношений у туркмен, В. В. Русинов говорит: «Мильки, как форма землепользования, появились во многих обществах неодновременно с занятием оазиса текинцами, а позже—под влиянием распространения хлопковых посевов и люцерны, требующих длительного пользования земельными участками. Первоначальной формой землепользования было если не только, то во всяком случае преобладающе, общинное передельное землепользование. Например, в некоторых районах

[1] Н. Ханыков, Описание Бухарского ханства, стр. 119.

[2] Д. Логофет, Бухарское ханство под русским протекторатом, стр. 47—48.

и в настоящее время происходит превращение этой последней формы в мильковую при переходе от чистой зерновой системы хозяйства с перелогами к более интенсивной с посевами хлопка и люцерны. Большая часть мильковых земель образовалась в 90-х годах, вскоре после прихода в край русских, когда стали распространяться посевы американского хлопка и других ценных культур, повысившие доходность земли и желание закрепить ее до некоторой степени за собою»[1]. У туркмен-джафарбайцев мильк возник путем вольного захвата земель отдельными лицами, у туркмен Мервского района мильки выделились из общинных земель, в Ашхабадском районе мильки представлялись землями родов завоевателей в отличие от земель родов, севших на землю позднее. Мильк не представлялся в Туркмении неограниченным и абсолютным правом собственности на землю; за родом оставалось—вначале реальное, но впоследствии становившееся все более фиктивным—верховное право распоряжения землей. Во всяком случае, милькодержателем мог быть только член рода[2].

Д. Логофет, как мы видели, противопоставлял мильк амляку, как земли частного владения землям государственным. С точки зрения исторической эволюции и религиозного мусульманского правосознания, это различие, быть может, и не было обоснованным, поскольку источником всякого права на землю в теории является государь—наместник пророка, тени бога на земле. Отсюда филологическое тождество понятий милька и амляка, на котором настаивает В. Бартольд. Но с точки зрения реальной действительности, для которой традиционные мусульманские воззрения сделались мертвою буквою книг, а не живою нормою отношений, противопоставление милька амляку, повидимому, имело достаточные основания. Независимо от различия в податном обременении, мильк развивался в сторону полного права частной собственности на землю, между тем как амляк был ограниченным правом на землю—государство сохраняло в отношении амляка права, которых оно в отношении милька уже не имело.

В этом смысле интересно мнение сенаторской ревизии К. К. Палена. Туркестанское положение, изданное в 1886 году, и имевшее задачей урегулировать те земельные отношения, которые сложились до прихода русских, т. е. рассматриваемый нами период, в ст. 255 устанавливало: «За оседлым сельским населением утверждаются земли, состоящие в постоянном, потомственном его владении, пользовании, распоряжении (земли амляковые), *на установленных местным обычаем основаниях*». Слова, взятые нами курсивом, создавали в Туркестанском крае, по мнению указанной сенаторской ревизии, «совершенно новый, неизвестный русским законам, институт ограниченного права собственности». Об'ем прав населения на эту земельную собственность определялся не общими русскими гражданскими законами, а местными обычаями, знавшими некоторые ограничения этого права[3].

[1] В. В. Руснов, Водо-земельные отношения и община у туркмен, стр. 23.
[2] М. А. Немченко, Аграрная реформа в Туркмении, стр. 122.
[3] Отчет по ревизии Туркестанского края К. К. Палена — Поземельно-податное дело, стр. 11.

Вопрос об юридической природе милька и амляка еще требует дальнейшего изучения, с точки зрения же социально-экономических отношений важно установить, что под обоими этими титулами в Средней Азии существовало в рассматриваемый—узбекский—период крупное и среднее землевладение. Этими же юридическими титулами могло покрываться и мелкое землевладение.

Крупное землевладение знало и другие юридические титулы и налоговые обозначения. Так, крупное землевладение существовало под титулом т а н х а. По определению Д. Лагофета, танха есть право пользования доходами земельного участка, который может обработать пара волов—кош. Однако, в действительности, размеры земель, на которые предоставлялась танха, были довольно значительны—они доходили до 100—150 десятин—земля эта была богарная, неполивная. Лицо, получившее танха, имело право взимать с такого участка все причитавшиеся с него подати—благодаря этому оно фактически делалось хозяином земли. Файзулла Ходжаев определяет размер этих податей, уступавшихся государством лицу, получавшему танха, в 40% от урожая. Хотя формально крестьянин, сидевший на такой земле, и был юридически свободен, но фактически его положение было настолько зависимое, что Д. Лагофет—может быть, с некоторым преувеличением—приравнивал такого дехкана к крепостному. Земель танха было особенно много в средней и восточной частях Бухары—земли здесь раздавались эмирами на указанных основаниях вождям племен и родов, что имело целью создать и укрепить их привязанность к центральной власти [1].

Впоследствии, по приходе русских, узбекская земельная аристократия заняла по отношению к ним враждебную позицию. В ответ на это русские власти провели ряд мероприятий, направленных к подрыву значения, а местами—и к полному уничтожению узбекского крупного и среднего землевладения. Земли аристократии стали, с одной стороны, облагаться налогами—податное обеление мильков, основанное на ханских пожалованиях, отменялось, с другой стороны, земли узбекских аристократов стали укрепляться в собственность арендаторов, сидевших на ней. Если у себя, в России, государственная власть произвела в 60-х годах полное юридическое обезземеление крестьянской массы, установив законом принадлежности всей земли помещикам, то в Средней Азии русская власть пошла прямо противоположным путем—здесь права на землю признавались за крестьянами, а обезземеливалась непокорная земельная аристократия.

Так, по окончании в 1878 году работ организационной комиссии и по утверждении их главным начальником края, основные начала землеустройства, например, Шураханского участка Амударьинского отдела были формулированы следующим образом. Все безразличные земли и угодья, т. е. мильковые, ярлычные, вакуфные, принадлежащие к учреждениям правого и левого берегов и, так называемые инакские, как незаселенные посторонними лицами, так и заселенные, состоящие в действительном пользовании населения, причислены к казенным землям, и населению, за коим она значится

[1] Файзулла-Ходжаев—К истории революции в Бухаре, стр. 10—11.

по спискам танапного измерения или переуступлена после, с соблюдением существующих по обычаю условий—предоставлено одно общее для всех право: постоянного наследственного пользования, с дозволением перепродажи земли по местному обычаю, согласно того, как изложено об этом в новом проекте положения. Постройки и насаждения, возведенные и выращенные на отведенных инородцам землях, составляют полную собственность их владельцев» [1].

В Туркмении самостоятельным источником образования частного—не мелкого—землевладения были, так называемые, карендные земли. Это наименование относилось к землям, до которых вода из каналов доходила не всегда, а только в особо многоводные годы. Такая земля не входила в общинный надел землепашцев при ежегодном распределении земли и воды. Карендные земли сдавались обычно родами и аульными обществами в аренду всем желающим, как общественникам, так и посторонним лицам. В то же время карендные земли были предметом захвата со стороны туркменских ханов, которые делали их источником эксплоатации в свою пользу. Границы карендных земель не могли быть точно определены; они определялись условной линией возможных посевов. Это была линия, до которой могла доходить оросительная вода в наиболее благоприятные годы. Общая площадь карендных земель определялась по данным отчета сенаторской ревизии Палена: в Мервском районе—в 44 тыс. десятин, а в Тедженском—в 175 тыс. десятин. Впоследствии, с приходом русских, карендные земли были превращены в государственную собственность [2].

Иначе складывались земельные отношения в степи, прилегавшей к средне-азиатским культурным оазисам. История форм казакского землепользования начинается с полной свободы землепользования. При полном господстве кочевого быта казаки летом и зимой перегоняли скот с места на место, и сами шли за своим скотом. В это время земли было так много, что право собственности на нее не существовало. Правда, между отдельными родами происходили споры за право кочевания на известной территории, но это были споры из-за воды, которой было мало, а не из-за земли, которой было много. С течением времени, однако, по мере разрастания родов и увеличения населения и стад, роды стали заявлять притязания на исключительное право пользования определенными территориями. Это право основывалось на давности пользования данной площадью и доказывалось оно наличием коуна, т е. скотского помета на стойбищах. Однако, определенных границ землепользования вокруг коуна не существовало. С дальнейшим ростом населения и стад происходит закрепление определенных земель за определенными родами. Этот процесс пошел интенсивно с середины XVIII века и длился около 100 лет—до середины XIX века. В это время казаки стали проводить зиму на постоянных зимовках—кстау—в постоянных жилищах. Прежде всего закреплялось право пользования кстау и прилегающей к нему площадью. Затем, естественно,

---

[1] Отчет по ревизии Туркестанского края сенатора К. К. Палена—Поземельно-податное дело, стр. 217.

[2] Отчет по ревизии Туркестанского края сенатора К. К. Палена, стр. 292—300.

стали выдвигаться притязания родов на определенные весенне-осенние пастбища—кузеу. Летние же пастбища—джайляу,—характеризующиеся обилием корма, оставались свободными в смысле использования. Описанный процесс был очень болезненным. Он принимал форму вооруженной борьбы за землю между родами,—более сильные роды вытесняли менее сильные на худшие территории.

Султаны, занимавшие административные должности, использовали свою власть для целей личного обогащения,—путем захвата лучших земель; однако, султаны—в силу самих условий казакского землепользования—не могли закрепить за собою и своими потомками определенных площадей земли в прочную частную собственность. Дело в том, что закрепление земли в степи имеет условный смысл. Уже границы призимовочной территории не могут быть определены с абсолютной точностью. Еще труднее это сделать в отношении весенне-осенних пастбищ. Скот приходится гнать туда, где в данном году под влиянием метеорологических условий есть корм и вода. Таким образом, хотя в степи между половиной XVIII и половиной XIX века и происходило оседание казаков в смысле закрепления за родами определенных площадей, все же такой твердости основания и землепользования, какая имела место в земледельческих районах, в степи быть не могло.

В связи с этим условием не могло окрепнуть и сложиться в постоянную силу землепользование султанов. Этому же мешало и то обстоятельство, что султан, захватывая для себя и своего ближайшего потомства лучшие земли, выходил за границы родового быта и правосознания, так как земля, по казакским представлениям, могла быть предметом пользования целого рода, а не главаря рода—султана. Военной поддержки теленгутов, дружинников султанов, было недостаточно для того, чтобы последние могли превратить свое землепользование в наследственное личное землевладение. Вследствие этого султаны старались извлекать из факта своего аристократического происхождения и связанных с ним служебных привилегий всевозможные выгоды, но создать крупное землевладение на началах собственности они не смогли.

Каков был размер крупного и среднего узбекского частного землевладения?—Об этом можно судить по отрывочным—но все же показательным—данным. Когда русскими властями производилось в 70-х годах поземельное устройство, то за одним из крупнейших землевладельцев—Мат-Ниязом, имевших землю в Амударьянском отделе, было признано право на его землю. Это было сделано в из'ятие из общего правила за особые заслуги, имевшиеся у Мат-Нияза перед русскими властями. При этом закреплении земли Мат-Нияза в собственность у него оказалось: по Шкапскому—1.160 десятин, по Терентьеву—1.210 десятин. Этому землевладельцу принадлежала вся земля, занятая впоследствии под город Петроалександровск [1]. Нет никаких оснований думать, что землевладение Мат-Нияза представляло единичный случай, и что на ряду с ним, не было других крупных и средних землевладельцев. Во всяком случае известно, что земельные владения были у кокандского хана, его родных, у кокандских вельмож, у ходжей, считавшихся потомками пророка и четырех праведных калифов.

[1] В. Бартольд, История культурной жизни Туркестана, стр. 194, 247.

О мильках служилой аристократии в Бухарском районе В. Бартольд говорит, что они были более значительны, чем в Самаркандском. И. Пославский в свое время высказал мнение, что если бы русские присоединили Бухару и захотели и там фактически ликвидировать узбекскую крупную земельную собственность, то им бы это не удалось сделать без применения силы. Правительственного взгляда на узбекское землепользование—взгляда, не подкрепленного, однако, никакими доказательствами—держится профессор Ю. И. Пославский, полагающий, что поместного аристократического дворянства мы, по крайней мере, для узбекского периода туркестанской истории не знаем, и что средне-азиатская родовая аристократия была и при узбеках аристократией кочевого скотовладения, а не поместного землевладения. Некоторые из частных земельных владений имели размеры, соответствовавшие особым административным единицам [1]. Д. Логофет для более позднего времени, начала XX века, сообщает, будто в Бухаре крупного землевладения не было, и что размеры частной земельной собственности определялись 20—40 десятин поливной земли на одно хозяйство. Но этот же автор говорит, что у эмира Бухарского было в разных бекствах культурными земельными участками до 1.000 десятин в общей сложности [2]. Мнение, будто земли эмира и его приближенных представляли сплошь их загородные виллы, нуждается, по меньшей мере, в доказательстве.

В Средней Азии мы не находим таких крупных земельных владений—латифундий, какие сложились в соответственные периоды истории в России или Англии. Земельные владения размером в 1.000 десятин или несколько более были повидимому, предельными—хотя, конечно, так как речь идет о трудоемком и относительно высоко доходном поливном землевладении, необходимо при сравнении с европейским неполивным земледелием брать поправочный коэфициент 3—4. Средняя Азия в смысле размеров крупного землевладения не может итти в сравнение с Россией, которая в XVI—XIX веках быстро росла, и в которой значительная часть вновь захватываемой территории отчуждались огромными массивами в личную земельную собственность придворной аристократии. Земельные фонды Средней Азии были ограничены сравнительно узкими долинами по основным водным артериям—много простора было на богарных землях, но они в смысле земледелия представляли сравнительно небольшой интерес.

Крупное и среднее землевладение в Средней Азии распространялось в рассматриваемой период не на всю освоенную и обрабатывавшуюся землю. На ряду с частным землевладением крупных и сравнительно крупных размеров, были и мелкие участки крестьянской собственности—полного захвата всех земель землевладельческой аристократией, как это было в соответственные периоды в России и в некоторых странах Западной Европы, в Туркестане в рассматриваемое время не было: для этого эволюции аграрных отношений в Средней Азии в период новой ее истории нехватило времени. После кризиса XVII—XVIII веков, войн и междоусобий этой полосы, крупное и среднее землевладение только наново стало складываться в прочную собственность—

---

[1] Д. Логофет, Бухарское ханство под русским протекторатом, стр. 93.

с конца XVIII—начала XIX века. Это был новый процесс создания земельной собственности в силу ханских пожалований—процесс, который отнюдь нельзя рассматривать, как продолжение старой традиции в аграрных отношениях. За те 70—100 лет, в течение которых этот процесс развивался (до прихода русских), он не успел зайти достаточно далеко.

Необходимо также учесть и то, что крупное и среднее землепользование создавалось в это время в Средней Азии в условиях, когда капиталистические отношения еще не проникли в сельское хозяйство. В этом смысле поучительна новейшая эволюция аграрных отношений в соседней с Средней Азией Персии. Еще в первой половине XIX века строй аграрных отношений в Персии представлял большое сходство с современным ему строем аграрных отношений в Туркестане. Но с половины XIX века сельское хозяйство Персии втягивается в денежно-товарный оборот; в результате ценность земли возрастает, и начинается процесс быстрой мобилизации ее и концентрации земельной собственности. В этот процесс частью вовлекаются самые крупные землевладельцы, а частью они уступают свое место представителям торгового капитала. Складывается новый общественный класс—мюлькодаров, помещиков новейшей формации, которые, с одной стороны, владеют каждый десятками и сотнями селений, а с другой, держат в своих руках судьбы страны и поставляют из своих рядов министров, депутатов и губернаторов. Такова заключительная стадия эволюции социально-экономических отношений, которая началась с увеличения вывоза риса, хлопка, фруктов, животного сырья и связанного с этим вторжения денег в сельское хозяйство. Крестьянская масса в Персии пробовала в этот период апеллировать в верховной власти ссылками на шариат, по которому всякая обработанная земля или даже такая, на которой только посажены деревья или просто корни растений, не может быть экспроприирована. Однако, эти ссылки на религиозные нормы ничего не изменили в работе торгового капитала—кто имел деньги, жадно покупал и эксплоатировал целые деревни. Понадобилось всего только 60—70 лет, чтобы почти вся земля в Персии стала собственностью помещиков, при чем крупных помещиков насчитывается сейчас около двух тысяч [1].

Может быть и в Средней Азии развитие пошло бы тем же путем, но здесь торговый капитал пришел в сельское хозяйство в виде капитала метрополии—России, присоединившей край. И в Средней Азии торговый капитал проник в сельское хозяйство и очень многое изменил в строе аграрных отношений, но направление аграрной эволюции было, конечно, уже иное.

Так, или иначе, но крупного и среднего землевладения оказалось в Средней Азии в XVIII—XIX веке достаточно для того, чтобы у политически господствовавшей узбекской аристократии была соответственная социально-экономическая база. Эта земельная аристократия не получила развития в дальнейшем, так как ее интересы пришли в политическое противоречие с интересами русского царизма, принявшего меры к подрыву ее значения.

Было ли в Средней Азии в рассматриваемый период крупное и среднее землевладение в то же время крупным и средним землепользованием? Или,

[1] М. Павлович, Экономическое развитие и аграрный вопрос в Персии XX века, стр. 21—27.

при наличии крупного и среднего землевладения, земля для обработки дробилась и эксплоатировалась мелкими хозяйствами, только доставлявшими доход крупным и средним землевладельцам?

Средняя Азия была в рассматриваемый период страною рабовладения. Но, насколько можно судить по имеющимся данным, рабов было не настолько много, чтобы можно было, используя их труд, вести крупное плантаторское хозяйство. Правда, А. Вамбери сообщал, будто даже в 60-х годах XIX века «в Средней Азии земледелие находилось исключительно в руках персидских рабов». Этот же автор сообщал, будто в одном только Хивинском ханстве было 80 тысяч рабов [1] (при, примерно, 200.000 свободного населения). Но это указание Вамбери не подтверждается другими источниками. Так, Бланкеннагель сообщает, что в конце XVIII века в Хиве было рабов: русских 2.000, а персов—более 20.000 [2]. Между тем, в Хивинском ханстве было, повидимому, больше рабов, чем в других ханствах. Очевидно, что крупное землепользование не могло держаться—по крайней мере, в массовом масштабе—на рабском труде.

При наличии крупного и среднего землевладения землепользование в Средней Азии в рассматриваемый период было мелким. Это можно проиллюстрировать на примере того крупного землевладельца—Мат-Нияза, о котором мы говорили выше—у него было около 1.200 десятин земли, но в его непосредственном пользовании находилось всего 50 десятин, вся же остальная земля обрабатывалась ярымчами, т. е. арендаторами—половниками [3]. По свидетельству всех авторов, изучавших аграрные отношения в Средней Азии в рассматриваемый нами период, именно сдача земли в мелкое арендное пользование и была наиболее распространенной формой эксплоатации земель крупного и среднего землевладения.

Это сочетание крупного и среднего землевладения с мелким землепользованием часто ставят в связь с поливным характером средне-азиатского земледелия, и в подтверждение такого об'яснения ссылаются на аграрные отношения в других восточных странах—Китае, Индии—где, при наличии искусственного орошения мы встречаем те же сочетания крупного землевладения и мелкого землепользования, то же массовое распространение мелкой аренды земли, принадлежавшей крупным и средним землевладельцам.

Эта теория, однако, не совсем подтверждается историей и современным состоянием поливного земледелия. Как уже было сказано выше, в древности—в Месопотамии, Египте и Риме—на землях государственного орошения имело место крупное землепользование. И в настоящее время в Средней Азии крупное землепользование, осуществляемое государственными семхозами в голодной степи, оказывается более рациональным и рентабельным, нежели мелкое землепользование дехкан в Фергане, хотя и здесь и там хозяйство ведется на орошаемых землях. Себестоимость пуда хлопка в государственных семхозах 3 р. 30 к.—3 р. 50 к., между тем как мелкое деханское хозяйство с трудом удо-

[1] А. Вамбери, Очерки Средней Азии, стр. 239, 291.
[2] Майор Бланкеннагель, Путевые заметки о Хиве, стр. 96.
[3] В. Бартольд, История культурной жизни Туркестана, стр. 194.

влетворяется ценою на хлопок в 4 р. 50 к. Очевидно не всегда и не при всяких обстоятельствах самый рациональный способ хозяйствования на поливных землях связан с раздроблением этих земель на мелкие участки.

Поливной ли характер земледелия имел действительно решающее значение в этом сочетании крупного землевладения и мелкого землепользования? В Западной Европе земледелие, по общему правилу, не имело поливного характера, но и там до XVI—XVIII веков налицо было сочетание крупного землевладения и мелкого землепользования; так же обстояло дело и в России. В середине века каждый землевладелец обыкновенно вел свое собственное хозяйство только на небольшой части своей земли, предоставляя обрабатывать остальную часть своей земли, крестьянам на тех или иных условиях. По общему правилу, помещик начинает обрабатывать свою землю при помощи рабочих рук и даже скота и орудий крестьян с момента появления в городах или за границей рынков для сбыта предметов продовольствия. В до-капиталистическом сельском хозяйстве клочки господской земли были часто, подобно крестьянским участкам, разбросаны в деревенских полях, и наравне с ними были подчинены принудительному севообороту.

Но «чем более капиталистический характер приобретает сельское хозяйство, тем более развивает оно качественную разницу техники между крупным и мелким производством» [1]. При средневековой технике сельского хозяйства—то же относится к средне-азиатской технике сельского хозяйства XVII—XVIII веков—крупное землепользование ничем не отличалось от мелкого в смысле расточительности труда и малой его продуктивности. Только с введением новой техники крупное землепользование получает огромные преимущества перед мелким в смысле экономии на живом и мелком инвентаре, возможности применения машин, разделения труда, в широком применении агрономии. Так возрастает массовая продукция сельского хозяйства и так завоевывает себе место под солнцем крупное землепользование—крупный землевладелец теряет интерес к раздроблению своей земли с той минуты, когда, будучи обработана в одном большом куске, она начинает приносить больший доход.

В истории сельского хозяйства Западной Европы временем принципиального перелома в этом смысле был XVII—XVIII век. В это время ликвидируется положение, при котором сеньоры имели лишь верховные права на землю, находившуюся фактически в руках крестьян, являвшихся вечно наследственными арендаторами, обрабатывающими землю за ренту. По выражению Георга Кнаппа в это время Gut-Herrschoft заменяет Grund-Herrschaft. В таком же направлении шло развитие и в России. Барщинный труд стал развиваться раньше всего в черноземной полосе, так как именно здесь можно было получать в массовом количестве хлеб для вывоза на рынок—главным образом, внешний, когда на него стал проявляться усиленный спрос,—и для потребностей развивавшегося винокурения, ставшего дворянской монополией. Широкое развитие крупного помещичьего землепользования начинается лишь со второй половины XIX века—оно сказывалось, между прочим, и в факте

[1] Каутский К., Аграрный вопрос, ст. 21—22, 84—96.

роста числа дворовых людей. По VIII ревизии 1835 года дворовых было 915.000 человек, а по X ревизии 1858 года—их было уже 1½ миллиона человек.

Таким образом, и в Западной Европе, и в России процесс образования крупного землепользования на землях крупных землевладельцев был процессом сравнительно новым, недавнего происхождения. В Средней Азии, где узбекское крупное и среднее землевладение только стало складываться с XVIII века в прочную организацию, эволюция аграрных отношений не дошла до этой стадии развития. Плохо связанная с мировым рынком, находясь в стороне от больших мировых торговых путей, переместившихся на запад, замкнутая в себе, в своем сельском хозяйстве, Средняя Азия, естественно, оставалась на первых ступенях развития только что слагавшегося крупного землевладения и не успела превратить его в крупное землепользование.

Частным видом крупного и среднего землевладения были вакуфы. Вакуф—или вакф, или уакф—означает в прямом смысле, в переводе с арабского, задержание или остановку, в переносном же, правовом, смысле вакуф означает посвящение какого-либо имущества какой-либо цели с запрещением дальнейшего отчуждения или перехода этого имущества из одних рук в другие. Доходы с такого имущества определялись на религиозную, благотворительную или просветительную цель. Вакуфы были в Средней Азии, как и в других мусульманских странах, одним из главных источников существования мусульманских школ, мечетей, духовенства и благотворительных учреждений. Предметом вакуфа могла быть всякая вещь, приносящая пользу, поэтому в составе вакуфного имущества мы находим караван-сарай, лавки, бани, мельницы и т. п., но основным видом вакуфов была земля и доходы с нее. Юридическим оформлением вакуфа был документ вакуфнамэ, составлявшийся судьею—казием—по добровольному заявлению учредителя вакуфа. Управление вакуфным имуществом передавалось особому управителю—мутаваллию.

На ряду с этим видом вакуфа, соответствующим первоначальной идее этого института и мусульманскому праву, практика выработала еще и другой тип—так называемого обычного вакуфа, или вакфалета. В этом типе вакуфа вакуфное имущество закреплялось за потомством самого учредителя вакуфа—имущество делалось, таким образом, заповедным и становилось как бы родовым или семейным имуществом. Основанием для возникновения вакфалетов было стремление собственников оградить свое имущество от захватов, конфискаций и произвола властей. В этом случае имущество обременялось определенным обязательным взносом в пользу того учреждения, которому вакуф номинально завещался, но зато имущество это приобретало гарантию от захвата, так как такой захват означал бы уже преступление против религии.

Вакуфные земли далеко не всегда эксплоатировались непосредственно мечетями и теми благотворительными учреждениями, коим они были завещаны,—наоборот, обычным типом эксплоатации этих земель была сдача их в аренду. При этом в некоторых случаях возникало право бессрочной наслед-

ственной аренды с предоставлением арендатору права возводить постройки— за определенную плату, или часть дохода, или натуральные повинности, доходившие иногда даже до половины всего урожая. Это—так называемые населенные вакуфы [1].

Вакуфы представляли собой широко распространенный вид земельной собственности. Этому способствовало то, что с вакуфных земель подати не взимались, а доходы с них—полностью или в части, указанной вакуфоучредителем,—обращались по их прямому назначению. На практике некоторые вакуфные земли отчисляли на богоугодные дела только $^{1}/_{10}$ часть доходов—это были земли дех-як [2]. Таким образом, понятие вакуфа распространялось и на институт, известный европейскому праву, как институт семейного фидеикомисса. Институт этот, возникший в Византийской империи в XII столетии, был заимствован здесь мусульманами и перенесен арабами в Испанию, откуда его заимствовали Англия и Германия.

Е. Зелькина высказала мнение, будто «вакуфы были типичными поместьями феодального типа, на землях которых вели самостоятельное хозяйство крестьяне, работая своими орудиями труда и платя землевладельцу натуральную ренту» [3]. В этом утверждении верно то, что вакуфные земли обрабатывались крестьянами-арендаторами своими орудиями труда. Но назвать вакуфы типичными поместьями феодального типа едва ли можно, так как нигде нет указания на то, что вакуфы имели в отношении своих крестьян право иммунитета и вообще политические права, которые составляли основу феодальных отношений между сеньером и его крестьянами.

Если бы налицо были эти права у вакуфов, их можно было бы отождествлять с монастырскими землями в России и с епископскими землями в Западной Европе. Как известно, монастыри и церкви в России находились в ленной зависимости от веча или князей, которые жаловали им земли. Как и феодалы-бояре, монастыри переходили из-под власти одного князя к другому. Иноки монастырей судили мир, держали приставов. В жалованных грамотах монастырям имелась обычная стереотипная формула: «а волостели мои в околицу игумена не в'езжают», т. е. государственная власть не осуществляла непосредственно своих прав на территории монастырских земель, предоставляя делать это самим монастырям. Последние имели не только право юрисдикции, но право сбора налогов и пошлин в свою пользу. Зато во время войны монастыри, как и прочие феодалы, выставляли свои особые полки. Это были, действительно, типичные феодальные отношения.

В отношении вакуфных земель мы такого характера связи вакуфов с государством, с одной стороны, и с крестьянством, с другой,—не находим. Но это отнюдь не мешало вакуфам быть крупными и средними землевладениями, взаимоотношения которых с крестьянами во многом были схожи с феодальными отношениями. Исполая аренда, вечно наследственная

[1] Фиолетов Н., Вакуфное право в средне-азиатских республиках—статья в журнале «Советское Право» № 3. Москва 1926 г.

[2] Логофет Д., Бухарское ханство под русским протекторатом, стр. 47.

[3] Е. Зелькина—Земельная реформа в Средней Азии—статья в журнале «Революционный Восток» № 3, за 1928 год, стр. 138.

аренда, натуральные повинности крестьян—все это «институты», заимствованные из контекста феодальных отношений—и прав Н. Фиолетов, говоря: «на почве вакуфного права создавались отношения, напоминающие феодальные или полу-феодальные.»

Вакуфы обнимали значительную часть земель. Об этом можно судить по косвенным данным, относящимся уже ко второй половине XIX века, исходя из того положения, что русская власть застала в Туркестане те вакуфные земли, состав которых сложился до прихода русских. Ревизия сенатора Палена констатировала, что в Ташкентской, Самаркандской и Ферганской областях было пред'явлено населением к закреплению 7.955 вакуфов. Русская власть относилась очень сдержанно к признанию вакуфов, которые актом признания освобождались от налогов. Поэтому, по свидетельству ревизии, признание получила только 1/5 часть документов. По ним было замежевано около 50 тыс. десятин земли. Если сделать допущение, что эта пятая часть вакуфов представляет всю группу соответственных земель, то можно притти к заключению, что всех, вакуфных земель—только в трех указанных областях — было около 250 тысяч десятин. Исходя из того же допущения, получаем, что средний размер вакуфного землевладения составлял 32 десятины. Е. Зелькина принимает размер вакуфных земель в 30% от всей поливной площади. Н. Фиолетов считает, что в средне-азиатских ханствах вакуфные земли составляли около половины всей обрабатываемой земли.

Хотя вакуфные земли могли посвящаться не только религиозным учреждениям, но фактически они были в подавляющей массе посвящены именно мечетям и медрессе. Вакуфы были одним из главных источников существования духовенства, игравшего в рассматриваемый период активную реакционную роль.

Крестьянское землевладение, обремененное налогами: ушриа—набогаре и хераджи—на поливных землях,—отличалось крайней парцеллярностью. Мусульманское наследственное право закрепляло обычай дробления земли по нисходящей линии—по нормам шариата, по смерти отца земля распределяется таким образом, что сыновья получают две части, а дочери—одну часть от общего размера землевладения.

Существовало ли в Средней Азии в рассматриваемый период крепостное право?— Д. Логофет утверждал, что ханы практиковали пожалования за службу не только земель, но и сидевших на них крестьян в крепостную зависимость. Эти крестьяне освобождались от податей и сборов государству, но за то владелец таких крестьян имел право взыскивать с них до 1/3 всего получаемого ими дохода[1]. Однако, В. Бартольд считает это утверждение Д. Логофета неправильным. «Владельцам мильков,—говорит В. Бартольд,—не было предоставлено над возделывавшими их землю пахарями таких прав, как бывшим русским помещикам, и Логофет неправильно говорит о существовании в Бухаре «крепостного права, при котором каждый чиновник в зависимости от своего чина имеет определенное количество дворов из подчиненного ему населения для содержания».

[1] Логофет Д., Страна бесправия, стр. 36.

Однако, насколько можно понять характеристику аграрных отношений в Бухарском ханстве, даваемую Логофетом, Д., он говорит о крепостной зависимости, не как об оформленном юридическом институте, а как об отношениях экономической кабалы, в которой находились крестьяне, либо вовсе не имевшие земли, либо имевшие ее в недостаточном количестве. Испольная аренда, которая, несомненно, была во многих случаях голодной арендой, натуральные повинности, задолженность крестьян крупным землевладельцам и, вообще, богатым людям — составляли отношения многосторонней экономической зависимости крестьянства от крупного землевладения. Прикреплять же крестьян к земле формальным законодательным актом в Средней Азии не было особой нужды — крестьянин был крепок земле и ее фактическому владельцу и сам по себе, в силу факта ограниченности культурных площадей и невозможности податься куда бы то ни было в сторону от речных долин, за пределами которых начинались бесплодные пески и пустыни.

В земледелии применялся труд рабов, главным образом персов. Рабы-русские больше использовались в армии, где они ценились за свой сравнительно высокий культурный уровень, и где они часто приобретали независимое положение. Особенно русские ценились, как артиллеристы, нередко русские пленные стояли во главе артиллерии ханств. Повидимому, численность рабов была не очень значительна. Что касается русских, то за время с 1782 по 1794 год всего было взято в плен 783 русских. Персов же рабов при завоевании Хивы Россией оказались 15 тысяч человек [1]. Сведений о численности рабов в Бухарском и Кокандском ханстве не имеется.

Основным источником рабства был плен. Пополнение кадра рабов шло за счет персов, систематически захватывавшихся в плен туркменами, налетавшими на персидские пограничные селения, и за счет русских, бравшихся в плен в пограничных областях—в Кавказской степи и на Каспийском море. Основным невольничьим рынком была Хива, в Бухаре и в других крупных средне-азиатских городах были специальные невольничьи базары. Взрослый мужчина раб стоил от 50 до 80 тилл, т. е. от 200 до 320 рублей, русские невольники ценились дороже персидских. Девочки-рабыни, в возрасте от 10 до 15 лет, ценились в 300—320 рублей, при этом за персидских женщин платили больше, чем за русских; рабыня в возрасте от 15 до 25 лет стоила 200—240 рублей, а старше 25 лет, примерно, 150 рублей. В торговле рабами принимали живое участие ханы—они получали десятую, а иногда пятую часть захваченных пленников. Вопрос о том, имел ли право рабовладелец на жизнь раба, остается спорным. Муравьев и Яковлев утверждали, что владелец может безнаказанно убить своего невольника—наоборот, Гельмерсон говорил, что никто не имеет право убить своего раба, но наказывать его может как угодно. Избавиться от неволи можно было, главным образом, двумя способами: принятием мусульманства и выкупом.

Мусульманское право полностью санкционировало земельные отношения, описанные выше,—оно так же мало препятствовало образованию и развитию частной земельной собственности—в том числе, и крупной земель-

[1] Н. Веселовский—Русские невольники в средне-азиатских ханствах в материалах для хивинского похода 1873 года, стр. 4.

ной собственности—как и каноническое право на Западе. Мистическая фикция принадлежности всей земли богу в действительности обходилась в мусульманском мире тем, что верховое обладание над землями было передано богом тени его на земле—пророку ислама, а от него перешло к наместникам его: имамам, халифам и светским властителям. Однако это верховное обладание, как свидетельствует Торнау, нисколько не исключало возможности существования частной земельной собственности [1].

Шариат предусматривал право полной личной собственности в отношении земель завоеванного населения. Далее Шариат признал полной земельной собственностью те пустопорожние земли—мевот—которые были превращены в культурное состояние усилиями того или иного лица; этому лицу нужно было только испросить у духовной власти разрешение на «оживление» такой земли. При этом оживление земли могло производиться не только личным трудом, но и крупными предпринимателями посредством наемного труда. Такое оживление земли давало, по мнению мусульманских юристов, право не только на землю, приведенную в культурное состояние, но и на прилегающие к ней пространства, границы которого определялись расстоянием полета стрелы или голосом человека. Таким образом, мусульманское право признавало частную собственность и на прилегающие к культурному участку земли, что с хозяйственной точки зрения было вполне обосновано, так как хозяйству был необходим выгон для скота и ему нужно было оставить возможность расширения по мере роста семьи [2].

Вопроса об общинном землепользовании, мы здесь рассмотрению не подвергаем, выделяя его, как самостоятельную тему.

Из схематичного обзора исторической эволюции туркестанского землевладения, сделанного выше, нетрудно видеть, что развитие землевладения в Средней Азии не представляло собою непрерывного процесса. Соседство степи с культурными оазисами приводило к тому, что с приливом новых волн кочевников в оседлые области и с постепенным оседанием их там формы землевладения изменялись. Так, крупное землевладение, уже вполне сложившееся в иранский и арабско-иранский периоды, с приходом турок в XI веке и установлением ими системы турецких ленов, претерпело существенные изменения. В монголо-турецкий период, когда военная аристократия, сохраняя кочевые традиции, не порывала со степью и жила войнами, представлявшими организованные в огромном масштабе профессиональные грабежи, крупное землевладение потеряло значение. С приходом узбеков в XVI веке и с переходом их к оседлости крупное землевладение вновь зарождается и развивается, но ему по политическим соображениям наносит удар русское завоевание.

Крупное землевладение не было в Туркестане крупным землепользованием, но едва ли в этом обстоятельстве определяющее значение имел поливной характер земледелия—натуральный характер хозяйства, относительно слабое развитие городских потребительских рынков и отсутствие возможности поставить экспорт хлеба и других сетей сельско-хозяйственной про-

[1] Бар-Торнау—Особенности мусульманского права, стр. 51.

[2] Ор. Шкапский—Аму-дарьинские очерки, стр. 91.

дукции в широком масштабе делали в прошлом для крупного землевладения Туркестана более выгодной сдачу земли в аренду небольшими участками, нежели эксплоатацию ее крупным хозяйством. Хотя рабство и существовало в Средней Азии, но источники пополнения кадра рабов были не настолько значительны, чтобы можно было построить крупное хозяйство на рабском труде.

На ряду с крупным и средним землевладением имело место и землевладение крестьянское—свободное и зависимое. Если, по условиям пространственной ограниченности речных долин, разделенных песками и пустынями, и не было надобности формально устанавливать законом крепостное право, то фактически большая масса крестьянства испытывала на себе тяжкий гнет экономической кабалы и зависимости от крупного землевладения—об этом косвенно свидетельствуют крестьянские восстания. Повидимому, только в монголо-турецкий период и отчасти в период турецкой ленной системы положение крестьянства было менее тягостным.

Ф. Месин

В плену биологизма[1]

(Окончание)

VI

Предыдущее изложение достаточно показало, как радикально отличается теория Каутского от учения Маркса и Энгельса и как велик размах «суб'ективных отклонений» нашего автора от материалистического понимания истории. Мы не сомневаемся в том, что самому Каутскому действительно кажется, будто в своем об'яснении происхождения «нового» в истории, в своем толковании отношения между базисом и надстройкой и пр. он говорит то же самое, что и основоположники научного социализма, но только mit ein bischen andern Worten. Но при рассмотрении учения Каутского о классах и государстве, составляющего содержание четвертой книги его исследования, уж не может быть речи о таком суб'ективном заблуждении; здесь мы вступаем в область открытого, откровенно признаваемого пересмотра наследия Маркса и Энгельса. Но прежде, чем заняться анализом этого продукта ревизионистского творчества Каутского, мы остановимся в немногих словах на одном пункте, имеющем ближайшее отношение к его теории происхождения государства. Мы имеем в виду вопрос о войне, о включении войны в Марксово понятие «общественного производства жизни». Каутский решительно высказывается против предлагаемого Энгельсом в «Происхождении семьи» расширения понятия производства жизни, согласно которому оно должно означать не только произведение средств к существованию, но и произведение самих людей (см. т. I, с. 837—850). За то он настаивает на расширении его в другом направлении, так чтобы оно охватывало «заботу о безопасности общества и составляющих его индивидов», «обеспечение отдельного индивида и общества, к которому он принадлежит, с оружием в руках» (ib. с.с. 850—2). Доказательство этого тезиса начинается, само собой, с неизбежных примеров из мира животных, сообщества которых имеют целью не только заботу о добывании пропитания, но и об охране членов его от врагов. Переходя к человеческим обществам, Каутский указывает, как вместе с ростом производительных сил и изменением производственных отношений изменяется понятие врага, форма конфликтов, ведущих к войне, способ ведения войны и пр. Резюмируя эту часть своего исследования, Каутский совершенно справедливо замечает: «все военное дело, вооружение и организация войск, стратегия и тактика, победа и поражение определяются в конечном счете развитием производительных сил и производственных отношений» (ib. с. 854). Иначе говоря, война также обусловлена экономическим базисом, как обусловлены им, скажем, политическая или юридическая надстройка. Но эта экономическая обусловленность войны только и доказывает, что нет никаких оснований включать войну в

[1] См. № 9 «И. М.».

«общественное производство жизни», как не включаем мы в него различных надстроечных образований. Заметим далее, что война вовсе не извечное явление общественной жизни. Если в воинственном Риме за все время существования его, храм Януса, как говорили, был закрыт только два раза, то, наоборот, наиболее первобытные из известных нам народов, тотемические племена внутренней Австралии, почти незнакомы с этим бичем позднейших человеческих обществ. Не будет знать войны и бесклассовое общество будущего. Какой же смысл ставить такое периодическое и—в принципе—преходящее явление, как война, в один ряд с непрерывным и постоянным процессом общественного производства жизни, при прекращении которого даже на короткий срок должно прекратить свое существование и общество? Война—пользуясь выражением самого Каутского о классах и классовой борьбе—это только «эпизод» в вековечной истории человечества, эпизод крайне важный, заполняющий всю писанную историю его и значительную часть неписанной, но все же не связанный неразрывно с самой сущностью исторического процесса.

Это чрезмерное выпячивание у Каутского роли войны становится понятным, если мы обратимся к вопросу о происхождении классов и государства, оказывающихся по учению Каутского результатом не имманентного развития общества, а продуктом завоевания. Это свое учение Каутский излагает в прямом противопоставлении теории происхождения государства Энгельса, намеченной последним в общих чертах в «Анти-Дюринге» и развитой более обстоятельно в работе о «Происхождении семьи, частной собственности и государства». Для характеристики взглядов Энгельса приведем его об'яснение возникновения государства в гомеровской Греции.

«Мы видим, таким образом, что в героический период греческой истории старый родовой строй был еще цветущ, но уже намечалось начало его гибели. В эту эпоху имеет место отцовское право с передачей имущества по наследству детям, благодаря чему может происходить накопление богатств в семье и усиливается значение семьи по отношению к роду. Неравенство богатств, способствовавшее образованию наследственного класса благородных и наследственной монархии, оказывает свое влияние на общественный уклад. Появляется рабство, сперва лишь военнопленных, открывающее, однако, виды на порабощение собственных сородичей и соплеменников. Прежние войны между племенами уже выродились в систематический разбой на суше и на море ради приобретения скота, рабов, разных сокровищ, превратившись в своего рода регулярное занятие. Одним словом, богатство считается и почитают за высшее благо, а для оправдания грабежа злоупотребляют родовыми учреждениями. Недоставало лишь одного, именно института, который принял бы на себя охрану новонажитых частных богатств не только против коммунистических традиций родового строя, который не только санкционировал бы частную собственность, находившуюся до тех пор в пренебрежении, и провозгласил бы эту санкцию высшей целью человеческого общества, но и доставил бы общественное признание дальнейшим, сменявшим друг друга, формам присвоения собственности, постоянно увеличивавшемуся богатству; недоставало института, который увековечил бы не только нарождавшееся разделение на классы, но также и право имущих классов на эксплоатацию неимущих и господство первых над последними. И такой институт нашелся: образовалось государство». (Энгельс, Происхождение семьи, частной собственности и государства).

Основные моменты теории Энгельса сводятся, таким образом, к следующему: классы, зарождающиеся внутри рода, предшествуют возникновению государства, образующегося благодаря разложению родового строя; факторами, способствующими образованию классов, являются возникновение частной собственности и сопровождающего ее имущественного нера-

венства, рабство и — что выдвинуто особенно в «Анти-Дюринге»[1] — наследственность общественных функций.

Все эти пункты теории Энгельса вызывают со стороны Каутского крайне пристрастную и мелочную, но совершенно неубедительную критику, на которой мы должны будем подробно остановиться. Начнем с последнего пункта, с наследственности общественных должностей. Придравшись к словам Энгельса о том, что она в мире, где все происходит стихийно (naturwüchsig), устанавливается сама собой (selbstverständlich), Каутский разражается рядом недоуменных вопросов. Если эта наследственность нечто столь естественное (natürlich) и само собой разумеющееся, то почему же она не встречается в естественном состоянии? У социальных животных имеются свои вожаки,—почему же их функции не наследственны? Энгельс, говорит Каутский, придерживался того распространенного в нашем культурном обществе взгляда, будто узы «крови»—это естественные узы. Но в действительности естественная связь между родителями и детьми продолжается лишь до тех пор, пока последние еще беспомощны, и только образование языка способствует удлинению этих связей и расширению их за пределы отношений между родителями и детьми. Так создается организация родства, но это нисколько не говорит о какой-нибудь естественной наследственности.

После этих доводов от биологии Каутский переходит к аргументам социологического порядка, указывая, как медленно складывалось право наследования; в этом ряду развития наследование должностей не только не было чем-то естественным и само собой разумеющимся, но, наоборот, занимает чуть ли не последнее место.

Мы не знаем, на основании чего Каутский приписывает Энгельсу веру в существование естественных, «кровных» уз. Во всяком случае в цитируемых им отрывках из «Анти-Дюринга» не говорится об этом ни слова. Речь идет у Энгельса об «устанавливающейся почти сама собой» наследственности должностей. Допустим, что Энгельс употребил здесь неудачное слово: «сама собой» (хотя—заметим в скобках—выражение о сама собой устанавливающейся наследственности должностей не означает вовсе, что этот вид наследственности предшествует наследованию предметов личного потребления, оружия и пр.: это Каутскому так угодно толковать мысль Энгельса), но ошибся ли Энгельс по существу, имело ли место наследование общественных функций еще до возникновения государства? На этот вопрос Каутский не дает вразумительного ответа. «То, что Энгельс называет началом наследственности должностей, пишет он, представляет в действительности обычай выбирать для занятия определенной должности предпочтительно членов опре-

[1] «Выйдя первоначально из животного мира (в тесном смысле слова), люди и в историю вступают еще полуживотными, грубыми, бессильными перед силами природы, не сознавшими собственных сил и потому столь же бедными, как животные, и едва ли более производительными, чем они. Между ними господствует известное равенство материального положения, а для глав семейств также своего рода равенство общественного положения, по крайней мере, отсутствие общественных классов, продолжающее существовать в естественно-выросших земледельческих общежитиях позднейших культурных народов. В каждом таком обществе существуют с самого начала известные общие интересы, охрану которых приходится возложить на известных отдельных членов, хотя бы и под общим контролем: разрешение споров и подавление правонарушений со стороны отдельных лиц; надзор за водами, особенно в жарких странах, наконец, при первобытности условий, некоторые религиозные функции. Подобные должности встречаются в первобытных общинах во все времена... Эти органы, которые в качестве представителей общих интересов целой группы занимают уже по отношению к каждой отдельной общине особое, подчас даже антагонистическое положение, становятся вскоре еще более самостоятельными, отчасти благодаря наследственности общественных должностей, которая устанавливается почти сама собою в мире, где все происходит стихийно, отчасти же благодаря растущей необходимости в такой власти при учащающихся конфликтах с другими группами». (Энгельс, Фр. «Анти-Дюринг», стр. 203—4).

деленной семьи. Не всегда ясно, откуда возникли эти обычаи. Но они ни в коем случае не давали права кому-нибудь или сыну кого-нибудь внутри рода быть выбираемым», ибо «в догосударственную эпоху наверно сохранило еще полную силу пассивное избирательное право каждого свободного человека быть выбранным для занятия высшей должности» (ib., с. 69). Может быть, как указывает Каутский, и не всегда возможно ответить на вопрос, о возникновении обычая выбирать на определенные должности предпочтительно членов определенной семьи. Но в ряде случаев это весьма и весьма ясно. Вот что мы читаем, например, в «Сравнительной истории развития человеческого общества и общественных форм» К. Тахтарева, являющейся недурной сводкой данных современной науки о развитии человеческого общества.

«Родовой старейшина избирается обыкновенно из числа наиболее влиятельных глав наиболее сильных, многолюдных и зажиточных старейших семейных общин, входящих в состав данного рода. Преобладание одних семейных общин над другими чувствуется иногда очень сильно, и нередко случается, что должность родового старейшины соединяется с главой какой-нибудь особо влиятельной и самой сильной семейной общины и передается после смерти ее главы его ближайшему родственнику, обыкновенно брату умершего. Такая наследственная передача должности родового старейшины обыкновенно пользуется всеобщим признанием. В родовых союзах, как и в семейных общинах, власть обыкновенно переходит от старейшего к старейшему. Только в том случае, если старейший оказывается человеком, неспособным занимать должность главы или старейшины, вместо старейшего, обыкновенно наследующего должность старейшины, родовым сходом избирается другое лицо, наиболее подходящее для занятия этой должности по своим качествам.

Соединение власти родового старейшины с властью главы наиболее влиятельной семейной общины, присвоение ею должности родового старейшины, передаваемой очень часто по наследству, еще более способствует развитию общественного неравенства и социальной диференциации, которые еще более усиливаются с дальнейшим развитием родового общества и с дальнейшим усложнением племенной организации». (К. Тахтарев, Сравнительная история развития человеческого общества и общественных форм, ч. I, стр. 348—9).

Оказывается, что на общественные должности выбираются предпочтительно члены более богатых и сильных семейств, за которыми очень часто и закрепляется наследственно это право,—предпочтение, носящее—как показывает вся история человечества—довольно «естественный» и «само собой разумеющийся» характер. И с этим естественным предпочтением, этим обычаем, который становится потом нормой, законом, ничего не может поделать «право каждого свободного человека» родовой общины быть выбранным для занятия высшей должности. Слепой поклонник и апологет формальной демократии современных буржуазных обществ, Каутский подходит с этим абстрактно-демократическим мерилом и к изучению древнего родового строя, рассчитывая таким образом понять эволюцию его.

В том же формальном духе развертывается и дальнейшая аргументация Каутского. Допустим, говорит он, что установилась наследственность должностей, благодаря которой носители их стали независимы от избирателей; но где же они взяли принудительную власть над последними, без которой немыслимо государство? «Демократически избиравшиеся должностные лица рода не только должны были добиться наследственности для своих должностей, но, в качестве знати, и подняться над своими сородичами, превратив их в подчиненных и эксплуатируемых лиц. Здесь решающий пункт спора. Внутри рода должностные лица не имели никакой принудительной

власти, кроме той, которая вытекала из превосходства коллективности над отдельным индивидом. Они оказывались бессильными, лишь только коллектив обращался против них. Откуда же взялась принудительная власть угнетателей против массы их сородичей», раз «в обществе еще существовало всеобщее избирательное право и всенародное вооружение»? (ib., с. 70).

На доводе от всеобщего избирательного права останавливаться особенно не приходится. Не только практика западно-европейских демократических республик, но любая сходка дореволюционного крестьянского «мира» могла бы показать, каким слабым оплотом против экономического неравенства и вытекающей из него зависимости является чисто юридический эгалитаризм. Серьезнее, конечно, указание на всеобщее вооружение, но и оно в данном случае не имеет решающего значения. Ведь признает же в другом месте сам Каутский, излагая уже свою собственную теорию, что среди завоевателей, в виду различного участия отдельных групп их в борьбе и победе, могли образоваться социальные различия, «достигавшие иногда размеров классовых противоречий» (ib., с. 116). Иначе говоря, всеобщее вооружение (а завоеватели, конечно, все были вооружены) само по себе не являлось достаточным препятствием для того, чтоб социальное неравенство не перерастало в классовое неравенство. То, что Каутский признает возможным для своих гипотетических кочевников-завоевателей, то не менее возможно и внутри родовой общины, в которой зашел далеко процесс социальной диференциации. Обладание оружием нисколько не мешало захудавшим, обедневшим семьям попадать в зависимость от богатых и сильных семейств, ссужавших их скотом или другим достоянием; а попадая в зависимость от них, они своим оружием только увеличивали силу их. Словом и в вопросе о всеобщем вооружении, как и в случае всеобщего избирательного права, недостаточно одной голой арифметики, одного счета голов, чтобы получить правильное представление о соотношении социальных сил.

Не согласен Каутский и с ролью, приписываемой Энгельсом имущественному неравенству. Правда, он признает наличие его в первобытном обществе. «При всем первоначальном равенстве социальных условий, пишет он, одна семья могла быть удачливой, другая—неудачливой, у одной скот погибал от болезней, между тем, как стадо соседа размножалось; у одной умирали от болезни члены ее, между тем как рабочая сила соседа нисколько не страдала. Один брак мог давать многочисленное работоспособное потомство, а другой—оставаться бесплодным... Различные подобные случайности и всякие иные—наводнение, пожар, неурожай и пр.—могли вызвать неравенство богатства у различных семейств» (ib., с. 72), но, прибавляет Каутский, не следует преувеличивать значения этих различий, тем более, что важнейший предмет богатства—земля—оставался еще в распоряжении общины. Гораздо важнее, однако, еще другое обстоятельство, именно то, что богатство не дает в родовом обществе особенных привилегий. «До тех пор, пока не существует государственной власти, богатство пользуется лишь той охраной, которую дает ему совокупность граждан общины, связанных между собою узами тесной солидарности. Они немедленно лишили бы отдельного человека этой защиты, если бы он использовал свое богатство для угнетения и эксплоатации своих сородичей. Наоборот, согласно морали первобытной демократии, к богатству применима максима, созданная впоследствии для знати, для благородных. Оно обязывает» (ib.). И обязательство это настолько серьезно, что заметные следы его сохраняются еще долго после крушения родового строя, в сменившем его государстве. «Одной из величайших добродетелей феодалов была щедрость по отношению к беднякам. В афинской и римской демократиях пролетаризированные граждане считали своим правом жить прямо или косвенно на счет богачей. Тогда пролетарии были эксплоататорами богачей, а не наоборот. Правда, и богачи жили не

на счет своего собственного труда, а эксплоатацией других людей. Но эти другие люди находились большей частью за пределами демократии данного коллектива». Каутский, готов, впрочем, признать, что уже в древнейшие времена богатство давало обладателям его влияние и силу,—но, предупреждает он, не потому, что оно давало возможность эксплоатировать сограждан, а потому, что оно давало возможность помогать им. «Чем более щедрым был богач, чем охотнее он помогал, тем больше было значение его в государстве» (ib., с. 73). Поэтому-то при выборе должностных лиц и предпочитали часто выбирать богачей; этим же, вероятно, об'ясняется то, что представляется нам, как наследственность должностей, именно предпочтение при выборе должностных лиц по традиции известных семейств. Но из всего этого не могла образоваться действительная зависимость, а тем более эксплоатация народных масс: в рамках первобытной демократии появление имущественного неравенства не могло породить классовых различий и классовых противоречий.

Такова аргументация Каутского, истый образчик метафизически-формального мышления. К родовой общине Каутский подходит не диалектически, как к явлению, способному изменяться во времени—и изменяться не только под влиянием внешнего давления—а чисто метафизически, видя в ней какой-то абсолют, раз навсегда застывший в определенных формах. Как он выражается несколькими страницами далее, «первобытная община, общая собственность на бесчисленные важнейшие средства производства, всеобщая готовность помочь каждому сородичу образуют непреодолимую плотину (разбивка наша), которая препятствует социальной эволюции совершаться в сторону образования эксплоатирующих и эксплоатируемых классов и господствующей над обществом, независимой от массы населения, государственной власти» (ib., с. 81).

Эта «непреодолимая плотина» не помешала, однако, как мы знаем, уничтожению первобытного равенства, зарождению частной собственности, установлению наследственного права — вплоть до наследования общественных должностей — сосредоточению богатств в одних семействах, обеднению других, несомненно, более многочисленных семейств,—и только перед одним остановился этот неуклонный процесс общественного развития, перед превращением накопившегося огромного экономического неравенства в социальное неравенство в отношении зависимости неимущих от имущих. Чтобы притти к такому маловероятному результату, Каутский вынужден прибегнуть к совершенно исключительному средству: он изображает богачей родового общества какими-то филантропами и благодетелями своих обедневших сородичей. Первобытные Колупаевы и Разуваевы, оказывается, только тем и заняты, чтобы помогать своим впавшим в нужду единоплеменникам. Мало того: в таких же Юлианов—милостивцев превращаются у Каутского феодалы и греческие и римские аристократы. Извратив глубокомысленное замечание Сисмонди, сказавшего, что современный пролетариат содержит общество, между тем, как пролетариат Рима содержался насчет общества, Каутский приходит к чудовищному утверждению, что «тогдашние пролетарии были эксплоататорами богачей, а не наоборот»! Избирательные маневры привилегированных классов Рима, различные виды подкупа ими народных масс—отличавшиеся только своим масштабом и разнообразием форм от соответственных махинаций в современных демократиях Западной Европы и Америки—под пером Каутского превращаются в какое-то право бедняков жить насчет богачей, право, являющееся отголоском еще более благородных традиций родового строя! Разумеется, эта идиллия существует только в воображении автора «Материалистического понимания истории». Там, где Каутский видит акты общественной солидарности, выражающейся в щедрой помощи со стороны богачей беднякам,—которые, в благодарность за это,

а также из соображений расчета, выбирают их на различные общественные должности, — там об'ективное научное исследование находит различные формы и степени социальной зависимости.

Достаточно напомнить хотя бы об обычае отдачи себя бедняками под покровительство сильных и богатых семейств (комендации), представляющем одно из распространеннейших явлений обществ на пороге феодализма. Именно оно характеризует разлагающийся от накопившихся экономических противоречий родовой строй, а не мнимая благотворительность и доброхотство будущих феодалов. И в древнейшие времена—как и в позднейшие эпохи—имущественное неравенство неудержимо вело к своему естественному завершению, к классовому расслоению.

Нам остается еще рассмотреть роль рабства в разделении древнего общества на классы. Рабство, говорит Каутский, «представляет, безусловно, отношение эксплоатации и закрепощения. Но отношение, не вытекающее отнюдь из прогрессирующего разделения труда внутри общины (разбивка Каутского). Рабство основывается, наоборот, на принудительном включении чужаков в процесс производства, причем они не становятся вовсе членами общины» (ibid, с. 74). Источником рабства является не процесс, протекающий внутри общества, а «война против чужих обществ, т. е. насилие. Разумеется, экономически обусловленное насилие. Энгельс отлично показывает, при наличии каких экономических условий захват военнопленных приводит к рабству» (ib., с. 74). Даже имущественное неравенство членов общины об'ясняется, главным образом, не столько событиями стихийного порядка (неурожай, и пр.), сколько различными долями в военной добыче: семья с многочисленными воинами получит большую часть, чем семья с немногими. А в тех случаях, когда военный поход ведется не всем родом, а какой-нибудь предприимчивой группой молодежи с знаменитым вождем во главе, то достающаяся ей добыча, львиная доля которой перепадает начальнику, еще больше увеличивает социальное неравенство, создавая участникам экспедиции более высокое положение в общине. «Но для об'яснения этой формы социальной диференциации мы должны выйти из рамок изолированной общины: только таким образом можем мы найти корни классового деления. Если мы станем ограничиваться изучением разделения труда в пределах отдельной общины, мы не подвинемся далеко» (ib., с. 75).

Кого здесь имеет в виду Каутский, говоря об исследователях, ограничивающихся изучением отдельной общины, невозможно сказать. Во всяком случае обвинение это не может падать на Энгельса, которому, разумеется, не могла притти в голову дикая мысль о существовании такого рода изолированных общежитий, и который, наоборот, говорит о войне, как об одном из источников рабства. Но сама по-себе постановка вопроса в таком виде: либо изолированная община, либо война,—характерна для не диалектического, метафизического подхода Каутского, к рассматриваемой проблеме. Изолированных общин не существует и не существовало и точно также не существует исследователей, которые взялись бы об'яснить происхождение какого-нибудь общественного института на основании изучения процессов, происходящих исключительно внутри такой мифической группы. Но отсюда не следует, что ключем к об'яснению рассматриваемого института является война. Во-первых, взаимоотношения между различными соседними обществами не исчерпываются одной только войной: имеются и различные формы мирного сожительства их, разные типы об'единений, союзов, вплоть до той, приводимой Морганом, федерации пяти ирокезских племен, в которой некоторые ученые готовы были даже видеть настоящее государство. В такого рода об'единениях родов и племен начатки социального неравенства, имеющиеся уже внутри небольшой общины, увеличиваются во много раз, при чем à la longue количество должно здесь перейти в качество: имущественные

и пр. различия превращаются в различия классовые. В цитированной уже нами работе К. Тахтарева мы читаем: «у киргизов и калмыков потомки племенных вождей (ханов) считаются людьми особого рода, называются людьми белой кости, султанами. То же самое явление наблюдаем мы и у бедуинов и других кочевых племен, как и в среде оседлых родовых обществ, которые постепенно расслаиваются на людей благородных, потомков старейших, сильнейших и благородных родов, и обыкновенных смертных людей, потомков прочих родов» (цит. соч., с. 352). И сам Каутский, говоря о союзах кочевников-завоевателей, указывает на крупные социальные различия между различными родами, членами этих союзов. Он цитирует Геродота, который, описывая завоевание Мидии персами под предводительством Кира и перечисляя при этом различные персидские племена, называет три из них — пасаргадов, марафиев, маспиев — главными племенами, от которых зависели другие персы. Таким образом, замечает Каутский, «настоящими завоевателями были пасаргады, марафии, маспии. Они образовали аристократию, прочие же персы остались свободными людьми, не стали рабами и не платили податей» (с. 290), в отличие от завоеванных и порабощенных мидян. Это и есть те классовые различия внутри завоевателей, о которых мы уже упоминали выше и которые, очевидно, не вытекали из войны, а в скрытой форме имелись уже и до нее.

Это одна сторона дела. Наряду с этим надо указать на то, что источником рабства или близких к нему состояний является не только война— и, может быть, даже не столько война,—сколько экономические процессы, протекающие внутри общества. Если в «Анти-Дюринге» Энгельс, говоря о рабстве, выдвигает, в качестве причины его, войну, то в «Происхождении семьи, частной собственности и государства», как мы видели, говорится уже о «рабстве военнопленных, открывающем виды на порабощение собственных сородичей и соплеменников». Известно, что история самых различных народов позаботилась о превращении этих «видов» в самую настоящую, суровую действительность.

Процесс закрепощения крестьянских масс развивался в целом ряде стран медленно и самостоятельно, при чем завоевание играло в этом процессе только случайную и побочную роль. Говоря о так называемой микенской культуре, Белох указывает, что она вовсе не была уничтожена внезапно вторжением нецивилизованных племен, как думали раньше, а перешла путем постепенной эволюции в культуру классического времени. Коснувшись затем ряда отдельных греческих областей, он продолжает: «Точно так же и крепостное положение фессалийских крестьян легко могло быть результатом экономического развития, как колонат в императорский период римской истории или крепостное право в Германии, начиная с конца средних веков» («История Греции», т. I, с. 122), и как, прибавим с своей стороны, крепостное право в России.

Если принять во внимание указанные факты, то метафизическая альтернатива Каутского: либо отдельная община, либо война—превратится в диалектическое утверждение: «и община, и война», в утверждение, что, поскольку речь идет об установлении рабства или крепостного состояния и о связанном с этим образованием классов, процесс этот питался как ростом экономического неравенства внутри общины, так и насилием, войной, вводившей в общество—особенно на позднейших ступенях его развития—массу бесправных элементов со стороны.

Наш анализ аргументации Каутского позволяет сделать тот вывод, что она нисколько не колеблет теории Энгельса (являющейся в то же время— как указывает и сам Каутский—теорией Маркса). Говоря это, мы не думаем, разумеется, утверждать, что те или иные частные взгляды Энгельса не могут оказаться превзойденными современной наукой. От появления

«Анти-Дюринга» нас отделяет пол века, а «Происхождение семьи»—сорок лет. За это время было сделано много огромной важности открытий, радикально изменивших наши представления о древнейшей истории человечества. Достаточно назвать такие факты, как исследование австралийских тотемических племен или открытие столь богатой и сложной критско-микенской культуры, предшественницы гомеровского общества, которое 40—50 лет назад могло представляться обществом еще догосударственной эпохи. Естественно, что в связи с этими новейшими открытиями отдельные утверждения Энгельса могут оказаться устаревшими. Но это совершенно не нарушает основного рисунка теории, согласно которой движущей силой при образовании классов является процесс внутреннего разложения общества, по сравнению с которым такие факты, как война, являются чем-то производным и вторичным [1].

VII

Обратимся теперь к собственной теории Каутского. Согласно ей, корень государства и классов—в войне. Представляя первоначально экспедиции против соседних племен для добычи рабов и всяческого добра, она превращается впоследствии в завоевательную войну. Какое-нибудь победоносное племя подчиняет себе побежденный народ, захватывает его земли и заставляет его затем работать на себя, платить дань или подати. «В истории, как известно, этот случай встречается бесчисленное множество раз. Там, где он имеет место, происходит образование классов, не путем деления общества на различные подгруппы, а путем об'единения двух обществ в одно целое, при чем одно из этих общежитий становится господствующим, эксплоатирующим классом, а другое—классом подчиненным, эксплоатируемым. Принудительный аппарат, которым победители пользуются против побежденных, становится государством... Тот самый акт, который порождает первые классы, порождает и первое государство. Они неразрывно связаны с самого начала» (ib., с. 82).

Но завоеватели и завоевываемые представляют не любые какие-нибудь племена. Вслед за Энгельсом, Каутский, по его словам, для об'яснения возникновения классов исходит из общественного разделения труда, но только не внутри племени, а между различными племенами, живущими в различных условиях, именно—из разделения труда между оседлыми земледельцами и кочующими пастухами. «Если,—говорит он,—обратить внимание на противоположность духовной жизни крестьян и кочевых пастухов, на зажиточность, малую подвижность, беззащитность, покорность первых и на бедность, воинственность, мужество, а весьма часто также сметливость и умственную гибкость вторых, то в крестьянах и пастухах мы можем увидеть два фактора, столкновение которых должно было на известной ступени развития привести к тому, что пастухи подчинили себе крестьян и обложили их данью. Отдельные пастушьи племена об'единили многочисленные крестьянские общины или марки в общежития, которые управлялись и эксплоатировались пастухами, переставшими отныне быть пастухами.

[1] Следует, между прочим, заметить, что Энгельс различает три главных формы образования государства. Наиболее чистой, классической формой (пример—Афины) является та, где государство возникает прямо и главным образом из классовых противоречий, развившихся внутри родового общества. Но, например, у германцев, завоевателей Рима, государство вытекло непосредственно из этого завоевания. Однако наличие таких не классических, побочных форм не меняет того основного факта, что «государство не есть что-либо извне навязанное обществу:.. Государство есть продукт общества, достигшего известной степени развития; есть сознание, что общество находится в неразрешимом противоречии с самим собой, что оно распалось на непримиримые классы и что оно не имеет средств примирить эти противоположности и противоречия («Происхождение семьи, собственности и государства» с. 72).

Так возникли первые государства» (ib., с. 107). Кочующие пастухи и оседлые земледельцы—вот те два равно необходимые элементы, из соединения которых образуется государство подобно тому, как из водорода и кислорода образуется, при соответствующих условиях, вода. И дело здесь не в какой-то «государствообразующей силе» кочевников, не в особенных исконных душевных свойствах номадов и землепашцев, как это представляют себе некоторые исследователи, придерживающиеся идеалистического понимания истории. «Достаточно рассмотреть условия производства и существования пастухов и земледельцев, чтобы понять своеобразие психики каждой из этих групп. Но этим государствообразующая сила насилия, войны, без остатка сведена к своим экономическим условиям» (ib., с. 109).

Если образовавшиеся таким образом классы связаны первоначально с делением на завоевателей и завоеванных, то в дальнейшем, с развитием государственной жизни, возникают новые классы, не созданные уже непосредственно государством, а также новые функции последнего, не коренящиеся прямо в его первоначальной задаче содействовать эксплоатации покоренных масс господствующим классом.

Каутский сам указывает на сходство своей теории государства (начало которой он относит к 1876 г.) с аналогичными позднейшими теориями Л. Гумпловича и Ф. Оппенгеймера. Говоря о близости своих взглядов к взглядам Гумпловича, он замечает, между прочим, что совершенно не случаен в этом отношении тот факт, что он и Гумплович оба—австрийцы. В Австрии ясно можно было наблюдать совпадение классового разреза с племенным, национальным. Так, в Богемии имелись немецкое дворянство и немецкая буржуазия рядом с чешским крестьянством и пролетариатом; в Венгрии мадьярскому дворянству и немецкой буржуазии противостояли славянские и румынские крестьяне и т. д. «Ход моих занятий,—прибавляет Каутский,—заставил меня сделать из этих очевидных фактов окружающей меня среды всеобщий исторический закон» (ib., с. 86).

Однако появление «Анти-Дюринга» и изучение его поколебали веру Каутского в универсальную правильность его теории. Долгое время, по его словам, он придерживался взглядов Энгельса, согласно которым существуют случаи образования государств из завоевания, случаи, однако, не типические, не классические: таким классическим типом является, по Энгельсу, как мы знаем, образование государства из классовых противоречий, развивающихся внутри родового общества. Но постепенно,—рассказывает Каутский,—у него возникли сомнения в существовании этой «наиболее чистой и классической формы» возникновения государства, сомнения, усиливавшиеся по мере того, как Каутскому удалось—как он полагает—лишить свою гипотезу характера теории насилия и, показав экономическую обусловленность насилия, лежащего в основе образования классов и государства, «включить ее без всякого противоречия в систему материалистического понимания истории» (ib., с. 89).

Такова. в самых общих чертах, сущность теории Каутского и история ее зарождения.

Изложенная Каутским только теперь, она фактически имеет за собой, по его свидетельству, полувековую давность. Но в действительности возраст ее еще более почтенный, чем это можно заключить из указаний Каутского. Ведь учение о происхождении классов путем завоевания было выдвинуто с большой силой еще историками и публицистами эпохи Реставрации, как либеральными (например, Огюстен Тьерри), так и реакционными (например, Монлозье). Не создавая «всеобщего исторического закона», О. Тьерри находил в основе классовых отношений у новейших народов факт завоевания: tout cela date d'une conquête, il y a une conquête la dessous (все это пошло со времен завоевания, под всем этим лежит завоевание)—вот чудесная

формула, дававшая Тьерри ключ к пониманию истории Франции или Англии[1]. Каутскому принадлежит лишь то новшество, что он заменил расы завоевателей и завоеванных племенами пастухов и земледельцев и придал частной теории историков первой четверти 19 в. характер какой-то всеоб'емлющей доктрины.

Впрочем, последнее наше замечание требует некоторой оговорки. Каутский готов признать, что не везде и не всегда классы имели своим корнем завоевание, что не исключено образование их и иным путем. Он, говорит он, не настолько знаком, например, с историей полинезийских островов, чтобы высказать какое-нибудь предположение насчет причин возникновения существующих на некоторых из них классовых различий. Но если говорить о странах, где начинается писанная история, то «всякое происхождение первых классов и государств может быть сведено к завоевателям,—поскольку вообще доступно познанию это происхождение или поскольку оно оставило следы, по которым можно умозаключать о нем» (ib., с. 94).

Хотя круг стран писанной истории и не имеет универсального значения, но охват его весьма широк и значителен, и если бы теория Кутского действительно об'ясняла происходившие на этом пространстве случаи возникновения классов и государства, то это было бы огромным достижением ее. Но в действительности в книге Каутского не приводится ни одного факта, подтверждающего его теорию, нет решительно никакого доказательства того, будто «всякое происхождение первых классов и государства можно свести к завоевателям». Вместо систематического рассмотрения и анализа конкретных исторических случаев возникновения классов на азиатском и африканском материках, мы имеем оперирование априорными построениями (бедные и мужественные кочевники покоряют своих соседей, имущих и невоинственных крестьян), подкрепляемое местами вылазками в область этнографии или истории.

Эти кочевые пастухи и оседлые крестьяне играют в схеме Каутского почти ту же роль, какую в дюринговской теории насилия играли взаимоотношения между Робинзоном и Пятницей. Если у Дюринга Робинзон, «со шпагой в руке», обращает Пятницу в своего раба, то у Каутского кочевые пастухи, вооруженные не шпагами, а стрелами и копьями, покоряют мирных землепашцев, поселяются среди них, отказавшись от своего кочевого пастушеского образа жизни, заставляют их платить себе дань и т. д. Конечно, мы знаем не мало случаев нападения кочевых племен на оседлые народы и образования таким образом государств (завоевание монголами Китая, Индии, России, покорение турками Византии и пр.). Но, во-первых, все эти случаи нашествия номадов представляют собой нападения на уже существующие государственные образования большего или меньшего размера с достаточно развитым классовым делением (Китай, индийские княжества, русские княжества и пр.) и, значит, могут служить примером не первоначального образования государств и классов, а образования новых государств на месте старых. С другой стороны, в истории немало фактов, свидетельствующих о том, что Пятница Каутского—оседлые земледельцы — обладает не полагающимися ему по штату качествами, обнаруживая все черты доподлинного Робинзона: отвагой, воинственностью, большой подвижностью, высокой интеллигентностью. Что представляло собой величайшее государство—завоеватель древности, Рим в эпоху расширения его в пределах Италии? «Рим прежде всего—после победы плебса—завоевательное крестьянское государство или лучше государство граждан-земле-

[1] О взглядах О. Тьерри и других историков эпохи Реставрации см. Плеханов «К вопросу о развитии монистического взгляда на историю», гл. II, и его же статью «О. Тьерри и материалистическое понимание истории» (Сочинения, т. VII).

пашцев. Каждая война—это захват земли для колонизации. Сын гражданина, владельца участка земли, для которого не остается доли в отцовском наследии, борется в войске за добычу себе собственного куска земли и получение таким образом полного гражданского права» (Max Weber, Die sozialen Gründe des Untergangs der antiken Kultur, в «Gesammelte Aufsätze zur Sozial-und Witschaftsgeschichte 1924, с. 295). Германцы, завоеватели этого могучего Рима, тоже не были кочевыми пастухами. «Распространение германцев по территории Западной Европы совершалось не в виде ряда простых военных экспедиций, но в виде медленных передвижений, с более или менее продолжительными остановками, соединенными с устройством временных поселений и организацией земледельческого хозяйства. Это не были передвижения номадов, менявших одни пастбища на другие, но настоящие переселения земледельческих племен, вынужденных искать новые места для оседлого существования» (Д. Петрушевский, Очерки экономической истории средневековой Европы, с. 142). Гигантский колонизационный процесс, создавший русское государство, дело рук опять-таки не пастухов-кочевников, а землепашцев, покоривших себе, наоборот, ряд кочевых народов. Великие завоеватели средневековья, норманы, размах походов которых простирался от Исландии до Сицилии, от Северной Америки до Киевской Руси и Палестины, тоже не были номадами, а воинственными земледельцами, соединявшими с этим занятием и профессию морских пиратов.

Указывая на все эти факты, мы опять таки не забываем того обстоятельства, что имеем здесь дело не с первобытной, первоначальной историей, а с явлениями сравнительно поздних исторических эпох. Мы хотим только показать, как мало обоснован один из постулатов теории Каутского: мирный, неподвижный и т. д. характер земледельцев. В зависимости от обстоятельств времени и места земледельческий Пятница бывает то мирным и покорным, то, наоборот, весьма предприимчивым и драчливым. И с известным правом, может быть, можно сказать, что не мирный нрав крестьянина является одним из условий образования государства, а, наоборот, образование государства влечет за собой превращение воинственного землепашца в мирного, послушного крестьянина.

Теория Каутского, сказали мы, является чисто априорной конструкцией. И, заметим, конструкцией не бог весть какой прочности. Вглядимся действительно в эту схему. Допустим вместе с Каутским, что кочевые пастухи нападают на оседлых земледельцев, порабощают их себе и т. д. Как понимать этот процесс порабощения? Значит ли это, что какой-нибудь небольшой род или племя номадов завоевывает столь же относительно незначительную земледельческую общину? Конечно, нет. Дело надо себе, очевидно, представить таким образом, что об'единенная под руководством какого-нибудь предприимчивого и талантливого вождя группа кочевых племен завоевывает сравнительно обширную область, населенную некоторым количеством земледельческих племен. Но вероятно ли, что этот союз племен-завоевателей представляет собою картину первобытной демократии с ее всеобщим нивелированием, вероятно ли, что эти воинственные орды не знали внутри себя классовых делений и являлись какими-то однородными целыми? На примере завоевателей Мидии, персов, мы уже видели, как велика была диференциация среди разных племен, находившихся под водительством Кира. Такие же различия были внутри каждого племени. Геродот, называющий из всех племен главными три — пасаргадов, марафиев и маспиев, — указывает далее, что самым выдающимся из этих трех аристократических племен было племя пасаргадов, в котором, в свою очередь, самым знатным родом был род Ахеменидов, из коего происходили персидские цари. Как видим, перед нами здесь целая система, целая иерархия социальных различий. И, разумеется, то же самое было и среди монголов,

покоривших Россию, и среди турок, завладевших Византией, и т. д. Обширные социальные организации, какими являлись эти двигавшиеся в поисках добычи орды завоевателей, не могли обладать простой и однородной структурой древнейших мелких родов.

Что касается земледельцев, жертв завоевания, то, опять-таки, крайне неправдоподобно, чтобы живущие бок о бок на более или менее обширной равнине племена могли долгое время оставаться совершенно изолированными и несвязанными между собой и чтобы их только потом сколачивали в одно целое воинственные пришельцы. Лишь организованное до некоторой степени общество оседлых землепашцев с имеющимся уже налицо—пусть и примитивным—аппаратом эксплоатации населения представляет интерес для постоянного завоевания. При отсутствии такой организации и такого аппарата кочевники предпочтут, конечно, отнять что только можно у побежденных ими племен и оставить их затем в покое, а не поселиться среди них. Это настолько ясно, что и сам Каутский, касаясь теории, выводящей происхождение государства из необходимости организовать различные общины для урегулирования дела водоснабжения, вынужден признать это, хотя и с различными оговорками. «У нас нет никаких сведений о возникновении первого государства. Каждое новое образование государства, о котором упоминается в истории, происходило таким образом, что уже существующая государственная власть захватывалась завоевателями. Мы не можем знать, произошло ли первое образование государства таким образом, что племя-завоеватель создавало центральную власть, об'единявшую различные покоренные племена, или же таким, что завоеватель уже находил и лишь перенимал существовавшую и до того центральную власть, возникшую благодаря добровольному об'единению различных племен. Разумеется, наличие центральной власти способствовало образованию государства. Весьма возможно также (хотя в настоящее время я не стану этого утверждать так же решительно, как в 1887), что без существования подобной центральной власти дело не дошло бы до образования государства» (т. II, с. 211—12).

Таким образом, если выше, как мы видели, Каутский соглашался признавать наличие крупных социальных неравенств в родовой общине, не допуская, однако, возможности самопроизвольного превращения их в классовые различия, то здесь он готов уже признать факт существования центральной власти, организующей союз таких общин, отрицая вместе с тем возможность перехода ее в государственную власть. Количество у Каутского никак не может перейти спонтанейно в качество: там «непреодолимой плотиной» являлась первобытная демократия, здесь свойственная первобытным крестьянам склонность к раздроблению. И только завоевание дает тот решительный толчок, без которого человечество навсегда осталось бы на стадии до-государственных, бесклассовых общин.

Повторяем: Каутский не может привести ни одного подлинного случая образования государства и классов путем завоевания бесклассового земледельческого племени столь же бесклассовым племенем номадов. А ссылки на наблюдающиеся и теперь нападения кочевых пастухов на мирные земледельческие племена и тощие априорные построения не могут заменить такого фактического доказательства. И если что характерно для этой теории Каутского, то это проявление общей тенденции его заменять повсюду иммманентный диалектический процесс исторического развития механическим столкновением двух внешних по отношению друг к другу сил (земледельцы—кочевники), обнаруживающийся у него постоянно рецидив дюрингианства. Здесь мы имеем даже возведенное в степень дюрингианство—насилие в качестве фактора образования государства и классов. — так что сам Каутский, как мы видели, предвосхищая возможное обвинение его

в воскрешении дюринговской теории насилия, старается смягчить его указанием на то, что насилие здесь обусловлено экономически (экономические условия жизни земледельцев и кочевников об'ясняют достаток и мирный характер первых, бедность и воинственность вторых и т. д.).

VIII

Основываясь на своей теории завоевания, Каутский дает в дальнейшем с помощью ее об'яснение ряда вопросов о происхождении торговли, денег, городов, письменности и проч., переходя затем к своего рода историко-философскому очерку судеб, с одной стороны, восточных деспотий и античных демократических республик, а с другой, современных капиталистических государств. Недостаток места заставляет нас пройти мимо всех указанных больших проблем и ограничиться рассмотрением только итогов всего этого исследования Каутского.

В резюме обширной 4-й книги, в главе, являющейся окончанием начатого в первом томе комментария к Марксову «Предисловию», Каутский заявляет (II, 616), что нарисованная им картина развития классового общества совпадает по существу с теми четырьмя общественными формациями, которые намечает Маркс в этом «Предисловии» и о которых Маркс говорит, что «в общих чертах можно наметить, как прогрессивные эпохи экономического формирования обществ: азиатский, античный, феодальный и современный буржуазный способы производства». Утверждение это далеко не точно, поскольку в действительности все исследование Каутского заострено на противопоставлении древнего, основанного на подневольном труде и обреченного общества промышленному капитализму, с его принципиально неограниченными возможностями прогрессивного развития. Это противопоставление приводит Каутского к двум существенным поправкам к теории Маркса. Первая касается так называемого Каутским «всеобщего закона социальной революции», т.-е. того тезиса «Предисловия», по которому развитие общества приводит в известный момент к столкновению между рвущимися вперед производительными силами и стесняющей их оболочкою устаревших производственных отношений, столкновению, разрешающемуся путем насильственного переворота. Закон этот, — говорит Каутский, — неприменимый к бесклассовому, первобытному обществу — что по существу учтено было еще Энгельсом — неприменим и к классовым обществам Востока и древности. Древность знала ожесточенные классовые битвы, бывшие, однако, только политическими революциями, ибо они не шли дальше перемен в персональном положении отдельных классов. «Если видеть сущность социальной революции не просто в государственном перевороте, а в вытекающих из него новообразованиях, то социальная революция является детищем промышленного капитализма; неизвестная до него, она со времени зарождения его становится неизбежным средством социального прогресса. Как бы внешне ни похожи были революции прошлого на перевороты, связанные с развитием промышленного капитализма, они, в отличие от последних, вовсе не с о ц и а л ь н ы е р е в о л ю ц и и» (ib. с. 420—21).

Древние государства достигали высокой цивилизации, но повсюду цивилизация эта заканчивалась тупиком, откуда выхода не было или же, если выход и давался, то не социальной революцией изнутри, а толчком извне, в виде завоевания государств варварами. Благодаря этому исторический процесс в древности представляет собою не постоянное движение вперед, а какое-то движение по кругу, получающее свой толчок извне, а не изнутри, или, вернее, движение не по кругу, а по медленно поднимающейся спирали, ибо конечный пункт такого исторического цикла все-таки несколько выше исходной точки его. «Таков, в отличие от социльной революции,

механизм общественного развития до начала средневековья», и, значит, «то, что Маркс в 1859 г. считал всеобщим законом социального развития, представляется ныне, строго говоря, лишь законом этого развития, начиная с появления промышленного капитализма. Новые производительные силы впервые во всемирной истории впадают на исходе средних веков в столкновение со старыми имущественными отношениями. Сперва с феодальными имущественными отношениями, а затем—с прошлого столетия—с тем порядком, на котором покоится товарное производство» (ib. с. 620).

Круг или медленно поднимающаяся спираль—таков, по мнению Каутского, механизм общественного развития до начала средних веков. Но, во-первых, ясно, что круг или даже спираль не могут представлять собой «механизма» развития, т. е. движущую силу его, а лишь тип его, форму его. Круг и спираль—это только образы, имеющие целью показать фатальную обреченность древних цивилизаций, подобно тому, как образ прямой линии должен символизировать столь же обязательное, ничем не ограниченное, движение вперед капиталистических обществ. Но если даже воспользоваться этими образами круга или спирали, то нетрудно показать, что они вовсе не исключают социальной революции, а, наоборот, предполагают ее. Действительно, возьмем наименее благоприятный случай—развитие кругового типа. Оно состоит, очевидно, из двух частей, двух стадий: стадии под'ема, прогресса и наступающей после этого стадии деградации, ведущей общество к упадку и к исходному пункту цикла развития. Но движение по восходящей ветви развития может совершаться либо постепенно, эволюционным путем, либо же путем революционных взрывов, скачков. Наличие революций в классической древности Каутский не отрицает, но только признает их чисто политическими, сводящимися к смене «классового персонала», т. е. к простой передвижке классов, лишенной всяких элементов социального прогресса. Однако это последнее утверждение совершенно не вяжется с признаваемым и Каутским фактом образования в древности очень высоких цивилизаций. Движение по кругу в первой половине его это вовсе не какие-то классовые «качели», при которых наверху оказывается по очереди то один класс, то другой, а общество в целом остается на месте,—это поступательное, прогрессивное движение, и происходящие при этом революции не могут не быть социальными в том специфическом смысле, который придает этому слову Каутский. Избегнуть этого принудительного вывода можно, предположив только одно—именно, что революции в древности имели место только на нисходящей ветви развития, при декадансе его, между тем как движение под'ема общества совершалось исключительно эволюционным путем. Но это, само по себе малоправдоподобное, предложение совершенно не соответствует действительности.

Этот априорный вывод о существовании социальных революций еще и до эры промышленного капитализма подтверждается и фактами. Любопытно, между прочим, что в «Происхождении семьи, частной собственности и государства» Энгельс для обозначения процесса замены родового строя государственным употребляет выражение «социальная революция». Можно смело утверждать, что термин этот означает здесь не просто коренную—но бескровную—ломку общественного уклада, подобно тому, как мы говорим о промышленной революции 18 в., о технических революциях и т. п. Надо думать, что установление государства, закрепившего разделение общества на классы и соответствующее ему имущественное и пр. неравенство, не могло обойтись без тяжелой борьбы внутри общества, без помощи революционного насилия. И таким образом социальная революция, как ее понимает Каутский (социальная потому, что в свое время возникновение классового деления и государства было экономически прогрессивным явлением), встречает нас уже на самом пороге писаной истории.

Для Каутского, впрочем, это соображение не убедительно, ибо возникновение государства он мыслит себе совершенно иначе: там, где Энгельс видит социальную революцию, Каутский находит лишь процесс внешнего завоевания. Поэтому мы обратимся к другому историческому примеру. Седьмой и шестой века до начала нашего исчисления являются в целом ряде греческих городов-государств эпохой непрерывных революций. Опираясь на разоренное крестьянство, представители новой социально-экономической силы, представители денежного и торгового капитала вытесняют из их господствующих позиций крупных землевладельцев. Известно, каким упорством и ожесточенностью отличалась эта борьба за власть с ее различными перипетиями, с установлением тирании во многих городах, с деятельностью прославленных законодателей (как Солон, Питтак, Харонд и пр.), фиксировавшей некоторые заключительные этапы совершавшегося переворота. В Афинах, например, классовая борьба, нашедшая свое временное завершение в реформе наиболее знаменитого из названных законодателей, Солона, привела, если оставить в стороне чисто политическую и законодательную часть реформы, прежде всего к уничтожению крепостных отношений в деревне, благодаря так называемой «сисахтии» (отмене долгов). Солон далее предпринял ряд мер для содействия торговле и промышленности города: он обратил внимание на упорядочение монетного дела, заботился о насаждении ремесла в Афинах, привлекая в них законами о метеках ремесленников-иностранцев, и т. д. Неужели все эти перемены в общественном укладе Афин—перемены, бывшие результатом кровавой, длившейся десятилетия, борьбы—можно свести к чисто политической (в смысле Каутского) революции, при которой классы просто меняются местами, а общество не подымается на высшую ступень развития? Разумеется нет. Уничтожение крепостничества, торжество торгового капитала над землевладельческой аристократией, рост ремесла—все это прогрессивные экономические явления, и революция, приведшая к ним, была революцией социальной.

Мы не будем приводить других примеров из истории античного мира.

Но и сказанного достаточно, чтобы показать неправильность нарисованной Каутским схемы исторического развития древности (в которой главную роль играет, как всегда у Каутского, толчок извне, завоевание, а не развитие изнутри, одно только и обусловливающее значение этого внешнего толчка), схемы, допускающей для древнего мира только политические революции. Однако, и независимо от этого, поправка Каутского не имеет никакого смысла, ибо вместо намеченного в «Предисловии» основного—но не единственного—типа движения обществ, он подсовывает Марксу мысль о каком-то непреложном, абсолютном, «всеобщем» законе развития их. В действительности учение о социальной революции указывает только на одну—хотя и важнейшую—из альтернатив исторического развития. Наряду с ней имеются различные виды полуреволюционной смены двух хозяйственных строев. Если говорить, например, о революции буржуазии против феодального порядка, то на ряду с «французским» типом имеется и «прусский» тип ее. Маркс до того избегал «над'исторических» обобщений, так считался с конкретностью исторического факта, что в речи, произнесенной тотчас же после закрытия Гаагского конгресса I Интернационала (1872), признал даже теоретическую возможность для Англии мирного перехода от капиталистического строя к социалистическому[1], подобно тому, как, с другой стороны,

[1] Говоря это, Маркс имел ввиду, разумеется, специфические особенности Англии 70-х гг., как страны чисто капиталистической, слабо развитой бюрократически-военной машиной. «Дело шло об Англии 70-х гг. прошлого века—писал Ленин в брошюре о «Продналоге», комментируя эту мысль Маркса—о кульминационном периоде домонополистического капитализма, о стране, в которой тогда всего меньше было военщины и бюрократии, о стране, в которой тогда всего более было возможностей «мирной»

он считал мыслимым — при наличии известных условий — переход России к социализму, минуя буржуазный строй. При таком исключительном внимании к исторически-конкретному можно ли говорить о социальной революции, как об общеобязательном—по Марксу—законе общественного развития, и нужна ли здесь та поправка к нему, которую вводит Каутский, и которой он так гордится, как одной из «неизбежных и даже обязательных» по временам ревизий марксизма?

Вторая, и более существенная, поправка Каутского относится к следующему знаменитому тезису «Предисловия»: «Ни одна общественная формация никогда не погибает, прежде чем не разовьются все производительные силы, для которых она представляет достаточный простор». Если «закон социальной революции», замечает Каутский, пришлось ограничить только эпохой промышленного капитализма, то, наоборот, только что приведенное положение Маркса применимо ко всем прежним формам классового общества, за исключением промышленного капитализма и, следовательно, пролетарской революции. Дело в том, что промышленный капитализм представляет совсем иную систему эксплоатации, чем предшествовавшие ему экономические формации. Он не просто эксплоатирует массы для того, чтобы растратить продукты труда их в наслаждениях разного рода, он постоянно стремится увеличить этот продукт. В отличие от рабовладельцев древнего мира и феодалов средневековья, знавших только метод абсолютной прибавочной стоимости, промышленный капитализм присоединил к последнему метод относительной прибавочной стоимости, способствующий, благодаря применению технических изобретений, росту производительных сил. Господство рабовладельцев и феодалов неизбежно вело к гибели тех производительных сил, которыми они распоряжались. Промышленный же капитализм ведет ко все более бурному развитию производительных сил, и нельзя рассчитывать «чтобы из самого капитализма возникли противоположные этому развитию тенденции, которые неизбежным образом остановят его» (ib. с. 622). Ожидание, что кризисы окажут именно такое действие, было опровергнуто хозяйственным развитием последних десятилетий. За последние 30 лет «капитализм преодолел столько кризисов, сумел приспособиться к столь многим новым, часто совершенно поразительным и чудовищным, требованиям, что с чисто экономической точки зрения он кажется мне в настоящее время гораздо более жизнеспособным, чем полвека тому назад» (ib. с. 623). Разумеется, говорит Каутский, нельзя утверждать с достоверностью, будто невозможно, что когда-нибудь приостановится техническое и экономиче-

победы социализма в смысле «выкупа» буржуазии рабочими. И Маркс говорил: при известных условиях рабочие вовсе не откажутся от того, чтобы буржуазию выкупить. Маркс не связывал себе—и будущим деятелям социалистической революции—рук насчет форм, приемов, способов переворота, превосходно понимая, какая масса новых проблем тогда встанет, как изменится вся обстановка в ходе переворота, как часто и сильно будет она меняться в ходе переворота... Подчинение капиталистов рабочим в Англии могло бы тогда быть обеспечено следующими обстоятельствами: 1) полнейшим преобладанием рабочих, пролетариев в населении вследствие отсутствия крестьянства (в Англии 70-х гг. были признаки, позволявшие надеяться на чрезвычайно быстрые успехи социализма среди сельских рабочих); 2) превосходной организованностью пролетариата в профессиональных союзах (Англия была тогда первою в мире страной в указанном отношении); 3) сравнительно высокой культурностью пролетариата, вышколенного вековым развитием политической свободы; 4) долгой привычкой великолепно организованных капиталистов Англии—тогда они были наилучше организованными капиталистами из всех стран мира (теперь это первенство перешло к Германии)—к решению компромиссом политических и экономических вопросов. Вот в силу каких обстоятельств могла тогда явиться мысль о возможности мирного подчинения капиталистов Англии ее рабочим» (Ленин, т. XVIII, ч. I, с. 209—211. См. еще рассуждения Ленина по этому же вопросу в книге «Государство и революция» (т. XIV, ч. II, с. 327), а также доклад Сталина на XV партконференции и прения по этому докладу (Стенографический отчет, ГИЗ, 1927, с. 432—33 и 723—26).

ское развитие промышленного капитала. Но поскольку речь идет о том, вытекает ли такая пристановка необходимым образом из существа капитала и его накопления, на этот вопрос приходится решительно ответить отрицательным образом. Границы, положенные развитию капитализма, совпадают, по мнению Каутского, с границами, ставимыми расширению промышленности в любой отрасли производства тем, что она остается в зависимости от сельского хозяйства. Одностороннее развитие промышленности без соответствующего расширения сельскохозяйственного производства действительно невозможно. Но ничто не может помешать капиталу, лишь только почувствуется заминка в развитии промышленности из-за отсталости сельского хозяйства, переброситься в последнее и заняться интенсификацией его. Если бы на пути к развитию производительных сил в сельском хозяйстве стало такое препятствие, как частная собственность на землю, то могла бы быть произведена радикальная земельная реформа, которая, однако, не потрясла бы основ капитализма.

Капитализм справился не только с длинным рядом острых и хронических кризисов; он выдержал и суровое, «огненное испытание войны, и в настоящее время — с чисто экономической точки зрения — он крепче, чем когда бы то ни было. Он оправился, несмотря на величайшие безрассудства правительств и близоруких капиталистов и аграриев после войны, оправился, несмотря на безумный Версальский договор и его санкции, несмотря на инфляцию и всякого рода препятствия экономическим сношениям» (ib. с. 559). Правда, в ноябре 1926 г., когда Каутским писались эти строки, экономическое положение было мало утешительным. «Но пессимизм наших дней— своеобразно ободряет Каутский читателя—относится (поскольку он основывается на чисто экономических соображениях) не к будущему капитализма, а к будущему Европы. Задают вопрос: воскреснет ли Европа, или же она захиреет, подобно торговым городам Италии в эпоху открытий и изобретений, ведшим истребительную войну друг против друга и попавшим в зависимость от иностранцев. Они утратили полученную ими от древности экономическую супрематию, но это не означало вовсе гибели тогдашней экономики и культуры, а лишь перенесение центра тяжести ее с берегов Средиземного моря к побережью Северного моря». Точно так же и в настоящее время экономический центр тяжести может переместиться из Европы на берега Америки. Но это не будет означать вовсе гибели—или даже потрясения— мирового капитализма. Он показал свою жизнеспособность и способность приспособления в самых отчаянных положениях, и «нет таких аргументов экономического порядка, которые могли бы заставить усомниться в его живучести» (ib. с. 559).

Так, зачарованный фактами американской prosperity и явлениями стабилизации капитализма в Европе, Каутский поет теперь дифирамбы несокрушимой экономической мощи капиталистического производства. Несомненный рост американского капитализма отожествляется Каутским с новым расцветом мирового капитализма вообще, причем возможный закат капиталистической Европы невинно сравнивается с увяданием нескольких торговых городов итальянского средневековья, и совсем не упоминается о том, что европейский капитализм вовсе не намерен сдать своих позиций и готовится помериться силами со своим заокеанским соперником. Каутский также совершенно обошел молчанием такое грозное для капитализма явление, как восстание угнетенных колониальных и полуколониальных народов, подкапывающееся под самое здание его.

Однако — мог бы ответить на это сторонник Каутского — восстание порабощенных народов Востока и назревающее грандиозное столкновение Соединенных Штатов с Великобританией и ее сателлитами — это, ведь, не «экономический аргумент», это относится к ведомству политики. Разумеется,

если не диалектически отделять начисто политику от экономики и если вместе с Каутским считать, что современный капитализм является общественной формацией, обходящейся совершенно без насилия. Но на самом деле в сущность — в экономическую сущность — современной, империалистической формы капитализма входит неудержимая погоня за рынками, бешеная борьба со своими конкурентами. Ведь первая империалистская война это не какое-то случайное, внешнее по отношению к структуре европейского капитализма, явление; ведь она органически выросла из промышленного расцвета 90-х гг., который в свое время положил конец пессимистическим толкам о закате капитализма. Так же органически вырастают из теперешнего расцвета капитализма, из его экономической сущности, новые, еще более грозные, военные коллизии. Касаясь под'ема 90-х гг. прошлого века, Каутский указывает, что на основе его зародился «так называемый ревизионизм» (почему не просто ревизионизм, а «так называемый», это совершенно не понятно). Но, говорит он, даже и среди противников ревизионизма были социалисты, с тревогой спрашивавшие себя, не возникнет ли, благодаря усилению картелей, вместо социализма новая форма капитализма, своего рода капиталистический феодализм с магнатами трестов в роли феодалов.—Это и есть, тот ультра-империализм, который стал теперь символом веры Каутского, Гильфердинга, Реннера и К°. Если бы ультра-империализм не был химерой, если бы финансовый капитал был в состоянии картелироваться в международном масштабе, тогда, действительно, можно было бы говорить об имманентной, экономической непоколебимости капиталистического строя.

Сравнивая довоенный капитализм с послевоенным и находя последний более крепким, Каутский смешивает просто две вещи: рост капиталистического богатства, огромные успехи техники с прочностью самого капиталистического строя. Между тем антагонистические тенденции капитализма—как в классовом разрезе, так и в международном—выросли в огромной степени, и их нельзя вычеркивать из экономики капитализма. Нужна какая-то особая социальная арифметика, чтобы при виде всего этого считать послевоенный баланс капитализма в целом положительным и говорить об укреплении—с экономической точки зрения—капиталистического строя. Каутского не смущает и то обстоятельство, что допущение им возможного загнивания Европы прямо противоречит развиваемой им же пространно теории об установлении социалистического строя в странах цветущего капитализма [1].

Впрочем, вопрос об установлении социалистического строя получает у Каутского столь своеобразное — с точки зрения исторического материализма — решение, что мы должны остановиться на нем, хотя бы в самых общих чертах. Нарисовав картину экономического укрепления капитализма, Каутский задает вопрос: не становятся ли в таком случае безнадежными перспективы торжества социализма? Нисколько, отвечает он, если иметь в виду того, кого «Коммунистический манифест» называет могильщиком капитализма, — пролетариат. Социалистическое общество явится результатом победы пролетариата, который, опираясь на рост демократии в капиталистических странах, станет господствующей силой в государстве и возьмет в свои руки дело социализации производства. Развитие промышленных стран приводит к тому, что, параллельно усилению капиталистов в области э к о н о м и к и, пролетариат укрепляется в области п о л и т и к и. И хотя политика, с точки зрения материалистического понимания истории, является моментом надстроечным, но при известных обстоятельствах политический

[1] «Чем больше процветает и преуспевает капиталистический способ производства, тем благоприятнее перспективы социалистического строя, заменяющего капиталистический» (II, с. 591, разрядка Каутского

фактор может стать сильнее чисто экономического фактора. В передовых демократических странах Запада пролетариат близок к тому, чтобы овладеть государственной властью. И главная трудность собственно не в том, чтобы захватить власть, а чтобы удержать ее, не в том, чтобы подрубить один корень капиталистического строя—собственность на средства производства,—а в том, чтобы социализированное производство удовлетворяло потребности общества лучше, во всяком случае не хуже, чем это делали капиталисты. А это возможно лишь в странах цветущего капитализма и высоко развитой демократии. Даже при благоприятных обстоятельствах пролетарский строй должен будет всегда нащупывать почву, по которой он подвигается вперед, ибо не всегда его политическая мощь будет соответствовать предпосылкам социализма (ib. с. 596).

Правда, даже в самых передовых странах возможны явления реакционного порядка, например, временное превращение социалистического большинства в меньшинство, благодаря переходу полупролетарских элементов или даже невежественных пролетарских слоев в буржуазный лагерь под влиянием каких-нибудь демагогических обещаний буржуазных партий. Возможны и реакции, совершающиеся не демократическим путем, путем применения оружия, но «это идет по другой линии и не об этом здесь речь» (ib. с. 596). Но как ни неприятны такого рода попятные движения, они не могут остановить движения пролетариата на пути к овладению государственной властью. Демократическое государство по своему существу — орган большинства населения, т. е. трудящихся классов. Если оно становится органом эксплоатирущего меньшинства, то это об'ясняется не свойствами государства, а свойствами трудящихся классов, их раздробленностью, невежеством, несамостоятельностью или неспособностью к борьбе. Но сама же демократия дает возможность уничтожить эти корни политического господства эксплоатирующих классов. Вышеуказанными обстоятельствами об'ясняется и так называемый кризис парламентаризма. Пусть только социалистические партии станут представлять большинство населения, и демократия и парламент немедленно обнаружат величайшую творческую деятельность.

Огромную роль в деле освобождения пролетариата сыграет далее и Лига наций. Задуманная первоначально, как орудие победителей по отношению к побежденным, она практически, в жизни, оказалась представительницей идеи, которой принадлежит будущее. Ее можно сравнить с всеобщим избирательным правом, которое Бисмарк дал немецкому народу, рассчитывая этим усилить монархию, сделав ее независимой от либералов, и которое потом обратилось против династии Гогенцоллернов. Какие бы изменения в дальнейшем ни претерпела структура Лиги наций, как бы ни сложились ее судьбы, одно можно сказать с уверенностью: она необходима не только для предотвращения опасностей войны, но и для создания нового общества, которое призвано заменить капиталистический строй. «Представляя собой крупное явление уже теперь, оно обнаружит всю свою силу лишь тогда, когда приведены будут в действие элементы нового общества и во главе руководящих государств мира станут социалистически-демократические правительства» (ib. с. 611).

Такой идиллической картиной мирного, демократического врастания капитализма, под эгидой Лиги наций, в социализм заканчивается у Каутского анализ капиталистического строя. Мы говорим «мирного», ибо возможные реакционные выступления, «совершающиеся путем применения оружия», по Каутскому, не в счет: они, ведь, идут по другой, не настоящей линии. Настоящая линия—это превращение на путях демократии социалистического меньшинства в большинство, это—овладение, так сказать, «контрольным пакетом» народного представительства. Словом, большинство — меньшинство, голая избирательная арифметика вместо социологического анализа существа

буржуазной демократии—вот в чем вертится все время мысль Каутского: мы здесь снова встречаем тот атомистический, механический взгляд на общество, который мы уже отметили в гл. V, указывая на тенденцию Каутского заменять систему отношений суммой вещей. Буржуазно-демократическое государство—это необычайно сложная система общественных отношений, в существо которой входит, между прочим, и ряд приспособлений для поддержания раздробленности и невежества трудящихся классов (прикармливание верхушки рабочего класса, лживая растлевающая печать, церковь и т. д.). Для Каутского же весь вопрос исчерпывается чисто количественным противопоставлением кучки эксплоататоров подавляющей массе эксплоатируемых, а если, несмотря на свою численность, пролетариат все же не может послать в парламенты большинства для овладения государственной властью, то это собственная вина его, а не демократического государства: нечего, так сказать, пенять на безупречно чистое зеркало демократии, если отражающаяся в нем физиономия пролетарской действительности так мало привлекательна...

Но что же сделает рабочий класс, получив, наконец, большинство в законодательных органах? Он немедленно приступит к социализации крупных промышленных предприятий, но к социализации не огульной, а в порядке первоочередности. В виду такого, растягивающегося во времени, огосударствления капиталистических предприятий придется вознаградить д о с т а т о ч н ы м   о б р а з о м (ausreichend) собственников национализированных предприятий. «Если последнее не произойдет, то это будет не только несправедливо по сравнению с другими капиталистами, предприятия которых еще не созрели для социализации, но и экономически глупо. Действительно, поступая таким образом, отнимают у других капиталистов всякий интерес и желание продолжать свое дело и вкладывать в него деньги, раз они знают, что эти деньги будут у них впоследствии конфискованы» (ib. с. 435).

Маркс, как мы видели выше, готов был в 70-х гг. признать, что для пролетариата, может быть, выгоднее всего было бы «откупиться от этой банды»,—но, конечно, ему и в голову не могла прийти мысль, что подобное деловое, политическое мероприятие должно совершаться с соблюдением какого-то этического ритуала по отношению к бандитам капитала. Откупиться от разбойников это не значит вовсе заниматься актом распределительной справедливости. И делая это, Каутский обнаруживает положительно какую-то гипертрофию чуткости и щепетильности по отношению к пиавкам рабочего класса. Любопытно и другое: меру, которую Маркс считал возможной лишь для некоторых стран с слабо развитым военно-демократическим аппаратом, Каутский через 60 лет превращает в правило для левиафанов империализма с их чудовищным милитаризмом и не менее гигантской бюрократической машиной. То, что было исключением у Маркса, становится у Каутского своего рода «всеобщим законом социальной революции пролетариата»,—революции, в которой, правда, нет ни грана ни социализма ни революционности.

Впрочем, мы не должны удивляться этому своеобразному обобщению, ибо для Каутского в современном государстве не существует той военно-бюрократической машины, уничтожение которой Маркс считал первым актом восставшего пролетариата. Ведь по Каутскому промышленный капитализм, в отличие от всех прежних форм классового общества, держится только на экономическом принуждении, обходясь совершенно без военного насилия. Поэтому капитализм для защиты себя не нуждается вовсе в военной силе против рабочего класса в целом, довольствуясь только полицией против покушений на собственность со стороны люмпен-пролетариев, а иногда и против путчей некоторых доведенных до отчаяния слоев рабочих. И точно таким же образом капитализм может по существу обойтись и без

армии против внешних врагов: «Действительно, в наше время, в эпоху высоко развитой демократии, государство, окруженное демократиями и не преследующее никаких агрессивных целей, не нуждается почти для своей защиты в армии, если только институт Лиги наций будет построен более или менее рационально» (ib. с. 448). Словом, все к лучшему в этом самом демократическом из всех миров. Армии нет, бюрократии нет, империализма нет — все это чуждо «существу» современного демократического государства, подобно тому, как ему чуждо быть органом эксплоатации со стороны меньшинства. И если все-таки на наших глазах продолжается бешеная гонка вооружений и мир представляет собой пороховой погреб, как и перед 1914 г., но только еще несравненно более грандиозных размеров, то виной этому не мирная сущность капитализма, а совершенно постороннее и даже враждебное ему обстоятельство: «пусть только в России установится демократический режим и пусть она присоединится к Лиге наций, и тогда отпадет одно из величайших препятствий для всеобщего разоружения» (ib. с. 448). «Красный империализм»—вот главный враг мира всего мира. Ату же его!

Такова эта замечательная концепция «существа» промышленного капитализма, побуждающая Каутского ожидать конца его не от столкновения между производительными силами и их капиталистической оболочкой, не от того, что—как говорится в «Капитале»—«монополия капитала становится оковами того способа производства, который вместе с ней и благодаря ей достиг расцвета», а от мирной победы пролетариата, завоевывающего в современном государстве на путях политики одну демократическую позицию за другой. Любопытнее всего, что это утверждение о неиссякаемой творческой энергии капитализма высказывается тогда, когда в недавно еще классической стране промышленного капитализма, Англии, миллионная безработица сделалась перманентным бытовым явлением и когда «монополия капитала» стала здесь уже фактически, явно, оковами для дальнейшего роста производительных сил. Конечно, в силу закона неравномерного развития капитализма, как прогрессивный рост капиталистической промышленности, так и декаданс ее происходят в разных странах неодновременно. Но «страна, промышленно более развитая, показывает менее развитой стране картину ее собственного будущего»—и это относится не только к восходящей ветви развития, но и к линии нисходящей. И не даром такой крупный буржуазный экономист, как В. Зомбарт, в «ожирении», как он выражается, английского капитализма видит прообраз недалекого будущего капиталистических Соединенных Штатов и Германии (см. заключительную главу его «Das Wirtschaftsleben im Zeitalter des Hochkapitalismus»). Но то, что видит вдумчивый буржуазный исследователь, того совершенно не замечает теоретик реформизма, страшно переоценивающий—под влиянием явлений стабилизационного периода—мощь капитализма и совершенно недооценивающий силы раз'едающих его тенденций.

Еще более важное значение—с принципиальной точки зрения—имеет другой, теоретический, корень всей путаницы Каутского, именно то механическое понимание диалектики, которое проходит красной нитью через все его исследование и которое в данном случае обнаруживается в устанавливаемых Каутским отношениях между экономикой и политикой. Политика, разумеется, воздействует обратно на экономику, но это не значит, что их можно как-то отрывать друг от друга, что экономика и политика могут протекать параллельными рядами, при чем в сфере экономики будет усиливаться один класс, а в сфере политики—другой. Экономическое укрепление капитализма не может не иметь ряда политических последствий. Сопровождающий его рост богатства капиталистов означает, во-первых, рост возможности для них «подкупа» и приведения в зависимость от себя различных групп населения: тех или иных слоев рабочих, мелкой буржуазии,

интеллигенции и пр. Чем больше масса прибавочной стоимости, получаемой классом капиталистов, тем крупнее те подачки, которыми она может заинтересовать в своем существовании верхушку рабочих, кадры технической интеллигенции, профессионалов печати и политики, деятелей искусства, многочисленную челядь свою и т. д. Кроме того, усиление капитализма в сфере экономики означает также рост значения капиталистов, как превосходных организаторов хозяйства, благодаря которым увеличивается благосостояние населения, в том числе и рабочего класса. Ведь, как говорит Каутский, капиталистический способ производства, приспособленный к потребностям капиталистов, «необходим для всего общества и даже для самих эксплоатируемых при нем наемных рабочих» (ib. с. 856), пока не удастся на место его поставить другого, более выгодного, способа производства. Но от добра добра не ищут. Словом, экономическое укрепление капитализма, с какой бы стороны ни подходить к нему, означает экономическую заинтересованность в сохранении его широких кругов населения, а экономическая заинтересованность не может не найти себе более или менее адэкватного выражения в политических симпатиях и настроениях.

Заключение

На этом мы и закончим свой анализ книги Каутского, анализ, неполный в двух отношениях. Во-первых, поставив себе задачей разбор только теоретического построения Каутского, мы могли лишь мимоходом коснуться практической, политической стороны его исследования. Между тем «Die Materialistische Geschichtsauffassung», несмотря на свои 2000 страниц и педантически-школьное деление на томы, книги, отделы и главы, столько же научное произведение, сколько и политический памфлет. Как совершенно верно замечает Каутский в предисловии к первому тому, «понимание исторического материализма является теперь менее, чем когда-нибудь, чисто академической задачей» (I, с. XV). О том, что книга Каутского не является такой чисто академической работой, говорят не только его частые отклики на злобу дня, но и все обширное исследование судеб промышленного капитализма, представляющее по существу плохо завуалированную ученой и мнимо об'ективной фразеологией «агитку».

Однако и при изложении теоретической стороны книги Каутского мы вынуждены были ограничиться рассмотрением лишь наиболее важных проблем материалистического понимания истории, оставив в стороне ряд таких новшеств Каутского, как, например, особенное толкование им мысли Энгельса о прыжке из царства необходимости в царство свободы, его теорию прогресса и т. д. Впрочем, разбор позиции Каутского в этих вопросах не внес бы каких-нибудь существенных изменений в вытекающую из всего нашего изложения оценку его взглядов. И сводя воедино наши отдельные критические замечания, мы можем найти в них лишь подтверждение взятого нами в виде заглавия положения о биологическом плене теперешнего Каутского. Разумеется, источники ошибок Каутского довольно многообразны. Но все же в биологизировании социального процесса первородный, с чисто теоретической точки зрения, грех Каутского.

Вопрос об отношениях между диалектическим материализмом и биологией, или вообще естествознанием, весьма сложен. Но как бы ни решать его, одно ясно, что дело здесь не может ограничиться простым усвоением со стороны марксизма результатов стихийно-материалистического развития науки. Наоборот, в естествознание приходится внести еще свет диалектики, естествознание еще надо завоевать для диалектического материализма. Конечно, от Каутского, при обосновании им материалистического понимания истории, совершенно не требовалось это завоевание для марксизма биологии. Но раз

он счел необходимым для своего построения привлечь данные науки о жизни, то совершенно недопустимо было то механическое перенесение в обществознание биологических понятий, какое характеризует его исследование. Вся дедукция первого, основного, тома испорчена тем, что ключом к об'яснению исторического процесса служит биологическая схема среды и приспособляющегося к ней индивида. Мы не говорим о том, что еще спорно, достаточна ли эта модель для об'яснения всей картины биологического развития, и не следует ли включить в нее и факта взаимопомощи, социальности. Но с той поры, как человечество обособилось от животного мира и возникло совершенно своеобразное явление человеческого общества, изучение последнего с помощью схемы, в которой отсутствует как раз момент общественности, становится совершенно немыслимым. Мы не в состоянии, понятно, указать точной даты, когда в биологической эволюции человека наметился разрыв и она приняла характер исторического процесса, подобно тому, как мы не можем определить момента, когда в мире физико-химических изменений количество перешло в новое качество—жизнь—или же в истории жизни, в свою очередь, прокинулось тоже новое качество—психика. Но это не меняет того факта, что для науки об обществе социальность—это перводанное, социальность—то особенное качество, которое придает ей ее специфичность. В главу угла здесь должна быть положена не связь: индивид—среда, а связь: индивиды (т. е. общество, коллектив)—среда. А общество в его отношении к окружающей среде—это прежде всего трудовая, производственная ассоциация, ибо, как указывается еще в первоначальном гениальном наброске материалистического понимания истории, «первым историческим актом этих индивидов, которым они обособляются от животных, является не то, что они мыслят, а то, что они начинают производить средства для своего существования». (Маркс и Энгельс о Л. Фейербахе, «Архив К. Маркса и Ф. Энгельса», т. I, с. 214). От производственной ассоциации, а не от индивида, и нужно тянуть нить исследования при построении системы исторического материализма. Бо́льшая часть теоретических злоключений Каутского в первом томе его работы имеет своим корнем это пренебрежение специфически социальной стороной исторического процесса и подведение его под тип общебиологической эволюции.

Столь же пагубным оказалось для второго, специального, тома исследования Каутского понимание им диалектики, как взаимодействия совершенно посторонних друг другу факторов. При рассмотрении целого ряда важнейших проблем—в вопросах о происхождении классов и государства, о гибели древних государств, о конце капитализма и т. д.—место внутреннего, имманентного развития занимает всегда какой-нибудь внешний по отношению к этому развитию момент: в первых двух случаях война, завоевание, в вопросе же о ликвидации капитализма—политическое усиление пролетариата, идущее каким-то загадочным образом нога в ногу с экономическим укреплением буржуазии. Мы ни на минуту не забываем сугубо практической тенденции этого подмена марксовой диалектики лжедиалектикой противоборствующих сил, но теоретическое оправдание его Каутский нашел все в той же некритически заимствованной биологической модели: индивид—среда, по образцу которой он построил свою концепцию диалектического процесса.

Понимание исторического материализма является теперь не одной только академической задачей и всякое искажение основоположной теории Маркса и Энгельса становится величайшей помехой для роста социализма. Такой помехой и является, несомненно, последняя работа Каутского, с ее произведенной в духе биологизма ревизией исторического материализма.

ДОКЛАДЫ В ОБЩЕСТВЕ

Б. Горев

Чернышевский и революционные войны[1]

Товарищи, мне кажется, что тема сегодняшнего доклада—Чернышевский и революционные войны—должна иметь двойной интерес. Во-первых, она принадлежит к числу тех юбилейных тем, этот доклад—один из тех юбилейных докладов, которым посвящается нынешняя неделя о Чернышевском, и мне кажется, насколько я знаком с литературой по Чернышевскому, что выбранная мной тема является новой, что все авторы, писавшие о Чернышевском, каких бы точек зрения они ни придерживались, с каких бы точек зрения они ни рассматривали Чернышевского, не ставили этой проблемы—отношения Чернышевского к революционным войнам и вооруженным восстаниям. Мало того, идя сюда, я просматривал только что вышедшие два огромных тома, занимающих в общей сложности почти тысячу триста страниц, капитальной работы Стеклова, посвященной Чернышевскому, и вот о революционных войнах (как и о войнах вообще) я нашел всего около двух страниц, это в такой, можно сказать, исчерпывающей работе. Никто—ни Плеханов, ни целый ряд других, которые писали по этому вопросу, не подходили к Чернышевскому с этой стороны. Между тем, подобно всем другим великим революционерам XIX—XX веков, которые интересовались проблемами войны и революционной войны в частности, несомненно, и Чернышевский уделял им огромное внимание. Если до сих пор к нему не подходили с этой точки зрения, то, мне представляется, потому, что у самых широких кругов историков и других исследователей эта проблема войны не занимает того места, которое она должна занимать у историков-марксистов, историков-революционеров. Таким образом, это — одна сторона моей задачи, — ознакомить с той областью работы Чернышевского, которая до сих пор не была обследована. Но вместе с тем мне кажется, что настоящая тема имеет и другой интерес, не только юбилейный, а в высокой степени актуальный. Действительно, самая проблема революционных войн стоит теперь на очереди исторического дня, так, как она в эпоху II Интернационала никогда не стояла. Так вот, чрезвычайно интересно проследить, как прошлые революционные войны середины XIX века трактуются в освещении такого первоклассного мыслителя и революционера, как Чернышевский, потому что опыт прошлых революционных войн вовсе не является темой только академической, только исторической. Достаточно указать, что вооруженная борьба в городе, как показали такие события, как гамбургские баррикады, как кантонское восстание и т. д., отнюдь еще не отжила свой век. Достаточно указать на известные планы французской полиции и французской военщины в так называемом плане «ЗЕТ». Вы знаете, что этот план «ЗЕТ» серьезно учитывает прошлый исторический опыт с точки зрения реакции, конечно, определенно учитывает опыт июньских дней 48 года и опыт Парижской коммуны, чтобы решить как выгоднее всего направить реакционные войска про-

[1] Открытое заседание комиссии по изучению вооруженных восстаний и революционных войн 30 ноября 1928.

тив будущего пролетарского восстания. Я считаю, что если реакционеры, наши прямые враги, учитывают опыт прошлых восстаний, то тем более должны этот опыт учитывать мы. Если всякий военный историк и военный теоретик знакомится с историей прошлых войн, то в настоящее время в не меньшей степени нужно знакомиться и с историей революционных войн, которые имеют, несомненно, повторяю, огромное значение для овещения событий текущего дня. Мы видим, например, что Чернышевский уделяет большое внимание знаменитой партизанской эпопее Гарибальди. Мы знаем не только из опыта нашей гражданской войны, не только из опыта других гражданских войн, но мы глубоко убеждены, что всякая будущая война, как война классовая, будет, несомненно, сопровождаться, партизанским движением. Поэтому я считаю, что изучение, внимательное исследование теории партизанских войн должно занять подобающее место в исследованиях историков-марксистов, то место, какое оно занимало и у Ленина.

Итак, мне представляется эта тема, повторяю, важной и интересной в двух отношениях: как юбилейная тема, как лишний штрих для характеристики того великого революционера, каким является Чернышевский, и как тема о революционных войнах в освещении Чернышевского.

Прежде всего, товарищи, несколько общих замечаний о том, как Чернышевский вообще относился к войне. У нас имеются очень интересные данные, благодаря опубликованию его студенческого дневника, которые протягивают непрерывную нить в эволюции его революционного миросозерцания. На основании этих данных, мы теперь можем видеть, как развивались его революционные взгляды, начиная с того момента, когда он осознал себя, как революционер, то-есть с пятидесятого года, когда ему было 22 года, и вплоть до его ареста и до его смерти.

И вот чрезвычайно интересно, что Чернышевский еще в одном отношении является великим родоначальником русских революционных традиций, а именно он был прямым и откровенным пораженцем по отношении к русскому царизму. Вы знаете, что пораженчество, в котором так обвиняли в 1914—17 гг. Ленина и большевиков, было общей чертой всех русских революционеров в 1905 году, когда даже некоторые будущие кадеты были стыдливыми пораженцами. Родоначальником этой традиции и был Чернышевский. Вот, что писал Чернышевский в своем дневнике под впечатлением событий революции 48—49 гг. Когда во Франции, как ему казалось один момент, в 49 году, левые демократы во главе с Ледрю Ролленом были близки к победе, и Ледрю Роллен поехал на юг к альпийской армии, Чернышевский-студент записывал в дневнике:

«Эх, если бы с альпийскою армией Ледрю Роллен пошел на Париж и война против нас, Германия к Франции приступила бы и нас назад, эх, это бы хорошо!».

В другом месте по поводу войны русского правительства Николая с революционной Венгрией он пишет следующее:

«Друг венгров, желаю поражения там русских и для этого готов был бы самим собою жертвовать» [1].

Но этого мало. У нас имеются воспоминания его товарища по каторге Стахевича, воспоминания, которые недавно полностью опубликованы, где он рассказывает, как Чернышевский читал товарищам один из первоначальных вариантов своего романа «Пролог». И в том месте, где шла речь о Крымской войне (это место потом в печати было очень сильно смягчено), Чернышевский, по воспоминаниям Стахевича, писал так:

«Все наши реформы, как произведенные, так и предстоящие—мишура, о которой не стоит говорить. Если бы союзники взяли Кронштадт... нет,

[1] «Литературное наследие», т. I, с. 431 и 441.

Кронштадт мало... если бы союзники взяли Кронштадт и Петербург... нет, и этого мало... если бы они взяли Кронштадт, Петербург и Москву, ну тогда пожалуй у нас были бы произведены реформы, о которых стоило бы поговорить»[1].

Вот поразительно яркая картина пораженчества. А что Чернышевский был русским патриотом, подлинным патриотом в революционном смысле этого слова, в том смысле, как и Ленин, когда писал свою знаменитую статью «О национальной гордости великороссов»,—в этом не приходится сомневаться. Значит, Чернышевский не был врагом России, а был человеком, который желал счастья России при помощи военного поражения.

И наконец, после каторги, в одном из писем к жене из далекой Вилюйской ссылки, где он утешал ее тем, что ссылка увеличит его популярность и будет содействовать знакомству народных масс с его революционными идеями, он предвидел грядущее неизбежное вовлечение царской России в войну, в военное столкновение с западными народами и при этом высказал следующие пророческие слова:

«Бедный русский народ, тяжело придется ему в этом столкновении. Но результат будет полезен для него. И тогда, мой друг, понадобится ему правда», т. е., другими словами, русский народ потерпит поражение, и тогда, когда можно будет и нужно будет говорить правду, вспомнят о Чернышевском.

Так относился Чернышевский к войнам царской России. Но как относился он к войне вообще, к войне, как к социальному явлению? У него есть несколько высказываний на этот счет. Иногда ему кажется, что война в сущности противоречит развитию промышленности. Здесь он повторяет Сен-Симоновские традиции. Сен-Симон высказал ту мысль, что война есть наследие феодализма, что во время капитализма она должна быть заменена мирной конкуренцией. Вы знаете, что эти традиции продолжал и Бокль. Отдал им дань и Чернышевский. Но есть у Чернышевского и другие мысли о войне, гораздо более решительные и глубокие, частично приближающие его и в этом отношении к точке зрения современного революционного марксизма. Вот, что он писал в 57 году, по случаю войны, которую Англия вела в Ост-Индии[2].

«Человеку трудящемуся разорительна всякая война; полезна для него только та война, которая ведется для отражения врагов от пределов отечества. Совсем не таковы выгоды английского министерства и людей, разделяющих с ним управление английскими делами».

Правда, еще думает Чернышевский, что с усилением влияния фабрикантов и их «манчестерской» партии, заинтересованной в мирной торговле, «новый принцип», т. е. принцип невмешательства в дела других государств, будет усиливаться. Но, прибавляет он,—и это является наиболее существенным,— «еще значительнее то изменение, которое будет внесено в эти дела прямыми интересами трудящегося класса,—манчестерская школа не есть еще полная их представительница. Когда трудящийся класс приобретет решительное влияние на английские дела и образуется опытностью в них настолько, что будет судить сообразно интересам труда, а не внушением людей, чуждым этим интересам, Англия совершенно откажется от всяких войн вне пределов своих. Когда таково же будет положение других европейских стран, исчезнет всякая возможность войны между ними. Но до того времени войны неизбежны, хотя совершенно противны прямым интересам каждой из воюющих наций».

---

[1] Чернышевский. Сборник статей, документов и воспоминаний изд. полит каторжан, 1828, с. 71.

[2] Сочинения, т. III, с. 521.

Вот перед нами, прежде всего, облик Чернышевского в его общем отношении к войне. Но, товарищи, Чернышевский имеет значение не только в своих политических взглядах на войну; он высказывает неоднократно чрезвычайно умные и ценные суждения по части технической стороны войны. Нет никакого сомнения, что Чернышевский был знаком с общими принципами военной стратегии и тактики. Но откуда он их приобрел? Если Энгельс служил в молодости вольноопределяющимся и оттуда получил известный военный импульс, а в 49 году был непосредственно одним из активных деятелей южно-германской революционной армии, если Бланки использовал свой тюремный досуг для изучения истории войн и военного дела, то откуда у Чернышевского был и интерес к проблемам войны и несомненные военные знания?

Мне кажется, что вполне удовлетворительный ответ мы получим, когда вспомним, что в числе политических друзей Чернышевского, в числе тех политических друзей, полных и неполных единомышленников, которые составляли его кружок, был целый ряд революционно настроенных офицеров, в том числе и офицеров генерального штаба. Среди них был Обручев и польский офицер Сераковский, который потом был выведен в «Прологе» под фамилией Соколовского; они несомненно были очень близкими Чернышевскому людьми и проводили у него иногда целые часы в обсуждении революционных планов, и от них, конечно, он заимствовал определенные военные знания.

Здесь уместно напомнить, особенно товарищам военным, вот о каком интересном факте. Чернышевский в 1858 году был приглашен в редакторы только что основанного тогда прогрессивного военного журнала «Военный Сборник». Были и другие редакторы, были военные специалисты, но из друзей Чернышевского. Тогдашнее военное министерство, под впечатлением поражений в Крымской войне, настолько нуждалось в некоторой реорганизации офицерского аппарата, что в своем либерализме,—а военное министерство тогда было одним из наиболее либеральных,—утвердило Чернышевского в звании редактора «Военного Сборника». А Чернышевский в 1858 году был уже известен, и, во всяком случае, либералы и Катков в «Московских Ведомостях» нападали на него достаточно энергично. Мало того, когда военная цензура написала донос на этот журнал, обвиняя его в революционных мыслях и настроениях, то военный министр поручил Чернышевскому составить оправдательную докладную записку для представления ее царю. В собрании сочинений Чернышевского сохранился первоначальный подлинный текст записки Чернышевского. Затем министр попросил Чернышевского несколько смягчить эту записку, потому что в таком виде нельзя было подать ее царю. Чернышевский смягчил, но это не помогло, и он сам, не ожидая отставки, ушел из этого журнала, чтобы не компрометировать его своим присутствием, чтобы не навлечь на него кары. Но и во время своего короткого пребывания в этом журнале Чернышевский сделался его душой. Журнал стал не только передовым военным органом, где давалась всесторонняя критика всех недостатков старой армии, но он стал и передовым органом политической мысли. Что Чернышевский хорошо знал, что у нас в России имеется довольно много прогрессивного и даже сочувствующего революции офицерства, это видно из его знаменитой прокламации «Барским крестьянам», где он говорит крестьянам: «А вот кому еще поклонитесь—офицерам добрым, потому что есть и такие офицеры, и немало таких офицеров. Так чтобы солдаты таких офицеров высматривали, которые надежны, что за народ стоять будут, и таких офицеров пусть солдаты слушаются, как волю добыть».

Мне представляется, что этих предварительных замечаний достаточно, чтобы прежде всего выяснить общее отношение Чернышевского к войне,

к войне России в частности, и чтобы показать тот источник, откуда он мог черпать военные знания. Я думаю даже, что когда он писал свои военные обзоры, о которых я сегодня буду говорить, он, может быть, советовался в области специально военно-технической со своими друзьями-офицерами генерального штаба.

Теперь я перейду непосредственно к теме своего доклада. Какие революционные войны получили отражение в работах Чернышевского? Это, прежде всего, тот великий эпизод гражданской войны во Франции в 1848 году, которую Маркс назвал самой ужасной из гражданских войн—войной труда с капиталом, это июньские дни 1848 года. Чернышевский посвящает им часть своей знаменитой статьи «Кавеньяк», написанной в 1858 году. В дальнейшем своем изложении, товарищи, я буду, где это возможно, где это материал мне представляет возможным сделать, сравнивать Чернышевского с Марксом и Энгельсом в их высказываниях по поводу одних и тех же событий. Это будет интересно, потому что это поможет оттенить, с одной стороны, как проницателен был Чернышевский, а с другой стороны—это выявит те расхождения, которые были у Чернышевского с Марксом и Энгельсом. О работах их, а тем более, конечно, об их переписке, он в то время не имел никакого понятия, и поэтому все его мнения были самостоятельны и оригинальны.

Так вот, по поводу июньских дней Чернышевский говорит следующее. Прежде всего он характеризует июньское восстание, как абсолютно стихийное восстание—без плана, без программы, без вождей. И характерно, он почему-то считает, что именно это обстоятельство и сделало июньское восстание особенно страшным для буржуазии. Он говорит об этом следующими словами: «Именно отсутствием влияний, чаще всего пробуждавших беспокойства во Франции, июньское междоусобие отличается от других парижских междоусобий; в этом отсутствии обыкновенных элементов мятежей и заключается тайна громадной силы, обнаруженной инсургентами июньских дней, и ужаса, произведенного этою резнею... Массы шли на битву без всяких предводителей... Чего хотели они?... Это было темно для самих инсургентов, и тем страшнее казались их желания противникам. Чего же они хотели, если не были даже коммунистами? Отчаяние—вот единственное об'яснение июньских дней» [1].

Это первое, на что мы обращаем внимание.

Затем характерно, что Чернышевский здесь уже проявляет то свойство, которое он впоследствии проявлял неоднократно—полное отсутствие сентиментальной фразы, сентиментальных восклицаний по адресу политических классовых врагов, строго-холодную об'ективность и спокойствие. В статье о Кавеньяке он говорит, что Кавеньяк, как военный полководец, проявил себя превосходно, его план был блестящ, он проявил себя не только своим блестящим военным планом, но его непреклонным выполнением, необычайной твердостью воли, полным отсутствим снисхождения. Чернышевский говорит, что Кавеньяк, как военный, был безупречен, он был безупречен и как частный человек, он безусловно честный человек, своеобразный Вашингтон либеральной партии, но он совершил крупнейшую ошибку, как политик, причем совершил эту ошибку вместе со всей партией. В чем была его ошибка? Ошибка была в том, что, когда на второй день восстания, 25-го июня, восставшие убедились, что дело серьезно, что им будет невозможно преодолеть сопротивление противника, и отправили делегацию к Кавеньяку, обещая сдаться, если будет обещана амнистия, Кавеньяк потребовал безусловной сдачи. Чернышевский пишет, что инсургенты должны были понять, что это означало. Это означало расстрелы, тюрьмы, массовые

[1] Соч., т. IV, с. 21.

высылки. И этот ответ Кавеньяка вдохнул в рабочих новую решимость отчаяния, и именно 26-го июня, т. е. на третий день восстания, рабочие дрались с удвоенной силой, со стиснутыми зубами, 40 тысяч против 120-тысячной армии. Знатоки военного дела, по словам Чернышевского, утверждают, что если бы не превосходный план Кавеньяка, то «при всякой другой системе борьбы инсургенты на некоторое время, по всей вероятности, овладели бы всем Парижем» [1].

Следовательно, выводы такие: восстание было без плана и без вождей, восстание было стихийным, в этом была его страшная сила, этим оно пугало господствующие классы, так как они привыкли видеть во всяком восстании вождя и программу, это—во-первых. Во-вторых, восстание проявило изумительное упорство, героизм и мужество восставших, и, наконец, третий вывод делает Чернышевский, что Кавеньяком была совершена политическая ошибка. Он говорит, что, если бы Кавеньяк и тогдашние его хозяева согласились на переговоры, если бы они дали инсургентам амнистию, то тем самым можно было бы избежать тех ужасных кровопролитий, которые имели место, и рабочие видели бы в них не своих заклятых врагов, а, наоборот, миротворцев, и это им помогло бы идейно, политически овладеть массой. Он говорит, что предстояла еще борьба с Наполеоном, и им нужно было спасти республику, а более искренних республиканских союзников, чем рабочие, нельзя было найти. Наоборот, Маркс, как известно, считал впоследствии, что только на костях июньских борцов могла буржуазия утвердить свое господство. Если потом буржуазия отдала власть Наполеону, то в глазах Маркса это не было противопоставлением либеральной буржуазии деспотизму, потому что Маркс понимал, что Наполеон с самого начала был об'ективно слугой этой же самой буржуазии. Для Чернышевского же, который здесь стал на точку зрения революционного демократизма, борьба с Наполеоном была настолько важна, что ради нее буржуазия должна была помириться с пролетариатом, по его мнению. Здесь мы видим две точки зрения, которые вытекают из разного социального опыта. У Маркса, когда он писал о классовой борьбе во Франции 48 года, был такой огромный классовый опыт, что он дал ему гораздо больше проницательности в этом вопросе, чем Чернышевскому, который его иметь не мог.

Второе: неправ был Чернышевский, когда он думал и писал (а так думал не только он, но и огромное большинство историков) о полной стихийности восстания, о его бесплановости. Между прочим, если бы это было действительно так, то, строго логически говоря, мы себе не могли бы представить, как абсолютно стихийное, бесплановое восстание могло держаться в течение трех дней против втрое сильнейшего врага, как оно могло проявить такое упорство. И, действительно, мы имеем прямое свидетельство Энгельса, который в «Новой Рейнской газете» дал военный обзор этого восстания. Энгельс говорит там совершенно определенно, опираясь на хорошо, очевидно, известные ему сведения, что июньское восстание отнюдь не было стихийным; оно, конечно, не было так организовано, как могла быть организована армия или заранее составленные партизанские отряды, но это восстание имело определенный план и определенного военного вождя. Этого Чернышевский не знал и, очевидно, не узнал никогда.

Военным вождем и организатором восстания Энгельс называет бывшего офицера Керкози, друга Распайля, т. е. вышедшего из кругов, близких к Бланки. План восстания Энгельс считает вполне правильным, но видит в нем одну ошибку: восставшим не удалось прорваться в центр Парижа и захватить ратушу. Впрочем, как и Чернышевский, Энгельс полагал, что восставшие рабочие были близки к захвату Парижа.

---

[1] Там же, с. 22.

«Достойно удивления, писал Энгельс, как быстро рабочие освоились с операционным планом, как дружно работали они рука об руку, как ловко сумели они использовать запутанную территорию. Это было бы совершенно необ'яснимым, если не припомнить, что рабочие были организованы по-военному и разделены по ротам уже в национальных мастерских, так что им пришлось лишь применить свою промышленную организацию к военной деятельности, чтобы образовать сейчас же вполне расчлененную армию».

Что же касается Керкози, то буржуазия «может его расстрелять, но не в силах помешать, чтобы его имя вошло в историю, как имя первого фельдмаршала баррикад»[1].

Лишним доказательством того, что июньское восстание было не таким стихийным, как думал Чернышевский, служит и отношение к нему Бланки. Бланки в конце 60-х годов написал свою, недавно открытую и опубликованную у нас, известную инструкцию к вооруженному восстанию. В этой инструкции к будущему вооруженному восстанию он первую часть посвящает жестокой военно-технической критике июньских борцов. Если бы восстание было совершенно стихийно, то смешно было бы его критиковать, однако он его критикует, критикует определенные ошибки его руководителей. Таким образом, Бланки знал, что восстание руководилось хотя и мало известными людьми, но людьми, знающими военное дело. Что касается идейных вождей, то сам Бланки сидел тогда в тюрьме, а другие, как напр., фурьеристы, струсили, жалко лепетали о необходимости призывать массы к спокойствию и т. д. Поэтому у массы крупных вождей не было, в частности, не было людей, вышедших из кружка Бланки. Это, очевидно, и дало повод Чернышевскому считать восстание стихийным. Вместе с тем характерно, что уже в 1858 году Чернышевский рассматривал июньское восстание не только как политический факт, но и как факт военный. Он тоже полагал, что повстанцы могли победить, и главную их беду видел в том, что они составляли лишь, как мы бы теперь сказали, актив парижского пролетариата, лишь его авангард. Масса парижских рабочих, писал Чернышевский, те, которые в своих семьях молча скорбели, молча переносили горечь своих поражений, или те, которые имели или надеялись получить работу,—те не примкнули к повстанцам. Значит, эти 40 тысяч человек—это был авангард, который не поднял на активную борьбу самых глубоких масс.

С этой мыслью о боевой пассивности масс, как о решающем факторе поражения народных восстаний, нам еще придется встретиться у Чернышевского.

Следующий момент, когда Чернышевский заинтересовался революционными войнами, были события 1859—60 гг. в Италии.

Я прежде всего в двух словах должен отметить,—так как это случай, который не скоро больше встретится,—общее отношение Чернышевского к австро-французской войне, так называемой итальянской кампании 1859 года.

Чернышевский, так же, как и Маркс, с величайшим презрением относился к Наполеону III, и считал своей первой политической обязанностью беспощадно разоблачать его итальянскую политику, разоблачать его хитрость, лицемерие, грубое своекорыстие в этом деле и т. д. Почему Чернышевский считал нужным это, стоило ли об этом говорить? Стоило ли говорить о том, что Наполеон воевал не для свободы Италии? Но ведь внутренние события во Франции были таковы, что Чернышевский должен был обратить на это внимание. В самом деле, Чернышевский указывает на следующий факт: «Парижские простолюдины,—так Чернышевский называл пролетариат,—вся французская армия думают, что война имеет революционный

[1] Энгельс—Статьи и письма по военным вопросам, с. 3 и 9.

характер; поэтому и восторг, ею возбужденный в солдатах и в работниках, уже принял оттенок, из которого должны возникнуть столкновения, когда факты покажут простолюдинам и солдатам, что они ошибались. Толпы волонтеров и работников ходят по улицам Парижа с революционными песнями, которых не слышно было с 1850 года. Во французском лагере в Пьемонте над всеми криками в честь императора и в честь Италии господствует марсельеза. С криком «да здравствует император!» часто смешиваются крики «да здравствует республика!» [1].

И поэтому, когда мы говорим об отношении Чернышевского к революционным войнам, мы должны остановиться также и на том, как он разоблачает мнимо-революционную войну, затеянную Бонапартом для обмана народа, как он развенчивает ее фразеологию, вскрывает ее истинную сущность, и т. д. Это делается прямо-таки мастерски. Чернышевский анализирует речи Наполеона, брошюры, которые ходили в то время по Парижу, прения в национальном собрании и поразительно верно предсказывает, что Наполеону нежелателен вовсе разгром Австрии, что он очень скоро с ней помирится, что он стремится не к освобождению Италии, а к подчинению ее Франции. При этом Чернышевский приводит его прокламацию, где говорится о том, что он будет водворять порядок в Италии, решительно бороться со всякими волнениями, охранять папский престол и т. д.

Затем, интересно отметить другое, как Чернышевский в сравнении с Энгельсом отнесся к поведению Австрии в этой войне. Мне представляется, что в этом частном вопросе Чернышевский оказался проницательнее, дал более глубокий политический анализ, чем Энгельс. В самом деле, Энгельс и в 1859 г. и позже, в 1870 г. утверждал, что австрийские солдаты дрались великолепно,—это, впрочем, подтверждает и Чернышевский,—и что причиной поражения Австрии были лишь ошибки генералов. Правда, он прибавляет, что ошибки генералов часто были связаны с действиями придворной камарильи, но у него нет при этом ни слова о всем социальном строе и политической системе Австрии. Одиннадцать лет спустя, в 70-м году Энгельс блестяще развил такой анализ по отношению к Франции Наполеона III, где он предсказал ее поражение именно на основании оценки ее политического строя, но он не сделал этого по отношению к Австрии, не сделал того, что мастерски сделал Чернышевский. По Энгельсу выходит, что не будь ошибок генералов, австрийцы могли бы победить. Чернышевский же, как только как только война была об'явлена, поразительно точно и уверенно предсказывает, что при первом же походе Австрия потеряет все свои итальянские земли. Чернышевский еще не знал в то время способностей генералов, не знал их будущих ошибок, так как еще не было сражений, но он сделал такое предсказание на основании анализа австрийской монархии. Что ему здесь помогло, и чего не было у Энгельса? Ему здесь помогла аналогия с Россией. Надо сказать, что в гениальных политических обзорах, которые писал Чернышевский об итальянской кампании, он имел в виду не только об'ективное освещение событий на Западе, но все время имел в виду и аналогию с Россией, он как бы прямо намекал своим читателям, что хотя пишется о Западе, но дело идет о России. И то, что Чернышевский писал и рассказывал своим товарищам по каторге, что для серьезных реформ в России нужно еще большее поражение, чем то, которое имело место в Крымскую кампанию,—это же он писал в своих легальных статьях об Австрии, а именно, что нужно еще большее поражение, чтобы Австрия действительно всколыхнулась. Таким образом, в своих статьях об Австрии он все время имел в виду Россию, все время, повторяю, у него была аналогия с русским царским правительством, которая и дала ему такое глубокое понимание австрийских дел.

[1] Сочинения, том V, с. 178—179.

что он видел не только «ошибки» генералов, — они, по его словам, вели войну так, как будто хотели, чтоб их побили,—он видел всю невероятную бестолковщину, царившую в австрийской армии, видел преступно-пренебрежительное отношение всей военной организации к солдатам и все это приписывал не ошибкам отдельных генералов, а особенностям всего социально-политического строя Австрии. Он указывает, что в Австрии имеется господство касты, господство аристократии и чудовищно развитого бюрократизма, что это убило в народе всякую самодеятельность, что верхи общества и чиновничество отделились от народа китайской стеной, что при таком положении вещей и солдаты не могли сознавать себя гражданами.

Поэтому, с одной стороны «союзники вовсе не нуждались в победах, чтобы гнать неприятеля и отнимать у него область за областью, одну линию обороны за другой: австрийцы вели войну так, что казалось, будто они дают сражения собственно только для формы, в угождение военному обычаю, наперед решившись отдавать свои позиции и области, хотя бы неприятель и не мог отнять их силою, а главное, решившись не делать ничего такого, что могло бы вести к победе над врагом». Ибо, продолжает Чернышевский, «битвы давались со стороны австрийцев самым нелепым образом: они как будто нарочно заботились, чтобы войска их являлись в сражение изнуренные голодом, не имели пищи для поддержания своих сил во время боя, и чтобы неприятель имел полный, беспрепятственный простор совершить маневры, нужные для раздробления их армии». И в другом месте: «Причины бессилия австрийской армии лежат в самом устройстве государственного организма... Трудно победить австрийскому войску, но если бы оно и одержало какую-нибудь победу, от этого ни мало не переменился бы ход войны», так как солдаты оставались бы такими же изнуренными, голодными и забитыми, а командиры такими же бездарными [1].

А, с другой стороны, как могла бы победить Австрия, если, как сообщает венский корреспондент английской газеты «Times», «хотя жители Вены ожидают, что австрийская армия одержит преимущество над союзниками, но очень многие из них думают, что дурно было бы для государства, если бы оно одержало решительную победу» [2]. При таком ярко выраженном пораженческом настроении австрийского населения, вполне естественно, не могла быть выиграна война. Чернышевский прекрасно это понимал, исходя из русских внутренних отношений. Поэтому его анализ итальянской кампании и оказался гораздо более глубоким, чем одновременный и последующий анализ Энгельса, который такую же проницательность, повторяю, блестяще проявил по отношению к бонапартовской Франции.

Но эта итальянская война отличалась одной особенностью: с самого начала, вместе с войсками французов, послушным орудием которых было войско Пьемонта и Виктора Эммануила, появился третий, особый фактор, появился Гарибальди и его знаменитый партизанский отряд. Надо сказать, что появление Гарибальди было с энтузиазмом встречено всей русской революционной молодежью. Русская революционная молодежь бредила Гарибальди, он был ее героем, она видела в его борьбе прообраз будущей русской революции, которая вступит в ожесточенную борьбу против царизма. Чернышевский, с одной стороны, отражал это настроение, а с другой,— сам его возбуждал.

При первых же известиях о подвигах гарибальдийцев в северной Италии, Чернышевский отнесся к ним с исключительным вниманием, теплотой и сочувствием. «Как ни громка победа при Мадженте, писал Чернышевский, как ни увлекательно подействовало на массу публики занятие Милана союзни-

---

[1] Том V, с. 307 и 312.
[2] Там же, с. 315.

ками, но с гораздо большей любовью останавливаемся мы на удивительных подвигах волонтеров Гарибальди в северной Ломбардии, и если бы мы могли, эту часть военных событий мы изложили бы с наибольшею подробностью и тут не было бы того холодного недоверия к людям и событиям, за которое осуждают более нас счастливые способностью видеть белым черное... Мы считаем действия волонтеров Гарибальди заслуживающими самого точного изучения не по одному только уважению к этим истинно благородным людям... нет, их судьба приковывает к себе наше внимание и потому, что собственно только их сила могла бы служить неизменною опорою для независимости Италии»[1].

Это отношение к Гарибальди Чернышевский сохранил до самого конца его героической эпопеи. И здесь, в оценке Гарибальди, мы снова видим некоторое расхождение между Чернышевским, с одной стороны, Марксом и Энгельсом, с другой, что об'ясняется различием точек зрения, с которыми они подходили к Гарибальди.

Чернышевский в отношении Гарибальди выступал, как страстный революционер-демократ, Маркс и Энгельс выступали, как убежденные пролетарские социалисты. В чем это сказалось? Маркс и Энгельс с самого начала отнеслись к Гарибальди несколько скептически. Это я беру из переписки Маркса и Энгельса. Они, конечно, сочувствуют Гарибальди, желают ему успеха, называют его «молодец», «браво, молодец» и т. д., но в то же время у них проскальзывают скептические нотки. Например, Маркс говорит, на основании разговора с одним бывшим немецким офицером, находившимся в отряде Гарибальди, что Гарибальди только, в сущности говоря, начальник повстанческого отряда, что Гарибальди неспособен вести настоящую войну, что для большой войны его таланта недостаточно. Дальше Маркс говорит, что его военные способности выделяются лишь по сравнению с таким пигмеем, каким является «маленький племянник», т. е. Наполеон III, «хотел бы я его посмотреть,—пишет Маркс,—на ряду с великим стариком», т. е. Наполеоном I. Далее, Маркс и Энгельс (как, впрочем, и Чернышевский) считали, что соглашение, компромисс Гарибальди с Кавуром, означало бы его политический конец. Но в то время, как Чернышевский безусловно верил в его политическую выдержку, Маркс и Энгельс относились к нему иногда подозрительно. А когда он приехал в Лондон и сделался на 2 недели забавой аристократических салонов, Маркс и Энгельс в своей переписке, отмечая то глупое положение, в котором он очутился благодаря своей политической наивности, как будто выражали даже злорадство по этому поводу. Окончательный вывод Энгельса (в одном из писем к Марксу), был таков: «Гарибальди просто буржуазный демократ». Но в том то и дело, что при тогдашнем состоянии революционной борьбы в России для Чернышевского это был не минус, а плюс. Россия нуждалась в демократической революции, и Чернышевский всякого демократа-революционера считал величайшим союзником, хотя он сам был глубоко убежденным социалистом. Для Маркса и для Энгельса революционный демократизм был превзойденной ступенью, это было нечто, к чему они относились со скептической критикой, с придирчивой критикой. В этом и коренилось отличие взглядов Чернышевского от взглядов Маркса и Энгельса на военный талант Гарибальди. Для Чернышевского крупнейший военный талант Гарибальди—вне сомнения. И здесь он высказывает целый ряд очень интересных мыслей военного характера. На них я немножко остановлюсь, потому что они имеют огромное значение для настоящего времени.

Прежде всего, в чем, по мнению Чернышевского, главная военная заслуга Гарибальди? Заслуга эта заключается в быстроте действий и в умении

[1] Там же, с. 239.

скрывать свои планы не только от врага, но даже от единомышленников, от своего собственного штаба, для того, чтобы эти планы не просочились. В этом секрет его успеха. Он всегда появляется внезапно и именно там, где его не ждут. Целыми днями бродят неприятельские войска в поисках этого легендарного вождя повстанцев, и всегда он появляется там, где меньше всего его можно было ожидать.

Чернышевский чрезвычайно подробно описывает его героический переход из Сицилии в Южную Италию. Он очень подробно рассказывает, какими военными хитростями сопровождался этот переход. Все его ближайшие помощники считали, что он высадится в определенном месте, которое казалось вполне естественным, и где противник укрепился и собрал войска. И вот, совершенно неожиданно он появляется, переправляя на рыбачьих лодках свой отряд, там, где его не ожидали.

Затем идет легендарный поход на Неаполь, который правительство сдало без боя, боясь подвергнуть бомбардировке английские магазины. Относительно действий Гарибальди после взятия Неаполя Чернышевский высказывает мнение, прямо противоположное мнению Маркса и Энгельса, которые думали, что Гарибальди не годится для большой войны. Весь поход на Неаполь и дальнейшие бои, по мнению Чернышевского, определенно показали, что отряд Гарибальди способен к большой войне. Мало того, говорит Чернышевский, этот поход решил чрезвычайно важную и интересную проблему, проблему самого значения партизанской войны. Может ли партизанский отряд в наше время быть серьезной военной силой? спрашивает Чернышевский и говорит: да, может. Может ли партизанский отряд так усилиться, чтобы вести настоящую, большую войну? Может. И это показали действия Гарибальди после взятия им Неаполя.

Чернышевский рассказывает о том, как Гарибальди с ничтожными силами в 2—3 тысячи человек разбил 70-тысячную неаполитанскую армию. Чернышевский считает это прямо чудом, неправдоподобным фактом, который тем не менее совершился. Каким путем? Во-первых, благодаря определенному характеру неаполитанских солдат, затем благодаря отчаянной храбрости отряда Гарибальди, наконец, благодаря особой военной ловкости и таланту Гарибальди. Он употребил целый ряд военных хитростей, высылая маленькие отряды в погоню за неприятелем, чтобы замаскировать слабость своих сил, оттянуть время, получить подкрепление, и эти хитрости, этот метод непрерывной маскировки своих сил и действий, наряду с безумно смелыми натисками и ударами, помогли ему победить неаполитанскую армию.

Конец этого похода Гарибальди известен, это был конец не военный, а политический. Тот самый Кавур вместе с Виктором Эмануилом, которые были его смертельными врагами, которые старались на каждом шагу сорвать его революционно-патриотическую кампанию, которые даже конфисковали миллион, собранный по всенародной подписке на вооружение повстанческой армии, которые вредили Гарибальди, как врагу,—они в последнюю минуту решили использовать лавры Гарибальди и сами предприняли поход против неаполитанского правительства и армии. И здесь оказалось, что население решило лучше отдаться под власть настоящего короля, который как будто делает то же самое дело, чем продолжать участвовать в рискованной партизанской войне под начальством Гарибальди. По этому поводу Чернышевский говорит, что Гарибальди был политически побежден, исчерпав все свои силы, но избежав того политического падения, того компромисса, в возможности которого подозревали его Маркс и Энгельс.

Теперь ряд сооружений, чрезвычайно важных для нас, относительно характера того населения, которое сочувствовало Гарибальди. Прежде всего Чернышевский начинает с того вопроса, чем об'яснить такое чудо, что 3 тысячи волонтеров разбили целую большую армию? Он об'ясняет это тем,

что неаполитанские солдаты никогда не видели подлинного врага, вся их война была с мирными жителями, они были натасканы на истребление мирного населения. И вот, когда они встречались с настоящими храбрыми солдатами, о которых шла по Италии легендарная слава, — они шарахались, как стадо баранов. Это было, говорит Чернышевский, настолько неправоподобно, что неаполитанское правительство после поражения под Палермо предало суду участвовавших там генералов и офицеров, считая, что они опозорили себя. Чернышевский подробно анализирует все их действия и приходит к выводу, что неаполитанские офицеры вели себя в общем вполне прилично, были добросовестными слугами своего короля и никаких особенно грубых ошибок не сделали. Но что же им было сделать, если у них армия, которая воюет только с женщинами и детьми, а против героического, смелого партизанского отряда Гарибальди она не в состоянии бороться? С другой стороны, Чернышевский, указывая на те бурные проявления восторга, с которыми население Сицилии и Южной Италии встречало Гарибальди, указывая на то, что оно прямо молилось на него, отмечает в то же время, что этот восторг был в значительной мере платонический, что драться это население не умело. При первых известиях о восстании в Сицилии, Чернышевский в мае 1860 г. с радостью констатировал, что оно разрушает установившееся мнение, будто забитый подневольный народ не способен к восстанию. Как правильно указывает Стеклов во втором томе своей работы, Чернышевский тут имел в виду Россию: значит, и русский народ, такой же забитый, такой же бедный и угнетенный, как итальянский, тоже способен к восстанию. Но Стеклов не указывает на то, что всего 2 месяца спустя Чернышевский уже пишет следующее: «два месяца тому назад, еще не имея сведений о способе войны, которую вели сицилийцы до прибытия Гарибальди, мы полагали, что следует считать этих инсургентов очень храбрыми солдатами. Но теперь, когда дело раз'яснилось, мы видим, что совершенно ошибались во мнении о их боевой готовности. Правда, каждый из них сам по себе человек смелый, но не было у них решительно никакого подготовления к военному делу. Положение сицилийцев было в этом отношении беспримерно между европейскими народами. Везде вы найдете довольно много людей, бывших в военной службе, имеющих какое-нибудь понятие о военной дисциплине, сколько-нибудь знающих, что главное дело в походе—сохранять присутствие духа, а в битве—помнить, что треск ружейных выстрелов вовсе не так опасен, как шумен, что из сотен пуль попадает лишь одна, что истинная опасность постигает солдат лишь тогда, когда они смешаются» [1].

Это место поразительно напоминает тот абзац в прокламации Чернышевского «Барским крестьянам», который оказался вычеркнутым.

Покровский: Теперь известно, что это место вычеркнуто было предателем Костомаровым.

Вот это место:

«А еще вот о чем, братцы, солдат просите, чтоб они вас учили, как в военном деле порядок держать. Муштровки большой вам не надо, чтобы там в ногу итти по-солдатски, да носок вытягивать,—без этого обойтись можно, а тому надо учиться вам, чтобы плечом к плечу плотнее держаться, да команды слушаться, да пустого страха не бояться, а мужество иметь во всяком деле, да рассудок спокойный, значит, хладнокровие. Что вам надо узнать, что покуда вперед прешь да плотно держишься, да команды слушаешься,—тут мало вреда терпишь; только тогда и опасность большая бывает, когда дрогнешь, да мяться начнешь, да еще коли побежишь назад; ну, тут уже плохо дело. А покуда вперед идешь, мало тебе пушка вреда

[1] Там же, с. 579—580.

делает. Ведь из сотни-то ядер, разве одно в человека попадает, а другие все мимо летят. И о пулях тоже надо сказать. Тут грому много, а вреда мало».

Таким образом, во-первых, какого бы мнения ни держаться относительно того, вся ли прокламация целиком написана Чернышевским, но это место, во всяком случае, безусловно написано им. А во-вторых, ясно, что опыт Гарибальди,—при чем у меня нет никакого сомнения на тот счет, что в этом деле Чернышевскому помогли его друзья офицеры, потому что у Чернышевского самого такого опыта не было и быть не могло,—так вот этот опыт Гарибальди Чернышевский перенес на будущее русское восстание, использовав этот абзац почти полностью в прокламации «Барским крестьянам», где он говорит о том, что нужно готовиться к вооруженному восстанию и призывает крестьян учиться военному делу у солдат или бывших солдат.

В оценке этой же итальянской войны, товарищи, и походов Гарибальди Чернышевский проявил с особой силой, остротой и блеском свойственное ему глубокое понимание законов гражданской войны. Подобно тому, как Чернышевский рассуждал о Кавеньяке, он с таким же хладнокровием и спокойствием говорит о реакционных итальянских генералах. Вот один поразительный пример. Рассказывая о том, как неаполитанский генерал Руссо расстреливал в Мессине мирное население, избивал стариков, женщин и детей и т. д., Чернышевский вместо соответственных демократических излияний на счет гнусности этого генерала и т. п., что сделал бы всякий другой на его месте, говорит, что он видит в этом совершенно неизбежный закон гражданской войны. Этого генерала обвинять нельзя. Может быть, он был лично очень мягкий человек, вероятно, он и сам жалел, что истребил такое количество невинных людей, но в данном случае он должен был так поступить. И далее Чернышевский пишет следующее:

«Мессинцы спокойны, но они тайком посылают помощь инсургентам; итак, они враги, а врагов, по правилам военного искусства, следует истреблять или, по крайней мере, запугивать страшными примерами, чтобы они не смели шевельнуться». Мало того, для генерала Руссо эти «безоружные мирные граждане... хуже всяких неприятельских солдат: с неприятелем можно и примириться, и подружиться, а между людьми неаполитанской системы и сицилийцами невозможно примирение. Их отношениям нет другого исхода, кроме истребления той или другой стороны»[1].

Вот неумолимый закон гражданской войны: истребление, прямое физическое истребление той или другой стороны. Здесь мы видим то же самое, что год с лишним спустя писала «Молодая Россия» об истреблении всей императорской партии.

Вообще Чернышевский беспощадно бичует всех тех, кто не умеет в революционной войне довести дело до конца. Это значит дать врагу возможность оправиться и проделать над революционерами все то, чего они в свое время не сделали по отношению к этому врагу.

Перехожу к последней части моей темы, т. е. к тому эпизоду из истории революционных войн, который называется гражданской войной в Соединенных Штатах. Чернышевский был арестован почти в начале этой войны, летом 1862-го года. Как вы знаете, война продолжалась еще два года, поэтому мы в данном случае для сравнения взглядов Чернышевского и Маркса должны пользоваться статьями и письмами Маркса только до того времени, когда Чернышевский был арестован. И если раньше я отмечал, что между Чернышевским и Марксом были расхождения в оценке тех или иных революционных войн или вождей, то здесь я должен с глубоким удовлетворением констатировать поразительное совпадение мыслей обоих великих писателей.

[1] Том VI, с. 532. Разрядка моя—*Б. Г.*

Мне пришлось читать статьи Маркса о гражданской войне в венской газете «Die Presse», перепечатанные частично т. Рязановым в 1912 году в венском журнале «Der Kampf». Первые две корреспонденции Маркса были написаны в начале гражданской войны и датированы октябрем и ноябрем 1861-го года. И вот Маркс говорит здесь об историческом значении выборов президента Линкольна почти буквально то же самое, что сказал Чернышевский еще год тому назад в ноябрьской книжке «Современника» за 1860-й год, как только результаты выборов стали известны. Вы знаете, что Маркс считал гражданскую войну в Соединенных Штатах событием всемирно-исторической важности. Предвидя ее, Чернышевский писал по поводу победы республиканской партии: «Это факт, едва ли уступающий своею значительностью итальянским событиям двух последних лет... 6-го ноября 1860 года, день, когда победа осталась на стороне партии, имевшей своим кандидатом Линкольна, этот великий день—начало новой эпохи в истории Соединенных штатов, день, с которого начался поворот в политическом развитии великого северо-американского народа. До сих пор над его политикой господствовали южные плантаторы, люди знатные и гордые своею знатностью. Их партия называется теперь демократической, но в сущности она была олигархической. Теперь землепашцы Севера и Запада,—землепашцы в буквальном смысле слова, люди возделывающие землю своими руками,—впервые сознали в себе силу обойтись без опеки южных олигархов и управлять Союзом».

Этот факт, по мнению Чернышевского, в конце-концов приведет к уничтожению невольничества черных,—«невольничества, которое лежало гнетом на всей жизни северо-американского народа, пятном на доброй славе его. А добрая слава северо-американского народа важна для всех наций при быстро возрастающем значении Северо-американских штатов в жизни целого человечества» [1].

И вот в дальнейшем, в течение всего 1861 года, Чернышевский, говоря об американских событиях, дает главным образом политический анализ того, что случилось в Соединенных Штатах.

Здесь я должен сделать небольшое отступление относительно того материала, которым пользовался Чернышевский. Дело в том, что Чернышевский, как он сам говорит, имел в своем распоряжении сравнительно очень небольшой иностранный материал и больше всего он пользовался корреспонденциями наиболее богатой и осведомленной английской газеты «Таймс». По отношению к итальянским событиям она вела себя сравнительно весьма об'ективно и беспристрастно. И Чернышевский для того, чтобы отвлечь внимание цензуры и дать читателю огромный фактический материал, перепечатывал из этой газеты десятки и десятки страниц. Этот материал представляет собою в настоящее время незаменимый первоисточник, содержательный и составлявшийся с большим знанием дела.

Но когда дело дошло до гражданской войны в Соединенных Штатах, газета «Таймс», отражая настроения господствующих классов Англии, стала сразу на сторону южных рабовладельцев и повела отчаянную кампанию против Севера. Но на этот раз Чернышевский, сожалея, что ему приходится опираться попрежнему, главным образом, на фактический материал этой же газеты, который использовала и вся влиятельная континентальная печать, конечно, относился к этому материалу в высшей степени критически. И приходится только удивляться, до какой степени, опираясь на нередко лживую и тенденциозную информацию врагов, Чернышевский проявил свойственную ему политическую проницательность, которая помогла ему притти буквально к тем же выводам, к которым пришел и Маркс. А ведь Маркс имел в своих руках колоссальную литературу исторического, экономического и газетного

[1] Том VI, с. 730—731.

материала и дал в своих первых корреспонденциях документальную историю последних двадцати лет Соединенных Штатов.

У Маркса вопрос идет о том, будут ли двадцать миллионов свободных северян подчиняться олигархии трехсот тысяч южных рабовладельцев, будут ли огромные пространства Союза служить новой базой для расширения рабовладения. Начавшаяся гражданская война для Маркса—это «борьба двух социальных систем». При этом Маркс разоблачает лицемерие пограничных штатов, которые формально примкнули к Северу, якобы во имя сохранения единства Союза, а на самом деле тайно сочувствовали южанам, которые открыто провозгласили принцип рабского государства.

Маркс пришел к этим выводам во-первых потому, что он был Марксом, а во-вторых, на основании изучения громадного исторического материала. У Чернышевского же, как мы знаем, была под руками только газета, явно сочувствовавшая южным плантаторам, и лишь изредка к нему проникали попадавшие в газеты корреспонденции и письма северян. И тем не менее он пришел буквально к тем же выводам, к каким пришел и Маркс. Для нас эти выводы, этот классовый анализ войны представляются теперь совершенно естественными. Но не так было дело тогда, и даже не для всех оно стоит так и теперь. Так, например, в известном труде профессора Военной академии Свечина говорится, что война велась за целостность американского Союза, и, таким образом, вместо классовой основы войны выдвигается основа формально-государственная. Так в свое время и ставился вопрос в изображении северян, часто не понимавших классового смысла происходившей войны, а также южан, которым выгодно было выдвинуть лозунг борьбы за демократию и автономию. И этому лицемерному лозунгу поддались тогда многие демократически настроенные элементы Европы. Даже Герцен, как известно, писал, что для него обе воюющие стороны одинаково мало симпатичны. Ибо если южане воюют за рабство негров, то северяне, по мнению Герцена, воюют за политическое рабство государственного единства и государственной централизации. Таким образом, в глазах Герцена, который считал себя большим сторонником политической свободы и независимости, для него стремление Севера принудить южан подчиниться общим государственным законам стояло на одном уровне с рабовладельчеством южан. Маркс же и Чернышевский разоблачали классовую сущность борьбы, доказывали, что, по сути дела, это борьба рабовладельцев против свободных крестьян. Но кроме того, на Севере была и крупная буржуазия, был промышленный капитализм, который вел себя двусмысленно в этой войне.

Чернышевский доказывал неоднократно, что сущность борьбы заключается именно в невольничестве. Он говорил, что крайние аболиционисты Севера признают за южанами формальное и юридическое право отделиться. Суть спора была не в том, а в том что южные плантаторы и рабовладельцы хотят навязать свою волю свободному Северу, хотят рабовладельческое господство своей плантаторской касты перенести на Север. Южане много лет господствовали над страной и теперь, когда они политически свергнуты, они хотят сохранить этот порядок какими угодно средствами, вплоть до войны. Так ставил вопрос Чернышевский.

Чернышевский, так же, как Маркс и Энгельс, обвинял северян в том, что они ведут борьбу нерешительно. Интересно при этом отметить эпизод в переписке Маркса и Энгельса, где Энгельс, под влиянием первых поражений северян, впал в пессимизм и писал, что северяне неспособны воевать, что они жалкие трусы и мещане, а южане прекрасно организованы в военном отношении, между тем как Маркс оставался убежденным в конечной победе Севера. Энгельс был военным специалистом, а Маркс им не был, но зато Маркс подошел к вопросу с точки зрения более глубокого анализа и писал Энгельсу, что северяне вынуждены будут прибегнуть к революционным

средствам ведения войны. В числе этих средств для устранения южан Маркс называл образование негритянского полка из свободных негров, живших на территории Севера.

Как же оценивал ход событий Чернышевский? Он систематически из месяца в месяц критикует северян за их половинчатость, он борется против всяких компромиссов, он считает Линкольна самым умеренным представителем республиканской партии, готовым на любую уступку, на любой компромисс. Чернышевский высказывает опасения, как бы южане не сдались слишком скоро; он предпочитает продолжительную войну, так как если южане скоро сдадутся, то северяне пойдут на уступки, в результате будет гнилой компромисс, и все останется по старому. Чернышевский убежден в конечной победе Севера, если южане будут сопротивляться, а северяне не будут избегать решительных мер. Если Маркс говорит о негритянском полке из свободных негров, то Чернышевский идет еще дальше. Приведя рассказ одного северо-американского офицера о том, что произошло в городе Бьюфорде, откуда бежали белые (белые и в расовом и в современном политическом смысле этого слова), рассказ о том, как в городе вспыхнуло восстание негров, которые произвели в нем неслыханный разгром, приведя также мнение этого офицера, что грустно и больно смотреть на то варварство, которое совершили негры,—Чернышевский сопровождает этот рассказ в высшей степени хладнокровным и характерным для него замечанием: «Подробности, в нем сообщаемые, важны тем, что показывают, какой быстрой гибели подвергнутся инсургенты (т. е. взбунтовавшиеся против союзного правительства южные плантаторы), если продолжение войны заставит союзное правительство призвать негров к восстанию» [1].

Из этого, товарищи, еще раз явствует как глубокий демократизм Чернышевского, так и его полная и безбоязненная решимость итти в классовой войне на самые крайние средства.

В заключение отмечу еще один момент. В переписке Маркса и Энгельса обсуждается поведение генерала Мак-Клеллана, который был одно время главнокомандующим северных войск и который в конце-концов был смещен. Маркс, указывая на то, что Мак-Клеллан—представитель пограничных штатов, подозревает его в политическом лицемерии и считает, что неправильно было вручать командование возможному тайному единомышленнику южан. А вот что пишет о нем Чернышевский: «Если он не предатель, то он—полководец не очень искусный; если он не обманул северное правительство, то неприятельские генералы обманули его». И далее: «из этого извлекается североамериканцами правило (правду сказать, какое новое правило!), что ведение дела не следует отдавать в руки людей, несочувствующих делу» [2].

Вот, товарищи, этим маленьким штрихом я и заканчиваю характеристику отношения Чернышевского к гражданской войне в Соединенных Штатах.

Политическая деятельность Чернышевского оборвалась как раз тогда, когда, с одной сторны, эта война приобрела особенно упорный характер, а с другой стороны в тот момент, когда подготовлялось польское восстание. К польскому восстанию Чернышевский тоже имел косвенное отношение, потому что целый ряд польских офицеров, будущих вождей восстания, вышли из кружка Чернышевского. Недавно в «Правде» был помещен фельетон бывшего секретаря Чернышевского, периода его астраханской ссылки. Там рассказывается, что когда один из посетителей Чернышевского заговорил о польском восстании 1863 года, Чернышевский прочитал целую военную лекцию, указывая на те ошибки, которые привели восстание к поражению.

---

[1] Том VIII, с. 529.
[2] Том IX, с. 227.

Подвожу итоги. Этот уголок деятельности Чернышевского прежде всего еще раз характеризует его нам, как великого революционера, как великого революционного демократа. Конечно, Чернышевский был глубоким и убежденным социалистом, хотя в его социализме было еще много элементов утопизма, но по отношению к задачам, стоявшим перед тогдашней Россией, он был прежде всего революционным демократом, последовательным до конца, не боящимся никаких решительных мер. В нем был несомненно зародыш настоящего политического вождя. Недаром он на каторге, говоря с одним из своих товарищей и посмеиваясь, как это было ему свойственно, сказал: а ведь у Робеспьера со мной много общего. В личной жизни Чернышевский, как и Робеспьер, был гуманнейшим и деликатнейшим человеком, но в политике он мог быть беспощадным, он мог стать русским Робеспьером.

Это один вывод из нашего анализа. Другой вывод таков: Чернышевский считал, что всякое восстание только тогда имеет шансы на победу, если оно сколько-нибудь подготовлено, если оно сколько-нибудь организовано. И в частности, если среди будущих повстанцев имеются люди, умеющие обращаться с оружием и способные вести коллективно и дисциплинированно вооруженную борьбу.

Таков его вывод из опыта итальянских походов Гарибальди. Это же он писал в своей прокламации «Барским крестьянам». И это еще раз сближает Чернышевского с величайшим революционером нашей эпохи, с Лениным. Вспомните ту борьбу по поводу вооруженного восстания, которую в течение всего 1905-го года вели большевики с меньшевиками. Меньшевики говорили, что достаточно пролетариату вооружиться идеей вооруженного восстания, а большевики настаивали на том, что нужно быть подготовленным технически, что надо иметь оружие и учиться обращаться с оружием, что надо уже теперь образовать военные группы и кружки, зародыш будущих повстанческих отрядов. Далее, взгляд Чернышевского, что восстание будет обречено на неудачу, если не будет создано военно-технического кадра, если не будут использованы бывшие солдаты, этот взгляд развивал и Ленин в своих фрагментах о подготовке вооруженного восстания, опубликованных в «Ленинских сборниках», и эта же проблема стоит теперь перед революционным пролетариатом всех капиталистических стран.

Таким образом я думаю, что взгляды Чернышевского на революционные войны и вооруженные восстания заслуживают того, чтобы с ними ознакомились не только люди, которые хотят изучать Чернышевского, но и наши молодые военные специалисты. И я выражаю здесь пожелание, товарищи, пожелание которое я уже высказал в печати, но которое пока не встретило отклика,—может быть, в присутствии М. Н. Покровского я буду иметь больший успех,—я бы хотел, чтобы все отрывки Чернышевского, посвященные революционным войнам и войне вообще были изданы отдельной книгой. Это было бы лучшим подарком Красной армии по случаю столетнего юбилея Чернышевского (аплодисменты).

Т. Свечин[1]. Я прошу только 5 минут, чтобы ответить по вопросу, по которому я был упомянут. В юбилейные дни необходимо сохранить способность к трезвому суждению, и для оценки Чернышевского необходимо использовать ту историческую перспективу в 67 лет, которая отделяет нас от событий, получивших оценку от Чернышевского, как от современника. Т. Горев указал, что в моем курсе, при описании гражданской войны, еще не изжит взгляд на нее, как на войну за нераздельность Соединенных Штатов. Север мог восторжествовать в этой войне, только опиарясь на ту классовую ненависть, которую возбуждали рабовладельцы-плантаторы Юга в рабочих промышленных штатов Атлантического побережья и крестьянах

[1] Исправленная стенограмма. *Ред.*

степей Запада. Лозунг освобождения рабов являлся существенной частью политики Линкольна, так как двигательной силой, мускулами Севера в этой войне могли быть только рабочие и крестьяне. Но, рассматривая эти события в широкой исторической перспективе, нельзя закрывать глаза и на другую сторону событий, на то, что Север преследовал и другие, более важные для его буржуазии цели, что предметом эксплоатации для буржуазии может являться и классовое воодушевление крестьян и рабочих. Откуда составилось большинство, избравшее Линкольна президентом? Из отказа буржуазии Севера поддержать плантаторов Юга, явно стремившихся к государственному расколу, который угрожал фабрикантам Севера потерей богатейшего рынка и источника сырья. Был ли выдвинут Севером сразу же вопрос о ликвидации рабовладения? Нет, только тяжелые неудачи на фронте заставили Линкольна полностью искать поддержки у рабочих и крестьян. Россия поддерживала Север, Англия и Франция—Юг; эта группировка внешнеполитических отношений была ли обусловлена вопросом о рабовладении, или вопросом о покровительственных пошлинах и о нарождающемся американском империализме? Конечно, популярность—большая или меньшая—романа «Хижина дяди Тома» Бичер Стоу не играла в отношении европейских государств к гражданской войне в Америке никакой роли, решающее значение имела заинтересованность в рынках и сырье Юга. Наконец, какой же сдвиг произвела эта война? Север произвел революцию в вопросе рабовладения, но революцию исключительно на вывоз, в пределах Юга. Основной же исторический сдвиг, произведенный войной, заключался в победе централизма, в победе сторонников покровительственной таможенной системы, обозначавшей торжество интересов американских промышленников над интересами производителей технического сырья, в смене правительства крупных землевладельцев правительством крупного капитала, в утверждении всех основ американского империализма. Рабочие, преимущественно европейские эмигранты, и американские фермеры, сражаясь против рабовладения, пришли к цели, которая для них едва ли была ясна. Исторически их классовое воодушевление оказалось использованным буржуазией для достижения других результатов. Поэтому всемерно подчеркивая в своем курсе классовую природу военных событий гражданской войны в Америке, я все же думаю, что ход истории не дает нам права совершенно отворачиваться от той стороны явлений, которая была с самого начала подчеркнута официальным наименованием «война за нераздельность Соединенных Штатов».

Тов. Покровский, М. Н. — А. А. Свечин, очевидно, упускает из виду именно то, что привело к войне. Нужно себе представить экономическую картину штатов 40-х и 50-х годов. Рабовладельческие штаты были в совершенном тупике. Почва была сильно истощена. Например, Виргиния превратилась в рабский завод, она производила рабов для других штатов, где почва не была еще истощена, но где дело было очень близко к этому, и перед Южными штатами, которые, как всем известно, явились нападающей стороной стал вопрос—как же быть дальше. Единственным выходом из тупика, куда попало рабовладельческое хозяйство,—это было анексия для рабовладения Западных штатов, и война между Севером и Югом шла именно из Западных штатов. С одной стороны, эти западные штаты нужны были свободным северным фермерам. Эти сквоттеры представляли ту демократическую Америку, выразителем которой был Линкольн. Конечно, не следует этих «сквоттеров» идеализировать,—это мелкие буржуа, это отнюдь не пролетарии, само собой разумеется, нельзя ожидать от них, чтобы они стали создавать социализм и т. д. Это типичный мелкий буржуа, но это крепкий демократический мелкий буржуа,—это действительно тот американец, о котором в нашей юности мы мечтали, и которой, на теперешнего американского трестовика совсем не похож. Даже американские не марксисты отмечают, что сквоттерская Аме-

рика это одно, а Америка трестов—другое. Все теперь изменилось. Этому сквоттеру тоже нужны были западные штаты. И борьба шла между фермерами-сквоттерами, которые хотели своим трудом вспахать почву, и Югом, который хотел вспахать эту почву руками негров, не находившими себе приложения в старых штатах, в Виргинии в особенности. Вот из-за чего шла борьба. Напал Юг, который готовился к войне, они все боевые припасы, все оружие притянули к себе, и Север остался без припасов. Это напоминает нашу гражданскую войну, когда индустриальный центр создал все необходимое для войны своим трудом, создал оружие, благодаря своей индустрии. Индустрия оказалась сильнее чем у Юга, несмотря на то, что вначале у них не было никаких запасов. В конце концов, военная техника оказалась выше, чем она была у южан. Почти все офицеры и генералы были с Юга. Это известная вещь, вся Академия Военная (американская) была наполнена сынками плантаторов. Так что все военные знания, все военное вооружение, все военные спецы—были южане.

В. Горев. (Заключительное слово). Я всецело присоединяюсь к тому, что говорил М. Н. Покровский, но я хочу указать еще и другое, что ведь промышленники Севера тоже были заинтересованы в сохранении южных плантаций хлопка, они уже начинали конкурировать с Англией, и им могло казаться невыгодным уничтожение рабского труда на плантациях. Далее, и Маркс говорит о том, что речь шла о новых территориях, которые хотели захватить южане для расширения своей рабовладельческой базы. Я, конечно, не отрицаю того факта, что умеренные республиканцы единственным лозунгом войны выставляли единство Союза. Это значит, что или они сами не отдавали себе отчета в классовом характере борьбы, или они просто закрывали от себя и других истинную сущность борьбы. Лозунгом сохранения целостности союза они хотели прикрыть компромисс. И Линкольн на это шел, он готов был сохранить рабство в южных штатах, лишь бы оно не распространялось за пределы этих штатов. А крайняя партия, которой сочувствовал Чернышевский, стремилась во что бы то ни стало окончательно уничтожить господство рабовладельцев, которые десятки лет управляли Соединенными Штатами. А. А. Свечин говорит, что ведь потом не было в Соединенных Штатах никакой революции. Но гражданская война и была революцией, только революцией буржуазной. Маркс так на нее и смотрел, что это—своеобразная буржуазная революция, освободившая мелкую и крупную буржуазию от гнета южных плантаторов и рабовладельцев, которые в Соединенных Штатах играли ту же роль, какую играли дворяне в европейских странах, какую играли в России русские помещики-крепостники. И когда Чернышевский говорил об американских рабовладельцах, он несомненно имел также в виду и русских крепостников, русских плантаторов. Наконец, эту же буржуазную революцию в Америке, открывшую собою эпоху гигантского экономического прогресса Соединенных Штатов, имел несомненно в виду и Ленин, когда, говоря о будущей буржуазно-демократической революции в России, он противополагал «американский путь развития»—«прусскому» пути, т. е. пути, сохранявшему и помещичье землевладение и политическую власть юнкеров-помещиков.

Абстрактные политические лозунги часто прикрывают классовую сущность борьбы. Эту классовую сущность вскрыл Маркс, на то он и Маркс. Но она вскрыта и Чернышевским. Она вскрыта с такой яркостью, что нам надо удивляться не тому, что Чернышевский оставался все-таки частично утопистом и историческим идеалистом, не это удивительно для тех исторических условий, в которых он вырос и действовал, а нам надо удивляться тому, что несмотря на все это Чернышевский неоднократно так поразительно приближался к марксистской точке зрения (Аплодисменты).

В. Дитякин

Курс истории торгового капитализма в ВУЗАХ

(Методические заметки).

I

Одной из основных задач своей работы Общество Историков-Марксистов правильно избрало методическую разработку вопросов постановки исторических курсов в ВУЗ'ах; работа эта тем более значительна, что в ряде наших советских ВУЗ'ов далеко еще не изжит установленный десятками лет шаблон. В этой работе—три основных момента: а) собирание программно-методического материала по работе в нашей и наиболее интересного в работе западноевропейской высшей школы, б) критический анализ его с точек зрения марксистской методологии и содержания и методической выдержанности, и в) построение новых программ. Собрание имеющегося программного материала сильно затруднено тем обстоятельством, что лишь очень немногие руководители исторических курсов в наших ВУЗ'ах опубликовывают программы своих лекций (и совсем почти нет публикаций самих лекций), тем интереснее и поучительнее разработать и подвергнуть критике эти немногочисленные публикации. Одной из них—«Программе по истории Западной Европы эпохи торгового капитализма» для студентов Восточного Педагогического Института (в г. Казани), составленной проф. В. Ф. Смолиным [1], мы и посвящаем настоящие методические заметки.

Каковы цели курса «эпохи торгового капитализма», каков должен быть его об'ем и как должно быть построено его содержание—вот основные вопросы, встающие при приступе к проведению этого курса, при этом эти общие методические вопросы в условиях специализации наших ВУЗ'ов должны быть рассмотрены еще под углом зрения специфических з а д а ч каждой отдельной группы ВУЗ'ов: факультетов общественных наук (ФОНов) педагогических учебных заведений (Педвузов, в УССР—ИНО), экономических вузов (Инст. Нар. Хоз.). В данном случае речь пойдет именно о Педвузах.

Задача курса может быть определена так: дать студентам характеристику основных процессов в области экономики, классовых отношений, политической организации и идеологии эпохи, соответствующую данным новейшей исторической науки и построенную в диалектическом развитии этих процессов. Эта о б щ а я характеристика должна носить историко-социалистический характер, основываясь на фактах конкретной истории отдельных стран не столько в их исторической последовательности в каждой стране, сколько в их систематизации и группировке по основным линиям исторического процесса, с особенным подчеркиванием с в о е о б р а з и й в развитии отдельных стран (элементарное правило диалектического метода). О б ' е м курса—эпоха торгового капитализма, то-есть, по Марксу, история Европы XV—XVIII в.в.,

[1] «Программы по общественным дисциплинам». Восточн. Пед. Институт. Казань. 1928 г. Стр. 15—19.

период, совсем не совпадающий—как это может показаться на первый взгляд—с старым шаблонным определением «история нового времени» или «новая история». Хронологически этот период должен быть определен так: от утверждения в главнейших странах. Зап. Европы товарного хозяйства до промышленного переворота, с соответствующим диалектическим подходом и варьированием определения этих границ в их хронологическом выражении по отдельным странам: так в Италии с XIV — перв. полов. XV вв. (см. Маркс, «Капитал», I) (но ни в каком случае не с XVI в.), в Нидерландах со втор. полов. XV в. (но не с XVI) и т. д. Причесывание под одну гребенку истории всех стран, например, только XVI—XVIII века (как это дано, например, в указанной программе проф. Смолина) недопустимо, неправильно, погрешает против диалектики, такой периодизацией маскируется старая «новая история», понятие больше отражающее традиционные идеолого-политические грани, чем экономико-классовые.

Далее, по содержанию курса: могут ли в годовом вузовском курсе быть прочтены «истории» всех зап.-европейских стран данного периода, или даже только периода XVI—XVIII веков. Всякий, читавший курс этой эпохи, методологически выдержанный, должен будет ответить на этот вопрос отрицательно. Считая в учебном году 35 рабочих недель, уложить в 35 (или даже 70) двухчасовых лекций истории Англии, Франции, Германии, Пиренейских, Скандинавских государств и Нидерландов (все это перечислено в программе Смолина) нельзя, или нужно будет ограничиться общими фразами, штампами, вместо анализа своеобразий, скомкать, или ограничиться 2—3-мя странами, а об остальных отослать к пособиям. Прочесть эти «истории» фактически нельзя, да и нужно ли это? Вспомним университетские курсы лучших историков старой России: проф. А. Н. Савин читает целый год историю Зап. Евр. XIV и XV вв. (только! и то 351 стр. литограф. текста), П. Г. Виноградов—социальную историю (одной) Англии, и т. п. Попытки чтения «всей» новой истории превращались в историю кусочка, проигрывая в об'еме, но зато выигрывая в глубине содержания. И если академическая традиция прошлого утверждала эти порядки, то допустимы ли они теперь?

У нас слишком часто забывают, что в нашей стране, в наши дни, в эпоху господства революционного марксизма и диалектического материализма, боевой задачей является дать молодежи марксистскую историю, а не историю «вообще». Дать ее можно только после углубленной марксисткой проработки исторического материала, а эта работа не только не закончена еще, но даже не везде начата. Претендовать давать в таких условиях историю 10-ти стран одного из практически важнейших периодов—эпохи складывания и роста основных классов капиталистического общества, претендовать на это, повторяем, значит выдавать фальшивый вексель, что ни один марксист, разумеется, не сделает. Вот почему нам на ближайшие годы в основном остается именно тот «социологический» характер, постановка, о которой я говорил выше; здесь мы и сейчас достаточно сильны—сотни ценнейших методологических замечаний Маркса и Энгельса почти по всем разделам исторического процесса всей эпохи, составляющих в собранном виде (кроме «Крестьянской войны в Германии» Энгельса) 15 печ. листов (в моей работе «Феодализм и торговый капитализм в освещении Маркса и Энгельса», стр. 178—478), работы Меринга, Каутского и др., и, наконец, «Капитал» Маркса дают нам основу и ряд деталей для такого построения курса.

Кроме того, для студентов всех типов общественных ВУЗ'ов гораздо ценнее именно такой общий курс, чем мозаика «историй», не предваренная солидным общим очерком: можно, наконец, преподнести студентам окрошку из экономической и политической истории нескольких стран, но этот калейдоскоп событий вовсе не дает студенту понятия о сущности исторического

процесса; о навыках же самостоятельной ориентировки в материале студенту нечего будет и мечтать». «Или полнейшее невежество, или подлинная зубрежка»—вот возможные и нередко фактические результаты такой постановки дела, как правильно замечает т. П. И. Кушнер по почти аналогичному вопросу (его статья: «Нужно ли изучать общественные формы», «Историк-марксист», т. 6, стр. 209). Действительно, калейдоскоп событий истории 10 стран без базиса, знания хорошего, солидного, генеральных линий процесса всей эпохи, приведет только к невежеству или зубрежке. Практическим же работникам—педагогам (ведь именно для педвуза предназначена программа Смолина) нужно в первую очередь именно диалектическое сочетание (говоря словами Ленина) «общего» с «отдельным».

Эпигоны исторического идеализма не понимают и не хотят ни понять, ни дать диалектики живого исторического процесса. Метод Маркса, обогащенный и развитый Лениным, им чужд, за массой деталей, излагаемых метафизически, они хотят скрыть революционно-диалектическое «общее», «познание противоречивых частей единого» они подменяют так наз. знанием деталей. Странно повторять азбучные положения диалектики на 11-ом году нашей революции, но, как видно, нужно, ибо идеалистические остатки еще кое-где сильны. Для той практической задачи, что ставят студенту, будущему педагогу, наши педвузы, важнее всего именно уменье ориентироваться в материале, уменье, созданное диалектическим изложением курса. Детали, частичные вопросы могут быть хорошо изучены в хорошо поставленном семинарии.

Обращаемся теперь от этих общих методолого-методических соображений к разбору программы Смолина. В ней 10 разделов, три обще-социологического порядка и семь историй отдельных стран. В 1-ом разделе «Вводная часть» намечается: «а) краткая характеристика позднего средневековья по 4-м пунктам, б) хронологические пределы эпохи торгового капитализма и основные ее особенности: а) в области хозяйства, б) в области социальных отношений, в) в области политического строя, г) в области культуры» — вот и все, вот и весь базис курса, занимающий $^1/_{20}$ часть всего курса; ясно, что трактовка всех этих «особенностей» эпохи сводится к общим словам, что это—только отписка. И это убедительно доказывается характеристикой II раздела программы: «II. Выход европейской торговли за океан (эпоха великих географических открытий). Обзор... источников и... литературы. Значение торговли в северных морях. Средиземноморская торговля с Востоком, ее значение для Европы и борьба за преобладание ею [стиль подлинника сохраняю всюду без изменений. *В. Д.*]. Крушение торговой деятельности на Средиземном море и поиски путей в Индию. Краткий обзор географических открытий. Новые центры мировой торговли». Извиняясь перед читателем за длинную выписку, мы оправдываемся необходимостью дать здесь для образца хоть один раздел программы в его настоящем виде.

Итак, I и II разделы—это все, относящееся к характеристике эпохи, почему так выдвинут «выход европейской торговли за океан» (океаны, надо думать, ибо Индия и Америка омываются не одним и тем же океаном), почему такое безнадежное констатирование «крушения средиземноморской торговли», где, наконец, фиксация колосальных сдвигов в экономике и классовых отношениях европейских обществ в результате открытия новых стран. Где проблема внутреннего рынка, создание новых форм промышленности?— Ничего этого нет! Взят только один круг явлений—торговля с новыми странами—и к нему сведено все богатство экономических явлений эпохи. В пособиях к этим разделам фигурируют: Кушнер, Очерки..., гл. III, Кулишер, История эконом. быта..., т. II, разд. IV, и как, вероятно, большие авторитеты — Пискорский (статья в «Книге для чтения по нов. истории», т. I) и

Зеворт «История нового времени», т. I, гл. 5 (русск. перевод 1883 г.[1]). Очень интересная мозаика!

Далее идут III—X разделы историй Италии, Пиренейских государств (именуемых «государствами Иберийского полуострова»), Англии, Франции, Германии и почему-то отдельно «Нидерландская революция» (V) и «Борьба за Балтийское море» (X) («Краткий обзор истории Дании, Швеции, Норвегии и Литвы»). Содержание каждого раздела состоит из перечня крупнейших событий, обязательного упоминания о классах, вроде «классовые интересы и политическое раздробление Италии», «Борьба классов» в Испании, «развитие классовых взаимоотношений» в странах Прибалтики, в некоторых случаях эти формулировки расшифрованы: дворянство, крестьянство и буржуазия—во Франции и Германии, и т. п. Нигде ни слова о формировании новых общественных классов, «экономическое и общественное развитие идет вперед... каким-то «единым» фронтом, равномерно и гармонично (эпизоды классовой борьбы не нарушают этой гармонии)... Различный темп, различный характер этого общего процесса в различных странах не выяснен» (Н. Редин, статья в «Ист.-маркс.», т. 6, стр. 202), нигде не подчеркнуто своеобразие классовых отношений в отдельных странах. Особенно характерна неустойчивость формулировок политических организаций эпохи, во всей программе лишь дважды упоминается слово «абсолютизм» («королевский» в Англии, еще какой может быть в эту эпоху?) и глухая фраза «утверждение абсолютизма» во Франции. Оригинальным рефреном в конце каждого раздела повторяются слова «культура XVI—XVIII вв.», каково содержание этих слов, что нужно понимать под «культурой»—тайна автора.

Методически программа составлена неудовлетворительно. Ясно, что, если программа хочет быть не отпиской или схемой, то она должна удовлетворять требованиям: точности и конкретности указания требуемого для проработки (или излагаемого) материала с обязательной фиксацией конкретного содержания основных моментов темы; программа должна быть построена не общими фразами (или штампами, вроде «борьба классов в...»), а так, чтобы студент, имея ее перед глазами, мог и следить за лекционным курсом и, затем, работая сам, точно знать на что ему нужно обратить особое внимание и как подойти к анализу того или иного вопроса. Разбираемая программа этим требованиям не удовлетворяет, она именно не фиксирует внимания студента, не определяет основной установки всей его работы — марксистской, не подчеркивает, не выпячивает именно марксистского подхода, анализа исторического процесса — а это должно быть обязательно в наших ВУЗ'ах. В фразеологии программы Смолина слова «экономические», «классы», «противоречия» совсем не звучат марксистски. В словесное оформление программы Смолина можно будет вложить какое-угодно содержание,—на это ясно указывают библиографические рекомендации Смолина, так «культуру» Италии 16—18 вв. рекомендуется проходить по Я. Буркгарду («Культура Италии в эпоху Возрождения»), работа которого по всему духу своему очень и очень далека от марксизма, для истории Англии рекомендуется, среди прочих, тот же Зеворт, изложение которым революции (стр. 350 и след.) блещет историческими фактами в духе блаженной памяти Иловайского: «отличаясь строгими и чистыми нравами, хорошим обхождением и сдержанностью, Карл I любил справедливость и желал блага своему народу. Но, к несчастью, народ желал свободы, а король тяготел только к деспотизму: отсюда ошибки, заблуждение и закончившая все катастрофа» (!!) и многие подобные прелести. И вот, рекомендуя и Энгельса и Маркса, и Кушнера и Тарле, и Буркгардта и Зеворта, автор программы в опубликовываемом печатном тексте ее не нашел нужным дать ни одной оговорки, ни одной аннотации к рекомендуемым им авторам и книгам, действительно, по евангельски: «Могий вместити, да вместит!».

Уже эти немногие замечания дают возможность судить о характере курса проф. Смолина. Общие фразы, вроде «обзор литературы», без признака конкретизации, умалчивают, прячут дискуссии, все расхождения марксистов историков и идеалистов. Так, нигде не отмечен даже мимоходом вопрос о классовой сущности абсолютизма, характере крестьянской войны, как борьбы на два фронта, классовой сущности идеологических движений, как реформация и др., т. наз. «Возрождение», в анализе которого очень удобно можно противопоставить марксистскую точку зрения идеалистической. Ограничив изучаемый период торгового капитализма XVI—XVIII веками, проф. Смолин показал, что у него даже нет и понимания этого периода, этой формации в ее специфичности. Так, он берет почему то крестьянскую войну в Германии, а аналогичные ей крестьянские движения, вызываемые развитием тех же процессов торгового капитализма, оставляет за бортом, видно только потому, что они не укладываются в принятые им хронологические рамки; по тем (?) же причинам, взяв реформацию в Германии, он исключает реформационное движение в других странах (Англии, Франции и почему то в Швейцарии, анализ которого дает, как известно, для раскрытия буржуазной сущности этого движения много больше, чем в других странах) [1]. «Марксистская» фразеология автора программы разоблачается списком пособий: к данным уже ранее замечаниям о нем прибавим следующие—1) «амальгама» марксистов и Зеворта (почему не просто узаконенный в прошлом Кареев!), доходящая до того, что для проработки истории Франции просто рекомендуется т. I «Кн. для чт. по истор. нов. времени», представляющий, как известно, сбор историков самых различных направлений; 2) ясно обнаруженное незнание ряда основных марксистских работ—так по истории английской революции дается Зеворт, Кудрявцев и статьи Савина, Щепкина, Яценко (в «Книге для чтения...»), а отличная работа Конради (и Бернштейна) отсутствует, по истории нидерландской революции—Тарле и Лозинский вместо Конради, по истории Франции нет Гуго,—по Германии нет Меринга и др., 3) ориентировка в основном на старую литературу, наглядно демонстрирующая, что автор программы и сам нередко не знает новейшей литературы, книги 1883, 1884, 1893 гг. (Форстен!), 1910 г., из новых только Кушнер, даже нет ссылок на Рожкова. Можно себе представить, какое представление получают студенты об эпохе, разработка которой так далеко шагнула за последние 15—20 лет (ср., хотя бы, работы Зомбарта, Tühter'a, Stieda, M. H. Покровского по анализу классовой сущности абсолютизма, Mantoux, Strieder'a, Ehrenberg'a и мн. др.) [2].

Все эти соображения дают нам основание сформулировать следующие выводы: 1) курс эпохи торгового капитализма, необходимый и ответственный в наших обществоведческих ВУЗ'ах, должен быть поставлен на твердое марксистское основание; 2) попытки сведения этого курса к старым «историям нового времени» должны быть квалифицированы, как попытки реставрации идеалистической концепции исторического процесса; 3) должно развернуть широкую методическую работу историков-марксистов по методологическому и методическому оформлению этого курса, работу, которая должна быть тесно связана с 4) критической работой по раскрытию

---

[1] К путанице, обнаруживаемой пр. Смолиным в характеристике периода, можно прибавить его своеобразное понятие термина «Западная Европа»; так, перечисляя мелкие страны Прибалтики и Пиринейского полуострова, он почему-то игнорирует Польшу, Чехию и другие славянские страны центра и юга Европы.

[2] Правда, в «примечании» к программе студентам рекомендуются Розенталь, Лозинский, Кушнер (гл. IV), но попробуйте увязать: 1) эти книги между собой, 2) с книгами Зеворта, Буркгардта и статьями Щепкина и др. Не звучит ли это «примечание» как некое «марксистское» «amen»!, так же как и ссылка на 24 главу «Капитала» рядом с Форстеном и Пискорским.

марксистской фразеологии, борьбой со всякого рода синкретизмами марксизма и идеализма, хотя бы прикрывающимися маской «исторического научного об'ективизма». Что эти попытки реставрации старых концепций имеются в настоящее время, убедительно доказывает программа курса, составленная проф. Смолиным, совершенно неудовлетворительная ни в методологическом, ни в методическом отношении.

Сформулируем основные исходные положения построения курса, как они представляются нам в результате изучения: а) взглядов Маркса и Энгельса на эпоху торгового капитализма, б) взглядов и достижений новейшей историографии, марксистской в первую очередь, и наилучших образцов буржуазной, в) практики работы в высшей школе [1].

В основу курса, руководясь вышеизложенным методологическим указанием Маркса—Ленина, должен быть положен анализ товарного хозяйства — этой «клеточки» буржуазного общества, но не столько в его теоретико-абстрактном виде—это дело курса политической экономии,—сколько в историко-генетическом. Ясно, что из такой постановки центрального пункта всего курса сразу же следует тщательный анализ путей и форм разложения феодально-натуральных отношений, как вступление к курсу. Этот процесс разложения феодализма должен быть изложен диалектически, т. е. с показанием и процесса созидания новых форм хозяйственной жизни. Для руководителя курса уже здесь обязательно не ограничиться общим «социологическим» освещением процесса, а дать его в его конкретности, тщательно изложив его по конкретной истории какой-либо страны, а это в свою очередь требует самостоятельной исследовательской разработки вопроса, ибо буржуазная историческая наука в лучшем случае может дать только материал, требующий еще своего марксистского анализа. Так, автор этой статьи при прочтении этого раздела программы широко использует свои исследования по социально-экономической истории Италии XII—XIV вв. (о них см. «Ученые записки Казан. госуд. универс. им. Ленина» 1924—1926 гг.), показывая недостаточность анализа даже лучших представителей буржуазной науки и противопоставляя им широту и глубину марксистского анализа процесса. Такого рода экскурсы в область исследовательской работы мы считаем необходимыми по некоторым темам курса, ведь только в этом случае слушатели будут учиться ориентироваться в материале и методах разработки его.

Итак, разложение феодализма и формирование новых хозяйственных отношений еще и уже в этом процессе—должно составить 1-ый вводный раздел курса.

[1] Автор настоящей статьи в течение 8 лет проводил этот курс (и в целом и частично) в различных ВУЗ'ах Казани (ФОН., Вост. пед. инст., Тат. коммун. унив-тет).

КРИТИКА И БИБЛИОГРАФИЯ

КРИТИЧЕСКИЕ СТАТЬИ: Н. Лукин. ОБЗОРЫ: М. Нечкина, В. А. Васютинский. ЖУРНАЛЬНЫЕ ОБЗОРЫ: А. Васютинский, А. Рахлин. РЕЦЕНЗИИ: Н. Фрейберг, И. Троцкий, В. Зельцер, Б. Козьмин, В. Невский, Л. Мамет, А. Гуковский, Л. Д., В. Аптекарь, А. Слуцкий.

КРИТИЧЕСКИЕ СТАТЬИ

НОВАЯ РАБОТА ПО СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ИСТОРИИ ЭПОХИ ТЕРРОРА

А. МАТЬЕЗ. Борьба с дороговизной и социальное движение в эпоху террора [1].

Новая работа Матьеза основана на основательном изучении большого печатного и архивного материала, хранящегося в Парижской Bibliothèque Nationale, Archives Nationales и в Archives du Doubs. С другой стороны, автором были использованы монографии Lefebvre'a Evrard'a, Lorain, Porée и др., изучавших продовольственный вопрос в революционную эпоху по отдельным департаментам.

На французском языке книга появилась в 1927 г., одновременно со вторым и третьим томом «Французской Революции». Она возникла из ряда статей Матьеза, печатавшихся за последние годы в журнале «Annales Historiques de la Rév. Fr.». Это обстоятельство, почему-то не отмеченное авторами предисловия к русскому изданию, в известной мере сказалось на самом построении работы (некоторая диспропорция между отдельными частями и главами, повторения и т. п.).

Как сама постановка проблемы, так и ее трактовка свидетельствуют об огромном интересе Матьеза к социально-экономической истории Революции, его способности как к кропотливому анализу многообразного исторического материала, так и к широким обобщениям.

Дороговизна жизни была вызвана не недостатком припасов, а инфляцией, которая, в свою очередь, была следствием финансовой политики национальных Собраний, видевших в неограниченном выпуске ассигнатов главное, если не единственное, средство покрытия издержек войны и революции. Дороговизна жизни ударила преимущественно по городской и деревенской бедноте. Эти «жертвы инфляции» пытались улучшить свое положение путем восстановления и расширения регламентации хлебной торговли, существовавшей еще при старом режиме и отмененной восторжествовавшей буржуазией. Но они натолкнулись на сопротивление сначала фельянов, потом жирондистов, убежденных сторонников экономического либерализма. Это сопротивление казалось непреодолимым до раскола якобинцев на Гору и Жиронду. Необходимость заручиться поддержкой широких народных масс заставила монтаньяров, в большинстве своем также противников регламентации, принять понемногу экономическую программу «бешеных», возглавлявших народное движение, которое возникло на почве борьбы с дороговизной. Эта программа сводилась вначале к требованию отмены металлических денег, закрытия биржи, суровых мер против спекулянтов; потом она была дополнена лозунгом реквизиций и такс на предметы первой необходимости.

[1] Институт К. Маркса и Ф. Энгельса. Исследования по истории пролетариата и его классовой борьбы под ред. Д. Рязанова и Ц. Фридлянда. Авторизованный перевод с французского. Гиз. 1928, с. 467.

Революция 31 мая—2 июня, покончившая с жирондистами, стала возможна лишь в результате образования обще-демократического блока; участие в нем «бешеных» было куплено ценою согласия монтаньяров на установление твердых цен на зерно. Так появился закон 4 мая 1793 г. (1-й максимум). Этот закон не дал существенных результатов, так как саботировался администрацией на местах, состоявшей из «богатых собственников». Между тем, разгоревшаяся гражданская война и неудачи на фронте внешней войны усилили продовольственный кризис, выход из которого городские низы, а также часть крестьянства видели в установлении общего максимума на все товары и террористических мер, которые обеспечивали бы проведение его в жизнь. Но для осуществления этой программы потребовалась энергичная борьба с монтаньярским правительством, которое пыталось отменить или ослабить даже неудовлетворительный закон 4 мая. Новая волна народного движения, руководимого сначала бешеными, а потом эбертистами «навязывает» Конвенту систему реквизиций, уже подготовленную практикой эмиссаров Конвента по снабжению армии и Парижа и ставшую неизбежной после об'явления массового набора (2-й максимум—зак. 11 и 29 сент.) и террор.

Конвент вынужден был пойти на эти уступки голодным массам и по политическим соображениям: без энергичной поддержки со стороны санкюлотов правительство не справилось бы с одновременным напором внешних и внутренних врагов. Но, уступив «бешеным» в наиболее критический момент, правительство поспешило разгромить их, как только упрочилось его собственное положение. Наследниками «бешеных» явились эбертисты.

Необходимость проводить законы, «нарушавшие все частные интересы», повела к усилению политической и экономической централизации (закон 14 фримера и создание Центральной Продовольственной Комиссии).

Вскоре, ввиду критического положения с продовольствием, отменили семейный запас (декр. 25 брюмера), который оставляли раньше крестьянину при реквизициях. Параллельно Комитет Общественного Спасения и муниципальные власти проводили целую систему мероприятий по поднятию продукции сельского хозяйства и ограниченного потребления (карточная система и т. п.). Второй максимум осуществлялся с помощью политического и экономического террора правительством, находившимся под сильным влиянием эбертистов.

Резкое недовольство «собственников» экономической политикой правительства нашло свое выражение в оппозиции «снисходительных». Зима 1793—94 г. прошла под знаком борьбы между ними и эбертистами, требовавшими, ввиду нового обострения продовольственного кризиса, более радикальных мер, на которые не решалась правящая партия робеспьеристов. Чтобы удержаться у власти, робеспьеристы послали на эшафот Эбера и его друзей. Со времени гибели эбертистов в экономической политике правительства начинается новый курс—смягчение максимума и нажим на рабочих, старавшихся удержать заработную плату на уровне, достигнутом в период участия эбертистов в правительстве. Запоздалая попытка робеспьеровцев вступить на путь «смелой классовой политики» в интересах низов («вантозовские законы») не могла вернуть ему симпатий парижского пролетариата, который не поддержал Робеспьера в роковой день 9 термидора. Такова, в общих чертах, схема Матьеза.

Матьез—не марксист; хотя добросовестное изучение экономической истории революции не раз приводит его, как и многих других, к чисто марксистским положениям (см., напр., стр. 13, 400, 402 и др.). К тому же некоторые стороны его последней работы особенно сближают его с нами. Помимо уже отмеченного большого интереса к экономическим проблемам, в работе Матьеза приятно поражает повышенный интерес к движению народных масс. Можно сказать, что массы у него на первом плане, они являются настоящими творцами революции, они двигают ее вперед, и приобретают все большее влияние на ход событий по мере роста своей организованности.

Без прямого (организованного или стихийного) давления со стороны беднейших ремесленников и рабочих столицы буржуазный по своему составу и тенденциям Конвент никогда не пошел бы так далеко по пути нарушения интересов зажиточного крестьянства и торговой буржуазии. Все важнейшие декреты, определявшие продовольственную политику Конвента с весны 1793 г., были буквально вырваны у него парижскими низами. Декрет 4 мая (так называемый «первый максимум») был принят Конвентом под непосредственным давлением рабочих Сент-Антуанского предместья и версальских гражданок, которые готовы были ночевать в Конвенте в ожидании желанного декрета.

Если максимум на зерно не был отменен в конце июля, на чем настаивали собственники, то «только потому, что Конвент был запуган угрозами восстания, предшествовавшими празднованию 10 августа» (279). Декрет об организации «революционной армии» из санкюлотов, долженствовавшей играть роль продотрядов, был принят под впечатлением грандиозной демонстрации 5 сентября, едва не перешедшей в новое 31 мая (255). Накануне, когда на Гревской площади происходили митинги рабочих, а ратуша была наводнена толпой, кричавшей: «Хлеба, хлеба!», Конвент обещал Шометту ввести твердые цены на все предметы первой необходимости в течение недели, но соответствующий декрет появился только 29 сентября, после нового вмешательства улицы, ввиде внушительной демонстрации, организованной Коммуной и секциями 22 сентября (282).

Но как только напор снизу ослабевал, сделанные под давлением масс уступки брались назад, или сводились на-нет. Когда в конце июля руководимое «бешеными» движение в пользу введения всеобщего максимума достигло наибольшей силы, а на пристанях Сены начались разгромы складов, Конвент готов был пойти на установление «национального» максимума на хлеб и даже на введение твердых цен на все предметы первой необходимости, а пока что обещал строгое исполнение закона 4 мая (175—7). Но лишь только выяснилось, что «бешеные» не встречают поддержки ни в Коммуне, ни в Клубе Кордельеров, правительство немедленно повернуло фронт и забыло о своих обещаниях: оно не только не укрепило закона 4 мая, но пробило в нем солидную брешь, разрешив покупки вне рынков (185—6). Давление низов, сорганизовавшихся в секциях и народных обществах, постоянно чувствовала на себе и Парижская Коммуна (190—1, 375—77). Матьез признает, что все законодательство эпохи террора «было выражением борьбы классов» (400), а вся политика регламентации, проводившаяся в 93—94 гг. «была восстанием массы бедняков против богатых, она проводилась с и л о ю из народных низов» (457).

Изучение работы Матьеза позволяет сделать некоторые выводы и более общего характера. В 1792—94 гг. дороговизна жизни и борьба с ней были одним из главнейших факторов революции; продовольственный вопрос становится и движущей силой, определяет ее решающие моменты. Те или иные методы разрешения продовольственного кризиса имели определяющее значение для партийной борьбы и судьбы отдельных политических течений, да и судьбы самой революции.

Матьез прав, когда говорит, что «ожесточенная борьба, которую Гора вела против «бешеных», никогда еще не была подробно изложена», (115), хотя, добавим от себя, именно в русской литературе имеются специальные исследования по этому вопросу (тт. Захера, Фридлянда и Фрейберг). «Бешеным» посвящена вся вторая часть («Бешеные» и «дороговизна»), составляющая почти половину книги. Но в своей оценке этого течения Матьез все еще не вполне освободился от того предубеждения против Жака Ру, которое создалось у автора на почве его увлечения Робеспьером. Это предубеждение сказывается, напр., и в характеристике Ру (см. 101—106), и в оценке «демагогической» агитации «бешеных» после революции 2 июля (101—102), в сближении этой агитации с происками заведомого контр-революционера, друга Роланов Кошуа, добивавшегося отмены закона 4 мая (см. ч. II, гл. VIII, стр. 200—207). Матьез готов поверить (вместе с

Робеспьером), что в начале августа 93 г. «бешеные» готовились повторить известную «сентябрьскую резню» 92 г. В доказательство правильности своего предположения Матьез ссылается на найденный им анонимный плакат, «являвшийся горячим призывом к резне». Однако из приведенного им текста отнюдь не видно, что авторы афиши призывали к погромам тюрем: они требуют лишь предания суду и гильотинирования изменников-генералов, скупщиков, федералистов, вандейцев, изменников-депутатов и т. д. (208—209).

Еще менее обоснована попытка Матьеза дискредитировать августовское движение секций против Коммуны ссылкой на то, что, нападая на Паша, (парижского мэра), «бешеные» играли в руку роялистам и жирондистам, добивавшимся падения Коммуны (217—218). Все это не помешало, однако, Матьезу дать превосходный анализ знаменитому выступлению Ру в Конвенте (25/VI, см. стр. 165—170). Начав изложение петиции Ру в довольно ироническом тоне, Матьез потом как-то сам увлекается его блестящей аргументацией, «свидетельствующей о силе ума, которой Жорес, может быть, не отдал должной справедливости» (167). В заключение Матьез так определяет «историческую роль Жака Ру»: «Он первый противопоставил народ, санкюлотов, владеющих только своими рабочими руками, собственникам, владельцам или скупщикам продовольствия и предметов первой необходимости» (276).

Работа Матьеза дает богатейший материал для классовой характеристики различных партий, боровшихся в Конвенте и за его стенами; но четкого классового анализа этих партий у него нет. Матьез совершенно не показал связи Жиронды с определенными социальными слоями, если не считать мельком брошенного замечания о принадлежности к этой партии «богатых собственников» (145). Он довольствуется, тем, что изображает жирондистов последовательными сторонниками «жестокой» теории laissez faire, laissez passer, не хотевшими понять, что в исключительной обстановке войны и инфляции «экономические явления не развертываются так, как в нормальное время» (91). Жирондисты, говорит он в другом месте (456) «оказались неспособными разрешить проблему дороговизны. Они не понимали (разрядка моя. **Н. Л.**), что инфляция делает невозможной экономическую свободу. Ролан, человек формул, не понимал действительности».

Но ведь это чисто идеалистический подход к вопросу. Между тем, если бы Матьез проанализировал с классовой точки зрения, хотя бы им же приведенные выступления Дюко и Барбару при обсуждении первого закона о максимуме (см. 142), сопротивление Жиронды нормировке хлебных цен получило бы совсем иное об'яснение.

Читатель остается в неведении и относительно классовой природы робеспьеризма, без выяснения которой нельзя в сущности понять ни отношения представителей этой партии к максимуму, ни ее рабочей политики. Матьез хорошо показал, что монтаньяры были в лучшем случае сторонниками некоторой регламентации, некоторого регулирования торговли, но решительно отвергали всякие таксы (279); что максимум, о котором они отзывались, как о «подарке Питта» или барона Батца, в котором видели «начало голода» (144, 404), был в сущности «навязан» им «бешеными».

Но когда он анализирует полемику Робеспьера с «бешеными», его доводы против их социально-экономической программы,—в лице Робеспьера выступает не представитель какого-либо определенного класса, а мудрый вождь, представитель «общенациональных» интересов, об'явивший беспощадную борьбу «бешеным», главным образом, потому, что эти беспардонные демагоги, всегда готовые на коалицию, даже с «сомнительными элементами», колебали авторитет революционного правительства и «революционный порядок» вообще (211—212). Между тем, классовая основа робеспьеризма (зажиточные слои мелкой буржуазии) превосходно выступает и в критике закона о максимуме эмиссаром Конвента Альбиттом (см. 309—310), и в программной речи Барера, предопределившей

известные поправки к законам 11 и 29 сент. (см. 324—325) и в речи друга Робеспьера «назначенца» Пэйяна в защиту торговцев (426), и в той «новой экономической политике», которая началась после гибели эбертистов и состояла в смягчении максимума и покровительстве торговле, с одной стороны, и энергичном нажиме на рабочих—с другой (см. 425—428).

Не менее любопытны страницы, вскрывающие «симпатии дантонистов» к «торговой аристократии» (дело виноторговца Годона, статьи Камилла Демулена в «Vieux Cordelier», саботаж со стороны «болота» и дантонистов при применении законов о таксации на практике (397—398, 400).

Но весь этот интереснейший материал не учитывается надлежащим образом, из него не делается соответствующих выводов. Но если выяснить классовую природу жирондистов, дантонистов и робеспьеристов Матьез предоставляет самому читателю, то о класовой основе «бешеных» он говорит довольно определенно. Вокруг Ру сплотились ремесленники секции Гравильеров, «которые, может быть, еще больше простых раобчих страдали от ужасного экономического кризиса, так как они могли добывать сырье только по непомерно высоким ценам, а их скромные лавченки были оставлены их обедневшими клиентами». В подтверждение этого положения Матьез перечисляет профессии наиболее преданных сторонников Ру, поплатившихся тюрьмой за свою политическую деятельность (403—404). Что ядро партии «бешеных» составляли бедные ремесленники (точнее—кустари) секции Гравильеров—это бесспорно. Но несомненно, что «бешеные» имели связи и среди парижских пролетариев. За это говорит важная роль, которую сыграли парижские рабочие в движении 4—5 сентября 1793 г., правда, возглавлявшемся эбертистами, но выдвинувшем лозунги, давно уже имевшиеся в программе Ру и Леклерка (см. 245—247).

Как бы то ни было, у Матьеза читатель найдет большой и отчасти новый материал по вопросу о борьбе течений внутри монтаньярства,—материал, позволяющий сделать ряд важных выводов: борьба внутри Горы в главном и существенном определялась разногласиями по вопросам экономической политики; экономическая программа так называемых «эбертистов» мало чем отличалась от программы «бешеных», преемниками которых они были; разногласия между этими двумя фракциями носили преимущественно тактический характер: одни (эбертисты) желали легального террора, другие—«бешеные»—не отказывались от методов прямого действия, или «народного террора». (256).

Подводя итоги движению эбертистов в конце августа и в начале сентября, Матьез пишет: «В продовольственном вопросе победа Эбера означала... поворот экономической и социальной политики в сторону огосударствления и служения классу обездоленных» (16). В сентябрьские дни 1793 г. эбертисты выдвинули такие лозунги, как создание «революционной армии» из санкюлотов для проведения реквизиции хлеба, об'явление войны всему классу торговцев (242, 244, 247). Господствуя в Революционных Комитетах парижских секций, эбертисты строже применяли таксы на продукты, чем таксу з а р а б о т н о й п л а т ы. (439). Судебное следствие по их делу установило, что эбертисты неустанно разоблачали махинации крупных торговцев, скупавших продукты вне рынков по повышенным ценам, и в то же время говорили об «едином фронте всех продавцов (от оптовиков до зеленщика) против покупателей» (406). По этому поводу Матьез замечает, что именно это посягательство на мелкого лавочника «должно был стоить ему (Эберу) головы» (Ibd). Следствие также установило, что в некоторых секциях эбертисты практиковали «своего рода коммунизм на пищевые продукты», отбирая с'естные припасы не только у торговцев и крестьян, но и у всех тех, у кого эти припасы имелись в сколько-нибудь значительном количестве. Реквизированные таким образом продукты распределялись потом между всеми жителями секции по ценам максимума (416—17). Накануне ареста эбертистов некоторые секции и народные общества, находившиеся под их влиянием, требовали издания декрета о «восстановлении» революционной армии и об ускорении суда над спе-

кулянтами» (414). Наконец, Матьез хорошо показал, как после казни эбертистов экономическая политика правительства изменилась в невыгодную для рабочих сторону (упразднение революционной армии и комиссаров по борьбе со спекуляцией, мероприятия новой Коммуны, поощрявшие частную торговлю, энергичное сопротивление парижских властей повышению заработной платы рабочих и т. п. стр. 418, 423—426, 430, 441—442, 242—244).

Все это показывает, насколько ошибочна ставшая ходячей куновская характеристика Эбера, как ярого индивидуалиста, противника всяких ограничений, налагаемых государством, человека, глубоко равнодушного к экономическим вопросам, волновавшим городские низы. Тем более странно, что сам Матьез решается утверждать, что эбертисты пали не вследствие своей экономической политики, а потому, что попытались вызвать восстание и захватить власть, использовав недовольство парижских масс на почве недостатка припасов (417—418). Здесь мы имеем один из примеров явного отступления Матьеза от марксистского метода.

В вопросе об оценке, так называемого, второго максимума (т. е. системы, созданной законами 11 и 29 сентября 1793 г.) Матьез решительно расходится с Marion (а также, заметим в скобках, и с Тарле), считавшим, что вся политика регламентации обанкротилась, что законы о максимуме только ухудшили положение и в конечном счете породили голод. Матьез показывает, что приводимые Марионом примеры не доказывают выставленного им положения: Марион либо приводит сообщения о нужде в том или ином департаменте, не позаботившись установить, каково было продовольственное положение этого департамента до введения общего максимума; либо всецело полагается на донесения эмиссаров Конвента, которые, требуя помощи от К. О. С., естественно, нередко «рисовали положение слишком мрачными красками»; либо оперирует не совсем точными сведениями; либо, наконец, обобщает совершенно исключительные случаи (301—302). «Из переписки коммиссаров Конвента, а также из других изученных мною источников,—говорит Матьез,—я вынес совсем другое впечатление, нежели Марион. Если в некоторых областях реквизиция зерна производилась ценой больших трудностей, то они все же производились и в широкой мере достигали своей цели снабжения городов и армий».... И далее: «Противники максимума должны, для оправдания своей точки зрения, доказать, что Конвент и Комитет Общественного Спасения могли бы при тогдашних обстоятельствах избежать политики твердых цен и регламентации. Однако они не доказывают этого. Эта политика диктовалась политической необходимостью и соображениями государственной обороны... Вместе с Лефевром я полагаю, что об'ективный анализ фактов заставляет притти к следующему выводу: «правительство Робеспьера,- выражаясь его словами,— «спасло рабочую Францию от голода» (стр. 362, 363).

В другом месте (стр. 458) Матьез совершенно правильно отмечает, что именно максимум «в чрезвычайной мере способствовал замедлению обесценения ассигнатов», а его отмена усилила инфляцию (позволила буржуазии переложить целиком издержки революции на народные низы). Не менее любопытен вывод, к которому приходит наш автор, анализируя применение карточной системы. «Несомненно,—пишет он,—«введение хлебной карточки породило злоупотребления, но в общем эта система, повидимому, оправдала надежды ее инициаторов. Она смягчила кризис для бедных классов» (стр. 371). «Хлебная карточка дала хорошие результаты, так как волнения и бунты становились все реже. Судя по тогдашним пайкам (Матьез отмечает, что обычно они были выше, чем нормы, установленные во Франции во время империалистической войны), городское население не знало также настоящего голода... Но косвенным доказательством, что не было полного отсутствия хлеба может служить то, что система хлебных карточек никогда не распространялась на всю Францию, она была введена в городах и местечках, в деревнях она осталась совсем неизвестной» (373).

Но если система регламентации в целом и дала известные положительные результаты, то отсюда вовсе не следует, что она действовала без перебоев: случаи нарушения максимума были весьма часты не только в деревнях, где почти невозможно было уследить за частными сделками ввиде торговли из-под-полы, на дому и т. п., но и в городах, где, казалось, легче было проследить случаи нарушения закона и карать их.

Матьез приводит немало примеров, иллюстрирующих это бесспорное положение (см., напр., стр. 429 и др.). Но одновременно он отмечает, что система максимума действовала более или менее успешно в зависимости от социального и партийного состава местной администрации и народных обществ, с одной стороны, и от степени давления, которое испытывало правительство Робеспьера со стороны подлинных представителей народных низов—эбертистов—с другой (см. 429, 375). Отсюда следовало бы сделать еще один вывод, который Матьез, однако, не делает. Возможно, что закон о максимуме дал бы больше результатов, если бы у власти стояли не те, кому его «навязали», и кто исполнял его лишь нехотя, под давлением слева, а те, кто его требовал и старался добиться его применения на деле в интересах городской и деревенской бедноты. Ведь сам же Матьез вынужден признать, что «с падением эбертистов максимум потерял своих вдохновителей и защитников. Правительство сохранило закон о максимуме, но без энтузиазма и даже без искреннего убеждения» (418).

В другом место автор отмечает, что после казни эбертистов максимум становится столь второстепенным делом, что исчезает из переписки эмиссаров Конвента с К. О. С. (430).

В конце своей книги Матьез посвящает специальную главу «таксам заработной платы» (гл. 10 III части). Недостаток места не позволяет нам остановиться на этом вопросе сколько-нибудь подробно. Заметим только, что влияние максимума на положение рабочих (как продавцов своей рабочей силы), Матьез расценивает иначе, чем Тарле (см. «Раб. класс во Франции в эпоху Рев.», т. II).

Два весьма важных положения автора представляются нам спорными. Матьез утверждает, что в эпоху так называемого «третьего» максимума (жерминаль—термидор 11 года), в результате смягчения прежде изданных законов, положение с продовольствием было лучше, чем в предыдущий период (432). В доказательство он ссылается на письма эмиссаров Конвента за время с 1 жерминаля до 9 термидора. Одно из них (донесение Изабо из деп. Жиронды) считает «самым пессимистическим», а потому совершенно не типичным. Другие говорят, что от нужды страдают только горожане и в частности рабочие (432—433). Но, во-первых, нельзя не учитывать того обстоятельства, что после казни эбертистов, многие эмиссары Конвента, несомненно, приспособлялись в своих донесениях к новому правительственному курсу. Во-вторых, за тот же период (весна и лето 94 г.) мы имеем ряд сообщений весьма пессимистического и тревожного характера, исходящих, правда, не от эмиссаров Конвента, а от администрации или жителей отдельных, как потребляющих, так и производящих коммун (см. Archives Nationales, F[11], 117[B]. Конечно, этого рода сообщения, исходившие от низового административного аппарата или от самого населения и направлявшиеся в Центральную Продовольственную Комиссию или в К. О. С., в свою очередь, страдали преувеличениями (в обратную сторону), но игнорировать их все же, по нашему мнению, нельзя.

Во всяком случае, этот тезис Матьеза нуждается в более солидном обосновании.

Второе представляющееся нам спорным утверждение автора сводится к тому, что во время действия «смягченного» максимума активное сопротивление крестьян реквизициям было незначительно. Автор считает, что оно почти ограничилось теми четырьмя фактами, которые он сам приводит (431—432). «Крестьянин,—говорит дальше Матьез,—ругал реквизиции, которые лишали его возможности распоряжаться своими продуктами, ругал максимум, который сокращал

его доход, ругал гужевую повинность, которая отнимала у него время и телеги, но в общем он повиновался, так как прикидывал в уме, какую громадную пользу он извлек от перемены режима: он не желал вставлять новому строю палки в колеса, не желал содействовать победе неприятеля и возвращению своих притеснителей» (433).

В действительности случаи открытого сопротивления реквизициям со стороны крестьянства были гораздо многочисленнее (см., напр., приведенное у Evrard[1] дело о мятеже в коммунах Saint-Martin des shampes и Osmoy, имевшее место в флореале II г. и закончившееся довольно суровым приговором: 9 обвиняемых (в том числе одна женщина) были присуждены к смертной казни с конфискацией имущества. Случай применения вооруженной силы при реквизициях имели место в рассматриваемый период в департаменте Верхней Марны в дистрикте Шомон[2]. Шарль Поре в своей работе о продовольственном кризисе в департаменте Ионны[3] приводит случай, когда крестьяне соорудили настоящие баррикады и вступили в форменное сражение с национальной гвардией, которая явилась отбирать у них хлеб).

Укажем еще на один досадный недостаток работы Матьеза: я имею в виду некоторую невыдержанность его терминологии. Едва ли, например, правильно применять термин «социализм» к идее так называемого «аграрного закона» (75,86) или считать систему реквизиций, пайков и твердых цен осуществлением идей коммунизма (327), или, наконец, характеризовать как «социалистические» взгляды Ру.

В заключение мне остается подчеркнуть, что наши частичные разногласия с Матьезом и наши указания на невыдержанность его работы с марксистской точки зрения отнюдь не мешают нам признать высокие научные достоинства его книги. С появлением ее в свет наша переводная литература по истории Французской революции обогатилась новым ценнейшим вкладом, без тщательного ознакомления с которым нельзя приступать к изучению эпохи террора.

Н. Лукин

---

[1] Defresne et Evrard, Les subsistances dans le distr. de Versailles, t. II, p. 248—254.

[2] См. Ch. Lorain, Les Subsistances en céréales dans le distr. de Chomont, t. I—II.

[3] Ch. Porée, Les subsistances dans l'Ionne pendant la Rév., p. LVIII—LIX.

ОБЗОРЫ

ЮБИЛЕЙНАЯ ЛИТЕРАТУРА ОБ Н. Г. ЧЕРНЫШЕВСКОМ

Только что закончилась «юбилейная неделя» Н. Г. Чернышевского. В порядке массовой работы юбилей уже прошел. Он не закончен, конечно, в порядке научного исследования: как всегда бывает, юбилейная литература наиболее «солидного» типа еще долго будет появляться в свет, напоминая о прошедшем юбилее. Пример—юбилей декабристов, книги к которому, в качестве своеобразных «посмертных детей», появлялись и год, и два, и три спустя после юбилея. Но страницы газет и «тонких» журналов уже надолго замолчат о Чернышевском. Может быть выручит тут лишь тот факт, что Чернышевский умер в 1889 году,—следовательно, в будущем 1929 г. исполняется сорокалетие со дня смерти...

Но как ни запаздывала бы та или иная ожидавшаяся к юбилею книга, общая литературная картина юбилея достаточно ясна уже сейчас и настолько интересна, что на ней стоит несколько остановиться.

Борьба за подлинно-марксистское понимание Чернышевского,—вот основная черта юбилея. Эта борьба и есть самое ценное, что дал юбилей. Напоминать о начале этой борьбы, о всех деталях полемики, разгоревшейся вокруг работы Ю. М. Стеклова о Чернышевском — излишне: читателям «Историка-марксиста» хорошо известен восьмой том журнала, где отразилась эта борьба, начатая обществом историков-марксистов. Отчет о докладах, вызванных столетием со дня рождения Н. Г. Чернышевского (доклад Ю. М. Стеклова «Чернышевский и его политические воззрения»—4 мая 1928 г. и прения по докладу М. Н. Покровского «Чернышевский как историк»—11 мая 1928 года), помещенный в VIII томе «Историка-марксиста», а также доклад М. Н. Покровского «Н. Г. Чернышевский как историк», переработанный в статью, помещенную в том же томе журнала, дают представление о развернувшемся диспуте. Критика не удовлетворившей марксистов концепции Ю. М. Стеклова, шедшая по той же линии, которую наметили диспуты, была дана в статье В. Кирпотина «Чернышевский и марксизм» и в обзоре «Накануне юбилея Н. Г. Чернышевского», помещенных в том же VIII томе журнала. Ю. Стеклов «обольшевичил» Н. Г. Чернышевского, натянул его на Маркса, приписал ему неправильную роль некоего «русского Маркса», подошел к изучению Чернышевского с неправильным историческим масштабом, не учел всех особенностей окружавшей Чернышевского исторической действительности, одним словом не дал правильного марксистского анализа Чернышевского,—таковы были основные положения, выдвинутые в споре со Стекловым.

I

Эта полемика дала толчок дальнейшему развитию юбилейной литературы и явилась ее лейтмотивом. Спор о поставленной обществом историков-марксистов проблеме насытил живым содержанием большинство вышедших к юбилею работ. С этой точки зрения и интересно рассмотреть вышедшую юбилейную литературу. Я не буду рассматривать работ, ранее затронутых в предыдущем

моем обзоре юбилейной литературы «Накануне юбилея Чернышевского» в VIII томе «Историка-марксиста», и остановлюсь только на вновь вышедших книгах.

Полемика с Ю. М. Стекловым особенно резко подчеркнула необходимость рассматривать Н. Г. Чернышевского на фоне породившей его русской революционной действительности. Единственно правильное марксистское понимание Н. Г. Чернышевского, как идеолога крестьянской революции России 50—60 годов, требовало отчетливой постановки проблемы исследования Чернышевского в глубокой связи с этой революцией. Ранее вышедшие популярные работы недостаточно подчеркивали именно такую постановку вопроса: Чернышевский, хотя бы в популярной брошюре Ю. М. Стеклова, неправильно обрисовывался, как некий гигант-революционер, предвидевший события за десятки лет вперед, мечтавший еще на школьной скамье об Октябрьской революции и пр. Это в корне неверное представление совершенно отрывало Чернышевского от породившей его об'ективной действительности. Правильную постановку вопроса с особой отчетливостью дала небольшая книжка, осуществленная комиссией при президиуме ЦИК СССР по ознаменованию 100-летия со дня рождения Н. Г. Чернышевского («Н. Г. Чернышевский. 1828—1928. Тезисы для докладчиков. Приложение: Из сочинений Н. Г. Чернышевского».—М. Издательство Коммунистической академии). Эта книжка предназначена, как пособие для докладчиков, выступающих на собраниях, посвященных юбилею Чернышевского, но ее историческое значение далеко выходит за рамки поставленной ею себе цели. Тезисы впервые в специальной юбилейной литературе связали Чернышевского, как революционера и теоретика, с той породившей его эпохой общественного развития России, когда по словам Ленина «демократизм и социализм сливались в одно неразрывное целое». Первый тезис и говорит о экономике эпохи, о своеобразной борьбе крепостнического строя с развивающимся промышленным капитализмом и о своеобразии сложившейся в России революционной ситуации. Из этих об'ективных условий и вырос революционный демократизм Чернышевского и его утопический социализм. Н. Г. Чернышевский мечтал, по словам Ленина, «о переходе к социализму через старую полуфеодальную крестьянскую общину» и «не видел и не мог в 60-х годах прошлого века видеть то, что только развитие капитализма и пролетариата способно создать материальные условия и общественную силу для осуществления социализма». Дальнейшие тезисы дают анализ философского материализма Чернышевского, его социализма и просветительства, его революционной деятельности, значения революционной работы Чернышевского и, наконец, влияния теоретического наследия Чернышевского на развитие революционного движения последующих периодов. Конечно, неизбежная для тезисов краткость и сжатость выражения не дала возможности раскрыть марксистскую постановку изучения Чернышевского во всех ее деталях, но тезисы дали в сжатой форме правильную и отчетливую постановку всей проблемы Чернышевского в целом. В этом крупная историографическая заслуга тезисов в борьбе за марксистское понимание Чернышевского. Практическая же задача, поставленная тезисами выполнена ими вполне,—они, несомненно, явились ценнейшим подспорьем для докладчиков о Чернышевском, и опыт приложения к ним характернейших выдержек из произведений Чернышевского и, в частности, недостаточно известной и трудно доставаемой прокламации Чернышевского «Барским крестьянам от их доброжелателей поклон»—надо считать вполне оправданным. Опыт издания подобного типа, несомненно, нужно повторить при новых юбилеях с пожеланием заблаговременного выхода их в свет: такая работа, организующая труд докладчика, требует времени для распространения и тщательной проработки. Жаль, что юбилей декабристов, Л. Толстого и ряд других не имел подобных изданий.

В разрезе той же основной проблемы юбилея—борьбы за подлинно-марксистское понимание Чернышевского—совершенно особое значение приобретает небольшая книжка «Ленин о Чернышевском» (Институт Ленина при ЦК

ВКП(б) под ред. И. И. Скворцова-Степанова, с предисловием и примечаниями Арк. Ломакина—М. 1928, ГИЗ). В такой работе была острая нужда и жаль лишь, что она появилась с некоторым запозданием. Последнее обстоятельство несколько смягчается тем, что в первую газетную кампанию, связанную с юбилеем (собственно, юбилейные дни приходились на июль—Н. Г. Чернышевский родился 12 июля по старому стилю—1928 года), статья т. Ломакина на тему «Ленин о Чернышевском» появилась в центральной печати, но она почти не содержала анализа ленинских положений, ограничиваясь приведением самих цитат. В книге, изданной Институтом Ленина найдет необходимое пособие не только агитатор-пропагандист, не только докладчик юбилейного собрания, но и исследователь Чернышевского. Материал ленинских высказываний о Чернышевском подобран достаточно полно[1] и снабжен руководящими указаниями. Ленил любил и высоко ценил Чернышевского, чрезвычайно часто вспоминал его и ссылался на него во многих работах. Результатом этого является то, что высказывания Ленина отнюдь не случайны и в своей совокупности чрезвычайно полно рисуют облик теоретика и революционера Чернышевского. Почти отсутствовавшая популярная литература о Чернышевском пополнилась перед юбилеем популярными книжками Ем. Ярославского «Николай Гаврилович Чернышевский, 1828—1928, биографический очерк» (М.-Л. ГИЗ, 1928) и Ив. Фролова «Николай Гаврилович Чернышевский (Его жизнь, революционная деятельность и научные взгляды)», (М.-Л. Московский рабочий, 1928, серия «Жизнь замечательных людей»). Книжка Е. Ярославского, написанная очень простым и легким языком, доступна неподготовленному читателю и может живо заинтересовать его обликом Н. Г. Чернышевского. Особенности той аудитории, к которой обращается Ем. Ярославский, исключили необходимость подробного разбора и критики неправильного понимания Чернышевского, тем более, что тема книжки Е. Ярославского ясно сформулирована, как «Биографический очерк». Очень удачна мысль поместить в такой книге библиографию Н. Г. Чернышевского с кратким введением. Необходимо высказать пожелание, чтобы в таком указателе обязательно были аннотации с указаниями на марксистскую и не марксистскую литературу. Книга Ив. Фролова вновь вводит нас в центр основной проблемы юбилея: она очень удачно разрешает задачу борьбы за подлинного Н. Г. Чернышевского. Автор поставил своей задачей «дать популярно-научный очерк жизни, деятельности, борьбы и учения Николая Гавриловича Чернышевского», очерк, рассчитанный на «квалифицированного рабочего, партийно-комсомольский актив, студентов рабфаков, слушателей совпартшкол и низовую советскую интеллигенцию». Прежде всего, необходимо приветствовать наличие целевой установки на определенную читательскую аудиторию: отсутствие ее—частый грех нашей популярной литературы. Автор прекрасно справился со своей задачей, рассказав ясно и просто рядовому читателю о молодых годах Чернышевского, о Чернышевском, как литературном критике и публицисте, о Чернышевском, как идеологе крестьянской революции, о его историко-социологических воззрениях и позднейшей судьбе. Жаль лишь, что автор несколько поскупился на обрисовку эпохи Чернышевского, в частности экономике эпохи и крестьянских волнений. Мотивом для освещения этих вопросов в литературе имеется, а его анализ еще усилил бы позиции автора в борьбе за подлинно-научный анализ Чернышевского. Еще одно: есть в работе И. Фролова одна мелочь, мимо которой не пройдешь,—эта мелочь вырастает у других авторов в принцип, в точку зрения. Речь идет... об эпиграфе к работе. Он случайно совпал с эпиграфом работы Ю. М. Стеклова. «Не только для тех сохраним наше уди-

[1] Заметим мимоходом, что словарь-указатель имен к 3 изданию сочинений Ленина в своей постраничной регистрации упоминаний Лениным Чернышевского отмечает подчас не все места: так, напр., в словаре-указателе имен к I тому пропущена стр. 182, где есть упоминание о Чернышевском.

вление, которые, опережая свою эпоху, имели славу предусматривать зарю грядущего дня, имели мужество приветствовать его приход. Возвышать независимый и гордый голос, когда против вас шумит мнение современного общества; бороться с силою, которая оклеведет вас на пользу толпы, которая не понимает или не знает вас, в самом себе находить свое одобрение, свою силу, свою надежду. С непреклонной думой, с святой жаждой справедливости итти к цели, не озираясь, идет ли за вами толпа и достигнуть высот, только путь к которым можно указать отставшему своему поколению и кончить жизнь в горьком одиночестве своего ума и своего сердца—вот, что достойно вечного удивления, и в честь тех, которые были способны к такому подвигу, должна возжигать свой фимиам история».

Эта цитата взята из статьи Н. Г. Чернышевского «Тюрго», в статье она имеет свой смысл и прекрасно об'яснима в контексте подцензурных фраз. Но взятая эпиграфом, она звучит уже, как декларация общего взгляда на Чернышевского, получает «облик» отправной точки. Характерна ли она для марксистского понимания Чернышевского? Ни в коей мере. Под таким эпиграфом охотно подписался бы Карлейль. Она, как эпиграф, рисует Чернышевского неким гигантом, героем-одиночкой, неведомо откуда взявшим высокие свои идеи, чуждые толпе: толпа клевещет, не понимает, не знает героя, он «опередил эпоху», он «находит одобрение в самом себе» и пр. Разве это—Чернышевский? Разве это—тот революционер и теоретик, который явился идеологом нарождавшейся крестьянской революции, связанный со своей эпохой и с «современным обществом» крепчайшими узами? Правда, этот отрывок исключительно красив, его музыка пленила не одного т. Фролова, и—отдадим должное прекрасной книжечке Фролова — его пленила только музыка. Эпиграф этот — вовсе не точка зрения Фролова, он далек от взгляда на Чернышевского и его эпоху, как на «героя и толпу». Тот же эпиграф взят Ю. М. Стекловым в его двухтомной работе о Чернышевском[1].

Отметим еще толковую книжку В. К. Икова «Николай Гаврилович Чернышевский» (М. Изд. «Молодая Гвардия», 1928), так же отдающей должную дань полемике с концепцией Ю. М. Стеклова, но, к сожалению, недостаточно обрисовывающей эпоху Н. Г. Чернышевского, в которую уходят корни его теоретических потроений. Чтобы закончить разбор популярной литературы, укажем еще на прекрасную по замыслу книжку, изданную в Саратове «К юбилею Н. Г. Чернышевского». (Нижне-Волжская Краевая Комиссия по празднованию 100-летия со дня рождения Н. Г. Чернышевского. Саратов, 1928). По замыслу этот сборник должен служить руководством для проведения юбилея в различных организациях, клубах и пр. Он содержит вводные статьи (В. Ильинского «Н. Г. Чернышевский как мыслитель и революционер» и В. Сушицкого, популярно-биографический очерк о Чернышевском). Затем сборник дает материал хрестоматийного порядка—выдержки из сочинений Чернышевского и высказывания Ленина, Маркса и Плеханова о Чернышевском. В следующей части дан материал для устройства художественных вечеров и спектаклей, посвященных Н. Г. Чернышевскому, сценический материал и пр. Цель сборника возлагает на составителей сугубую ответственность: в руководящих статьях такой книги марксистская характеристика Чернышевского должна быть особо выдержанной и отчетливой. Но автор статьи (В. Ильинский) недостаточно уяснил себе основную, боевую задачу юбилейного выступления: Н. Г. Чернышевский обрисован им, как теоретик, который «вполне и глубоко понимал сущность материалистической диалектики». Эта характеристика неправильна. По выражению Ленина Н. Г. Чернышевский «не смог подняться до диалектического материализма Маркса и Энгельса».

---

[1] И в первом однотомном издании работы в 1909. В настоящем разборе мы не касаемся недавно вышедшей двухтомной монографии Ю. М. Стеклова, т. к. она, вероятно, послужит темой специальной критической статьи.

Совершенно особое внимание необходимо уделить разбору газетных кампаний, связанных с юбилеем и проведенных во всех газетах, начиная с 24 ноября (основная масса статей падает на воскресенье 25 ноября, канун торжественных юбилейных заседаний). О важности подобных кампаний не приходится распространяться,—это общеизвестно: ничто так не приближает к массе выводы научных исследований, ничто так не оживляет интереса к изучению, как появление на привычных огромных страницах «Правды», «Известий» и других газет, целой вереницы статей, с различных сторон, характеризующих юбилейную тему. Газетные кампании «Правды» и «Известий» хорошо проведены и дали ценный материал о Чернышевском. Отметим статьи И. Минца «Чернышевский—идеолог крестьянской революции», В. Кирпотина «Чернышевский—Фейербах—марксизм» («Известия»), Л. Каменева «Чернышевский в ходе революционного развития», В. Астрова «Чернышевский в оценке Ленина» («Правда»), Ц. Фридлянда «Н. Г. Чернышевский о европейской революции» («Правда»). Очень жаль, что пример А. Старчакова почти не нашел подражателей в других газетах и журналах—им дан живой и острый фельетон «Их вражда» (вражда Чернышевского и Л. Толстого). В богатой биографии Чернышевского—бесконечное количество тем для таких произведений, чрезвычайно популяризирующих вопрос. Но, к сожалению, пример не нашел подражателей,—то ли фельетонисты поздно спохватились, то ли не добыли нужной литературы...

Украина проявила к юбилею очень незначительный интерес. Отдельных украинских изданий о Чернышевском как будто не появилась совсем, а в журналах и газетах юбилей отмечен был слабо. Об этом приходится пожалеть. Конечно, нет никакой возможности останавливаться в кратком обзоре на всех газетах и «тонких» журналах. Но некоторые выводы общего характера напрашиваются сами собой. Да, кампания была проведена, дала много интересных статей, но общие итоги все же печальны. Очевидно, был недоработан самый план кампаний, так как в самой тематике статей оказалось две зияющих дыры: есть ли хоть одна статья о Чернышевском—экономисте? Достаточно ли освещен Чернышевский, как философ? Нет и нет. Почему наши экономисты и философы прошли мимо юбилея? Это тем более странно, что юбилей давал им повод исследовательской работы, а вовсе не заставлял скучать за надоевшей компиляцией давно известного материала: ведь Чернышевский—экономист и философ изучен очень мало,—тут прямо непочатый угол интереснейшей работы. Надо отдать справедливость теоретикам литературы: А. В. Луначарский, В. М. Фриче, П. С. Коган сделали чрезвычайно много, чтобы популяризировать Н. Г. Чернышевского, как литературного критика, беллетриста, теоретика искусства. Но для полного уяснения Чернышевского к прекрасным и многочисленным статьям на эти темы необходим известный контекст. Между тем, эти исследования стояли почти одиноко. Какое представление должно создаться у недостаточно знакомого с Чернышевским читателя (а таких огромное большинство!) о Чернышевском—теоретике, после чтения многочисленных газетных статей? Жил Чернышевский, величайший революционер 60-х годов, идеолог крестьянской революции, который написал прокламацию «Барским крестьянам», а в свободное время занимался исключительно эстетикой и литературой. Пусть такая формулировка несколько преувеличена, но ведь факт зияющих пробелов налицо. Между тем Чернышевский в пору своего расцвета все же в большей мере экономист и философ, чем литературный критик. К тому же его теоретические завоевания в этих двух областях особо ценны: вспомним, что Маркс особенно ценил Н. Г. Чернышевского за его экономические взгляды, а Ленин, преклоняясь перед Чернышевским-экономистом, дал в то же время исключительно высокую оценку его философских идей: «Чернышевский — единственный[1] действительно великий русский писатель, который сумел с 50-х годов вплоть до 1888 г. остаться

[1] Разрядка моя.—М. Н.

на уровне цельного философского материализма и отбросить жалкий вздор неокантианцев, позитивистов, махистов и прочих путаников». Много ли узнали об этом Чернышевском читатели юбилейных газетных номеров? Почти ничего.

Еще одно: «недели Чернышевского» не чувствовалось даже в крупнейших газетах, можно говорить лишь о «дне» Чернышевского. Число и, пожалуй, удельный вес статей и заметок о Чернышевском, помещенных в последующие дни, крайне незначительны. Как, на пример, недостаточно внимательного отношения к юбилейной «неделе» укажем на появление в одной из центральных газет воспоминаний личного секретаря Н. Г. Чернышевского К. Федорова. На эту статью не пожалели двух «подвалов», между тем, тут налицо просто известное недоразумение: статья повторяет давно известные всем вещи, не дает буквально ничего нового по существу, да к тому же дает более чем сомнительное толкование фактов: речь идет об измученном Н. Г. Чернышевском, отпущенном царскими палачами из Сибири лишь потому, что долгие годы страдания его духовно разбили, подорвали его внутреннюю энергию и способности. К. Федоров же по «личным воспоминаниям» рисует нам чрезвычайно неправдоподобный образ живого, полного сил и творческой энергии, человека. Это после долгих лет Сибири? Не в поверхностности ли наблюдения дело? Невнимательный наблюдатель легко мог принять нервную возбужденность разбитого страданиями человека за здоровую, энергичную оживленность.

II

Особое внимание историка должны привлечь публикации новых документов. Это особенно важно именно по отношению к Чернышевскому. Документальная публикация должна коснуться всех сторон его жизни и учения и сказать тут свое решающее слово: еще очень недостаточно знаем мы Н. Г. Чернышевского, и огромное количество связанных с ним проблем ждет своих документов. О столь ценных документах, как дневник Чернышевского, говорено в обзоре «Накануне юбилея Чернышевского», там же дана характеристика документа. В 29 томе «Красного Архива» опубликован ряд интересных автографов Чернышевского и снимков его «дела». О первом томе «Избранных сочинений» Н. Г. Чернышевского в в прошлом обзоре говорилось, как о печатающемся, в настоящее время он уже вышел и подоспел к юбилею. Тому предпосланы обширные вводные статьи: М. Н. Покровского—«Чернышевский—историк» и В. И. Вевского—«Николай Гаврилович Чернышевский. Краткие биографические сведения». Текст Н. Г. Чернышевского восстановлен по рукописям и корректурам «Современника» и содержит 392 случая разночтений и восстановленных купюр по сравнению с наиболее полным из известных ранее изданий Чернышевского,—«Полным собранием сочинений» (1906). Купюры и разночтения встречаются разных типов: есть носящие стилистический характер, есть цензорские. Особо интересны последние. Ясно, что самая очередная задача нашей науки,—снять с текста Чернышевского тяготеющий над ним гнет царской цензуры. Изданное в 1906 г. сыном Н. Г. Чернышевского—М. Н. Чернышевским «Полное собрание сочинений» выходило в эпоху разыгрывающейся реакции и разрешение на печатание было дано при условии, что будет публиковаться старый текст «Современника», когда-то уже просмотренный цензурой. Поэтому в «Полном собрании сочинений» цензурские купюры удавалось восстановить лишь крайне редко и с большим трудом (пример,—статья «Кавеньяка»). О том, как могут быть интересны эти цензорские купюры, может сказать хотя бы такой пример: цензор совершенно вычеркнул следующее место из «Июльской монархии» Н. Г. Чернышевского: «Преобразование семейных отношений должно итти в уровень с улучшением общественных нравов. Если будет сделан в семейных учреждениях слишком большой скачок против состояния нравов, перемена, вероятно, принесет, все-таки, больше пользы, чем вреда, но и вреда принесет очень много.

---

[1] Материализм и эмпириокритицизм; Собр. сочинений, 1 изд. т. X, стр. 306.

Надобно думать, что приобретение женщиной той самостоятельности в отношении к мужчине, какою теперь пользуются только одни мужчины в отношении к женщине, довольно скоро привело бы нацию к улучшению нравственности, но на первое время слишком многие мужчины по пошлости своих нынешних понятий, стали бы обижать женщин, может быть больше, чем даже теперь, когда лучше родиться рабом, лишь бы мужчиной, чем женщиною в самом завидном положении. Впрочем, мы здесь больше делаем уступку господствующему мнению, нежели говорим по убеждению, когда соглашаемся, что перемена могла бы быть хотя на первое время невыгодна для женщин: говоря по правде, их положение так дурно, что хуже не может стать ни в каком случае, а во всяком случае стало бы лучше» [1].

Все пятитомное издание «Избранных сочинений», предпринятое правительственной юбилейной комиссией, закончится дополнительным томом, который будет содержать полную библиографию и «Летопись жизни Н. Г. Чернышевского»,— обе работы выполнены Н. М. Чернышевской-Быстровой. В ближайшее время выйдут из печати четвертый и пятый томы: четвертый посвящен Н. Г. Чернышевскому—литературному критику. В него входят «Очерки гоголевского периода русской литературы», «Русский человек на rendez vous», «Об искренности в критике», статьи Чернышевского о Л. Толстом, о «Губернских очерках» М. Е. Салтыкова-Щедрина и об Островском («Бедность не порок»). Пятый том заключает в себе «Что делать?» и «Пролог». Второй том, посвященный Н. Г. Чернышевскому-экономисту, в настоящее время печатается, а третий, посвященный Чернышевскому-философу, готовится к печати. В числе других работ в него войдут «Антропологический принцип в философии», «Об эстетических отношениях искусств к действительности», «Критика философских предубеждений против общинного владения» и ряд писем Н. Г. Чернышевского из Сибири, в которых затрагиваются философские проблемы. Все издание в целом выполняется Коммунистической Академией. Издание снабжено многими иллюстрациями-фотокопиями отдельных страниц различных рукописей Чернышевского, корректур с его личной правкой, особенно интересны цензорские корректуры с цензорским красным крестом.

Документальные публикации пополнятся в ближайшее время вторым томом «Литературного наследия», выходящим в декабре. Том содержит письма Чернышевского. Есть новые документальные публикации в только что вышедшем саратовском юбилейном сборнике («Николай Гаврилович Чернышевский. 1828—1928. Неизданные тексты, материалы и статьи», под общей ред. проф. С. З. Каценбогена, Саратов, 1928—Н. В. Комиссия по празднованию 100-летия со дня рождения Н. Г. Чернышевского). Этот сборник, несомненно, один из наиболее ценных и удачных во всей юбилейной литературе. Он, прежде всего, дает интересный документальный материал. В нем впервые публикуются 16 новых мелких рассказов Чернышевского, написанные им в 1864 г. в Петропавловской крепости и ряд очень ценных отрывов из его статей и научных работ. Эти отрывки так ценны, что буквально не знаешь, какой выбрать для характеристики сборника. Отметим замечательный по силе исторического анализа отрывок Чернышевского об «Апологии сумасшедшего» П. Я. Чаадаева. Это во-первых, вообще, один из лучших разборов Чаадаева, во-вторых—законченная концепция русского исторического процесса, в-третьих—очерк русской историографии. Замечателен и неизданный отрывок из «Современного Обозрения» (1857, Соврем. № 9), где дан анализ казацких войн при Богдане Хмельницком и вскрыта классовая подоплека, якобы «национальной борьбы». Укажем еще на ряд чрезвычайно ценных отрывков, извлеченных Н. А. Алексеевым из Архива Октябрьской революции,—из них особо интересны отрывки введения к трактату политической экономии Милля. Захватывающе интересны письма Е. Н. Пыпиной 1862—1864 гг., в которых, как в зеркале, отразились обстоятельства заключения Чернышевского в крепости,—они приго-

---

[1] Избранные сочинения, т. I, М. ГИЗ, 1928, 440.

товлены к печати и комментированы Н. М. Чернышевской-Быстровой. Ценны свежие, по документам проведенные исследования В. Пыпиной «Чернышевский и Пыпин в годы детства и юности», Н. Д. Новицкого «О Введенском, Чернышевском и Сераковском» и Б. П. Козьмина «Вокруг вопроса об амнистии Н. Г. Чернышевского». Настольным справочником для всех исследователей Чернышевского явится тщательно составленное С. И. Быстровым «Описание рукописей Н. Г. Чернышевского, хранящихся в доме-музее его имени». Очень интересны и хорошо выполнены факсимиле, иллюстрирующие сборник.

Особо надо остановиться на статьях сборника—они ценны с точки зрения монографической разработки всей проблемы Н. Г. Чернышевского в целом, а монографическая разработка—очередной вопрос. Все статьи сборника идут в основном по намеченной линии борьбы за подлинного Чернышевского, хотя не все защищают эту линию равномерно. Как и в центральной прессе,—главное внимание уделено Чернышевскому—литературному критику и беллетристу и литературным влияниям на Чернышевского. Отметим статьи: В. Буша „Заметки об «Очерках гоголевского периода русской литературы»", В. Каплинского „«Лессинг» Чернышевского" и две статьи А. Скафтымова «Чернышевский и Жорж Занд» и „Неизданная повесть Чернышевского «Отблески сияния»"... Работу С. З. Каценбогена «Философские воззрения Н. Г. Чернышевского» надо отметить, как единственную детальную статью о Чернышевском—философе во всей юбилейной литературе (к сожалению, чтение ее затрудняется странным обстоятельством: каждая фраза статьи начинается почему-то с красной строки). С. З. Каценбоген, разобрав генезис философских воззрений Чернышевского и влияние на них Фейрбаха и отчасти Спинозы, останавливается на его философской системе в целом, уделяя большое внимание гносеологической стороне и детально разбирая сильные и слабые стороны его воззрений. Очень интересна статья Ф. Д. Корнилова «Право и государство в воззрениях Чернышевского», как оригинальностью темы, так и тщательностью анализа,—жаль лишь, что воззрения Чернышевского на эти вопросы не даны в их эволюции. По сути дела интересная статья И. В. Герчикова «Н. Г. Чернышевский, как критик либерализма» не преувеличивает в своих выводах значения Чернышевского, но она слабее других: она недостаточно глубоко захватывает эпоху и не дает подробного анализа классовых корней русского либерализма, борцом против которого (а не «критиком»!) был Чернышевский. Вызывает возражения вводная часть, больше похожая на акафист Чернышевскому, чем на введение: «Чернышевский высится, как некий Монблан...», «он родственен нам, как прообраз русской пролетарской революции (?!)», он—«изумительный скачок из пошлости российской крепостной действительности к царству свободы»... Замечательно, что и этот сборник, как и вся юбилейная литература, «забыл» о Чернышевском—экономисте.

Какое значение приобретает документарий Н. Г. Чернышевского в разрезе борьбы за его марксистское изучение? Не говоря уже об общем значении документа в изучении любого исторического вопроса, документ в изучении Чернышевского приобретает особое значение именно в разрезе борьбы за подлинного Чернышевского. Историку приходится в этом случае устанавливать не только новые факты, заполнять пробелы, но и бороться с искажением образа Чернышевского, с его неправильным толкованием. Ясно, что планомерное и подлинно-научное изучение Чернышевского должно быть основано на высоко-доброкачественном документарии, в центре которого, конечно, должен стоять твердо установленный и проверенный подлинный текст самого Чернышевского. О сложности методологии этого текста очень много говорилось во время диспутов в обществе историков-марксистов, о которых шла речь выше. Ясно, что изучать в наше время Чернышевского по тексту, изуродованному царской цензурой, хотя имеется полнейшая возможность добыть настоящий текст,—по меньшей мере странно. Обозревая с этой точки зрения документальные публикации юбилея, невольно приходишь к выводу: конечно, то, что публикуется в пятитомнике ценно и важно, но ведь

это лишь небольшая часть! Издание действительно полного собрания сочинений Н. Г. Чернышевского заняло бы приблизительно около 20 томов, равных по об'ему вышедшему первому тому. Рождается тревога: не забудется ли необходимость издать действительно полного Чернышевского после издания пятитомника? Если сочинения Л. Толстого дождались своего полного академического издания, заключающего в себе не менее 90 томов, то неужели Н. Г. Чернышевский не заслужил 20 томов академического издания? И можно ли его популяризировать и глубоко изучать без наличия такого издания? В доме-музее им. Н. Г. Чернышевского в Саратове есть и совершенно неизданные рукописи Чернышевского. Когда они будут опубликованы? Укажем на наличие таких неопубликованных работ, как очерк борьбы пап с императорами (по приблизительному подсчету работников музея, содержащий около 6 печ. л.), неизданные отрывки из политических обзоров Чернышевского. А цензорские купюры? Ведь в них таится целый кладезь мыслей Чернышевского. Приведем пример из известной статьи «Тюрго», которая в полном виде еще не напечатана нигде и неизвестно, когда будет напечатана. Нижеследующие купюры еще нигде не опубликованы.

Цензор прекрасно знал, что под невинной формой передачи мыслей других лиц, изложения мнений каких-либо исторических деятелей, Чернышевский говорит от себя, излагает запретные мысли. С этой целью Чернышевский разбирает спор Неккера и физиократов о дороговизне с'естных припасов. Физиократы утверждали, что дороговизна «вовсе не противна выгодам народа». Чернышевский, великолепно понимавший связь между зарплатой и дороговизной, излагал свое мнение устами Неккера, «энергически опровергавшего этот опасный софизм» физиократов. Цензор вычеркнул следующий абзац: «Спросите у этого наемного работника, плату которого стараются по возможности понизить, желает ли он дороговизны с'естных припасов? Если бы они [рабочие] умели читать, они были бы очень изумлены, узнав, что от их имени требуют дороговизны. Книга Г. Неккера кончалась следующими словами: можно сказать, что небольшое число людей, разделив между собой землю, составили законы для обеспечения своих участков против массы людей, вроде того, как поставлены загородки в лесах против диких зверей. Установлены законы, ограждающие собственность, правосудие и свободу, но почти еще ничего не сделано для самого многочисленного класса граждан. Какая нам польза от ваших законов о собственности?—могут сказать они:—мы ничего не имеем; от ваших законов о правосудии?—нам не о чем вести тяжбу; от ваших законов о свободе?—если мы не будем работать завтра, мы умрем».

Замечательна и другая цензорская купюра статьи «Тюрго». Чернышевский подверг критике утверждение Тюрго, что за человеком надо признать «право иметь работу»: «Тюрго,—пишет Чернышевский,—допускал право искать работы, а не право иметь ее—различие существенное, до сих пор еще не вполне понятое». Далее стоит цензорский красный крест на нижеследующем абзаце: «Какая польза была, если говорили пролетарию: «Ты имеешь право работать», когда он отвечал: «Как же я воспользуюсь этим правом? Я не могу обрабатывать землю для себя,—родившись, я нахожу ее уже занятою. Я не могу заняться ни охотою, ни рыбной ловлею—это привилегия владельца. Я не могу собирать плодов, возращаемых богом на пути людей—эти плоды поступили в собственность, как и земля. Я не могу ни срубить дерева, ни добыть железа, которые необходимы для моей работы: по условию, в котором я не участвовал, эти богатства, созданные, как я думаю, природой для всех, разделены и стали имуществом нескольких людей. Я не

могу работать иначе, как по условиям, возлагаемым на меня теми, которые владеют средствами для труда. Если, пользуясь так называемой у вас свободой договоров, эти условия чрезмерно суровы; если требуют, чтобы я продал тело и душу; если ничто не защищает меня от несчастного моего положения; или если, не имея во мне надобности, люди, дающие работу, оттолкнули меня — что будет со мной? Найдется ли у меня сила восхищаться тем, что у вас называется уничтожением произвольных стеснений, сделанных людьми, когда я безуспешно борюсь с условиями жизни? Буду ли я свободен, когда подвергнусь рабству голода? Право работать будет ли казаться мне драгоценно, когда мне прийдется умирать от беспомощности и отчаяния при всем моем праве?».

Не приходится распространяться о высокой ценности подобных текстов: она очевидна. Отсюда—важнейшая задача: работа над академическим изданием сочинений Чернышевского.

III

В результате каждой коллективной работы, в частности—юбилейной кампании, всегда ясно формулируются очередные задачи исследования данной проблемы. Так произошло и с юбилеем Н. Г. Чернышевского, и стоит попытаться эти очередные задачи осознать—они всегда бывают ценнейшим наследием всяких юбилеев. Тем интереснее они в связи с Н. Г. Чернышевским: ведь его настоящее исследование только лишь начинается.

О необходимости издать академическое собрание сочинений уже говорилось выше. Неизученность эпохи 60-х годов требует планомерности публикации документов эпохи, особенно документов по части массового крестьянского движения, подоплеки реформы. На этих документах должно быть основано монографическое марксистское изучение эпохи 60-х годов. Есть у нас хоть одна такая работа? Чтó указать читателю, у которого в результате юбилея Чернышевского возник законный интерес к его эпохе? Нечего. У нас нет ни одного монографического марксистского труда на эту тему.

Затем, маленькое замечание: надо покончить с некоторой невнимательностью к документу при изучении Чернышевского. Пример: В. Астров, в своей, в целом очень хорошей, статье «Чернышевский в оценке Ленина» («Правда», № 274/4106, 1928 г., с. 4, 7-я колонка) цитирует «Письмо из провинции» (неточно приводя его заглавие, как «Письмо русского человека»), безоговорочно приписывая его Чернышевскому. Но ведь это вовсе еще не доказано! Чем оперируют исследователи, приписывающие авторство Чернышевскому? Известным свидетельством А. Слепцова: «Писано Н. Г. Чернышевским и прочитано мне до отправления к Герцену...». Но авторитетно ли это свидетельство? Тут В. Астров, очевидно, забывает требуемое от исследователя исключительно осторожное отношение к мемуарам. Все, что мы знаем о Чернышевском, о его величайшей конспиративной осторожности и, наконец, просто о его привычках—прямо кричит против утверждения Слепцова. Чего ради стал бы Чернышевский Слепцову, к которому он относился не с полным доверием, читать такой документ? Кроме того, вспомним факт, подтверждаемый массой других свидетельств о привычках Чернышевского, и очень ярко выраженный им самим: «Всякий, близко знающий [меня], знает, что это нравственная невозможность. Я никогда не читаю никому, что бы то ни было, написанное мною. Этот обычай столь же чужд мне, как танцевание балетных танцев и собирание милостыни под окнами [1]. Так или иначе, вопрос об авторстве Чернышевского еще очень темен и требует тщательного исследования. Арк. Ломакин в статье «Черны-

[1] Дело Чернышевского. См. М. Ляшко. Политические процессы в России в 1860-х гг. Пгр., Гиз, 1923, стр. 359.

шевский в истории социализма» («Известия», № 279 (3513), 1928 от субботы 1/XII, 1928 г.), выражается так: «теперь (?) окончательно установлена принадлежность руке (?) Чернышевского знаменитого воззвания «К (?) барским крестьянам». Во-первых, руке Чернышевского оное воззвание как раз не принадлежит, а, во-вторых, когда, где и кем эта принадлежность «теперь» окончательно установлена? Вообще предположение об авторстве Чернышевского по-прежнему с трудом цепляется за шаткие утверждения Шелгунова, и за последние десять лет ни одной специальной работы об этой прокламации не было, и, в-третьих, прокламация называется «Барским крестьянам» (т. к. далее следует опускаемое при беглом указании «от их доброжелателей поклон»). Пусть примеры из работ А. Астрова и Арк. Ломакина—мелочи, но не характеризуют ли они вообще недостаточно бережное обращение с документами, касающимися Чернышевского? Уничтожить такое обращение—очередная задача.

Одним словом, юбилей принес много ценного проблеме изучения Н. Г. Чернышевского. И это дальнейшее изучение—разрешение поставленных юбилеем исследовательских задач—должно стать одним из ценнейших результатов отшумевших юбилейных дней.

М. Нечкина.

ПРОМЫШЛЕННАЯ РЕВОЛЮЦИЯ В АНГЛИИ В НОВЕЙШЕЙ ИСТОРИЧЕСКОЙ ЛИТЕРАТУРЕ

За последние годы литература, посвященная промышленной революции в Англии, занимает все большее и большее место в современной историографии.

Пятнадцать лет тому назад (перед империалистической войной) единственным откровением по данному вопросу считалась в буржуазной науке книга Манту — «Промышлення революция в Англии в XVIII столетии»[1], последняя часть капитального труда Кеннингема[2] и небольшая, незаконченная работа Тойнби[3]. Несмотря на солидные размеры, книги Кеннингема страдает расплывчатыми формулировками, отсутствием синтеза и порой самыми наивными и банальными выводами. Вышла она в 80-х годах прошлого столетия и, поскольку многие, в частности архивные, материалы не были еще обнаружены, Кеннингему они остались неизвестными.

Совсем в другом роде—книга Манту. Она основана на изучении архивных и множества печатных источников и дает широкую и исчерпывающую картину всех сторон великого социального процесса,—с этой стороны труд Манту давно уже приобрел в академических кругах репутацию классической работы. Но Манту упрямый сторонник буржуазной исторической школы и как таковой не упускает случая, чтобы не опровергнуть «ненавистного» Маркса; в этих случаях доводы и мысли Манту—бедны и малоубедительны.

Таким образом, по существу говоря, вся историография Промышленной Революции в Англии ограничивалась только этими двумя работами.

Начавшаяся в 1914 году империалистическая война надолго приостановила научно-исследовательскую работу.

Только с возобновлением мирных отношений могли увидеть свет новые труды, до той поры хранимые в портфелях исследователей: Джон и Барбара Гаммонд, книги которых уже успели сделаться классическими, с нескрываемой грустью рассказывают в предисловии к «Tomn Labourer», как война помешала им опубликовать эту работу[4] ранее.

Книга Гаммондов не осталась одинокой, за ней последовал ряд других; все историки как бы заразились общим желанием—выпускают одну работу за другой. Группа ученых, об'единившаяся под руководством проф. Анвина вокруг

---

[1] Mantoux—La revolution industrielle au XVIII siécle en Angleterre. Paris.

[2] Cunningham—Growth of the English industry and commerce, vol III, Oxford, 1902.

[3] Toynbee—Industrial revolution in England.

[4] Hammond—Town labourer, p. VIII.

Манчестерского Университета, дает ряд содержательных монографий: Аштон[1] пишет о металлургической промышленности в эпоху Промышленной Революции, Дэниэльс о хлопчатобумажных и т. д.[2].

Я не буду останавливаться на разборе этих работ,—в свое время прекрасный и четкий анализ их дал проф. Косьминский в своей статье — «Английский Рабочий в эпоху Промышленной Революции» и к выводам его трудно что-либо еще прибавить.

Мне хотелось бы только указать на одно обстоятельство, ранее никем не указанное, именно: изучение Промышленной Революции в Англии начало по окончании войны 1914 г. локализироваться,—оно сделалось достоянием англичан и только за последние 3—4 года американцы нарушают эту естественную монополию. Чем это об'яснить?

«Современная империалистическая эпоха,—говорит Ленин,—есть эпоха загнивания и разложения капитализма». Эти слова ни к кому так не применимы, как к Британской Империи—газетные телеграммы ежедневно свидетельствуют нам об этом. Оттого, может быть, именно у англичан создался такой интерес к истории первоначального развития родной промышленности, невольно можно подумать, что в исполинских фигурах отцов современного капиталистического производства, Боультона, Уэджвуда, Пиля и других, современная хиреющая буржуазия Англии рассчитывает найти поддержку своему колеблющемуся господству. Если же сравнить нынешнюю рационализацию промышленности с механизацией производства в конце XVIII и начале XIX вв., не доброй памяти «Combination Laws» и законы против профсоюзов кабинета Балдвина, то невольно приходит в голову мысль о прямом заимствовании и подражании методам борьбы родоначальников капитализма. С этой точки зрения интерес к прошлому для английского историка не кажется отвлеченным, а приобретает практический характер. Это явление в достаточной мере сильно отразилось на современной исторической литературе.

Мало этого,—как мы увидим дальше—история становится более, чем когда-либо откровенно, орудием в руках имущих классов для защиты их эгоистических интересов и обоснования их raison d'être. Такова политическая физиономия разбираемой литературы, за немногими исключениями.

В методологическом отношении здесь тоже следует отметить одну новую черту, характерную для других отраслей английской социальной истории (например, аграрной),—внимание исследователей направлено теперь не на изучение Промышленной Революции в целом, а на исследование отдельных проблем, касающихся развития одной или другой отрасли производства, той или иной стороны социальной жизни данной эпохи. это специальные, по большей части, монографии, стремящиеся дать точную и конкретную картину какого-нибудь частного процесса. И только, накопив достаточный материал, некоторые, особенно плодовитые, историки делают известные обобщения, дают нам изображение всего процесса в целом. Такова книга четы Гаммонд — «Развитие современной промышленности». В течение нескольких лет супруги Гаммонд последовательно выпускали ряд трудов, посвященных рабочему движению в период 1760—1832 гг., т. е. в самый разгар Промышленной Революции.

В первой из своих работ—«Сельский Рабочий»[3], хотя и опубликованной в 1910 году, но значительно переработанной в новом издании 1920 года, наши авторы рисуют нам картину исчезновения феодальных обычаев в сельском хозяйстве, описывают яркими красками процесс огораживания земли и экспроприации крестьянства крупными земельными собственниками, подробно останавливаются на ряде законодательных мероприятий, направленных якобы на улуч-

---

[1] Ashton—Yron and Steel in the Industrial Revolution, Manchester, 1924.

[2] Daniels—Early Englich cotton industry, Manchester, 1920.

[3] J. L. and B. Hammond—Village labourer 1760—1832.

шение участи крестьянства, одни из которых (Спингемлендский акт) обманывали трудящихся деревни, другие (Билль Уитбреда) представляли паллиатив и терпели полный крах. В книге имеется тщательный анализ так называемой Allotment System (наделение малоземельных мелкими участками земли и инвентарем) и законов о бедных. Все эти меры, приходят к заключению Гаммонды, проводились в интересах лендлордов и ничего, кроме бед и нищеты, не приносили крестьянству. Сельский пролетариат в связи с этим численно возрастал, а крестьянство как класс исчезало. Последние главы своей работы авторы посвящают восстанию Свинга, вспыхнувшему под влиянием неимоверной эксплоатации в 1830 году (главным образом в Южной Англии): сельские рабочие под руководством мистического вождя Свинга ломали сельскохозяйственные машины и жгли помещичий хлеб, инвентарь и т. п. Авторы книги дают пространную характеристику движения со стороны программы и тактики и выясняют причины его неудачи: восставшие были слишком слабы, и когда правительство опомнилось от первого испуга, оно быстро потопило в крови эту попытку деревенского пролетариата вырваться из тисков эксплоатации. В «Town labourer»[1] Гаммонды прослеживают тот же процесс в условиях городской промышленности: ужасы фабричного режима—каторжная дисциплина, непомерно длинный рабочий день и хладнокровно-медленное убийство детей тяжелой и непосильной работой. Гаммонды показывают также entente cordiale государственной власти и правящих классов в их общем стремлении подавить рабочее движение, авторы мастерски рисуют лицемерную безжалостно-расчетливую психологию буржуазии, изображают они и настроение городского пролетариата. В этой книге как в зеркале отображаются прелести новой буржуазной цивилизации. Бесспорно, упомянутый труд Гаммондов является их лучшей работой: на ряду с оригинальными выводами здесь сочетаются обилие фактического материала и ряд новых данных (влияние веслеянства на рабочее движение, связь работорговли с эксплоатацией детского труда и т. п.).

Наконец, в «Skilled Labourer»[2] последней части этой, поистине, трилогии борьбы и страданий английского рабочего класса, мы имеем очерк жизни и условий труда квалифицированного ремесленника-рабочего, к несчастью своему пережившего цеховые законы и средневековые статуты и раздавленного в конце-концов капиталом. Здесь мы знакомимся и с методами борьбы квалифицированных рабочих, в частности получаем представление о доселе таинственном движении луддитов (разрушителей машин), и провокаторско-полицейских мерах буржуазии при подавлении рабочих «волнений».

К сожалению некоторые вопросы в этой книге не всегда в достаточной мере освещены, например, очерк развития трикотажного производства дан несколько упрощенно. Не вполне ясно прослежено движение заработной платы трикотажников в период наполеоновских войн, и вообще о положении трикотажного производства и рабочих в этот период почти ничего нет, кроме общих слов. В главе об Иоркширских луддитах совсем не упоминается о секретной организации предпринимателей для борьбы с поломкой машин, что же касается движения луддитов в Ланкашире, то перед нами в данном случае только описание внешней стороны его, о причинах же и истинной подоплеке его авторы умалчивают. Благодаря этому у читателя остается некоторое чувство недоуменности.

Все это мы находим и в уже упоминавшейся книге Гаммондов—«Развитие современной промышленности»[3]. Написанная блестящим и выразительным языком, она вместе с тем имеет популярный характер,—согласно заявлению самих авторов «их работа рассчитана на широкую публику». В качестве источников

[1] J. L. & B. Hammond—The town labourer, New impr. 1925.

[2] J. L. & B. Hammond—The skilled Labourer 1760—1832, 1919.

[3] J. L. & B. Hammond—The rise of modern industry, London, 1925.

Гаммонды использовали на этот раз не архивные документы, а только литературу, и строят свои выводы главным образом на основании своих предыдущих работ,— это как бы квинтэссенция их основных взглядов.

Промышленной Революции, по мнению авторов книги, предшествовала длительная коммерческая революция, способствовавшая в сильной степени будущим преобразованиям в производстве. Основным этапом последней и посвящена первая часть работы. Здесь выясняется ряд условий, доставивших Англии в конечном результате торговое могущество. Анализируя колониальную и торговую политику двух крупнейших в истории государств—Римской империи и Пиренейских монархий, Гаммонды приходят к заключению, что ни та, ни другие не использовали производительным образом богатств своих колоний: в одном случае существовало непроизводительное потребление, в другом,—царили неимоверный грабеж и расхищение. Переходя к положению Англии, наши авторы констатируют особенно благоприятные условия для ее дальнейшего развития: островное положение, отсутствие войн и междуусобиц, раздиравших континент, и установившийся после революции XVIII века твердый парламентарный строй и гражданская свобода. Наконец, английские колонии по своему климату и экономическим ресурсам только способствовали развитию энергии и производительности труда у англичан, все богатства Нового Света самым выгодным образом использовались ими, так что английское хозяйство, развиваясь без помех и спокойно, в конце-концов приобрело гегемонию в морской торговле. При таких условиях, замечают Гаммонды, даже потеря американских колоний принесла пользу Англии, которая быстро расширила и увеличила свою торговлю с новым государством, способствуя тем самым росту своего производства, вызвавшего в результате Промышленную Революцию.

Последняя трактуется во второй части рассматриваемого труда. Прежде всего, наши авторы касаются вопроса о транспорте: рассказывают нам о подготовке и развитии системы каналов, о постройке новых дорог и их улучшении. Процесс этот, по словам Гаммондов, принял настолько крупные размеры, что через каких-нибудь 40—50 лет всю Англию изрезывала густая сеть каналов и дорог—революция, в средствах транспорта, таким образом, уже в конце XVIII века вполне определилась и только железные дороги положили начало новому этапу прогресса путей сообщения.

Последовавшей за улучшениями в области транспорта революции в производстве Гаммонды уделяют самое большое внимание—это центральное место работы. К сожалению, эти главы мало дают нового и, по существу говоря, повторяют в сжатой форме все, что говорилось в более ранних работах Гаммондов. Нужно, однако, сказать, что отдельные мысли и замечания, разбросанные нашими авторами прежде в разных местах, здесь приведены ими в стройную и систематическую форму: мы имеем тут и рассказ о наиболее крупных изобретениях в главнейших отраслях промышленности и об'яснение роли паровой машины в реформирующемся производстве, и, наконец, очерк борьбы рабочего класса, главным образом умирающего ремесла, с капиталом.

В последней части своей работы Гаммонды выясняют нам последствия промышленной революции и дают социально-этическую характеристику ее. В главе «Тень работорговли» авторы стремятся определить причины особенно жестокой эксплоатации фабричного (в частности детского) труда, которые они оригинально об'ясняют влиянием работорговли, убившей всякое чувство гуманности у английского купца и предпринимателя, что приучило их смотреть на своих рабочих как на товар. В следующей главе «Проклятие Мидаса», дается картина быта и жизненных условий нового, рожденного революцией, города, с его резкими социальными противоречиями — «промышленный прогресс подобно мифическому Мидасу, создавая богатство, нес с собой голод и смерть». В последних двух главах Гаммонды указывают основной результат промышленной революции; по их мысли она перевернула былые социальные отношения, нарушила

гармонию общества и разбила его на резко враждебные классы. «Их борьба, говорят они, вылилась, однако, не в политические формы, ибо «многие рабочие увлекались методизмом и бросились в об'ятия реакции и мистицизма, французская же революция была не в силах поднять пламя революционного пожара в Англии—основные идеи ее были уже, хотя и на бумаге, воплощены в английской жизни и для англичан ничего не представляли нового, с другой стороны методизм служил надежным щитом против всех иностранных влияний».

Несмотря на достоинства книги Гаммондов: блестящее изложение, оригинальные мысли и много новых фактов, неизвестных рядовому читателю,—она страдает рядом недостатков. Прежде всего, хотя авторы и приемлют борьбу классов, но миросозерцанию их абсолютно чуждо марксистское понимание истории. Кроме того, они слишком переоценивают влияние коммерческой экспансии на дальнейший прогресс промышленного капитализма; не менее далеко от марксизма, и их заключение о работорговле, как о причине эксплоатации фабричных детей. Точно так же, хотя симпатии Гаммондов и лежат всецело на стороне рабочих, но в книге их не проведена строго классовая точка зрения, ибо в своих заключениях они исходят из понятия классового сотрудничества и мира.

На ряду с методологической невыдержанностью в работе Гаммондов есть недостатки другого рода: такому важному моменту промышленной революции, как развитие хлопчатобумажного производства, они уделяют мало места и наоборот слишком долго останавливаются на менее существенных вопросах, как например, успехи гончарного производства. Несколько бледно освещено ими положение рабочих в это время,—ничего не сказано о рабочей эмиграции и очень мало о деятельности профсоюзов, а ведь эти вопросы являются очень важными для эпохи промышленной революции.

И все же нельзя не признать, что в научно-популярной литературе книга Гаммондов должна занять одно из первых мест: здесь мы видим в общем стройное изложение и серьезный, не тенденциозный рассказ; все слабые стороны этого труда вытекают только из неправильного метода авторов.

Совершенно иной характер имеют работы других исследователей: это специально-написанное обоснование непреложности и вечности капиталистического строя, а иногда и прямо-таки настоящая апология буржуазии, тенденциозное отрицание революционности исторического прогресса и т. д. Образец такой работы мы находим в книге Моффита—«Англия накануне промышленной революции»[1]. Автор ее—канадский профессор, долгое время работавший в библиотеках Манчестера и Эдинбурга, а также в Британском Музее. К сожалению, использованный Моффитом материал далеко не первосортный: хотя он и имел возможность познакомиться со всеми богатствами лучших книгохранилищ Англии, но из всей массы источников им выбраны только печатные документы: мемуары, памфлеты, официальные отчеты и т. п., рукописные материалы, надо думать, остались ему незнакомы.

Содержание самой книги несколько уже ее заглавия: оно охватывает период с 1740 по 1760 год и рассматривает социальные и экономические условия только одного Ланкаширского графства, в некоторых случаях, для связи, автор касается отношений и в остальной Англии, которая является как бы общим фоном для рисуемой им картины; наконец, Моффит не упускает случая провести параллель между экономическим развитием Англии и его родины, Канады.

Основной целью своего труда Моффит ставит себе задачу доказать постепенность процесса преобразования промышленности: «история,—говорит он,—знает два вида революции—одна это внезапное возмущение против условий, ставших в конце-концов невыносимыми—такова Великая Французская Революция... Революция другого рода представляет взрыв накопившейся молодой энергии, под'ем настолько быстрый, что он не в состоянии развернуться в слишком узких рамках

[1] L. Moffit—England on the eve of the Industrial Revolution, New-York. 1925.

старого порядка. Такая революция стремится к созданию лучшей и новой структуры общества и хозяйства... Однако какой бы яркий характер ни носили отдельные фазы этой революции, позади нее лежит длительный период подготовки... старые пути медленно отмирают, некоторые черты старой организации постепенно исчезают. Только, когда все подготовлено, тогда новый порядок рождается на свет»... Таким образом, по мысли Моффита, еще задолго до промышленной революции все характерные черты ее имелись, хотя в затушеванном и зачаточном виде. Эту мысль он доказывает тщательным исследованием методов, господствовавших в сельском хозяйстве и промышленности Англии. Аграрным порядкам посвящена вся первая часть книги Моффита. Он подробно рассматривает, какие виды злаков и трав сеялись в то время в Ланкашире и прилегающих к нему областях, какова была обработка земли и методы удобрения, и, наконец, особо останавливается на скотоводстве. От вопросов технических наш автор переходит к анализу существовавшей тогда системы землепользования и дает сжатое описание быта и жизненных условий всех групп земледельческого населения.

Особенно интересна у Моффита глава, посвященная рыночным отношениям в земледелии; здесь он стремится доказать глубокое проникновение капитала в сферу сельского хозяйства.

Касаясь положения сельских рабочих, Моффит указывает, что «заработная плата в это время имела тенденцию к повышению», а жизнь их в Ланкашире была гораздо лучше, чем в других графствах.

В заключение автор приходит к выводу, что в технике сельского хозяйства между 1740 и 1760 г.г. наблюдался значительный прогресс; земля все больше и больше концентрировалась в руках немногих лиц; феодальные пережитки почти исчезли и фермерство становилось в Ланкашире почти повсеместным явлением. «Наиболее типичные черты нового экономического уклада,—говорит он,—были уже налицо, и только старые законодательства о бедных и Acts of settlement препятствовали дальнейшему разложению крестьянства и общей капитализации деревни».

Наличие того же процесса Моффит усматривает также в торговле и промышленности. Он подробно изображает процесс производства в то время, указывая, что техника его носила в себе все зародыши прогресса: ряд изобретений в текстильной промышленности (летучий челнок, drop box) и горном деле (вентиляция, новая обработка угля, применение пара при выкачивании воды и т. п.) по его мнению, являли яркое доказательство этого явления. Хотя домашнее производство и оставалось господствующим в промышленности, но автор считает, что оно все больше и больше захватывалось капиталом в лице посредников. Помимо того, он находит довольно многочисленные примеры существования фабрично-капиталистических предприятий в то время, как например, в ситценабивном деле и многих отраслях добывающей промышленности.

Развитию торговли и описанию всех форм ее автор посвящает особый пространный очерк. Он рисует широкую картину движения товара из рук производителя на рынок, отмечая роль ярмарок и крупной оптовой торговли, тщательно анализируя процесс образования этой последней и способы ее ведения. Останавливается Моффит также и на так называемых странствующих купцах (riders, travelling merchants), значительное место уделяется, кроме того, в его книге розничной и мелочной торговле в лице chapmen (нечто вроде коробейников) и «hawkers» (городские разносчики). В заключении Моффит рассматривает торговлю каменным углем, солью и металлами, где отмечает то же влияние крупного капитала и поглощение им мелких предпринимателей.

Переходя к организации почтовой службы и прессе, наш автор усматривает в этих областях ко II половине XVIII века большой прогресс,—обстоятельство, по его мнению, способствовавшее оживлению экономической жизни.

Последняя часть разбираемой работы посвящена рабочему вопросу накануне промышленной революции. Здесь приводятся подробные данные о зара-

ботной плате промышленных рабочих и даны краткие замечания об условиях их труда, благосостоянии и организации. Хотя Моффит и признает, что рабочий день был тогда очень длинен, дети начинали работать с очень раннего возраста, а заработная плата выплачивалась не всегда нормально (во многих случаях преобладала truck system), тем не менее он склонен думать, что рабочим жилось не очень плохо; питались они, по его мнению, прилично, недурно и одевались. Автор заканчивает свою книгу кратким обзором применявшихся тогда законов о бедных, отмечая невнимательное и небрежное их проведение, и, наконец, посвящает чуть ли не несколько строк рабочим организациям и стачкам: последние, по его мнению, очень усилились в то время, кассы же взаимопомощи и профессиональные союзы развивались; чем об'яснялось это явление, автор почему-то не считает нужным даже сказать и только констатирует факт.

Как можно видеть, книга Моффита интересна только отдельными фактами, в целом же почти ничего не дает нового. Нельзя назвать ее и оригинальной, ибо выводы его заимствованы у других исследователей: так, например, касаясь положения суконной промышленности, он опирается, главным образом, на изыскания Хитона, а все приводимые им данные о роли посредника (middlemen) в промышленности, земледелии и торговле взяты из работы Уэйкфильда. Есть в книге и другие недостатки: автор слишком часто приводит мнения современников, но почти не комментирует их. Ряд очерков дан им чисто прагматически и описательно без всякого анализа и синтеза; часто за счет менее важного материала сокращается рассмотрение весьма существенных вопросов, которые остаются или только намеченными, или даже вообще не освещенными — таковы рабочее движение, стачки, а в сфере торговли и распределения—кредит, банки и биржа, о чем в книге не сказано ни слова. Самое суживание главы об организации и положении труда, я сказал бы—умаление значения этого вопроса, показывает тенденцию автора затушевать все классовые противоречия, которые несомненно существовали и до промышленной революции. С другой стороны, указанное выше определение этого процесса, как постепенного и эволюционного, еще больше подтверждает нашу мысль, что книга эта была написана с определенной целью опровергнуть революционную точку зрения на историю. Это обычный американский text-book, вооруженный солидной литературой, обстоятельный, но бесцветный и малооригинальный.

Совсем другой характер носит книга американского ученого Боудена— «Английское Индустриальное Общество к концу XVIII столетия» [1]. Это серьезное исследование, основанное на изучении богатой литературы, как современной, так и старой, и большого количества архивных рукописных материалов. Автор использовал бумаги Бюро Торговли, бумаги Министерства Внутренних и Иностранных дел, рукописи Манчестерской библиотеки и документы Чатама, не менее хорошо изучены им периодическая литература того времени и бесчисленные современные памфлеты.

В работе Боудена затрагивается лишь одна сторона Промышленной Революции: отношение общества к происходившим изменениям и влияние этих последних на социальный облик Англии.

Нужно признаться, что со своей задачей автор справился мастерски: в высшей степени в живой и увлекательной форме он дает нам освещение целого ряда крупнейших проблем, как развитие технических изобретений, влияние паровой машины на новую промышленность, происхождение магнатов капитала и положение рабочего класса в эпоху индустриальной революции.

После краткого, но содержательного обзора развития английского общества и хозяйства в эпоху, предшествующую великим переменам, автор рисует нам яркую картину настроения, охватившего английское общество уже с 30—

---

[1] Witt Bowden—Englich Industrial society towards the 18-th century, New-York, 1925.

40 годов XVIII столетия,—он характеризует его одним словом «дух изобретательства» (spirit of invention). Вопросы, оставшиеся неосвещенными у Манту, находят у Боудена свое разрешение: еще задолго до Промышленной Революции стремление к улучшению способов производства охватило почти все население Англии, оно не было делом отдельных лиц, наоборот, образовывались целые общества (напр., Society of Arts и другие), ставили своей задачей поощрять и содействовать всему, что могло служить прогрессу промышленности. Боуден считает совершенно несоответствующим истине представление, что изобретатели оставались часто без поддержки, а их труды пропадали даром,—ссылками на документы и современные газеты он доказывает противоположное: случаи пренебрежения к ученым были очень редки, приводимый же всеми пример Кромптона основан на недоразумении—ему много помогали и умер он вполне обеспеченным человеком, а отнюдь не в бедности.

Что же явилось причиной технических преобразований? На этот вопрос Боуден дает ответ, который едва ли может нас вполне удовлетворить. Основываясь на указания современников (Адам Смит и другие), он думает, что тягу к нововведениям стимулировали в первую голову иностранцы: с одной стороны, импортировались или новые машины из-за границы, или целые отрасли реформированной промышленности, с другой стороны, эмигрировавшие от религиозных преследований иностранные ремесленники насаждали в Англии новые способы производства. В дальнейшем, мощным толчком послужили умные и деятельные ремесленники, бежавшие от ограничительных законов корпоративных городов на север страны, развитие прикладных наук и тот дух рационализма, который постепенно подчинял своему влиянию английское общество.

В следующей главе описывается применение машинной техники к производству, и его результаты. «Под влиянием новых методов,—говорит Боуден,—промышленность быстро изменила свою былую физиономию: машины привлекали капиталы и человеческий труд, заселялись такие прежде мало обитаемые области, как например, Север Англии, росли фабрики, возникали громадные города, а продукты английской промышленности завоевали монопольное положение на внешних рынках; приходилось защищать особыми охранительными законами новые изобретения, дабы защитить их от посягательства иностранцев».

Не менее интересная проблема разбирается автором в главе «Великие Промышленники». Здесь выясняется образование класса крупных капиталистов, вышедших обычно из низших слоев населения (йомены, ремесленники, мелкие предприниматели) и их постепенная кристаллизация в особую социальную группу со своими интересами и традициями. Весьма хорошо освещается образование и деятельность союза предпринимателей, особенно крупнейшей организации промышленников General Chamber of Manufactures и вскрывается затем ее роль во внешней политике Англии, в частности при заключении Англо-Французского договора 1786 года; сюда же включен блестящий очерк развития идей экономического либерализма.

Заключительная глава книги Боудена посвящена вопросу о положении рабочего класса в эпоху промышленной революции; Боуден соглашается, что благосостояние трудящихся классов ухудшалось и об'ясняет это не вытеснением ручного труда машинами, а, во-первых, уничтожением государственного контроля над производством, лишившим рабочих поддержки, во-вторых, двойственным характером дохода рабочего—от обрабатываемой им земли и от платы за труд в мастерской: поскольку промышленная революция разрушила эти традиции, землевладельцы отказывались платить рабочим, считая их чуждыми деревне, а в производстве за ними не признавали права на более высокую плату, раз они были еще связаны с землей. «Слепые» силы конкуренции и та разлагающаяся обстановка, из которой вышли промышленные рабочие, добавляет наш автор, были в конце-концов причиной парадоксальных результатов революции—растущего богатства и увеличивающейся бедности». Боуден отмечает, однако, и другую сторону процесса—

концентрация производства, единообразие трудового процесса и отсутствие всякой помощи со стороны правительства об'единили рабочих и заставили их искать защиты своими собственными силами, результатом этого явились рабочие общества и союзы, рост стачек и беспорядков. Тем не менее, автор книги приходит к заключению, что данная проблема в этот период все же не вполне уяснена—материал слишком скуден и требует дальнейшего, более детального изучения.

Работа Боудена, как мы видим, представляет яркий пример достижений буржуазной исторической науки: здесь на ряду с техническим умением и, казалось бы, солидной аргументацией, проглядывает, несомненно, тенденция подменить в некоторых случаях решающее значение экономических явлений влиянием сил духовного порядка (дух рационализма, развитие наук и т. п.), а, с другой—оправдать на основании экономических данных страдания рабочего класса и одновременно подчеркнуть целесообразность процесса капитализации, как наиболее прогрессивного явления в социальной истории.

Указанная тенденция с еще большей силой находит свое выражение в двух недавно вышедших монографиях по истории шерстяной промышленности.

Первая из них принадлежит перу Э. Липсона [1], известного теперь английского экономиста и историка, автора большого труда по английской экономической истории в средние века; она касается специальной темы — истории шерстяной промышленности в Англии и представляет ценный вклад в литературу предмета. Липсон строго проверил все имеющиеся печатные материалы (ему знакомы и архивные документы) и обширно использовал опыт предыдущих ученых. Работа его очень содержательна, хотя и не все выводы сделаны до конца. Здесь он подробно рисует нам первые шаги этой промышленности со времен еще средних веков, дальнейшую ее организацию, влияние на нее государства, а затем промышленной революции. Липсон подробно описывает основные производственные процессы в шерстяном деле и все их преобразования. Большое внимание уделяется автором истории технических изобретений и их влиянию на ручной труд и домашнее производство. Много места занимает в книге вопрос о положении рабочего класса: борьба разоряемых мелких производителей с капиталом, первые выступления фабричных рабочих, деятельность профсоюзов и т. д. В заключение автор внимательно рассматривает географическое распределение производства и выясняет причины передвижения шерстяной промышленности из старых восточных центров на север Англии.

Несмотря на содержательность книги, в ней имеется ряд слабых сторон и весьма сомнительных положений,—Липсон утверждает, например, что капитализм вырос уже в средние века (отрыжка Допша) и чуть ли не целиком отрицает наличие промышленной революции. «Преобразования в технике, происходившие во второй половине XVIII века и позднее, говорит наш автор, никакого революционизирующего влияния на развитие промышленности не оказали, экономически она делала успехи задолго до этого, и тот под'ем, который называют промышленной революцией, явился естественным результатом продолжительной и постепенной эволюции». Таким образом, Липсон совершенно откровенно провозглашает капитализм извечным укладом экономической жизни, а буржуазию постоянной носительницей прогресса. Много вредят достоинству работы идеалистические воззрения ее автора,—благодаря этому некоторые его выводы носят весьма мало обоснованный характер, а подчас совершенно правильные мысли комкаются и теряют логическую ясность.

Второй работой, посвященной этому же вопросу, является труд Герберта Хитона—«История Иоркширской шерстяной промышленности» [1], вышедший в серии Oxford Historical and Literary Studies. По богатству материала и содержатель-

---

[1] E. Lipson—The English woollen and worsted industries, London, 1921.

[2] H. Heaton—Yorkschire woollen and worsted industries 1920 (Oxford historical & literary studies vol. X).

ности это ценнейшая работа. Автор ее изучил колоссальное количество архивных документов, иной раз доселе неизвестных, им использованы не только сокровища Британского музея и Публичного архива, но исчерпаны до дна и местные иоркширские архивы: здесь имеются бумаги корпораций, судебных сессий, договоры об ученичестве, дела стряпчих и т. п., общий охват их с XIV по XIX век: из этих указаний уже можно видеть, насколько монументальна книга Хитона.

Последний подробно прослеживает пути развития шерстяного производства от истоков его до последних лет XVIII столетия. Яркими красками рисует он нам зарождение промышленности, ее первые робкие шаги, влияние и роль гильдий в процессе производства и распределения. Особое место уделяет домашней промышленности, роли скупщика и капитала. Не менее полно освещена им политика государства по отношению к шерстяному делу, монополии 17-го века, в частности, в царствование Стюартов. Столь же широко исследована внешняя торговля—экспорт и импорт шерсти и сукна. В ряде блестящих очерков дается картина территориального перемещения промышленности, роли технических изобретений и положения труда (ученичество, подмастерья, рабочие современного типа).

Как ни содержателен труд Хитона, но он написан с той же предвзятой точки зрения, что и работа Липсона. Автор не только ярый приверженец капиталистического строя, но и горячий националист и империалист. С большим энтузиазмом он рассказывает об успехах английских суконщиков, опровергает иноземное происхождение шерстяной промышленности и доказывает ее «подлинно» национальный характер. В то же время он придерживается теории эволюционного развития исторического процесса—наличие капиталистических отношений он видит задолго до промышленной революции, которую сводит к простым техническим преобразованиям, не оказавшим решительного влияния на изменение способов производства. Лейтмотив книги Хитона, особенно последней ее части,—«капитализм был, есть и будет».

По пути, избранному Хитоном, следуют и историки добывающей промышленности, ярким примером чего служит об'емистое сочинение преподавателя Эбердинского Университета, Генри Гамильтона—«Английская бронзовая и медная промышленность до 1800 года»[1]. Работа эта, хотя и написана главным образом на основании архивных материалов, однако, не во всех ее частях может быть названа оригинальной, ибо отдельные источники, как, например, манускрипты Боультона и Уатта были уже раньше использованы другими исследователями[2]. Тем не менее некоторые документы—счетные книги медных предприятий и протоколы различных промышленных компаний—обнаружены Гамильтоном впервые, а что касается его эрудиции, то она безупречна: в тогдашней памфлетной и журнальной литературе он чувствует себя как дома.

С внешней стороны книга Гамильтона тоже заслуживает похвалы: она очень содержательна, а некоторые главы прямо увлекательны. Это очень детальное изложение поспешного развития медной и бронзовой промышленности со времени ее возникновения в Англии, в конце XVI столетия, и до рубежа XIX века. Подобно Моффиту, Гамильтон изучает медное производство, главным образом, на истории одной, узкой части Англии, именно на примере Бирмингема, которому уделяется в последней части книги почти все внимание.

В книге своей наш автор выясняет, что как медным, так и бронзовым производством впервые начали заниматься в Англии иностранцы, приглашенные всесильным министром королевы Елизаветы, лордом Сесилем. Ново-пришельцам даровали разные привилегии и право на монопольное производство. Промышленность, как говорит автор, сразу стала на капиталистические рельсы и, несмотря на борьбу с конкурентами, успешно развивалась. Вспыхнувшая в середине

---

[1] Henry Hamilton—English brass and copper industries prior to 1800. London, 1926.

[2] Например, Манту и Лордом.

XVII века гражданская война, нанесла производству меди и бронзы жестокий удар, так что она долго не могла оправиться. Уцелевшие предприятия, в большинстве своем обангличанившиеся, вели вплоть до «славной революции» жестокую войну как между собой, так и с иностранными конкурентами. «Монополия, замечает автор, предоставленная лишь немногим, сильно вредила развитию промышленности». В 1689 году ограничительные законы и привилегии были отменены, и, освободившись от связывавших ее пут монополии, медная промышленность начала быстро прогрессировать. В чем заключался этот прогресс? По мнению автора, прежде всего, в завоевании внутреннего рынка английскими фирмами, а затем, после победы над иностранными конкурентами,—в «интеграции» и «консолидации» предприятий. Этому процессу Гамильтон уделяет особое внимание: борьба двух гигантов медного производства, Англезийской компании и копей Уиллиамса, слившихся в 1785/6 году в один большой «картель» (?); выдвижение с 30-х г.г. XVIII века Бирмингема, завоевавшего в 1790 году почти весь медный рынок, что превратило его в центр производства меди,—все это находит яркое изображение в книге. Значительно меньшее место занимает у нашего автора вопрос о положении рабочих,—в этом отношении его выводы оптимистичны:он считает, что в первый период существования этой отрасли индустрии заработная плата была очень высока, затем она понизилась и в конце XVIII века была ниже, чем когда-либо, тем не менее и в это время при трудолюбии и устойчивости рабочий мог сносно зарабатывать[1], а на некоторых предприятиях, как, например, у Боультона—оплата даже была превосходной.

Таково содержание книги Гамильтона. Общая ее концепция ясно вытекает из всего сказанного выше, да и сам автор не раз говорит об этом в предисловии к заключительной главе: «капитализм был характерной чертой медной промышленности и промышленная революция вообще никакого отношения к ней не имела, наблюдалась лишь постепенная эволюция»[2]. Предвзятость выводов Гамильтона вполне очевидна: прежде всего он совершенно игнорирует торговый характер капитала в первоначальный период развития медно-бронзовой промышленности, необоснованно придавая ему индустриальный облик; затушевано в книге и революционное влияние паровой машины. Размеры промышленного капитала явно преувеличены, а приводимые самим Гамильтоном факты резко противоречат его выводам: определенно-капиталистические предприятия, как мы указывали выше, появились в медной промышленности только в конце 80-х г.г. XVIII века, т. е. после введения машины Уатта. В такой же мере обрисованный в книге процесс разорения мелких производителей плохо вяжется с уже приведенными мыслями нашего автора—описываемая им историческая действительность ярко и решительно подтверждает наличие революционного процесса в конце XVIII века, а тем самым делает несостоятельной основную идею работы. Таким образом, несмотря на ценные и подчас новые факты, труд Гамильтона—и малоубедителен и не вполне логичен, тенденциозность автора убивает все достоинства книги.

История металлургической и добывающей промышленности затрагивается также и в работе Джона Лорда «Капитал и паровая сила в 1750—1800 г.г.»[3]. Книга эта базируется лишь на документах Боультона и Уатта, но использованы они автором очень внимательно и широко, большая же литература памфлетов и журналов прекрасно их дополняет.

---

[1] Взгляд безусловно неверный, поскольку все официальные отчеты того времени указывают на тяжелые условия жизни рабочих, ср. также Энгельс—Положение рабочего класса в Англии.

[2] Любопытно, чтв известный Уиллиам Эшли, предпославший свое предисловие книге Гамильтона, одобрительно отнесся к его взглядам. Новое доказательство эклектичности и шаткости воззрений этого крупного историка.

[3] John Lord—Capital and steam power 1750—1880. London, 1923.

Заглавие монографии Лорда несколько шире ее содержания: это, по существу говоря, история фирмы Боультона и выяснение роли паровой машины в создании крупного капитала в нетекстильной промышленности.

В первой части своей книги автор дает сжатый очерк состояния промышленности в Англии до 1750 года. Здесь он внимательно прослеживает рост и проникновение торгового капитала в производство, образование крупных предприятий, кредита, банков, диференциацию ремесленного труда и взаимоотношения рабочих и предпринимателей. В следующей, вполне оригинальной, части работы на основании неизданной переписки Уатта описываются первые шаги его деятельности, изобретение паровой машины, его злоключения, компаньонство с Ребоком и знакомство с Боультоном. В дальнейшем книга Лорда представляет яркую картину энергичной деятельности этого пионера машиностроения. Здесь мы узнаем, сколько труда пришлось ему потратить и каких усилий ему стоило поставить дело изготовления паровых машин—не раз фирма его была накануне краха, задолженность превышала чуть ли не в 2½ раза доходы, а неудачные финансовые операции Уатта иногда едва не губили налаженной работы. Остальные главы показывают нам степень проникновения паровой машины в производство и ее роль в создании крупных промышленно-капиталистических предприятий. Автор тщательно определяет время введения изобретения Уатта в разных отраслях промышленности, попутно опровергает неверные заключения Манту и Ноульс (первый определил неточно дату введения паровой машины, вторая преуменьшила темп их распространения), и точно выясняет размеры капитала, вложенного в промышленность, после применения силы пара в производстве. Промышленный капитализм, по словам Лорда, существовал и до появления паровой машины, но последняя довела рост его до колоссальных размеров (за 60 лет увеличение почти в 4 раза), особенно был он разительным в тех отраслях производства, где паровая машина нашла особенно широкое применение — металлы, каменный уголь и текстиль. К 1800 году окончательно определился класс капиталистов и вырос пролетариат (косвенное влияние паровой машины, по мнению автора). Мало того, промышленная буржуазия приобрела теперь решающее значение в государстве и могла влиять на политику правительства. Рабочий класс, в свою очередь, как утверждает Лорд, тоже выиграл от всех перемен: квалифицированных работников в это время (конец XVIII века) было очень мало, поэтому заработная плата их возросла, а так как капиталист еще активно выступал в производстве, то отношения его со своими рабочими носили патриархальный характер, отсюда и стачки не представляли особенно частого явления. Производство до изобретения Уатта развивалось медленно и только после него оно начало прогрессировать бешеным темпом.

Хотя от книги Лорда остается очень яркое впечатление, она имеет крупные недостатки. У автора заметна все та же обычная для большинства английских историков нашего времени тенденция преувеличивать размеры промышленного капитала до промышленной революции (в первых главах), он чересчур идеализирует личность Боультона, плохое впечатление производит также стремление автора сгладить в некоторых случаях резкость революционного развития промышленности во второй половине XVIII века. Столь же неправильны и взгляды Лорда на положение пролетариата в эту эпоху: он сознательно обходит вопрос об эксплоатации, от которой так страдали рабочие в первоначальную эпоху развития машинизма.

После рассмотрения писаний апологетов капитализма обратимся к маленькой и скромной работе Несс Эдуардс «Промышленная революция в Южном Уэльсе» [1], чтение которой действует как струя свежего воздуха. Это вполне научная книга, основанная и на изучении архивных материалов, и на знакомстве с тогдашней прессой. Автор—в отличие от других, упомянутых выше историков — марксист, и прекрасно владеет методом исторического исследования.

---

[1] Ness Edwards—Industrial Revolution in South-Wales. London, 1925.

Он знакомит нас с положением Уэльского общества и хозяйства до промышленной революции, рисует нам картину постепенного уничтожения характерного прежде для Уэльса родового строя, разложения общинных порядков в земледелии и разорения мелкого производителя. Рост торговли и транспорта, развитие промышленности, возвышение буржуазии и закабаление рабочего класса—все это в ясной, хотя и краткой форме, показано нам в книге. Вместе с Марксом Эдуардс считает результатом промышленной революции невероятное ухудшение условий жизни рабочих: бедность, нищета, болезни и невежество давили трудящихся и окончательно отдавали их во власть имущих классов. Книга показывает нам, как под влиянием тяжкого гнета постепенно просыпалось самосознание у рабочих (уэльсцы были самой отсталой частью населения Англии), и какие формы принял их протест против существующего строя. Касаясь деятельности профессиональных союзов, автор подробно описывает первые стачки, начавшиеся, к слову сказать, только в начале XIX столетия, и специально останавливается на знаменитом подпольном и тайном союзе уэльских горняков, Black Cattle, наводившем в конце двадцатых годов прошлого века панический ужас на предпринимателей. Выступления рабочих в большинстве случаев подавлялись предпринимателями, но дух революционности не угас в сердцах уэльских рабочих и после политических событий 30-х годов XIX века пробудился с новой силой. Книга проникнута горячей любовью к рабочему и от заключительных страниц ее веет бодрой верой—в его светлое будущее.

Этим мы заканчиваем свой обзор новейшей литературы о промышленной революции в Англии. Он далеко неполон, но, с одной стороны, не все работы заслуживают по своему качеству упоминания, а, с другой—на немногих страницах трудно дать большее.

Сказанного вполне достаточно, чтобы понять, в какой тупик зашла буржуазная наука: английские историки в редких случаях способны дать сколько-нибудь широкие, обобщающие работы, и ограничиваются только отдельными изысканиями. Однако, и в данном случае тупая тенденциозность заводит их в сторону от истинной науки, лишний раз подтверждая бессилие и вырождение науки буржуазной.

В. А. Васютинский

ЖУРНАЛЬНЫЕ ОБЗОРЫ

ИЗ АМЕРИКАНСКИХ ЖУРНАЛОВ

(«Американское Историческое Обозрение» с января 1927 г. по январь 1928 г. The American Historical Review, january 1927—january 1928, v. XXXII №№ 2, 3, 4 v. XXXIII №№ 1, 2).

До сих пор этот журнал был официальным и единственным печатным органом богатой Американской Исторической Ассоциации, развивающей кипучую деятельность. В конце каждого года члены и делегаты многочисленных обществ и организаций, входящих в ее состав, собираются на годичный конгресс-митинг. Таковы были конгресс в Рочестере (в декабре 1926 г.) и в Вашингтоне (в декабре 1927 года). В денежных средствах Ассоциация не испытывает недостатка, как показывает обширный отчет о Рочестерском конгрессе (The meeting of the American Historical Association in Rochester A. H. R. v. XXXII № 3): имея в активе свыше 100.000 долларов, с годовым бюджетом, превышающим 29.000 долларов можно не бояться временного дефицита в 2.000 долларов, тем более, что за спиной американской ассоциации стоят меценаты-миллиардеры, готовые иногда подобно Эндрью Карнеджи по мотивам, указанным нами в предыдущем обзоре, поддержать «отечественную» историографию и даже «подать» некоторую сумму в 5.000 долларов (как сделала Луиза Рокфеллер) на нужды Интернационального Ком-та Исторических наук. Обладая солидными суммами, Ассоциация с этого года не довольствуется уже одним журналом, а основывает и второй: с января 1929 года будет выходить 4 раза в год по типу серьезных западно-европейских исторических журналов, за сравнительно недорогую цену (4 доллара в год) «Журнал Современной Истории» (The Journal of Modern History).

Содержание «Американского Исторического Обозрения» за истекший 1927 год не изменилось: та же солидная библиография, то же разнообразие статей, стремящихся, как и подобает официальному органу, отобразить, по возможности, всю продукцию Американской Исторической Ассоциации. Нельзя сказать, чтобы это последнее удалось журналу за прошлый год; опущены были, например, очень интересные доклады по истории Востока, и помещенные статьи не блещут оригинальностью взглядов, но все же достаточно показательны для характеристики американской исторической мысли.

Как мы уже указали, солидно поставлен библиографический отдел. К нему примыкают общие обзоры, среди которых выделяется очерк истории византиноведения в России, составленный вполне об'ективно известным византинистом проф. Васильевым (Al. Vasilief, Bysantine Studies in Russia Past and Present, A. H. R. v. XXXII, apri), и дельные характеристики документов по экономической истории французской революции (Henry E. Bourne, The economic History of the French Revolution as a Field for Stuby. A. H. R., v. XXXIII, january № 2). На долю древней истории выпала лишь одна статья Тэнни Фрэнка о римской историографии до Цезаря (Tenney Frank, Roman Historiogtaphy Before Caesar, A. H. R., v. XXXII, № 2 january); автор отражает воззрения археологической современной школы, представляющей естественную реакцию против увлечений германской критической школы. Он вполне убежден в документальности и прекрасной исторической осведомленности старинных римских историографов, но доказательства, приводимые им в защиту сохран-

ности старых первоисточников и точного их использования римской историографией, весьма спорны. Доводы критической школы Моммзен-Паиса отнюдь не поколебелены этой статьей.

Много внимания уделяется американскими историками истории культуры; показателем этого является статья Линн Торндайка об пагубном влиянии чумных эпидемий на современную цивилизацию (Lynn Thorndike, Blight of Pestilence on Hobern Civilisation, A. H. R., v. XXXII, № 2 january). Торндайк собрал огромный ценный сырой материал, но выводы из статьи, несмотря на подавляющую эрудицию автора, ничтожны: «страдали больше всего массы, но страдал и зажиточный класс». Нет ни статистических таблиц, ни диаграмм, хотя они напрашиваются сами собой. Такой же материал, подвергнутый лишь формальной рубрификации, представляет попытка крупного историка Фокса изучить процесс перенесения цивилизации из Старого Света в Соединенные Штаты. Основные периоды внедрения европейской цивилизации намечены верно, но социальные корни не выяснены (D. R. Fox, Civilisation in Transit, A. H. R., v. XXXII, № 3 july).

Прекрасную работу дал Эйнар Джорансон, документально и основательно доказавший легендарность исторических обоснований французского протектората в Палестине. Передача протектората халифом франкскому королю Карлу Великому такой же миф, как и сказание о походе последнего в Палестину, сложившееся веком позже. Статья полна убедительной и солидной эрудиции (Einar Joranson, The alleged Frank Protectorate in Palestine, A. H. R., v. XXXII, № 2 january).

Французской революции посвящена интересная статья Крэна Бринтон, изучающая революционный символизм якобинских клубов (опять культурно-историческая тема). Статья несколько односторонняя: автор выдвигает только переживания религиозной христианской фразеологии и символики в практике и символике якобинских клубов. Последние работы Доманже (см. мой обзор французской журнальной литературы), повидимому, еще неизвестны автору или не приняты им во внимание (Crane Brinton, Revolutionary Symbolisme in the Jacobin Clubs, A. H. R., v. XXXII № 3 july).

Содержательны также этюды по истории идеологии XVII и XVIII вв. Здесь прежде всего выделяется этюд Г. Фостера о влиянии интернационального кальвинизма на Локка и революцию 1688 г. (Herbert D. Foster, International Calvinism through Locke and the Revolution of 1688. A. H. R., v. XXXII, № 2 april). Автор удачно проследил процесс интернационализации кальвинизма, зависимость от него политической идеологии Локка, но статье, как и всегда, недостает социально-экономического обоснования; впрочем, мысли, высказываемые автором, плодотворны и заслуживают дальнейшей разработки.

Хороший материал для характеристики идей Гердера собран Хейсом: он указывает на широкий гуманитарный национализм знаменитого немецкого филолога, на его защиту национального самоопределения и ненависть к «империализму» (??), вернее, к порабощению одним народом другого, к какой бы расе ни принадлежал последний (C. J. H. Hayes, Herder and the Doctrine of Nationalism, A. H. R., v. XXXII july).

Следует отметить также среди заметок, посвященных фактам новейшей истории, указание К. Бранда (C. Brand, An early Nineteenth Century View of Magna Charta A. H. R., v. XXXII july) на источник, откуда было заимствовано название программы чартистов «Народной Хартией» — прекрасный анализ классового характера Великой Хартии в True Sun (1863 в «Кризисе» Р. Оуена) 1843 и позже (в чартистском Weekly True Sun 1838 года, памфлет Винсента).

По истории международных отношений находим характеристику германской внешней политики 1904—06 гг. в статье Реймонда Зонтага (Raymond J. Sontag German Foreign Policy, 1909—190, A. H. R., v. XXXIII, № 2 january). Автор на основании вышедших томов Grosspolitik отмечает разнобой в германской внешней политике этого периода, направляемой Вильгельмом II, Бюловым и Гольштейном. Он не вскрывает, однако, кто стоял за спиной этих персонажей, какие социальные

группы и круги, и явно примыкает к Бисмаркофильской группе немецких историков мировой войны.

Велик интерес к исторической методологии и социологии, но достижения обратно пропорциональны этому интересу.

Так, проф. Монро пытается анализировать влияние войны на историю в докладе, прочитанном на конгрессе Ам. Ист. Ассоциации в Рочестере (Д. С. Munro, War and History. A. H. R., v. XXXII № 2); но, кроме общих трафаретных труизмов, ничего не дает. Типичная председательская речь!

Столь же мало содержательна и речь председателя Вашингтонского конгресса Ассоциации, известного Г. О. Тэйлора, под витиеватым заголовком «взгляд мирянина на историю» (H. O. Taylor A. Layman's View on History, A. H. R., v. XXXIII № 2 january). Этот защитник свободной воли и следственно превалирующей роли личности в истории дает нам, после вежливого расшаркивания перед церковной историей и отцами церкви, крайне туманное и ни к чему не обязывающее об'яснение истории: она должна быть вперед стремящейся мыслью, вплетенной тканью самого события, элементом непрерывности, без коего ничесоже есть ниже быти может.

Более интересна статья Эдвина Обрей «Социальная психология как связь между историей и социологией (Edwin E. Aubrey, Social Psychology as liaison between History and Sociology. A. H. R., v. XXXIII № 2 january).

Обрей дает характеристику различных школ «философии истории», критикует риккертианские уклоны, пышным цветком распустившиеся в исторической методологии и Старого и Нового света, новую школу интуитивистов, возвращающихся к описательной художественной истории и, опираясь на выводы школы Тарда и Гиддингса, подчеркивает важность социальной психологии, связующей историю и социологию. У автора есть немало дельного,—например, защита исторических законов против старого и нового риккертианства, — но идеалистический коллективный психологизм является его последним достижением. Шагнуть далее к материалистическому и классовому об'яснению исторического процесса он и не думает.

Более всего, конечно, материала пришлось на долю отечественной американской истории. Есть статьи, намечающие вехи для дальнейшего направления исторических работ: так, Гансен характеризует новое поле для исследования—историю иммиграции (M. I. Hansen. The History of American Immigration as a Field for Research, A. H. R. XXXII, № 3 april); Грэс Ли Нют знакомит с содержанием интереснейших документов американской меховой торговой компании за 1835—1845 гг. Даже из краткого перечня фактов выясняется бурное развитие американского торгового капитала, поддерживаемого своим английским собратом, живущего неудержимой спекуляцией и ростовщичеством (Grace Lee Nute. The papers of the American Fur Company, a brief estimate of their Significance 1835—1846, A. H. R. XXXII, april). Но это только вехи.

Есть однако и некоторые достижения в области новых архивных разработок.

Так, Дж. Готтеридж уточняет активную злополучную для английской буржуазии роль придворной камарильи Джорджа III во время войны американских колоний за освобождение. Крупную роль в английском министерстве играл в это время покровительствуемый королем аристократ-авантюрист лорд Джордж Джермэн, направлявший ход военных действий с английской стороны (George H Gutteridge. Lord George German in Office, A. H. R. v. XXXIII № 1).

Проф. Хэмильтон публикует учредительный акт общества охраны свободы, основанного в Виргинии в 1784 для защиты народной свободы от тирании. Члены его—крупнейшие представители виргинской буржуазии, впоследствии занявшие ответственные административные посты. Среди них Мэдисон и Монроэ, будущие президенты. Трудно полагать, что начало этому обществу положил разговор Джефферсона с итальянцем Маццеи (заметка проф. Мак-Гюйра, A. H. R., v. XXXII, № 4); вероятно, причину надо искать в острых классовых столкновениях после войны.

Во всяком случае это до сих пор неизвестное общество должно быть прилежно изучено и анализировано. (Prof. Hamilton, A Society for Reservation of Liberty 1784. AHR, v. XXXII № 3).

Весьма поучительна для характеристики поднимающейся американской буржуазии дипломатическая переписка американских консулов в Новом Орлеане в 1801—1803 гг. Правительство С.-А. С. Ш. еще слабо и не внушает к себе уважения надменным испанским губернаторам Нового Орлеана, но экономические выгоды для американской торговли настолько заманчивы, что американские консулы, несмотря на обидное высокомерное отношение испанской администрации, не прерывают с ней своих сношений, цепко и упрямо закрепляя свое положение (Despatches from United States Consulate in New Orleans 1801—1803, AHR, v. XXXII, №№ 3 и 4).

Славословит воодушевление, охватившее все американское общество во время восстания греков против турок Эдуард Ирль, описывая горячее сочувствие греческим инсургентам со стороны американской буржуазии, проникнутой мыслью поддержать борцов за освобождение, щедро вносившей и собиравшей пожертвования; но как и позже во время революции 1848 г. (см. мою предыдущую статью об американской исторической журналистике) деловая часть американской буржуазии сумела сварганить выгодный гешефт на продаже грекам военных кораблей за такую цену, которая едва не унесла все пожертвования (Edward M. Earle, American Interest in the Greek cause 1821—1827, AHR, v. XXXIII № 1 january).

Как и раньше, особую группу статей составляют этюды, посвященные демократическому югу и гражданской войне.

Довольно туманна статья Томаса Эбернеси, пытающегося проследить и об'яснить эволюцию «великого» демократа, генерала Эндрью Джексона. Социальная физиономия последнего остается мало выясненной, если исключить то, что он был купцом. Но зато в статье собрано много материала для выяснения роста демократической партии среди экономических кризисов 20-х и 30-х годов. (Thomas Abernethy. Andrew Jackson and the Rise of Southwestern Democracy, AHR. XXXIII № 1).

До сих пор еще не исследованную проблему ставит Эвери Крэвэн, изучая судорожные попытки южно-американских земледельцев перед войной путем мелиоративных земледельческих мероприятий поднять пошатнувшееся экономическое благосостояние юга (Avery O. Craven. The Agricultural Reformers of the ante-bellum South, AHR, v. XXXIII № 2).

Более интересна статья А. С. Робертса, исследующего влияние торговли хлопком на военные действия во время гражданской войны. Хлопок, настойчиво требуемый европейским промышленным капиталом, явился важным фактором, который нередко не только определял ход военных действий, но и неожиданно об'единял для одной цели оба враждебных лагеря. Автор приоткрывает длинную серию спекуляций, взяточничества и подкупа, тесно переплетенных с хлопковыми операциями во время гражданской войны. (A. S. Roberts. Federal Governement and Confederate Cotton — «Федеративное правительство и конфедеративный хлопок» — AHR. v. XXXII № 2 january).

Безыскуственно и просто повествует Сиднор о печальных судьбах горсти свободных негров в штате Миссисипи перед гражданской войной (C. S. Sydnor, Free Negro in Mississipi. AHR v. XXXII № 3). Несмотря на свою юридическую свободу, ограниченные со всех сторон несчастные негры при всей своей малочисленности (773 свободных на 430 слишком тысяч рабов в 1860—61 г.) были люто ненавидимы господствующим классом белых плантаторов. Автор умалчивает о линчеваниях, юридических убийствах, ограничиваясь лишь фактами гражданского и процессуального права. Но историческая правда заставляет его говорить вопреки желанию языком почти марксистским: «Это класс внушал страх, а не отдельные индивидуумы, составлявшие его» («It was the class that was feared and not the individuals that formed it»).

Богатые средства Ассоциации, ее беспрерывный рост (все увеличивающееся число единичных и коллективных членов), казалось бы должно приводить к выводу о необычайном расцвете исторической продукции в САСШ, но суровая действительность показывает иное. Профессор Марк Джернеган из Чикаго обработал в статье «Продуктивность докторов философии в истории», результаты анкеты, разосланной, американским квалифицированным историкам комитетом по подготовке программы для исследования и публикации. Результаты анкеты красноречивы: в САСШ около 600 докторов истории, число их ежегодно возрастает на 50 человек или более, но продуктивны из них менее чем 25%. Автор статьи (Marcus W. Jernegan. Productivity of Doctors of Philosophy in History, AHR, v. XXXIII № 1) указывает много причин этого упадка производительности. Важнейшие из них: отсутствие средств для ученой работы, а следовательно и времени; низкая, сравнительно с З. Европой, оценка научного труда, раз он не приносит немедленной материальной пользы; узкий, сухой, вульгарный практицизм американского буржуазного общества. Профессор Джернеган предлагает ряд средств, чисто идеалистических, для повышения исторической продукции: они сводятся к агитации и пропаганде научного энтузиазма, к призыву дотаций, но в царстве Фордов и Рокфеллеров, рыцари индустрии и банка, вожди трестов и концернов отнюдь не сентиментальны и ценят науку лишь как одно из средств для дальнейшего накопления капиталов или саморекламирования.

А. Васютинский

ОБЗОР ЖУРНАЛА «АРХИВНОЕ ДЕЛО», 1927 Г., ВЫП. X—XIII 1928 Г. и ВЫП. I (14)—III (16)

За 1927—1928 гг. Центрархивом РСФСР выпущено 7 книжек специального журнала «Архивное дело». Как и прежде, в книжках «Архивное дело», помимо теоретических вопросов архивоведения и практики архивного строительства, освещается содержание архивохранилищ и состояние архивных фондов, хранящихся в отдельных архивах.

Вторая конференция архивных работников РСФСР, происходившая в январе 1927 г., дала основную установку работе архивов, считая необходимым «подчинить работу архивных учреждений РСФСР очередным задачам государственного и хозяйственного строительства СССР», дав задание Центрархиву и его местным органам «установить более тесную связь с плановыми и хозяйственными органами страны, в целях планомерного выявления и научной разработки архивных материалов, необходимых государственным органам в деле исследования производительных сил страны и изучения хозяйственного опыта прошлого». Конференция обсуждала также вопрос об использовании архивов к 10-летию Октябрьской революции и о положении архивных учреждений в автономных республиках и областях.

В рецензируемых выпусках журнала вопросам, обсуждавшимся на конференции, посвящен ряд статей.

Напечатан краткий отчет конференции (вып. XI—XII), речь М. Н. Покровского—«Культурное и политическое значение архивов», доклад В. В. Максакова—«Деятельность Центрархива РСФСР и очередные задачи архивного строительства» (вып. X); передовая «После конференции» (вып. XIII), подводящая итоги полугодовой работы Центрархива на основе решений конференции. Статья Б. И. Анфилова—«Архивная организация в Автономных республиках РСФСР» разбирает законодательные основы взаимоотношений между центральным органом архивного управления РСФСР и архивными управлениями Автономных республик. Законодательство в этой области страдает неполнотою, отсутствием четкости. Практика взаимоотношений выработала формы связи, обеспечивающие единообразие постановки архивного дела на всей территории РСФСР при учете требований политической и культурной автономии национальных республик. Новый закон допускает для Автономных Республик известное отступление от общего

порядка научной систематизации Е. Г. А. Ф., открывая путь к устройству специальных отделов по национальному принципу. Хотя при обязательном соблюдении принципа недробимости архивных фондов отделы национальной истории не смогут превратиться в единственные места сосредоточения всех архивных материалов, имеющих отношение к истории данной национальности, все же они станут центром научной систематизации всякого рода сведений обо всех фондах, делах и отдельных документах по национальной истории. Автономные Республики должны также иметь право на самостоятельное опубликование по своим собственным планам, вне зависимости от плана издательской деятельности Центрархива, документов национальной истории. Автор дает подробный анализ существовавшего законодательства по рассматриваемому им вопросу и указывает основания к переработке его.

Вопрос о создании отделов национальной культуры в исторических архивах Автономных Республик и Автономных Областей подробно рассматривается Я. Н. Ждановичем в специальной статье под соответствующим заглавием. («А. Д.», вып. XI—XII). Автор освещает проблему состава отделов национальной культуры, останавливаясь внимательно на фондах исторического архива, заключающих в себе материалы, ценные для ряда Национальных Республик и Областей, и на примерах архивного строительства таких республик в вопросах размежевания фондов исторического архива. В инспекторских отчетах имеются сведения о состоянии архивного дела в Татреспублике, Калмыцкой Области, Области Немцев Поволжья, Дагестане и Казакстане.

Вопросам местного архивного строительства посвящен в рецензируемых выпусках, помимо указанных, целый ряд заметок.

А. Котович (вып. X) освещает деятельность Ленинградского Губернского архивного бюро за 1923—1926 гг., А. П. Гиваргизов (вып. XIII) дает заметку об архивном строительстве на Северном Кавказе, А. Комаров (вып. I (14) пишет об архивном строительстве в Курской губернии. Статья Д. Г. Истнюка (вып. II (15)—«Районирование и архивы» дает конкретные сведения о положении архивного строительства на местах в связи с районированием. Автор указывает, что «основной задачей архивных учреждений области и края является планомерное завершение концентрации архивов в государственных архивохранилищах и усиление темпа разборочных и описательных работ». То обстоятельство, что архивные учреждения, во исполнение решений 2-й конференции, вступили в полосу плановой увязки своей работы с работой государственных органов, диктует необходимость быстрейшей архивной обработки материалов. Имеющиеся в этой области достижения свидетельствуют о серьезных успехах, но задачи, стоящие перед архивными органами, не позволяют на этих достижениях успокаиваться.

Качественный рост и развитие архивного строительства на местах отражены также в уже упоминавшихся инспекторских отчетах, мелких заметках в отделе хроники, отчетах местных архивных конференций. Все эти материалы регулярно помещаются редакцией в специальном отделе журнала.

Статья И. А. Голубцова (вып. XIII)—«Краеведческие поправки к организации архивного дела» является ответом на статью И. Л. Маяковского в журнале «Краеведение». Не соглашаясь с децентралистскими взглядами последнего, автор подчеркивает и доказывает колоссальную важность планомерной централизации архивного дела. Тенденции к централизации существовали и раньше у русских архивистов, существуют и в западных странах, но там им противодействуют причины экономически- и политически-правового порядка. Централизация же оказалась возможной только в Советской России после Октябрьской Революции. Категорически возражая против передачи архивов краеведческим организациям, автор указывает на необходимость установления более тесной связи краеведческих обществ с местными архивными органами.

Я. Н. Жданович (вып. XIII) в статье «Взаимоотношения Центрархива РСФСР с Центрархивами Союзных Республик» разбирает вопрос в его, так ска-

зать, историческом разрезе, сообщая ценные данные по истории централизации архивов с 1917 г. в разных частях СССР. Заметка Я. Ж. в вып. III (16) кратко характеризует положение архивного дела в Туркменской ССР.

Статья К. П. Кох—«Архивы профдвижения» (вып. II/15) освещает вопрос о взаимоотношениях Центрархива и Истпрофа и о состоянии профсоюзных архивов.

Н. В. Русинов (вып. XI—XII) и В. Домбровский (вып. III (16) рассматривают вопрос о состоянии архивов действующих учреждений и пути к их рационализации.

Вопросы теории и техники архивоведения весьма широко освещаются журналом.

Мы имеем статью И. Г. (вып. XIII) о кабинете архивоведения—форма научной работы, из которой в будущем может выйти институт архивоведения, заметку М. С. Вишневского «Архивные самообразовательные кружки», где дана программа и указан метод работы по поднятию квалификации архивных работников. Б. И. Анфилов (вып. II 15) разбирает различные воззрения по вопросу о вещественных памятниках в Архивах, приходя к мысли о недопустимости хранения в архивах об'ектов вещественного характера.

В том же выпуске прорабатывается вопрос о формуляре архивного фонда (статьи А. С. Николаева и Н. Ф. Бельчикова). В. Шереметьевский (вып. III/16) посвящает специальную статью разбору вопроса об указателях—заключительном моменте в работах по упорядочению архивных материалов. Рассматривая типы имеющихся указателей, автор приходит к выводу, что основным недостатком архивных «указателей являются перегружение их ономатологическим балластом, погоня за особой полнотой, отзывающаяся на качестве, неисполнимое на практике стремление все разжевать и положить в рот пользующемуся указателем, вместо того, чтобы дать краткие и точные ответы на вопросы, вытекающие из содержания документов описанного фонда». Уделено место и вопросу уничтожения не имеющих научной и практической ценности архивных материалов. Об этом пишет: Б. И. Анфилов в статье «Назревшая реформа», (вып. I/14), этой же проблеме посвящена статья С. К. Богоявленского—«О разборке фондов Окружных судов по гражданскому отделению» (тот же выпуск). К группе статей по вопросам архивоведения относятся также заметки: С. Н. Троянского (посмертная)—«Способы хранения землеустроительно-топографических документов» (вып. XI—XII) и И. Н. Завьялова—«Бумажно-книжный точильщик и борьба с ним» (А. Д. вып. XIII) и «Архивные вредители и предупредительные меры против их появления» (вып. III (16). Последние заметки заостряют внимание на практической охране документов от вредителей, как на одной из стоящих перед архивно-химической лабораторией Центрархива задач.

Статьи: Ш. Шмидта—архивариуса Парижского Национального Архива, председателя общества Современной Истории и члена Высшей Архивной Комиссии (А. Д., вып. XI—XII), «Французские Архивы и их техническая организация» и «Методы работы в Национальном Архиве» (вып. III (16), Стефано Ла Колла (вып. I (14) «Государственный Архив в Палермо и архивное дело в Италии», а также ряд статей советских архивных деятелей—академика Е. Тарле (вып. XI—XII), Н. В. Русинова (вып. VII), И. Любименко (вып. X, I (14), II (15), И. Милованова (вып. XIII), В. Адоратского (вып. III (16)—дают представление о состоянии архивного дела на Западе—во Франции, Голландии Италии, Англии, Германии.

В. В. Максаков в небольшом очерке «Архив Революции и Внешней Политики» обрисовывает историю и содержание одного из важнейших архивов. Мы имеем в его статье перечень основных фондов А Р и В П. Там хранятся материалы Департамента полиции и предшествовавшего ему III Отделения с. е. в. Канцелярии, Московской охранки и т. п. материалы, представляющие собою исключительной ценности источник для изучения истории революционного дви-

жения и борьбы царизма с ним. Здесь же находится и фонд Министерства Иностранных Дел, документы которого охватывают внешнюю политику императорской России XIX и XX веков.

Н. Ф. Бельчиков (вып. XIII) подробно останавливается на «Архиве А. С. Пушкина». Автор разбирает вопрос о праве тех или иных лиц и учреждений на архивы писателей и говорит о необходимости концентрации их.

А. Ольшевский (вып. II (15) рисует содержание и состояние весьма интересного для истории России фонда Троице-Сергиевой лавры, передача которого Главмузеем Центрархиву состоялась только в 1928 году после обнаружения там беспорядка и хищения.

Интерес для историка представляет и небольшая заметка А. П. (вып. II (15) «К изданию дипломатических документов». Автор, обрисовывая кратко характер дипломатической переписки, сохранившейся в Архиве, и основных методов ведомственной ее систематизации, останавливается, главным образом, на плане издания документов «Кризиса» 1914 года.

Статья В. В. Максакова «На пороге нового десятилетия» (вып. II (15), заостряет внимание читателя на стоящих через 10 лет после централизации архивного дела (декрет СНК от 1/VI—1918 года) перед архивными учреждениями задачах. Автор считает, что централизация архивного дела тогда только оправдает себя, когда облегчит пользование архивными материалами. Архив должен предоставить исследователю и представителю учреждения весь ориентирующий их материал. Поэтому основной задачей является инвентаризация и топографирование материалов. На ряду с этим первостепенное значение приобретает и вопрос о способе и месте хранения, об архивных помещениях. У нас часто имеются архивные склады вместо нормально организованных архивохранилищ. Но недостаточно систематизировать и уложить архивные материалы в специально оборудованные архивохранилища. Архив должен быть действенным научным и политическим учреждением, активным помощником политических, плановых и хозяйственных органов. Необходима и теснейшая связь с научно-исследовательскими учреждениями. Архив должен являться «своего рода лабораторией историка». Издание документов, помощь политико-просветительной работе советских учреждений и организаций—задачи архивных органов. Нужна более широкая организация обмена опытом как внутри С.С.С.Р, так и с иностранными архивистами. Результаты работы архивов за 10 лет дают основание утверждать, что в ближайшие годы архивы справятся со стоящими перед ними многообразными сложными задачами. Создание Центрархива С.С.С.Р., как органа, регулирующего взаимоотношения Центрархивов Союзных Республик по вопросам хранения и научной разработки общесоюзных материалов, явится естественным завершением архивной реформы 1918 года.

Часть выпуска III (16) посвящена юбилею М. Н. Покровского. В. В. Максаков освещает роль товарища Покровского в архивном строительстве. Кроме того, имеется био-библиографическая справка о М. Н. Покровском.

В заключение остановимся на обзорах документальных публикаций С. Н. Валка, являющихся необходимым для историка пособием. Обзоры, помещенные в отделе Библиографии, рядом со специальной библиографией, охватывают документальные публикации, вышедшие за 1926 и первую половину 1927 года. Рецензируются публикации документов, относящихся к В. И. Ленину, к декабристам, к революционному и общественному движению 60-х, 80-х, 90-х г.г. XIX века, 900-м годам, революции 1905 года, к 1917 году, гражданской войне 1918—20 г.г., интервенции, внешней политике XIX—XX в.в. и публикации документов XVII и XVIII в.в. Последние публикации являются крупным событием Советской археографии, тем более, что ряд этих публикаций освещает историю угнетенных при царизме национальных меньшинств, а одна из них посвящена фабрике XVIII века. Обзоры С. Н. Валка напечатаны в отделе библиографии, в. в. X, XI—XII, I (14) и III (16).

В официальном отделе журнала печатаются декреты Правительства, отно-

сящиеся к вопросам архивного строительства и важнейшие распоряжения Управления Центрархива. По хронике можно проследить все растущую связь учреждений Центрархива с государственными и научными учреждениями С.С.С.Р. и с научным миром Запада.

Наличие в «Архивном Деле» материалов о положении архивного строительства в Союзе, о содержании и составе архивохранилищ, о документальных публикациях, делает этот журнал интересным не только для специалистов-архивистов, но и для всех занимающихся историческими исследованиями.

А. Рахлин

РЕЦЕНЗИИ

A. MATHIEZ. La réaction thermidorienne. (Revue des cours et conférences, № 9, 10, 11, 13, 16 за 1928 год).

После опубликования третьего выпуска своей «Французской революции». посвященного периоду террора,—«La terreur»—Матьез приступил к работе над эпохой термидорианской реакции. Ряд статей, помещенных в Revue des cours et conférences за текущий год, является повидимому изложением курса, читанного им в 1927/28 акад. году и, очевидно, ляжет в основу следующего выпуска, охватывающего эпоху с 9 термидора II года по 4 брюмера IV года; рецензируемые же статьи доведены до вандемьера III года. Здесь Матьез оставляет в силе свои прежние, несколько противоречивые концепции о причинах 9 термидора. С одной стороны, он утверждает, что Робеспьер «перешел за пределы демократической политики» и «стоял на пути к социальной революции, что и явилось одной из причин его падения» (стр. 2); с другой—характеризуя «прежних друзей Дантона», составивших ядро антиробеспьеровской коалиции,—этих «беззастенчивых дельцов, старавшихся спасти свою голову и увлекших за собой «равнину», Матьез указывает, что между этими «монтаньярами-дельцами» и «монтаньярами принципа», тоже сыгравшими свою роль в дни 9-10 термидора, «общим было только отрицание». В чем же собственно заключались «принципы» и программа этих последних (в частности, напр., Бильо-Варенна) — Матьез не освещает.

Вообще, наперекор собственному утверждению о том, что все эпохи одинаково интересны для историка и что период термидорианской реакции, когда «личные интересы взяли верх над вопросами общественного спасения», совершенно незаслуженно оставляется в тени,—сам Матьез трактует о нем с значительно меньшей живостью и интересом, чем обычно. В первых статьях Матьез ограничивается лишь обзором основных мер и декретов этого периода (гораздо более подробно изложенных Оларом в его «Политической истории французской революции») и почти не выходит за рамки Конвента. Только в последней статье, где Матьез говорит о Парижской Коммуне, Электоральном клубе, салонах и прессе термидорианской эпохи, изложение сразу становится гораздо более оживленным.

Замена Генерального Совета Коммуны двумя чисто административными комиссиями, разделение Парижа на 12 округов, вместо прежних 48 секций, фактическое устранение неимущих из секционных собраний, вследствие отмены вознаграждения в 40 су за присутствие на заседании, уничтожение прежних Революционных Комитетов с заменой их 12 Комитетами, подлежащими переизбранию каждые три месяца, наконец, закрытие Якобинского клуба и процесс Каррье—все это складывается у Матьеза в одну стройную и красочную картину наступившей реакции.

Напрасны попытки Комитета Общественного Спасения сохранить в силе «революционное правительство»:—рядом декретов у «правительственных комитетов» отнимаются основные прерогативы и полномочия: «Равнина», напуганная диктатурой Ком. Общ. Сп., стремится во что бы то ни стало удержать руководство всеми делами за общим собранием членов Конвента.

Особенно интересны у Матьеза страницы, характеризующие сходную в этот период позицию Варле, Бабефа и даже Фрерона, возобновившего свой «Orateur du peuple» призывом к Марату помочь «спасти родину, искоренить модерантизм и аристократию, которые принимают новые формы» (стр. 676). Матьез указывает, что больше месяца «последние гебертисты, прежние кордельеры, поддерживали Фрерона» и «вместе с ним боролись против последователей Робеспьера и якобинцев» (стр. 677). Так, в Электоральном клубе Варле восхваляет Лекуантра за выдвинутое им обвинение против членов прежнего К. О. С., а Бабеф в № 4 своего «Journal de la liberté» резко протестует против исключения Фрерона и Тальена из Якобинского клуба и предлагает включить их в свой «батальон защитников прессы».

Однако, здесь имеются и нередкие для Матьеза преувеличения — вроде, напр., утверждения о том, что, «прежде чем восстановить предместья против

золотой молодежи, Бабеф был одним из первых вождей (chefs) этой последней» (стр. 686).

Что касается положения дел и отклика на 9-е термидора в департаментах, то этот вопрос остается совершенно незатронутым; быть может ему будет уделено внимание в следующих статьях Матьеза.

Н. Фрейберг.

Проф. ПАВЛО СМІРНОВ. Волзький шлях і стародав руси (нариси з руськоі історіі VI—IX вв.). Українська Академія Наук, Збірник історично-філологічного відділу № 75. У Киіві, 1928. Стр. 228 1 нен.

Проф. ПАВЕЛ СМИРНОВ. Волжский путь и древние русы (Очерки русской истории VI—IX вв.). Украинская Академия Наук, Сборник историкофилологического Отдела, № 75, Киев, 1928, С. 228+1 нен.

Рецензируемая книга является результатом тщательного изучения всех имеющихся в нашем распоряжении источников для пред'истории древней Руси; в результате этого изучения автор приходит к созданию оригинальной концепции, стройной и строго обдуманной, хотя и спорной. Справедливо замечая, что традиционное изучение русской истории, начинающееся с IX столетия и в хронологических рамках начальной летописи оставляет без внимания генезис русского государства и что, с другой стороны, возведение истоков русской истории к скифам и греческим колониям приводит к смешению русской истории с историей Восточной Европы вообще, автор начинает свое исследование с VI в., когда источники впервые упоминают о русском племени. Для раскрытия этих темных веков русского прошлого он оперирует материалом лингвистическим, археологическим и литературным—известиями русских, скандинавских и восточных памятников. Скудность и зачастую ненадежность источников заставляет его, при мозаическом построении его концепции, обращать особенное внимание на характер и особенности каждого источника в отдельности, и самое исследование он ведет от одного типа источников к другому.

Как Рос или Рус, Волга появляется у анонимного греческого географа V в. и в арабско-персидских источниках IX—X и позднейших веков. Впрочем, указание автора на устойчивость подобного именования в позднейших иностранных памятниках вплоть до XVI в. не кажется особенно серьезным аргументом, ибо здесь могла иметь место некоторая географическая традиция. ибо остается непонятным и необ'ясненным П. Смирновым, почему имя «Рус», обозначая Волгу у иностранцев, совершенно забылось в памяти самих русских. Обстоятельство это, однако, заслуживает внимания. Переходя далее к изучению археологических данных, П. Смирнов подробно останавливается на сходстве приволжских и скандинавских культур, несомненно, свидетельствующем о давнишнем знакомстве скандинавов с Волгой, служившей им транзитным путем на Восток и, до проложения днепровского пути, в Византию. Скандинавы не только проходили по Волге, но и колонизовали ее, и следы длительного их влияния археология находит в среде приволжского финского населения. Не все приводимые автором примеры в равной степени убедительны, но общая их совокупность, несомненно, подтверждает тезис автора об исконной скандинавской колонизации Поволжья, начало которой он относит к VI в. Принимая во внимание, что у Иорнанда (VI в.) среди подвластных готам народов значатся некие «роце», а у Захарии Ритора (VI в.) упоминается народ «рос», П. Смирнов делает предположение, что племенное название руссов произошло от названия Волги—«Рос», как «болгары» произошли от «Волги», и относится к норманским колонизаторам.

В этом толковании не совсем ясен следующий пункт. Сам автор принимает возможность финского происхождения интересующего его имени, при чем переводит его, как «речные люди». Скандинавы, однако, не могли явиться в представлении коренного приволжского населения «речными людьми» или, более того, специфически «волжскими людьми», ибо, когда бы они ни появились на Волге, они должны были считаться пришельцами. Связь между именем реки и народа остается неясной, хотя, как показывает автор далее, древняя Русь имела к Волге несомненное отношение задолго до появления на этой реке первых представителей славянства.

Переходя далее к письменным источникам и, в первую очередь, к «Повести временных лет», П. Смирнов исходит из положения, что нет оснований недооценивать географические познания летописца. Последний говорил ясно и определительно, и только позднейшие ученые, в угоду своим историческим конструкциям, затемнили и исказили бесспорные указания летописи. Отмечая, что в перечне народов «Яфетовой части» Русь появляется в качестве исконного, дославянского обитателя этих стран и в племенном отношении примыкает к варягам, автор интерпретирует слова летописи, что варяги сидят по берегам Балтийского моря «семо к востоку до предела Симова» в желательном для себя смысле и приходит к заключению,

что Русь—восточные варяги, сидевшие до Волги, заселявшие, таким образом, северную часть великого волжеского пути. Приводя попытки историков прошлого века истолковать эти географические сообщения, он указывает на их ошибочность и дает карту расселения восточных варягов. Эти свои соображения он подтверждает и материалом скандинавских саг, идентифицируя упоминаемую в них часть Великой Швеции—Рюсаланд с приволжской Русью.

Большая часть книги посвящена анализу восточных сказаний, анализу очень тщательному, но имеющему в основном один неискоренимый дефект. Сопоставляя известия арабских и персидских ученых, устанавливая их хронологию и взаимную зависимость, П. Смирнов пользуется не оригиналами, а переводами и вынужден следовать то за одними, то за другими ориенталистами. Мы не в состоянии уличить автора в каких-нибудь искажениях, но его внутреннее убеждение в собственной правоте не всегда передается читателю, не являющемуся специалистом востоковедом. Решающее слово, конечно, принадлежит последним, но у историка, знакомого с русским материалом, невольно возникает сомнение в методологических приемах автора, когда на с. 152 последний для подкрепления своей довольно спорной гипотезы об исторических моментах, лежащих в основании легенды о призвании князей, ссылается на Ипатьевский список, отдавая ему, вслед за В. М. Истриным, предпочтение перед Лаврентьевским. Соображения акад. Истрина не является в науке общепризнанными, и удовлетвориться ссылкой на них нельзя. Повторяем, подобные приемы способны вселить недоверие к построениям автора, но самая предлагаемая им схема заслуживает большого внимания.

П. Смирнов устанавливает три основных традиции восточных памятников в отношение древних руссов: 1) хазаро-персидская легенда VII—VIII в.в. о расселении сынов Яфета, среди которых поименованы и руссы и словяне, 2) рассказ IX в. об острове, на котором живут руссы и 3) традиция X в., сообщающая о существовании у руссов трех племен с тремя царями. Относясь к хазаро-персидской легенде только как к легенде, автор тем не менее считает возможным привести ее в качестве подтверждения древности русских поселений на Волге, независимости руссов от славян и неавтохтонности их на Поволожье. Подкрепление этой легенды автор видит в «Церковной истории» Захарии Ритора, которую он склонен интерпретировать рационалистически, и в других источниках. Переходя затем ко второй традиции, говорящей о русском острове и русском каганате, П. Смирнов считает, что в первоисточнике ее лежат рассказы двух очевидцев—славянина, описавшего быт руссов с славянской тенденциозностью и путешественника-монотеиста быть может еврейского купца. Источники этой традиции относятся к первой половине IX в. Под островом автор считает возможным видеть Волго-Окское междуречье, где и находился русский каганат, подчинивший себе основное финское население и некоторые славянские племена. Распад каганата относится автором к концу первой половины IX в., причиной его явилось нашествие с Уральских гор венгров. Результатом этого нашествия было посольство в Византию, о котором сообщает Бертинская летопись, а отголоски его и последовавшей реэмиграции руссов на северо-запад, в Новгород и Скандинавию, сохранились, по мнению автора, в сказании о призвании князей, в мотиве изгнания и возвращения варягов. Эта гипотеза автора, равно как и рационалистическое истолкование мест, по которым рассаживаются Рюриковы братья, кажутся довольно мало убедительными. Заставлять летописца XI в. помнить о событиях первой половины IX в. и воспоминания эти выражать не в каких-нибудь определенных сообщениях, а в каких-то глухих намеках—явное перенапряжение материала. В легенде о призвании князей мы, скорее, склонны видеть выражение политических тенденций новгородского летописания XI в., обоснование им исконных прав Новгорода на территорию, ранее с Новгородом связанную (и в этом смысле мы вполне согласны с проф. Смирновым), а во времена летописца подвергшуюся натиску со стороны киевских князей.

Третья традиция восточных памятников, относящаяся к началу X в. и говорящая о трех русских племенах, возникает уже после падения каганата и имеет своим первоисточником труд аль-Джейхани, в дальнейшем использованный многими последующими учеными. Анализ географических известий заставляет автора признать, что и третья традиция помещает древних руссов в Приволжских местах. Однако, к этому времени, в результате венгерского нашествия, уже произошло расселение руссов, что отразилось и в сочинении Константина Багрянородного, именующего Поднепровскую Русь «внешней Русью», и в житиях Стефана Суромского и Георгия Амастридского, повествующих о появлении руссов на Черноморском побережьи. Оставались они, однако, и на месте каганата и оттуда совершали походы, о которых сообщают Ибн-Хаукаль и другие писатели. В обосновании последнего соображения П. Смирнов опирается на летописную хронологию походов Святослава—источник, впрочем, такого доверия не заслуживающий. Что же касается трех племен, то все они на-

ходились в приволжском русском центре, и там же был и центральный город одного из них Кутаба-Кокияна. Отождествлять последний с Киевом нельзя, последний появился в результате русской диаспоры, и имя это было занесено переселенцами. Получается своеобразный Ключевский навыворот.

Остатки Приволжской Руси сохранились до XIII в.—следы их автор находит в летописной Пургасовой Руси, побежденной князем Юрием Всеволодовичем в 1221 г.

Таковы основные черты этого интереснейшего построения, являющегося попыткой пересмотреть вопрос о «древнейших судьбах русского племени» под совершенно новым углом зрения. Ряд положений автора, особенно, в той части, где он утверждает связь скандинавского северо-запада с русским северо-востоком, можно признать несомненными фактами, тоже, впрочем, еще недостаточно изученными. Другие кажутся сомнительными. Книге профессора П. Смирнова суждено стать предметом длительных споров, но в соответствующей литературе она займет почетное место. И вместе с тем она является наглядным показателем необходимости заново пересмотреть весь начальный период русской истории. Правда, по отношению к векам, которых касается автор, этого нельзя сделать без дальнейшего развития наук, частично послуживших и рецензируемому исследованию,—археологии и лингвистики.

И. Троцкий.

Краеведение в руках буржуазных ученых. Московский край в его прошлом. Очерки по социальной и экономической истории XVI—XIX веков. Под редакцией проф. С. В. Бахрушина. (Труды О-ва Изучения Московской губ. Вып. I). Стр. 128+1. Цена 1 р. 50 к.[1]

«Выяснение задач и методов исторического изучения отдельных областей является сейчас очередным вопросом в научном краеведении. Этот вопрос стоит особенно остро в виду усиления интереса к прошлому своего края, которое наблюдается в населении в связи с оживлением политической и общественной деятельности на местах»,—таким заявлением редактора (С. В. Бахрушина) начинается сборник.

Формулировка весьма осторожная! Какое это «население» проявляет столь «острый интерес» к «исключительно важным» (см. ниже) вопросам такой «актуальности», как XV—XVI—XVII—XVIII века, которым посвящено 6 из 7 статей краеведческого сборника?!

«Новые научные требования, которым далеко не удовлетворяет старый тип местных хроник, выдвигают на первый план изучение истории отдельных уездов и городов в новом краеведческом направлении». Какие же это «новые научные требования»? Не марксизм ли, случайно? Не современность ли? О, нет! Иллюстрациями «новых научных требований» являются — из напечатанных в сборнике—статьи Тихомирова и Воронкова (о них ниже), да еще доклады... о московской архитектуре. «Специально методу такого рода историко-краеведческих исследований» «посвящены были доклады», так сказать, методологические инструкции... М. Я. Феноменова о писцовых книгах и С. В. Бахрушина об Александровой слободе!

Конечно, «в связи с происходящей на наших глазах величайшей социальной революцией», нельзя не сделать некоторых, скажем мягко, намеков в сторону «нового». «Из отдельных вопросов краевой истории,—пишет редактор сборника,—которые в настоящее время приобретают исключительную важность в связи с современными задачами экономического строительства, особенное внимание краеведов привлекает изучение истории хозяйства края и, в первую очередь, местной промышленности»[1]. «Наконец, в связи с... революцией, на очереди стоит история отдельных групп населения (почему не «классов»?!— **В. З.**), как тех, которые выступили сейчас на первый план в политической (!?) жизни страны, так и тех, значение которых рушилось под ударами революции». Любопытная формулировка! Однако же изучение истории «групп населения..., которые выступили сейчас на первый план» (рабочего класса?), не слишком интересует культурно-историческую секцию О-ва Изучения Моск. губ. «Внимание членов Секции было направлено, главным образом, к уяснению мало изученного быта старого купечества».

После этих, хотя осторожных и написанных несколько архаическим языком, строчек, мы, кажется, можем со-

[1] Содержание сборника: М. Н. Тихомиров, Села и деревни Дмитровского края в XV—XVI вв.; А. И. Воронков, Кашира в XVII в.; Г. А. Новицкий, Первые московские мануфактуры XVII века по обработке кожи; Е. А. Звягинцев, Московский купец-компанейщик Михайла Гусятников и его род; К. В. Сивков, Подмосковная вотчина середины XVIII века; П. С. Шереметев, Крепостная суконная фабрика в селе Остафьеве 1768—1861; Б. Б. Кафенгауз, Купеческие мемуары.

[1] Надо ли добавлять, что изучается преимущественно история отдельных предприятий до XIX века.

гласиться с С. В. Бахрушиным, что «простое перечисление работ Культурно-Исторической Секции О-ва достаточно показывает направление и план ее деятельности». Добавим от себя: даже более «направление», чем «план»! Обратимся к сборнику, который должен «посильно отразить» работу секции. Не будем делать поспешных заключений, выслушаем авторов.

Первая статья из отмеченных редактором, как отвечающих «новым научным требованиям», статья М. Н. Тихомирова о селениях Дмитровского края в XV—XVI вв. является небольшим введением к историко-географическому словарю (и карте селений, выполненной технически довольно плохо), почему ее нельзя судить строго. Сам автор сознает, что взял «из истории селений» «формальные стороны» и опустил—за недостатком материала—«вопросы сельского хозяйства и быта» (с. 5). Перейдем к следующей, тоже рекомендованной, статье А. И. Воронкова «Кашира в XVII в.». Автор этой статьи детально рассказывает о перенесении города в начале XVII в. на другой берег Оки, о постройке укреплений, при чем его интересует главным образом по каким современным улицам проходили валы и т. п. [1].

Зато «историю хозяйства» автор излагает довольно неполно и с воздержанием от выводов. Приведенные автором материалы рисуют падение втрое в XVII в. числа ратных людей (продвижение засечной черты на юг), значительный рост посадских и также не-посадских—торговцев (духовенства, пушкарей, дворников и пр.), выдвижение «лутчих» в гостинную сотню, но в то же время разорение «молодчих» («кормятца наимуичи по людям»), ремесленный характер производства, при чем ремесленников автор почему-то именует «промышленниками», отход посадских людей от пахоты и рост хлебной торговли с Москвой на больших стругах. Однако, автор только приводит—довольно хаотически—эти материалы, не комментируя их; значения расслоения посада он вовсе не замечает. В этом смысле старые работы по «экономическому быту»,—Миклашевского, Белоцерковского и др. о тех же южных окраин, когда и «социальной революции» не было,—стоят, безусловно, выше. Белоцерковский [2], напр., работу которого вскользь упоминает автор, рисует связную картину хозяйственной эволюции с ростом торговой колонизации, и на основе связи с вотчинным хозяйством и расслоения посада, его интересует лицо «дворников» и др. социальных групп посадского населения и т. д. Ничего этого мы в рекомендованной статье Боронкова не найдем, хотя схема Белоцерковского оказала на него влияние. Вывод: научные методы разработки материала у нашего автора оказались, невзирая на революцию, не только не ушедшими вперед, а даже попавшимися вспять по сравнению с дореволюционными и домарксистскими серьезными монографиями. Общее нежелание современной буржуазной историографии делать выводы и обобщения дополняются здесь специфическим краеведческим провинциализмом доброго местного «старожила». И хотя «старожил» взялся за работу с прекрасным желанием последовать «новым научным требованиям», но получилось у него ужасно похоже на... «старый тип местных хроник».

Если историю хозяйства еще изучали в старой России, то на историю «местной промышленности», действительно, почти не обращали внимания. «В работах Секции,—по уверению предисловия,—нашли себе отражение и первые попытки создать казенную фабрику в XVII—XVIII в. при помощи иностранных специалистов, и крепостная вотчинная фабрика, и возникновение фабрики купеческой, и, наконец, развал частной фабрики после Октября 1917 г. и смена ее фабрикой советской». Действительно всеоб'емлющая программа! Но эта программа есть только росчерк редакторского пера. В сборнике, по крайней мере, мы находим только статью Г. А. Новицкого о сафьянном и кожевенном заводах Алексея Михайловича (1660—70 гг.) и П. С. Шереметева о крепостной суконной фабрике в Остафьеве конца XVIII—нач. XIX в.

Научная ценность этих статей неодинакова. Хотя работа Г. А. Новицкого развивает подробнее факты, уже освещенные в литературе, и основана главным образом на изданных еще в 1904 г. материалах [1], довольно скудных и однообразных, хотя некоторые обобщения автора кажутся слабо обоснованными, но самое это стремление к обобщениям в подобном сборнике привлекает внимание. Описав примитивную технику производства и положение рабочих на сафьянной мануфактуре, руководимой выписанными мастерами-армянами, небольшой (до 10 рабочих), но

---

[1] Напр.: Северная линия вала мало заметна, она вероятно соединяла конец Рудневской улицы с площадкой дома Госбанка» (с. 40). Очень важное для науки сведение!

[2] Белоцерковский, Тула и Тульский уезд в XVI и XVII вв., Киев, 1915. Глава II.

[1] Заозерский, Царь Алексей Михайлович в своем хозяйстве, П. 1917. Книга сафьянного завода—в III томе дел Тайного приказа (Русск. Истор. Б-ка, т. 23, 1904).

интересной, как предшественница мануфактур XVIII в., автор делает заключение о... предпосылках меркантилизма. Неблагоприятность рынка сбыта вела к охранительной политике [1]. Самое стремление построить такой вывод закономерно, но сделать его на основе одного небольшого предприятия, обращенного к тому же лицом на Восток (в смысле конкуренции), несколько поспешно. Впрочем, надо согласиться с автором, что «детальное изучение истории отдельных мануфактур второй половины XVII века все более и более освещает и уясняет своеобразные приемы и взгляды, характерные для московского меркантилизма» (с. 57). Мануфактуры и меркантилизм Петра выросли, конечно, не на пустом месте.

Статья П. С. Шереметева об Остафьевской фабрике не является собственно научной работой, и появление ее в сборнике вызывает недоумение. Из статьи мы узнаем, что основана была мануфактура в 1750 или 1760 гг. тогдашним владельцем Остафьева купцом Козьмой Матвеевым, который владел еще одной фабрикой, завел овцеводство, имел земли и крепостных. В 1786—92 гг. ф-кой владел б. компаньон Матвеева, московский купец Сухарев, а затем ф-ка перешла к А. И. и (в 1807) П. А. Вяземскому, известному писателю. Любопытно, что после 1812 г. Карамзин советовал отдать ф-ку в аренду купцам и, действительно, еще в 1840 гг. ф-ка арендуется купцами (с. 98, 99). Уже в 1820 гг. на ф-ке были машины, приводившиеся в движение от одного конного привода (ровенирная, чесальная, стригальная и др.), выписаны механики-иностранцы. Далее в статье следует лирическое отступление о письмах управляющего ф-кой в 1840 гг.— Д. Муромцева, его «идеологии вольноотпущенного», «смелости» и пр., а попутно—и гораздо более важные сведения, что ф-ка в начале 40 гг. была расширена (1843 г.—47 машин при 1 конном приводе и 42 стана), работала по полугоду на купца Ив. Тр. Прохорова, изделия ее доходили до Кяхты, а обслуживалась она, как половиной крепостного мужского населения села Остафьева, так и приходившими (костромскими) крестьянами. Вслед за этим почему-то рассказано о пожаре на двух соседних фабриках и могиле Муромцева, затем—с одинаковым вниманием—о мыслях Вяземского о влиянии ф-ки на население, об орудиях, сохранившихся в музее, и—очень бессвязно—о воспоминаниях бывших крепостных рабочих. Заканчивается статья перечнем суконных фабрик района и тощим «выводом»: «Остафьевская крепостная фабрика породила обширные мануфактуры с усовершенствованной техникой»... (с. 104). В статье, совершенно очевидно, нет ни плана, ни самого примитивного понимания важного и неважного. Автора даже странно упрекать, что он не заметил вопросов о р о л и к у п е ч е с к о г о к а п и т а л а в к р е п о с т н о й ф - к е, об эволюции м-ры, рынке для нее, о купеческом землевладении и т. п. Данная статья скорее напоминает беглые заметки экскурсовода обо всем понемногу и без всякого порядка [1].

Помещение этих двух статей выдает руководителей «секции» с головой: никакого плана и замысла по изучению местной промышленности у них нет, а если есть—то чисто бумажный. Самое важное и интересное—архивы отдельных фабрик—не разработано. Что мы узнаем, напр., об Орехово-Зуевских фабриках Морозовых и т. п.? Ничего. А это первая задача историка-краеведа, большая и благодарная научная и политико-воспитательная (жизнь рабочих в старину) работа. Такую работу можно проделать хорошо только, применив марксистский метод.

В сборнике имеются также любопытные работы о купеческом быте. Статья Е. А. З в я г и н ц е в а изображает эволюцию купеческого рода Гусятниковых, крупных московских купцов XVIII в. Этот род вышел из купцов гостинной сотни XVII в. и имел своим крупнейшим представителем в 40—70 г.г. XVIII в. Михайлу Гусятникова, откупщика, фабриканта (шляпная ф-ка, работавшая на казну и на рынок, 2 полотняных ф-ки и пр.), купца, домовладельца, типичного представителя торгового капитала XVIII в. Наиболее замечательный из его сыновей Петр Михайлович, «именитый купец», был уже в меньшей степени приобретателем, зато он был «вхожим в культурную дворянскую среду» (с. 69), владельцем имения и театралом. Еще больше к дворянству приблизился один из внуков Михайлы Гусятникова—Николай Михайлович (ум. в 1852 г.): «это был человек с европейскими замашками и вкусами, вращавшийся больше в земледельческой среде

[1] Вот рассуждения автора по этому вопросу: московские сафьяны обходились по 20 алт. юфть, а персидские того же качества стоили 6—7 алт. или несколько дороже. «При таких экономических условиях состояние рынка сбыта не было благоприятным для развития русской мануфактуры. Вполне естественно, что ее дальнейшие судьбы вполне зависели от укрепления политики охранительных начал»... (с. 56—57).

[1] Кстати сказать, статья облегчит и довольно небрежное редактирование сборника: обещанной карты ф-к района (с. 103) не оказывается; помечена гл. «I», но напрасно искать гл. II, и т. д.

и отвернувшийся от купечества» (с. 71); англоман, учредитель московского о-ва сельского хозяйства; он завел травосеяние в своих имениях и пропагандировал улучшенные с.-х. орудия («орало»). Часть рода Гусятниковых «возвысилась» до дворянства, часть спустилась к мещанству, произошел процесс «раскупечения» (с. 72), купеческие дела пришли в упадок. Однако, этот процесс «европеизации» и «раскупечения», известного сближения купечества и дворянства изображен автором довольно изолированно, и хотя в конце и брошено замечание, что подобное развитие обусловлено «общей эволюцией русского купечества и общества», но что это за «эволюция»—автор не выясняет.

Отчасти выяснение этого вопроса содержится в положительно интересной по материалу статье Б. Б. Кафенгауза о купеческих мемуарах, основанной на изучении мемуаров, опубликованных в «Русском Архиве» и «Русской Старине» и вышедших отдельными изданиями. Задачей своего очерка автор считает: «обратить внимание на этот не затронутый еще исследователями (— вернее, слабо затронутый — **В. З.**) ценный исторический источник. Преимущественное значение его заключается в отражении конкретных черт быта торгово-промышленного класса (автор не всегда достаточно четко отделяет купца от фабриканта—**В. З**) и культурной эволюции, пережитой им на протяжении XIX столетия» (с. 127). Несомненно, центральным событием в истории русского капитализма XIX в. был переход к машинному производству, добивший старые предприятия торгово - капиталистического типа и давший место промышленному капитализму как таковому. Этот факт отмечает, хотя и не с тою силою, как надлежит, и Б. Б. Кафенгауз: промышленный перелом уже с 40-х гг. приводит к бытовому культурному, политическому перелому[1]. «Негоцианты» XVIII столетия (Полевой), коммерсанты и фабриканты начала XIX в., выбившиеся в люди из торговцев «походячим торгом» и мальчиков в лавках (К. Крестовников, И. Щукин, П. Вишняков), отчасти—из крепостных крестьян (Н. Шипов, И. Голышев), подвергавшихся обирательствам помещиков и чиновников — вот предки купцов и фабрикантов второй половины XIX в. Отсюда—такие люди, как Вишняков, были скупы, в семейном быту «самодержавны», религиозны и консервативны; очень ярко этот мир обрисован в женских мемуарах (М. Рыбникова, А. Волкова).

С 40 гг. заметен перелом. Крестовниковы заводят ткацкое производство на туркестанском хлопке, стеариновый завод в Казани (по мысли, поданной известным проф. Киттары), Н. Найденов и др. учреждают Московский торговый банк. Даже в провинции организуются промышленные предприятия (ткацкая фабрика Н. Чукмалдина в Тюмени). Капиталисты - промышленники деятельно защищают свои классовые интересы, политически организуются. От верноподданного знаменитого разговора купца Н. Рыбникова с Николаем I в 1833 г. о протекционизме до полицейской слежки, учрежденной московским ген.-губернатором Закревским за сторонником «эмансипации» В. Кокоревым в 1857 г. и до яркой защиты—в печати и правительственных комиссиях—протекционистской политики в 50 и 60 гг.—лежит большое расстояние. Автор справедливо упрекает М. Н. Соболева, П. А. Берлина[1] и др. в слабом использовании купеческих мемуаров. В 1864—68 гг., напр., московские купцы проявили небывалую активность по поводу германского предложения 1864 г. о таможенном союзе. Н. Найденов вспоминает о с'езде 195 фабрикантов и экономистов (Бабст, Чижов) 14 января 1865 года, о посылке депутации московских фабрикантов на заседания правительственной комиссии в СПБ (под председательством Неболсина), где «мы» («московские депутаты») считались «оппозицией во всем» (стр. 120). Промышленники (Морозов, Лямин и др.), с участием И. Аксакова, издавали даже газеты «Москва» и «Москвич» для защиты своих интересов. В купечестве образовалась активная группа, «молодая партия», по выражению Н. Найденова. Фабриканты сорвали и проект ограничения рабочего дня малолетних (1871 г.). Правительству эта «молодая партия», совместно с либералами-дворянами, от-

---

[1] «Уже с 40 годов, и особенно с середины XIX века, наступило время усиленного роста промышленности, мануфактурный характер производства начинает заменяться чисто фабричным. Этот скачек в сторону капитализма, производственного и финансового (лучше сказать: промышленного—**В. З.**), нашел свое отражение в любопытнейших страницах купеческих мемуаров. Едва ли не наиболее важное значение этого источника заключается как в изображении этого перелома в хозяйственной деятельности, так и отражения его в домашнем быту и политическом значении купечества (фабрикантов—**В. З.**)» (с. 110); ср. В. И. Ленин, Развитие капитализма в России, гл. VII § XII; Н. Рожков, Прохоровская мануфактура за первые 40 лет ее существования, «Историк-марксист», т. VI, 1927.

[1] М. Н. Соболев, Таможенная политика России во второй пол. XIX века (Томск, 1911); П. А. Берлин, Русская буржуазия и т. д.

правила политический адрес (купечество при этом настаивало на привилегиях для себя, но было против либеральных свобод). Бытовой перелом хорошо рисуется поездками за границу (бр. Крестовниковы) знакомствами со знатью усвоением западно-европейской и дворянской культуры (М. и С. Вишняковы, Н. Крестовников), заграничным бонвиванством (П. Щукин), стремлением к коллекционированию (П. Щукин, А. Бахрушин, П. Третьяков и др.) и прямо к руководящему участию в искусстве (К. Станиславский и Художественный Театр), а также стремлением женщины к образованию (Волкова, Дьяконова)[1].

Этот перелом—несомненное отражение нашего «промышленного переворота». Он очень любопытен и показывает то воздействие буржуазии на политику и даже искусство, которое слабо еще изучено. Но не следует петь дифирамбов цивилизаторской якобы роли наших промышленников: при всей экономической прогрессивности капитализма, носители его в наших условиях оказывались в основном политически пассивными, агрессивно настроенными против рабочего законодательства и т. д. Не нашей буржуазии было встать во главе общественного движения,—как утверждали меньшевики,—это ясно чувствуешь из купеческих мемуаров... Но жизнь вождя революции—пролетариата—еще не успела заинтересовать московских краеведов...

Интересную работу дал К. В. Сивков о «подмосковной вотчине середины XVIII в.»—селе Павловском, знаменитом своим «бунтом», в свое время кратко описанном еще С. М. Соловьевым[2] Интерес работы не только в детальном описании хозяйства вотчины и положения и бунта крестьян, но и в использовании нового рода источников, к которым исследователи не прибегали—отписных книг XVIII века. Известно, что наши систематические источники по сельскому хозяйству, наши кадастры, писцовые и переписные книги обрываются на конце XVII в. Материалы ревизий не могут дать соответствующих сведений (их могли бы отчасти дать «экономические примечания» 1740 гг., но они относятся к позднейшему времени), архивы отдельных вотчин недостаточны и не изучены. Отписные книги—т. е. описи имений после конфискации—известны уже были в научной литературе, правда, для более раннего периода[1]. Но заслуги К. В. Сивкова заключается в привлечении к изучению отписных книг первой пол. XVIII в., дающих, хотя и случайно подобранный, но богатый и разнообразный материал[2]. Этот материал позволил дать социальную характеристику восстания крестьян. Крестьянство в вотчине 1740 гг. оказывается довольно расслоенным на ряду с зажиточными, имеются бобыли и фабричные; кроме полеводства, развиты промыслы. Восстание крестьян произошло в 1743 г. (после конфискации), а затем в 1750—1752 гг., благодаря злоупотреблениям вотчинной администрации (А. и И. Матинских), руководилось зажиточными крестьянами, сопровождалось чрезвычайно драматическими моментами (сходами, отказом выдавать войскам кр-н для наказания батогами, посылкой 153 чел. в Москву для просьбы о «милостивом суде»,—как все это характерно для крестьянского бунта!) и окончилось жестким подавлением, постоем войск и поркой...

Мы рассмотрели более или менее детально московский краеведческий сборник. Нельзя не признать его состав не только довольно разнообразным, но и случайным—как тематически, так и по ценности статей и методологически. Остается фактом, что даже при наличии пары ценных статей (которых, однако, тоже нельзя считать марксистскими; заметим кстати—даже некоторые марксисты, выступая совместно с буржуазными учеными, имеют склонность замазывать, скрывать свои классовые, марксистские черты), сборник не отвечает актуальным запросам—ни методологически, ни тематически. Сеть наших провинциальных научных учреждений, учебных заведений и о-в, сеть наших музеев и т. д.,—как это видно не только по по изданиям ленинградского и московского исторических музеев[3]—служит часто прибежищем буржуазной профессуре и ее ученикам, где совершенно бесконтрольно, хотя и очень осторожно, проводится буржуазная идеология. Марксистам-историкам пора обратить на это внимание.

[1] Уже в 40 и 50 гг. мы можем отмена примере Прохоровых—см. «Материалы к истории Прохоровской Трехгорной М-ры», М. 1915 (упомянуто и Б. Б. Кафенгаузом), полемику в «Северной Пчеле» 1856—57 гг. и в «Московских Ведомостях» против фритредеров (ст. И. Вернадского в «Русском Вестнике»); ср. В. Зельцер, Прохоровы и «Прохоровка» в 30—40 гг. XIX в. («Ученые Записки» И-та Истории РАНИОН, т. V, М. 1928).

[2] С. М. Соловьев, История России, V, 758.

[1] См., напр., Самоквасов, Архивный материал.

[2] По отписным книгам К. В. Сивков произвел и отчасти опубликовал ряд исследований.

[3] «Труды» Московского Исторического Музея, вып. I—IV (вып. IV—1928 г.). О ленинградском сборнике см. мою рецензию в «Ист. Маркс.», т. VIII.

Конечно, современная буржуазная историография кос-чему научилась; она опасается делать печатно выводы, строить концепции,—это опасно[1]; она пытается ограничиться пересказом материала. Но старое нутро осталось, и даже в сборниках с невинными статьями и осторожными предисловиями глядит на нас такая идеология, что диву даешься, как же это Московский Совет, под высоким покровительством которого издан сборник, не удосужился посмотреть, что и как издается под его эгидою. Наука истории,—тот слеп, кто не видит этого!—есть участок классовой борьбы...

В. Зельцер.

М. М. КЛЕВЕНСКИЙ. Ишутинский кружок и покушение Каракозова. Второе просмотренное издание. Издательство Всесоюзного Общества политкаторжан и сс.-поселенцев. М. 1928 г., стр. 56, цена 20 коп.

Брошюра М. М. Клевенского, выход первого издания которой не был отмечен на страницах наших исторических журналов, входит в состав «дешевой библиотеки» журнала «Каторга и Ссылка» и по типу своему должна быть отнесена к изданиям популярным, рассчитанным на широкую массу читателей, обладающих лишь минимальными сведениями по истории нашего революционного прошлого. Требование популярности брошюра тов. Клевенского удовлетворяет в полной мере. Написанная очень сжато, ясным и понятным для малоподготовленных читателей языком, она является безусловно ценным приобретением нашей популярной литературы по истории революционного движения и в силу этого может быть вполне рекомендована для библиотек соответствующего типа.

Однако брошюра тов. Клевенского имеет значение не только для тех малоподготовленных читателей, для которых она непосредственно предназначена, но и для читателей, занимающихся специально историей революционного движения. Кружок ишутинцев, которому она посвящена, до сих пор не получил достаточного освещения в нашей историко-революционной литературе. Да и архивные материалы, необходимые для такого освещения, до сих пор не опубликованы. Правда, недавно вышло такое в высшей степени важное и ценное издание, каким является выпущенный Центрархивом 1-й том стенографического отчета по делу Каракозова и его товарищей. Однако этот том, содержащий в себе очень много интересного материала для освещения истории террористического кружка «Ад» и покушения Каракозова на Александра II, дает сравнительно очень немного сведений об общей истории ишутинской «Организации», о ее возникновении и развитии, о разнообразных революционных предприятиях ишутинцев, об их идеологии и т. д.

Вот почему брошюра Клевенского, основанная на тщательной проработке громадного архивного материала, собранного во время следствия и суда по делу Каракозова и его товарищей, содержит в себе ряд новых, до сих пор неизвестных сведений о кружке Ишутина и в этом отношении представляет значительный интерес не только для тех читателей, для которых она непосредственно предназначена.

Общее определение роли ишутинского кружка в революционном движении того времени дано тов. Клевенским вполне правильно. Кружок этот Клевенский рассматривает как один из наиболее ранних представителей народнического движения, устанавливая при этом ряд моментов, в которых ишутинцы предвосхищали народников 70-х годов. Не менее правильно тов. Клевенский отмечает, что петербургская группа, возглавлявшаяся Худяковым, стояла на несколько иной позиции, чем московский кружок; в отличие от Ишутина и его товарищей Худяков понимал значение политической борьбы и не боялся буржуазной конституции. Очень интересно то, что говорит Клевенский о разногласиях в московском кружке и о той оппозиции, которую Ишутин встречал со стороны умеренной части кружка, возглавлявшейся Мотковым и высказывавшейся за необходимость ограничить действия кружка исключительно пропагандой.

Имеются в брошюре Клевенского две досадные неточности. Одна—маловажная: умерший в 1925 г. Черкезов не был последним из судившихся по делу Каракозова; до сих пор жив один из участников этого процесса—Ф. Борисов. Другая неточность имеет более серьезный характер. Клевенский пишет: «Ишутинцы были верными последователями Чернышевского». Это утверждение нуждается в оговорке. Действительно, ишутинцы считали себя последователями Чернышевского, но были ими в столь же малой степени, как и позднейшие народники. Общественно-политические взгляды Чернышевского они воспринимали не целиком, а лишь отчасти; из миросозерцания Чернышевского они заимствовали лишь наиболее слабые его стороны.

Б. Козьмин.

[1] Ср. поучительный пример: идеалистическая книжка С. Б. Веселовского о вотчинном режиме и рецензия А. Е. Преснякова на нее.

Н. Л. СЕРГИЕВСКИЙ. «Рабочий». Газета партии русских соц.-демократов (благоевцев), 1885 г. Отдел Ленинградского Областного Комитета ВКП(б) по изучению истории Октябрьской революции и ВКП(б). «Прибой». Ленинград. 1928 г., стр. 84.

Тов. Сергиевский, занимающийся специально историей народничества и соц.-демократии 80 годов, опубликовал текст двух номеров «Рабочего», органа «Партии русских соц.-демократов», известной больше под именем группы Благоева. В вводной статье т. Сергиевский, анализируя программы группы «Освобождение Труда», «Партии русских с.-д.», статьи «Рабочего» и другие документы, исходившие от группы Благоева (напр., письма группы Плеханову и «Народной Воле»), приходит к заключению, что 1) «первые социал-демократы в отличие от социал-демократов конца 80 и 90 годов, проповедовали социал-демократизм лассальянский, что 2) на благоевскую программу большое влияние оказала Готская программа Германской социал-демократии (чего нельзя сказать о чернопередельцах, от которых отчасти ведут свое начало благоевцы), что 3) в отличие от Готской программы и от программы группы «Освобождение Труда» благоевская программа провозглашает братский союз рабочих и крестьян, как одинаково заинтересованных в социализме (и в этом смысле благоевцы предвосхитили эту идею большевиков), что 4) благоевцы находились под большим влиянием Прудона, что 5) они были научными социалистами, так сказать, потенциальными, а на деле возлагали надежды на государственный социализм, что 6) лавризм благоевцев надо искать не в критически-мыслящей личности, а в том, что они придавали преувеличенное значение знанию, и что 7) «Проект программы русских социал-демократов» (1885 г.) группы «Освобождение Труда» был написан Плехановым под большим влиянием благоевцев и в ответ на предложение «партии русских с.-д.» выработать общую для обех групп программу.

Кроме этих выводов т. Сергиевский дает хотя и краткий, но наиболее точный и полный (по сравнению с другими попытками описать группу Благоева) очерк истории и состава «партии русских с.-д.» (этот очерк дан на основании новых архивных материалов, легших в основу другой большой работы т. Сергиевского о благоевцах, уже находящейся в печати; жаль, только, что т. Сергиевский нигде не делает ссылок на эти архивные данные).

Отдавая дань остроумию, проницательности и остроте мысли тов. Сергиевского, приходится, однако, с некоторыми выводами его не согласиться. Здесь прежде всего приходится остановиться на утверждении, что благоевцы взяли у Лаврова только его веру в большое значение знания и отринули концепцию «критически-мыслящей личности». Внимательно вчитываясь в передовую статью второго номера «Рабочего, принадлежащую, по словам тов. Сергиевского, П. А. Латышеву, мы как раз и находим здесь «критически-мыслящую личность» Лаврова. Емельян Пугачев рисуется здесь такой личностью. Он, по мнению Латышева, и ведет толпу именно потому, что обладает критическою способностью доискиваться причин замечаемых нами явлений. Не только знание, но и критика—основные качества вождя по мнению Латышева, а как известно и Лавровская «критически-мыслящая личность», «герой» именно этими качествами отличалась от окружающей ее толпы. Далее Пугачев,—герой, вождь, он ведет за собой толпу точно также, как ведет за собой толпу Лавровская личность и герой Михайловского. Да и не были бы благоевцы новыми народниками, как называет их тов. Сергиевский, если бы они не верили в силу критически-мыслящей личности, во имя высшей нравственности приносящей себя в жертву. А мораль, как это видно из программы благоевцев, была положена благоевцами в основу их представления о государстве. Государство, по мнению благоевцев, должно осуществить какую-то высшую мораль и в основе этого государства лежит какое-то высшее моральное начало.

Тов. Сергиевский называет благоевцев «новыми народниками, заменившими формулой западно-европейского развития отмершую и автоматически отпавшую старую народническую формулу самобытного развития». Это хорошо и правильно сказано. С этим согласуется и то замечание, что благоевцы проповедывали союз пролетариата и крестьян, как носителей социализма. Это тоже хорошо сказано: как народники, благоевцы иначе и не могли представляет себе крестьянина, как носителем социализма. Все это верно, но едва ли верно то, что эта идея благоевцев—идея большевиков: ведь большевики никогда не представляли себе крестьянина носителем социализма. Союз рабочих и крестьян Ленина, это совсем не тот союз, который проповедывали благоевцы, ведь если отожествить эти две концепции, то придется признать, что Ленинская концепция—народническая концепция. Однако мысль тов. Сергиевского о том, что идея союза рабочих и крестьян была в программе благоевцев верна и интересна, как верно и замечательно указание тов. Сергиевского на то, что идея эта

была списана благоевцами у автора (тоже, конечно, народника) «опыта обоснования программы народников». Только, пожалуй, отца этой идеи нужно искать еще раньше в недрах народничества 70-х годов: ведь еще в 1876 г. неизвестный автор рассуждения по поводу Казанской демонстрации 1876 г. пришел к такой же идее союза не крестьян с рабочими, а рабочих с крестьянами. Это любопытный пример того, как живы некоторые идеи прошлого даже в период самых резких изменений социально-экономических условий жизни, заслуживает самого тщательного изучения и сопоставления с некоторыми идеями и не такого уж отдаленного прошлого.

Публикация тов. Сергиевского ценный вклад в науку истории русского революционного движения и составляет интереснейшее звено в цепи всех работ, которые вышли из-под пера тов. Сергиевского и которые, будем надеяться, не закончатся ни новой его работой о группе Благоева, ни другими работами о народничестве, а завершатся исчерпывающим исследыванием о переходном периоде русского революционного движения 80-х годов.

В. Невский.

И. К. МИХАЙЛОВ. Четверть века подпольщика. Гиз, М.—Л., 1928, с. 227, ц. 2 руб.

Революционная автобиография старого большевика-подпольщика имеет двоякий интерес. Живо написанные мемуары, восстанавливающие неповторимую бытовую и жизненную обстановку тех лет, когда в непосредственной борьбе, в напряженой схватке со старым миром складывалась железная когорта ленинской партии, вырабатывался тип профессионального революционера,—имеют громадное воспитательное значение для той смены из рабоче-крестьянской молодежи, которая по словам В. И. Ленина «и увидит коммунистическое общество и сама будет строить это общество» (т. XVII, стр. 328).

С другой стороны, мемуары, конечно, соответственным образом препарированные, могут являться и ценным историческим документом, без которого не может обойтись и историк нашей партии.

Мемуары т. Михайлова вряд ли могут служить второй цели. Описывая одну из наиболее интересных страниц из нашего прошлого, автор не вышел за рамки автобиографии, не сумел свою собственную жизнь дать на фоне того широкого общественного движения, той массовой борьбы рабочего класса, без которого жизнь,—пусть даже самая замечательная,—отдельного человека теряет свое общественное значение. Отдельные факты и события, которые описывает т. Михайлов, в нашей исторической литературе достаточно известны, и в этом отношении опять-таки книга т. Михайлова для историка ничего не дает.

Но в качестве воспитательного материала книга, несомненно, может принести пользу.

Автор рисует процесс созревания личности рабочего-революционера от шестилетнего мальчугана-сорванца до профессионального революционера-большевика.

Интересны революционные выступления рабочей молодежи, работа в кружках, эмиграция и т. д.

Немногими словами автору удалось набросать живой портрет Ильича, показав его на диспуте с народниками (стр. 76).

Прекрасно описано собрание трэдюниона, членом которого стал т. Михайлов по приезде в Англию (стр. 85). Замечательна фигура трусливого либерала, готового при первой опасности не только отречься от малейшей помощи революционеру, но идущего и на предательство, лишь бы доказать свою благонадежность (стр. 135).

Таких счастливых мест в книге воспоминаний т. Михайлова не мало, и они делают книгу полезной и интересной для молодого читателя.

Приходится, однако, пожалеть, что книга не подверглась авторитетной истпартовской редакции, в результате чего получился ряд неприятных ляпсусов, искажений и неточностей.

На стр. 17 т. Михайлов пишет: «Идеи, носителями которых были арестованные, не были загнаны в тюрьму вместе с ними: слова рабочего Петра Алексеева на суде: «Идеи на штыки не улавливаются»,—характеризовали создавшуюся в Колпине обстановку».

Здесь автор слова Софьи Бардиной приписывает Петру Алексееву. Правда, оба они судились по одному и тому же процессу «50-ти», но смешивать их не полагается вообще, а тем более в книге, рассчитанной на массового читателя.

На следующей, 18 стр.—аналогичный ляпсус: «Не редкость услышать гимн на смерть Чернышевского:

«Замучен тяжелой неволей,
Ты славною смертью погиб»...

Опять смешение студента Чернышева, замученного в тюрьме, с писателем-революционером Чернышевским. Таким ляпсусов в книге разбросано довольно много.

Более существенной является ошибка автора, допущенная им при описании разногласий между большевиками и меньшевиками (стр. 97). Он формулирует разногласия такими, какими они были на 2 с'езде и непосредственно

после него. Но у автора речь идет ведь уже о революции 1905 года, когда уже имели место и 3 с'езд партии и Женевская конференция, когда разногласия по таким вопросам, как вопрос о вооруженном восстании и участии во временном революционном правительстве, были основными, определившими «две тактики социал-демократии в революции». Об этих тактических, актуальных разногласиях у т. Михайлова ни слова.

Своевременная авторитетная редакция значительно подняла бы ценность книги. Внешне она оформлена довольно прилично. К числу дефектов в этом отношении следует отнести то, что книга не разделена на главы. 227 страниц идут сплошным текстом, что затрудняет чтение книги.

Л. Мамет.

З. И. МИРКИН, СССР, царские долги и наши контр-претензии. Гиз, М.—Л., 1928, стр. 124+II, цена 70 коп.

Сейчас, когда оживилась деятельность зарубежных кредиторов старой царской России, появление книжки, посвященной вопросу о царских долгах и наших контр-претензиях, нужно считать как нельзя более своевременным. Однако, З. И. Миркин не вполне справился с задачей.

Начиная с изложения главнейших моментов, характеризующих обстоятельства заключения царским правительством иностранных займов, автор переходит к Октябрьской революции, уничтожившей старые долги, и вооруженной интервенции, при помощи которой кредиторы пытались восстановить свои «потерянные права». Делая это совершенно правильное указание на значение интервенции, З. И. Миркин все же впадает в крайность, совершенно искажающую истинный смысл интервенции. По его словам: «наравне с военно-политическими соображениями—выходом России из войны—главной движущей силой интервенции было стремление восстановить уничтоженные революцией царские обязательства, вернуть отнятые ею заводы, шахты, земли». Нет спору—стремление восстановить уничтоженные революцией царские обязательства имело большое значение для инициаторов интервенции, но считать это стремление главной движущей силой также наивно, как наивно предпологать, что в организации интервенции решающую роль играли военно-политические соображения, связанные с выходом России из войны. Ведь нельзя забывать, говоря об интервенции, то огромное значение, которое имело стремление уничтожить советскую власть, как источник революционного воздействия на страны империалистического мира... Именно здесь нужно искать основную причину непримиримой политики англичан, французов и других империалистов по отношению к советскому режиму.

Главная часть брошюры посвящена изложению истории переговоров советского правительства с главнейшими странами-кредиторами. Автор подробно останавливается на Каннских решениях союзников, на Генуэзской и Гаагской конференциях. Затем отдельно рассматривается вопрос об англо-советских и франко-советских переговорах и соглашениях, а также и об отношениях с другими странами в связи с вопросом о долгах.

В этой части брошюры читатель найдет изложение основных фактов, но изложение это сухое, переобремененное длиннейшими цитатами из официальных документов.

Так нельзя писать популярных брошюр! Массовый, малоподготовленный читатель такой брошюры читать не станет, а специалисту она не дает ничего нового. Впрочем, нельзя отнять от автора, что ему удалось сгруппировать уже опубликованный в широкой печати, но разрозненный материал по вопросу о претензиях к СССР.

Жаль, что автор, видимо знакомый с вопросом о советских контр-претензиях, очень скуп на слова, говоря по этому поводу. А между тем этот вопрос стоило бы изложить гораздо подробнее, так как он в нашей печати пока очень мало освещен, в то время, как основные факты советско-союзнических переговоров неоднократно излагались многими авторами.

Наконец, нельзя не отметить и некоторые фактические погрешности: перепутанные даты. Например, декрет ВЦИК'а об аннулировании государственных займов был издан не 21 января 1918 г., а 10 февраля (н/стиля). Затем национализация банков была проведена не «почти одновременно с аннулированием займов», а за полтора месяца до этого—еще 27 декабря (н/ст.) 1917 г.

Ал. Гуковский.

БИБЛИОГРАФИЯ ВОСТОКА. Вып. I. История. Научная Ассоциация востоковедения при ЦИК СССР. Москва, 1928 г.

«Издаваемый сейчас первый выпуск «Библиография Востока»—говорится в предисловии к рецензируемой нами книге—посвященный истории, содержит критический обзор книг и журнальных статей, вышедших на русском языке за время с революции 1917 г. и по 1925 г. включительно». Книга распадается на следующие отделы: I. Вспомогательные науки. История наук. II. Общие работы. III. Яфетидология; затем следует 26 отделов, посвященных отдельным странам древнего и современного Востока,

отдел империализма, колониального и национального вопросов и отделы рукописей, музеев, некрологов и т. п. Книга снабжена алфавитным и предметным указателями и дополнена предварительным систематическим перечнем русских книг и журнальных статей по Востоку, появившихся в 1926 г. и за первую половину 1927 г. «Библиография» содержит более 2000 названий, из них около 1500 критически обработанных.

Уже этот небольшой перечень содержания первого выпуска «Библиографии Востока» показывает, что рецензируемая нами книга представляет собою ценнейшее издание, которое займет важное место в деле изучения Востока. Ни в одной отрасли современного научного знания нет таких зияющих пробелов, как в области востоковедения, особенно же остро в ней чувствуется отсутствие библиографических указателей, которое приводит к тому, что и тот бедный материал, который имеется по этим вопросам, может быть использован исследователем только после долгих и мучительных поисков. Это делает «Библиографию Востока» очень важной научной работой, значение которой выходит далеко за пределы простой каталогизации всем известных книг: она представляет собою первое обобщение тех достижений, которые сделало советское востоковедение за первые 8 лет революции.

Если принять во внимание отсутствие каких бы то ни было предварительных работ (исключая «Книжную летопись») в области библиографирования тех материалов, которые собраны в «Библиографии Востока», необходимо признать высокий уровень проделанной работы. Правда, отдельные пропуски имеются: пропущена, напр., книжка I. Хороших «Якуты», Иркутск, 1924 г. Изд. ВСОРГО, I том сборника «Бурятоведение», Верхне-Удинск, 1925 г.; книга Ф. Махарадзе—«Диктатура меньшевистской партии в Грузии», Гиз, 1920 г.; этот список можно было бы продолжить.

Эти пропуски в таком издании совершенно неизбежны. Поэтому мы считаем необходимым остановиться не на них, а на других вполне исправимых недостатках «Библиографии»—на ее систематизации и на аннотациях.

Начнем с систематизации. Та разбивка на отделы, которая произведена в «Библиографии», не вызывает никаких сомнений. Однако принципы расположения материала внутри отделов не могут не возбудить недоумения. Материал расположен не по алфавиту, однако, совершенно невозможно установить, по какому же признаку он расположен. Берем наугад несколько примеров: Отдел «Восточные народности Приволжья» начинается с книг, посвященных археологии края; «Кавказ» открывает книга Ставровского «Закавказье после Октября», «Афганистан» начинается с военной географии, «Средняя Азия»—с национально-территориального размежевания Советской Средней Азии, «Турки и Турция»—с архитектуры Константинополя. Соответственно с этими различными началами отделов материал внутри них разгруппирован самым разнообразным образом. Такая же «беспринципность» царит и внутри отделов. Например: № 481. И. Орбели. Фрагмент крестного камня с арабской надписью в Тифлисе. № 482. А. Барби. В стране ужаса. Мученица Армения (впечатление 1916 года). № 483. И. Орбели. О двух терминах в надписях Ани. Или: № 521. М. Кудяков. Очерки по истории Казанского ханства. № 521а. И. Бороздин. Современный Татарстан. № 522. А. С. Вахидов. Ярлык хана Сахиб-Гирея.

Таким же отсутствием единого принципа страдают и аннотации. Некоторые из них представляют собою просто оглавление книги (напр.: № 526. Атнагулов. Башкирия. Один из выпусков серии «Республики и области СССР». Делится на четыре главы: «Башкирия до русской колонизации» и т. д.). Другие излагают содержание книги (напр.: № 913. А. Ходоров. Мировой империализм и Китай. «В этом труде большое внимание уделено Среднему Китаю, в особенности экономическому положению его. Северному Китаю посвящена первая часть книги (53 стр.). Задача книги учет об'ективных условий, созданных в процессе развития производительных сил»... и т. д.). Наконец, третьи являются рецензиями, дающими оценку книг (напр., 730. Б. Я. Владимирцов. Монгольский сборник рассказов из Panca tantra. «Первая серьезная и самостоятельная попытка развернуть несколько страниц монгольского повествования»... и т. д.). Эта разнообразность аннотаций, разнообразность, в которой не может быть установлено никаких закономерностей, чрезвычайно понижает ценность критической обработки книг, проделанной составителями «Библиографии».

Наряду с этим, некоторые из аннотаций просто неудачны. Напр., в № 1256: М. Лазерсон. Национальность и государственный строй. Об этой книге, автор которой ставит своей задачей обосновать правильность национальной политики Временного Правительства, аннотация говорит:... «работа устарела (!) и может иметь только историческое значение». И это все. Ни слова о политическом смысле книги. В ряде случаев из аннотаций не видно того, какое собственно отношение имеет книга к вопросам истории востока. Примеры: № 1203. В. Кряжин. Борьба держав в Средиземном море. «Статья разбирает попытки, сделанные Италией после вой-

ны для расширения своих владений на Средиземном море за счет Греции, Юго-Славии и Франции». Наличие этой статьи в библиографическом указателе, не ставящем себе целью регистрации всех статей о послевоенной империалистской борьбе, при такой аннотации совершенно непонятно. То же относится и к № 1220. Д. Пеппер. Вопрос об Англо-Американском империалистском сотрудничестве. Аннотация: «Англо-Американское сотрудничество не является единственным «стержнем» современного мирового положения. Англо-Американское соперничество—более сильная тенденция, могущая привести к столкновению между обеими странами». Но как же эта статья может быть использована человеком, изучающим Восток? Как раз этого аннотация и не говорит.

Наконец, некоторые из аннотаций просто представляют собою никому непонятный неряшливый набор слов. Что говорит читателю следующий отзыв о книге М. Марголина—«Вавилон, Иерусалим, Александрия»? «Изящный обзор культурной и особенно религиозной жизни древнего мира с громадным перевесом (где?—в обзоре, культурной жизни или же в древнем мире?—Л. Д.), вклада еврейства и особенно его профетизма. Схематизация иногда сильно мешает (кому?—Л. Д.), особенно в небольшом введении относительно Вавилона и Египта—бодрый трудовой элемент которых совершенно оставлен в тени... дабы не озарять мрачной картины гнета и насилий».

Мы остановились на этих недостатках отнюдь не для того, чтоб уменьшить значение того важнейшего научного достижения, которое сделала «Научная Ассоциация Востоковедения», выпуская «Библиографию Востока». Вопреки этим недостаткам и отдельным ляпсусам, «Библиография Востока» будет необходимейшим справочником в работе научных учреждений и научных работников и практиков, связанных с изучением Востока.

Л. Д.

И. И. МЕЩАНИНОВ. Халдоведение. История древнего Вана, включая древнейшие сведения о Закавказье. Система письма и чтение клинописных текстов халдов-урартов. Изд. Общества обследования и изучения Азербайджана. Баку. 1927 г. Стр. VII + 274, ц. 3 р.

Из всех стран классического Востока, где некогда практиковалось клинописное письмо, в русской научной литературе больше всего посчастливилось древнему Ванскому царству. Богатый эпиграфический материал, часть которого собрана в пределах Советского Закавказья, уже с конца XIX века служил предметом ученых изысканий ряда крупнейших русских ориенталистов-историков и лингвистов, среди которых нужно отметить имена М. В. Никольского, Б. А. Тураева, В. С. Голенищева и Н. Я. Марра. Их труды по халдоведению составляют одну из наиболее блестящих глав в истории русского востоковедения.

Книга ленинградского профессора И. И. Мещанинова является капитальным трудом, наиболее полным и разработанным не только в русской, но и во всей иностранной литературе по истории древних стран, лежавших на верховьях Ефрата, Тигра, Куры и Аракса, включая сюда и бассейны величайших озер Передней Азии—Севанга, Вана и Урмии. Автор не только использовал эпиграфические халдские и ассирийские источники, а также обширную литературу, которая насчитывает уже свыше 100 лет своего существования, сведя все эти материалы в одно целое, но и сам сделал значительный вклад в науку своими археологическими и лингвистическими исследованиями в области культур Закавказья и сопредельных районов. Поскольку исторические источники о халдах в значительной части сводятся лишь к эпиграфике, вполне естественно, что лингвистике уделена в рецензируемом труде львиная доля. И. И. Мещанинов—один из ближайших и наиболее талантливых учеников Н. Я. Марра,—всецело базируется на положениях и методологии яфетидологии, не только обобщая результаты исследований своего учителя, но также совершенно самостоятельно выдвигая и разрабатывая целый ряд проблем халдского языка. В этом отношении рецензируемая книга завершает многолетние специальные исследования автора, печатавшиеся в различных научных изданиях, главным образом, на страницах «Яфетического сборника», и является блестящей, первой, если не считать работ самого Марра, яфетидологической монографией.

Вся книга проф. Мещанинова может быть разделена на три части: I. — История древнего Вана, где прослеживаются исторические судьбы Наири-Урартру-Биайны с древнейших времен (XIV в. до Хр. э.) до конца независимости (VI в. до Хр. э.) (с. 7—68); II.—Исследования по эпиграфике и языку халдских надписей, где приведены основные данные о внешнем виде и графике этих надписей, таблицы алфавита и об'яснения к ним, фонетика и грамматика (стр. 64—164 и 213—230), и III—Разбор и перевод важнейших и наиболее характерных текстов, приведенных в фото-снимках, транскрипции, переводе. Эта же часть включает в себя и подробный анализ текстов, а также краткий халдо-русский словарь (стр. 164—213 и 231—265).

Развивая основные положения Н. Я. Марра о клинописном языке древнего Вана, проф. Мещанинов характеризует этот язык, как язык яфетический, шипяще-спирантного типа, представителями которого в настоящее время являются живые на Кавказе языки: сванский, мегрельский и чанский. Яфетидологически изучая язык халдов, автор излагает материалы и ведет свой анализ настолько ясно и в то же время методологически выдержано, что пользование этой частью его работы является незатруднительным и для не-специалиста, являясь тем самым хорошим введением в изучение яфетических клинописных языков—эламского, шумерского и др.

Древнейшие письменные источники о халдах—ассирийские надписи—восходят к XIV веку до нашей эры. Впервые в сообщениях о походах царя Ашурубаллита (1410–1393) мы находим упоминание северной по отношению к Ассирии гористой местности, именуемой странами Наири. Отсюда, чем ближе к нашему времени, тем все более частыми делаются ассирийские сообщения об этих странах, о многочисленных завоевательных и карательных экспедициях царей Ассирии в пределы Наири, где они с трудом добивались покорности от многочисленных правителей различных областей, ныне являющихся пограничной зоной СССР, Турции и Персии. В 884 г. до Хр. э. в ассирийских анналах впервые появляется наименование Урарту, которое потом отождествляется с именем Наири, постепенно вовсе его вытесняет. От этого же времени мы имеем и древнейшие из дошедших до нас халдские надписи, а именно гравированные на камне ассирийские по языку надписи царя Урарту Сардура, сына Лутипра. С последней четверти IX века ассирийский язык в халдских надписях заменяется собственным—халдским языком, но знаки остаются прежними. Такое положение оставалось до конца древнего Вана, последним историческим памятником которого являются надписи царя Русы III, сына Еримены (начало VI века до Хр. э.). Чрезвычайно характерно, что в халдских надписях имя Урарту нигде не упоминается. Халды, которых ассирийцы упорно именуют урартами, совершенно игнорируют это наименование, называя себя халдами, их цари в древнейших своих надписях называют себя царями Наири и Шура, а затем царями страны Биайна.

Устанавливая синхронистическое соответствие ванских царей с царями Ассирии, проф. Мещанинов дает твердые основы хронологии халдского царства в рамках 884—606 г. до Хр. э.

Эти три столетия в истории древнего Вана были периодом бесконечных войн, то победоносных, то кончавшихся жестокими поражениями, с окружающими соседями, главным образом с Ассирией. В надписях халдских царей мы находим ряд весьма важных данных для истории всей передней Азии того времени. В числе народов-друзей и врагов Биайны выступают и ассирийцы, и Элам, и киммерийцы, и скифы, и лидяне, и мидяне и др. Особенно интересны сведения, относящиеся к нынешнему Закавказью. Сообщения о походах ванских царей рисуют нам весьма оживленную экономическую и политическую жизнь целого ряда мелких государств в пределах двуречья Куры и Аракса. В свете этих данных сама история древнего Вана предстает перед нами как часть единой истории переднеазийского мира, связанного внутренним единством социально-экономической, политической и культурной жизни. Через халдов Советское Закавказье увязывается с одной стороны с хеттами и другими народами Малой Азии, а с другой стороны—с древним Эламом. Отражением хозяйственно-политической связи этих стран является языковая близость населявших их народов. Эти моменты выявлены в книге проф. Мещанинова с достаточной отчетливостью и составляют одно из главных ее достоинств. Гораздо слабее удался автору собственно-исторический очерк древнего Вана, который в книге свелся к почти голой хронике политических событий—хозяйственно-культурная сторона истории древнего Вана едва лишь намечена.

Несмотря на недостаточность материалов, все же основные и характерные черты социально-экономического быта древнего Вана могут быть уже в настоящее время выявлены, и эта задача, в ряду других, стоит перед исследователями-марксистами.

Из числа технических недочетов книги проф. Мещанинова нужно отметить отсутствие библиографии вопроса.

В. Аптекарь

А. Н. ЖИЛИНСКАЯ. К вопросам методологии и методики обществоведения. Выпуск I. Изд-во «Кубуч». Л., 1928, Стр. 207.

До сих пор в нашей советской методической литературе, посвященной вопросам преподавания обществоведения, преобладали мотивы чрезвычайно утилитарного свойства: как и каким способом наилучшим образом организовать педагогический процесс. Хотя для всякого марксиста аксиомой является положение о примате методологии над методикой, наши авторы-методисты в большинстве своем были беззаботны по части методологических требований.

Поэтому всякая попытка обосновать методику обществоведения под углом зрения требований марксистской методологии, на основе развернутой системы принципов исторического материализма должна заслуживать серьезного внимания. Это тем более важно, что, по словам А. Н. Жилинской, «до настоящего времени еще не встречалось в литературе попытки проверить, в каких формах возможно установить связь между теорией исторической диалектики и методикой обществоведения» (стр. 43). И хотя автор рецензируемой книги скромно полагает, что «можно считать оправданной ту большую работу, которую собирается проделать он» (стр. 43),—мы склонны подвергнуть это утверждение сомнению.

Попытаемся показать это.

Основное требование, которое всегда пред'является к научному исследованию,—а на такое претендует А. Жилинская (см. ее предисловие),—это четкость, определенность и научная выдержанность основных положений, которыми оперирует автор. Как раз в этой области у нашего автора господствует порядочная путаница. Задавшись целью «научно обосновать методику школьного обществоведения», А. Жилинская с самого начала должна была заняться выяснением того, что она собирается научно обосновывать. И с первой же страницы работы терминологическая ясность и определенность оставляет нашего автора. В предисловии (стр. V) автор декларирует основной принцип, который отличает обществоведение от социологии: «Социология является строго теоретической наукой о законах развития общества,—пишет она,—под обществоведением же мы понимаем не только теоретическое исследование, но и руководство к социальному действию с целью создать новый общественный строй». Нам нет необходимости опровергать т а к о е противопоставление социологии и обществоведения, ибо сам автор делает это в своей книге на стр. 12—14, когда говорит о марксистском понимании науки, как о руководстве к действию. Очевидно, для марксиста невозможно обосновать обществоведение, как особую науку, базируясь на этом признаке. Последуем за автором в его попытке обосновать «обществоведение, как особую науку», здесь же только отметим, что противопоставление обществоведения социологии—не выдерживает никакой критики. На стр. 9 автор пытается дать новое «определение обществоведения с точки зрения марксизма»: «Обществоведение есть наука о строении и о законах развития человеческих обществ». И далее продолжает: «В определении предмета обществоведения мы ясно различаем две стороны: структурную и динамическую». В скобках отметим, что это деление очень напоминает контовское деление на общественную статику и общественную динамику и с точки зрения научного познания мало помогает уяснению истины. Стоит только вдуматься в цитированное нами определение и сравнить его с приведенным в начале, чтобы притти к заключению, против которого борется наш автор: обществоведение=социологии. Но если так выходит в о п р е к и воле нашего автора, тогда зачем же понадобилось «огород городить», вводить новую терминологическую путаницу и «методологически обосновывать» обществоведение? Есть ли в этом вообще необходимость открывать давно открытые Америки? Автор без устали твердит, что «теория исторического материализма не дает всего необходимого методологии обществоведения», что «для создания теории обществоведческого знания необходима дальнейшая с п е ц и ф и к а ц и я положений исторического материализма применительно к особенностям материала, охватывающего в равной мере факты современности и истории» (стр. VI). А на самом деле вся его сложная теоретическая постройка не дает ничего принципиально нового и специфического, что бы не вошло в железный инвентарь исторического материализма. Автор тщится убедить нас в том, что он не занимается систематическим изложением марксистской социологии, т. е. исторического материализма, а фактически он занимается как раз этим и, как мы увидим, не всегда удачно. На с. 84, занимаясь вопросом «об основных источниках науки обществоведения», А. Жилинская вновь выдает себя с головой такой формулировкой: «обществоведение имеет своим предметом общественно-экономические формации, законы их зарождения, функционирования и перехода в высшую форму, превращения в другой социальный организм». Каков же тогда предмет социологии, спросим мы автора? Мы напрасно искали бы во всей книге другого содержания «обществоведения». Но попытаемся подойти к вопросу с другого конца. Мы видели, что никакой другой науки, кроме социологии, ничего «специфического», «обществоведческого», несмотря на широковещательные обещания автора, он нам в своих определениях не дал. Может быть анализ книги со стороны ее содержания даст нам возможность выявить «специфические особенности» этой «науки»?

Первая часть книги посвящена краткому очерку методологии общественных наук и трактует основные вопросы исторического материализма: базис и надстройка, производительные силы и классы, случайность и необходимость, общественный процесс и исторический

факт и т. д. И здесь ничего специфического, «обществоведческого» нет. В любом курсе исторического материализма мы найдем более или менее исчерпанными все эти вопросы. Так что и с этой стороны никакой особой науки у автора не получилось, а вышла изрядная путаница и смешение понятий. Основной грех всех построений автора заключается в том, что школьное обществоведение, как предмет преподавания, он во что бы то ни стало хочет превратить в какую-то особую науку, со специфическими методами и об'ектом изучения. Конечно, у автора ничего не получается, ибо никакой особой марксистской науки, кроме социологии, нет и быть не может. Ибо нельзя же всерьез считать школьное обществоведение — комплекс обществоведческих дисциплин (начатки политэкономии, истории, экономгеографии и политграмоты)—за особую науку. Лучшим доказательством того положения, что обществоведение является комплексом обществоведческих дисциплин, построенным под углом зрения педагогической целесообразности, служит то, что в программах наших вузов, где студентов вводят в научную лабораторию мысли, вооружают научными методами самостоятельной работы, такого комплекса не существует. Он распадается на свои составные части. Этого никак не хочет понять А. Жилинская. Вот почему, когда она в своей книге переходит к рассмотрению вопроса «об отношении исторической диалектики к методике обществоведения», у нее получается сплошная неразбериха. Совершенно бесспорное для марксиста положение о том, что марксистская социология, т. е. исторический материализм является методом для более конкретной науки—истории, А. Жилинская запутывает так, что незаметно для себя попадает в об'ятия суб'ективизма и идеализма. Что должно означать такое утверждение автора: «Обществоведение само по себе не обосновывает закономерности общественно-исторического процесса, а пользуется им (кем пользуется? процессом, закономерностью или чем-либо?—*А. С.*), как методом, полученным из более общей науки, из теории исторической диалектики» (стр. 45). Продолжая это утверждение, автор пишет: «между теорией исторической диалектики и методикой обществоведения, таким образом, намечается определенная связь,—историческая диалектика, как наука более общая и абстрактная, должна дать методике обществоведения руководящие указания». Это положение имеет смысл только в том случае, если под «обществоведением» понимать какую-то конкретную науку. Но ведь А. Жилинская пыталась, как мы видели выше, под обществоведением протащить какую-то новую «науку». Стоит только прочитать следующий абзац на той же 45 стр. книги, чтобы убедиться, что у автора здесь идет речь об истории, как науке. Но при чем же тут тогда «методика обществоведения»? В конец запутался наш автор.

Но, посмотрим, как раз'ясняет бесспорное положение об истмате и истории наш автор. «Историческая диалектика» «не изучает исторических фактов, но она дает метод для изучения исторических фактов. Она принципиально (!) предшествует (!), (что это за «принципиальное предшествие»,— ведает один аллах да автор книги.—*А. С.*) изучению исторических фактов» стр. 45). Или далее: «принципы получаются не из фактов, а предшествуют изучению фактов, они привносятся в изучение фактов». Откуда «привносятся»? - спросим мы автора. Что они высасываются из пальца, что ли? Знаменитое положение Энгельса: «принципы являются не исходным пунктом исследования, но его конечным результатом, они не применяются к природе и истории человечества, но абстрагируются из той и из другой; не природа и мир человеческий движутся по принципам, но принципы справедливы лишь постольку, поскольку согласуются с природой и историей (Анти-Дюринг, I отдел, 12 глава)—наш автор «углубил» до того, что впал в чистейший идеализм.

Смеем уверить А. Жилинскую: совсем неоправданный труд!

Возьмем другой пример из параграфа «Принципы исторической диалектики в методике обществоведения». На стр. 48 автор пишет: «Общая наука о законах развития общества выдвигает и анализирует несколько основных, коренных положений, которые мы можем формулировать применительно к задачам изучения и преподавания обществоведения следующим образом: 1) общественный процесс надо понимать, как закономерный процесс, 2) общественные явления нужно рассматривать в причинно-следственной связи, 3) общественные явления находятся в состоянии непрерывного изменения..., 4) на всем протяжении известных нам исторических периодов в жизни человеческих обществ мы должны исходить из допущения, что в основном физическая природа человека остается неизменной». Прежде всего заметим, что истмат устанавливает «коренные положения», независимо от «задач изучения и преподавания обществоведения». Эти «коренные положения» имеют значение для всякой науки, изучающей общественные явления, и они достаточно популярно развиты в таких распространенных курсах, как напр. «Теория исторического материализма» Н. И. Буха-

рина. Так что нет необходимости в книге, которая ставит перед собою задачу «дальнейшей спецификации положений истмата применительно к особенностям материала, охватывающего в равной мере факты современности и истории» (предисл. стр. VI) вновь и вновь, к тому же не совсем удачно, возвращаться к тем же вопросам. Но, если уж автор считает необходимым этим делом заниматься, тогда почему он ограничивается формулировкой и обоснованием только этих положений, которые, конечно, не исчерпывают основных положений истмата? Если откинуть четвертое положение — о неизменности физической природы человека,—положение, страдающее метафизичностью и по существу дела не необходимое, то эти основные положения сводятся к закономерности, причинности и развитию. Это, конечно, понимает и сам автор и в следующем параграфе «Основные методологические понятия обществоведения» подвергает анализу такие понятия, как «общественный процесс», «общественное отношение», «производственное отношение» и т. п. Мы отказываемся понимать, почему последнее относится к «основным методологическим понятиям обществоведения», а первые три положения к «исторической диалектике», зачем вообще понадобилось автору такое деление на «методологические понятия» и «принципы исторической диалектики». В тех методологических понятиях, которыми оперирует А. Жилинская, ведь нет ничего специфического, ибо с ними имеет дело всякая общественная наука.

Но посмотрим, как «трактует» А. Жилинская основные принципы исторической диалектики. Остановимся только на одном примере. Первое: детерминизм и «случайность» в общественных явлениях. Изложив в 10—15 строчках чрезвычайно бегло и неполно взгляд «большинства ученых, как марксистов, так и не марксистов» (стр. 50), в том числе сославшись на Спинозу, Плеханова и Бухарина, автор пишет: «Однако, мы увидим далее, что эти взгляды не вполне соответствуют ходу мыслей Маркса; они очень упрощают марксистское понимание случайности» (стр. 51). Сказано это очень тонко, хотя и не совсем внятно: означает ли это неправильное истолкование положений Маркса и Энгельса, или это только «не соответствует ходу мыслей». Автор при этом ссылается на две цитаты из Плеханова и Бухарина, которые утверждают: «случайность есть нечто относительное; она является лишь в точке пересечения необходимых процессов» и «общество в своем развитии так же подчинено закономерности, как и все на свете». В подтверждение своей мысли автор приводит цитату из письма Маркса к Кугельману от 17/IV 1876 г. Но разве эта цитата противоречит тому, что утверждает, вслед за Энгельсом, Плеханов и Бухарин? Нисколько! Маркс, утверждая, что «история имела бы мистический характер, если бы случайности не играли никакой роли», имеет в виду, прежде всего, механическое понимание истории, ее предопределенности, которая принимает в этом смысле мистический характер. Автор воюет с ветряными мельницами, когда приписывает Г. В. Плеханову, а вслед за ним и Н. И. Бухарину взгляд на общественный процесс как на механический и фаталистический.

Наша рецензия и без того затянулась, хотя мы не исчерпали и сотой доли всех премудростей настоящего «труда». Но мы не можем пройти мимо еще двух утверждений автора: о содержании обществоведения и о современности и истории.

На стр. 77 А. Жилинская выдвигает лозунг «Не люди и вещи, а отношения между людьми,—вот руководящий лозунг обществоведения», а немного ранее—(стр. 76) провозглашает: «нужно подготовить учащихся обращать внимание и фиксировать в своем создании не образы людей и даже не формы их производственной деятельности, а главным образом, те общественные отношения, которые создаются между людьми в процессе производства». Если даже стать на точку зрения А. Жилинской в трактовке обществоведения, как «истории и современности», то схоластикой, а не требованиями марксистской методологии веет от этого лозунга. Автор предлагает обществоведу-педагогу изучать с детьми и подростками производственные отношения общества, отвлекаясь как от формы производственной деятельности, так и от людей. Если, вообще, говоря, такая абстракция возможна, то только на высоком уровне такой теоретической науки, как политическая экономия. Но ведь обществоведение не политэкономия и детскому сознанию чужды абстракции такой высоты. А. Жилинская воюет с педагогами, «для которых все еще остается важным усвоение учащимися ряда исторических событий из политической или социальной жизни, хронологических дат, имен, действующих лиц и прочее» (стр. 75). Но спросим автора: разве социальный факт исчерпывается производственными отношениями, а «отношения между людьми»—«общественными отношениями, которые создаются между людьми в процессе производства»? В этом нет ни грана марксизма. Ибо марксизм в истории и современности не только не изгоняет политическую историю и действующих лиц, но ставит их в центре научного анализа. «Всякая классовая борьба есть борьба политическая».

Наконец, последний перл. «Если подавляющее большинство методистов думало и продолжает думать, что история научает нас понимать современность, то марксистская точка зрения может быть формулирована прямо противоположным образом—изучение современности помогает нам понять историческое прошлое» (стр. 84). И хотя А. Жилинская тут же приглашает читателя, для того, чтобы «исчезла парадоксальность этого положения» (стр. 85), сравнить научную позицию историка с «положением зоолога, желающего понять строение и действие допотопных животных», мы не последуем за ней по той простой причине, что нельзя уподоблять исторический социальный факт—допотопному животному. Наш автор полагает, что «возражения против этого положения основываются на капитальном недоразумении» (стр. 87), мы же склонны думать, что выдвинутый им тезис—«капитальное недоразумение» с точки зрения марксизма. Ибо только «недоразумением» можно об'яснить то обстоятельство, что наш автор зачисляет М. Н. Покровского в сторонники провозглашенного А. Жилинской тезиса. Точка зрения М. Н. Покровского, развитая им в ряде работ и в частности в сборнике статей «Марксизм и особенности исторического развития России» (откуда приводит А. Жилинская небольшую цитату), имеет отношение совсем к другому вопросу—к историческим теориям, к категориям идеологических надстроек, к историографии, а вовсе не к истории, как марксистской науке. М. Н. Покровский в ряде своих работ говорит как раз обратное тому, что утверждает наш автор. «Прошлое мы изучаем именно для того, чтобы понять то, что происходит теперь» («Русск. истор. в своем сжатом очерке»); «в системе общего коммунистического образования факты прошлого могут иметь значение лишь как материал для настоящего» и т. д. Мы могли бы без конца удлинить перечень цитат из работ М. Н. Покровского, но хватит и этого. Сошлемся только на Маркса, который в «Немецкой идеологии» писал: «Мы знаем одну единственную науку—науку истории».

Мы вскрыли только одну сторону «капитального недоразумения». Но есть здесь и другая сторона, которая заключается в том, что А. Жилинская спутала методический прием школьного обучения—от современности к прошлому (с которым тоже позволительно спорить!) с научным приемом работы, превратив методический вопрос в методологический.

На этом мы считаем необходимым закончить нашу рецензию. Мы совсем не касались специальной части книги—методической. В этом нет необходимости в данном случае. Некоторые вопросы, рассмотренные нами из теоретической части, дают представление и обо всем «труде».

А. Слуцкий

Х Р О Н И К А

ШЕСТИДЕСЯТИЛЕТИЕ М. Н. ПОКРОВСКОГО.

(Газетный обзор).

Юбилей М. Н. Покровского был не только простым чествованием крупнейшего историка-марксиста. Партийная и советская общественность сразу же ухватила характерную черту этого юбилея: огромную роль чествования М. Н. Покровского для дела пропаганды марксизма, марксо-ленинского научного метода и марксистской историографии. Особенно большое значение в юбилее получила поэтому широчайшая газетная кампания.

Значение многоликой советской газеты в чествовании Михаила Николаевича не исчерпывается опубликованием различных статей и приветствий. Газета явилась также зеркалом советской общественности в дни юбилея, как богатый источник информации юбилейных торжеств на местах. А количество посвященных М. Н. торжественных заседаний, организованных во многих городах по инициативе местной общественности, было достаточно велико.

Итак, мы констатируем, что первое место в настоящем обзоре должно по праву принадлежать газетным столбцам. Только по ним можно теперь уяснить себе колоссальный размах чествования Мих. Ник., гигантское значение этого чествования для всех кругов советской общественности и подвести даже некоторые его практические итоги. Но если газеты в этом отношении незаменимы, то зато всю ответственность исключительно важной, теоретической стороны чествования с достоинством вынесла на себе наша многосторонняя журнальная литература и «толстые журналы» в первую очередь, обогатившие нас в совокупности большим и серьезным научным вкладом в мизерную до того литературу о М. Н. Покровском. Статьи, помещенные в этих журналах (а также в двух крупнейших газетах — «Правде» и «Известиях») и отчасти даже использованные, как увидим ниже, в провинциальной печати, исчерпывают с возможной полнотой важнейшие стороны деятельности Мих. Ник. как историка, большевика и организатора во всех областях нашего научно-педагогического строительства.

Напечатанные в дни юбилея статьи в самых разнообразных органах дают в общем и целом достаточно прочный теоретический костяк давно уж назревшего изучения деятельности М. Н. в широком смысле этого слова. Фундамент этого изучения ныне *у ж е з а л о ж е н*, и в этом заключается одна из непреходящих сторон прошедшего юбилея Мих. Ник.

Прежде чем приступить к наиболее актуальному для этого обзора анализу материалов нашей периодической печати в юбилейные дни, необходимо остановиться в кратких чертах на истории самого происхождения чествования М. Н. Покровского. Идея превращения шестидесятилетия М. Н. в праздничное событие для молодой марксистской науки зародилась в Обществе Историков-Марксистов в июне месяце.

В первых числах июня состоялось годичное собрание Общества, на котором будущий юбиляр сделал отчетный доклад Совета Общества. На том же собрании Общество постановило, «несмотря на решительные возражения его председателя М. Н. Покровского, принять активное участие по ознаменованию 60-летия М. Н. Покровского, основателя Общества и крупнейшего представителя современной марксистской мысли»[1]. 7 июня первое заседание инициативной комиссии по ознаменованию шестидесятилетия М. Н. в составе: т.т. Горина, Ванага, Максакова, Минца и Фридлянда приняло решение о необходимости реорганизации комиссии в Комитет при Коммунистической Академии. Тогда же и был намечен предварительный план кампании, включающий издание сборника, посвященного разбору трудов М. Н. и его места в исторической науке, помещение ряда статей о том же в исторических журналах, подготовку издания полного собрания его сочинений, рассчитанного на пять лет и т. д.

Чествование Михаила Николаевича предполагалось вначале провести в первой половине октября, ограничившись в день его рождения (30 августа) помещением в газетах приветствия и извещения Комитета о перенесении чествования на октябрь. Вскоре Комитет по ознаменованию 60-летия М. Н. Покровского был окончательно сконструирован президиумом Ком. Академии в составе тт. Васютинского, Ванага,

[1] «Правда» от 20 июня, № 141.

Горина, Криницкого, Максимовского, Максакова, Минца, Савельева и Фридлянда. Кроме того в состав Комитета вошли представители Истпарта ЦК ВКП(б), Агитпропов ЦК и МК, Института Ленина, Института Маркса и Энгельса, Центрархива, РАНИОН'а и Института Истории, Института Красной Профессуры и его Исторического Отделения, Наркомпроса и Главнауки, I МГУ, Университета им. Свердлова, Курсов Марксизма при Ком. Академии, Рабфака им. Покровского, а также представителей редакций многих из крупнейших журналов, Музея Революции, Цекпроса и ЦБ Секции научных работников. Из иногородних научных организаций были приглашены представители Ин-та Белорусской культуры и О-ва историков-Марксистов Белоруссии, Ин-та марксизма на Украине, Ин-та марксизма в Ленинграде и Ленинградского Коммунистического Университета. На пленарном заседании комитета от 29 сентября был выделен президиум Комитета в составе Савельева, Горина и Венгрова, на который и была возложена общая работа по проведению кампании. Кампанию решено было развернуть не только по крупнейшим научно-исследовательским учреждениям, но и по учебным заведениям, обществоведческим вузам, комвузам и совпартшколам и т. д.

14 августа в центральных московских газетах были опубликованы сообщения комитета об исполняющемся 30 августа шестидесятилетии М. Н. и перенесении празднования его юбилея, ввиду от'езда М. Н. за границу, на 25 октября. В тот же день было решено устроить торжественное заседание Коммунистической Академии и провести как в Москве, так и в других городах СССР ряд заседаний представителей научных учреждений с докладами о различных сторонах деятельности М. Н. Покровского.

30 августа, в день рождения Михаила Николаевича ему был послан ряд приветственных телеграмм от различных организаций. Редакция ц. о. партии—«Правда», обращаясь в этот день с приветствием к М. Н. Покровскому, писала: «В вашем лице, редакция приветствует одного из старых большевиков, одного из тех историков-марксистов, для которых на заре первой революции 1905 года, по вашему выражению, «классовая борьба из теории стала жизненным фактом». Пройденный вами путь партийца выдающегося историка с мировым именем и пролетарского общественника связывает вас теснейшими узами со всем широким рабочим и советским активом. Пусть эта связь растет и крепнет, пусть ваши острые сарказмы попрежнему поражают шарлатанов исторической мысли и желтых идеологов империализма. Желаем вам еще много лет оставаться бодрым на вашем славном посту» [1].

Уже на заседании комитета, состоявшемся в начале октября, выявилось широкое вовлечение в кампанию чествования Михаила Николаевича наших научных кадров и марксистского молодняка, для которого самый характер кампании имел огромное воспитательное значение.

Полного представления о размерах чествования М. Н. Покровского не дает, конечно, даже и это, богатое информацией, совещание юбилейного комитета—она (информация) ограничивается все же только двумя столицами, в то время как это чествование вылилось далеко за пределы не только советских столиц, но и вообще больших городов, приняв неизбежно всесоюзный характер.

В день 25 октября, превращенный в официальную дату чествования Мих. Ник., вся центральная и основная масса провинциальной печати посвятила ему весьма большое количество различного литературного материала. В этот же день пресса опубликовала значительную часть различных приветствий Мих. Ник., огромное большинство которых не было, однако, возможности напечатать.

Первое место среди многочисленных наших газет, дружно откликнувшихся на чествование Мих. Ник. и принявших самое деятельное участие в юбилейной кампании, принадлежит, разумеется, двум основным органам—«Правде» и «Известиям». Почти две большие страницы «Правды», целиком отведенные юбиляру, открываются замечательно яркой и образной статьей Н. Бухарина—«Профессор с пикой». Мастерски владеющий пером журналиста ее высокоталантливый автор не собирался «давать полной оценки деятельности милого Михаила Николаевича. Этого и нельзя сделать, если говорить по правде. Ведь Михаил Николаевич—благодарение господу!—еще жив, цел, невредим, воюет, где ему воевать надлежит и обнаруживает огромную боеспособность. Посему рано еще подводить так называемые «жизненные итоги»: это, мне кажется, было бы недооценкой перспектив его дальнейшей работы. А кроме того и сам Михаил Николаевич, пожалуй, посмотрел бы на это дело косо и, наверное, как-нибудь с'ехидничал: он на это большой мастер. Сказать ему: «наш маститый юбиляр»—значит, ей-ей, нарваться на неприятность: Михаил Николаевич—очень кусачий «противник»! [2]. Но наиболее полная и меткая характеристика если не деятельности, то самой личности М. Н. была набросана несколь-

[1]. «Правда» от 30 августа, № 201.

[2] «Правда» от 25 октября, № 249.

кими сочными мазками именно тов. Бухариным тут же, под вышеприведенными строками.

Тов. Покровский («Домов») — одна из самых ярких и оригинальных фигур в нашей партии. Крупнейший наш ученый и боевой партиец. Профессор — и какой-то страстный любитель повстанческого дела. Большой эрудит—и блестящий публицист. Научный работник — и администратор, пропадающий «mit Haut und Haar» на бесчисленных заседаниях бесчисленных комиссий. Кропотливый труженик—и в то же время человек, пригоршнями бросающий сверкающие парадоксы самых смелых обобщений. Как его ни складывай, ни перегибай, ни мни,—ни в какой футляр его не запрячешь, штампа из него не сделаешь, под номер его не подведешь. И оттого-то среди циркулярно-бумажного хлама фигура нашего ученого историка излучает волны прекрасной умственной свежести, бодрости и непрерывного революционного броженья».

«Ведя методологические сражения,— продолжает Н. И. Бухарин—(ср., напр., борьбу Покровского с риккертианством или последние бои с теорией Допша и Макса Вебера в связи с дискуссией вокруг книги проф. Д. М. Петрушевского), М. Н. Покровский центром своей работы имеет работу над новым конкретным материалом. Этот конкретный материал, живую ткань исторического становления, Покровский мастерски обрабатывает историко-материалистическим методом. Полная противоположность российским и заграничным Дундукам, он почти каждую свою работу превращает в художественное произведение, читать которое доставляет истинное наслаждение. Умелое использование материала, острая наблюдательность, образность языка, меткость характеристик, живость рисунка, узоры которого всегда покоятся на широком фоне смелых исторических обобщений, делают из произведений Мих. Ник-ча шедевры исторического изложения. Было бы смешно отрицать наличие ошибок в иногда рискованных построениях Покровского. Но даже тогда, когда внутренне с ним не соглашаешься, все же он очаровывает свежестью и оригинальностью своей мысли, и самые его ошибки бывают так оригинальны и так поучительны, что поневоле вспоминаешь поговорку: «Не ошибается тот, кто ничего не делает».

Следующая статья «Правды» в номере от 25/X, Д. Кина—«Историк пролетарской революции» дает основную наметку для более полного теоретического анализа [1] диалектического понимания М. Н. Покровским существа и особенностей пролетарской революции и его исторической интерпретации ленинской схемы революции. Для М. Н. «пролетарская революция является о т п р а в н ы м п у н к т о м, основным стержнем в изучении истории России».

В третьей статье, А. Сидорова—«М. Н. Покровский и русская история»,—отмечены важнейшие этапы борьбы М. Н. с буржуазной историографией, и основные исторические работы самого М. Н., противопоставившего эклектизму школы Ключевского схему марксистского об'яснения русского исторического процесса. «Эта схема, —пишет А. Сидоров,—поражает своей новизной и оригинальностью, так как т. Покровский впервые показал действительные факторы русского исторического развития». В схеме М. Н. Покровского «впервые капитализм и класовая борьба были показаны в их действительном виде».

В последней статье Н. Рубинштейна получила подробное и яркое освещение научная деятельность Мих. Ник. как историка внешней политики [1]. Автор.

Нельзя не согласиться с автором в том, что «работы М. Н. по истории внешней политики и в особенности по истории империалистской войны помогают нам ориентироваться во внешней политике сегодняшнего дня».

«Известия», уделившие шестидесятилетию М. Н. почти столь же много газетных столбцов, ознаменовали его юбилей статьями А. Луначарского, В. Полонского, Е. Кривошеиной, В. Фриче и А. Шестакова. В красочной статье «Юбиляр» пером А. Луначарского очень живо набросан портрет М. Н. как выдающегося просветителя и гуманиста наших времен, являющегося «высоким типом марксистского коммунистического интеллигента» [2].

А. В. Луначарский отмечает колоссальную организаторскую работу М. Н. «по

[1] Более обстоятельная статья Д. Кина на эту же тему напечатана в юбилейном, IX, томе журнала.

[1] «Историк внешней политики». Более детально Н. Рубинштейн разработал эту тему в статье напечатанной в юбилейной книжке журнала, констатирует прежде всего, что «марксистскую историю внешне-политических отношений М. Н. пришлось строить почти заново: буржуазная историческая наука не создала ничего, что могло бы явиться опорным пунктом для марксиста. Для буржуазных историков внешняя политика России XVI—XIX вв. была, во-первых внешне йполитикой Русского г о с у д а р с т в а, во-вторых, политикой о б о р о н и т е л ь н о й. М. Н. разрушил это представление, доказав, что внешняя политика самодержавия на протяжении столетий была продиктована интересами торгового, а впоследствии и промышленного капитализма».

[2] «Известия» от 25/X, № 249.

завоеванию и преображению высшей школы», созданию ГУС'а, Центрархива, Комакадемии и т. д. и т. д., сочетаемую с бесподобной его плодовитостью ученого публициста—«из-под пера Михаила Николаевича волшебным образом расцветают, словно цветы художественного-научного порядка, одна блестящая статья за другой.

В. Полонский[1] сделал интересную попытку рассмотреть исторические произведения Мих. Ник с точки зрения богатого эрудицией литературного критика. Покровский, как художник слова, как большой мастер литературной формы, крупнейший стилист наших дней не только на «историческом», но и беллетристическом фоне — такой Покровский нам еще совершенно не был показан до этой статьи.

В. Полонский правильно замечает, что уместно поставить вопрос: какие же качества делают историческое произведение увлекательным, блестящим, талантливым, удобочитаемым и т. п. Это не пустой вопрос, если вспомнить, что ставим его мы в эпоху, когда подлинное и глубокое научное творчество должно стремиться ,быть «доступным широким массам».

Весьма обстоятельная статья Е. Кривошеиной «Воинствующий историк-большевик» представляет подробное и достаточно связное изложение научной и публицистической деятельности Мих. Ник. на всем ее протяжении до наших дней и в основном совпадает с другими, преследующими ту же цель, статьями, напечатанными в разных газетах. Автор умеет выделить основное в исторических трудах юбиляра, подчеркнуть его всегда революционное, ортодоксально-марксистское, большевистское значение.

В. Фриче в статье «Творец пролетарской культуры» делится очень интересными воспоминаниями о Мих. Ник. в различные периоды его деятельности, начиная с семинарской библиотеки Московского Университета, заведывание которой М. Н. было, так сказать, первой вехой большого пути тогда еще молодого студента. Колоссальная организаторская — последних лет — работа Мих. Ник. по созданию новых научно-педагогических учреждений получает в этой статье тоже довольно подробное освещение.

Статья А. Шестакова[2], заключающая юбилейный номер «Известий», ценна своим толкованием пройденных юбиляром этапов марксистской исторической мысли, начиная с периода «демократических иллюзий и экономического материализма»[1] до нашего времени. Автор высказывает неоспоримое положение, когда пишет, что «пройденный М. Н. путь в области истории — это, в основном, путь развития всей нашей марксистской исторической мысли. Он, как никто другой, является живым олицетворением этого пути, и всякий, кто поставит себе задачу изучения вопроса, как овладел марксизм и большевизм русской историей, должен будет начать прежде всего с изучения работ М. Н. Покровского. М. Н., как правило, постоянно останавливается на методологических проблемах в историческом исследовании, ведя борьбу с «идеалистами» всех мастей и толков». Отсюда, конечно, следует, что «М. Н. Покровский не только применяет марксизм в исследовании исторических явлений, но и самый метод улучшает, уточняет» — и это бесспорное утверждение автора имеет сейчас, безусловно, самое актуальное значение.

В номере «Правды» от 26 октября напечатаны дополнительно еще две статьи П. Горина—«Воинствующий историк марксист» и С. Дубровского—«Аграрный вопрос в работах М. Н. Покровского». В первой из них автор в основном примыкая к своей большой статье, помещенной за две недели до того в «Известиях» (от 12/X, «М. Н. Покровский»), написанной к выборам в Академию наук[2], особенно отмечает одну характерную черту в мировоззрении М. Н.—большевистскую нетерпимость. М. Н. Покровский не только разрушил предрассудки буржуазной историографии, но и активно боролся против извращений и опошлений марксизма, против всякого рода ревизионистских попыток. В этой же статье т. Горин оттеняет и некоторые другие черты работы М. Н., напр., конкретность и насыщенность фактиче-

[1] «М. Н. Покровский как художник».

[2] «Пролетарский историк М. Н. Покровский». В «Историке-Марксисте» статья А. Шестакова охватывает значительно более широкий круг вопросов научного творчества Мих. Ник.

[1] До 1905 г. по выражению самого Мих. Ник. «Под Знаменем Марксизма», 1924, кн. 10—11.

[2] В ней, между прочим, подчеркнута автором «самокритическая» черта научного творчества Мих. Ник. «Конечно, М. Н. Покровский—признанный мировой ученый. Но от обычных буржуазных мировых ученых его отделяет одно обстоятельство: если обычно для буржуазного ученого его мировая слава—предел его ученых изысканий и боязнь «научной самокритики», то для М. Н. его мировая слава— это только стимул для дальнейшей научной работы. М. Н. Покровского не смущает подчас собственное же опровержение ранее развиваемых им положений. Новые материалы не пугают его делать новые выводы. Для историка-диалектика в этом, конечно, нет ничего предосудительного».

ским материалом его исторической схемы и т. д. С. Дубровский, отмечая с самого же начала, что «аграрный вопрос занимает одно из центральных мест в работах М. Н. Покровского», констатирует революционизирующее для русской истории значение постановки и разрешения Мих. Ник. вопросов крестьянской революции на протяжении четырех столетий (с XVII по XX включительно).

Переходя к остальным московским газетам в юбилейные дни, мы вынуждены будем ограничиться только простым перечислением наиболее яркого и оригинального в них материала—статейного, точнее статейно-библиографического и информационно-отчетного, дающего в различных разрезах содержание торжественного об'единенного заседания (коллегии Наркомпроса, Ком. Академии, научных учреждений и рабочих организаций), происходившего 25/X в Большом зале Московской Госуд. Консерватории. В тот же день в «Эконом. Жизни», «Торг.-Пром. Газ.», «Раб. Газ.», «Труде» и «Бедноте» были напечатаны редакционные статьи о М. Н. Покровском, в «Рабочей Москве»—статья Н. Милютиной, в «Комс. Правде»—статьи Л. Мамета и Е. Кривошеиной, в «Нашей Газете»—В. Бонч-Бруевича и Е. Игнатова и т. д., и т. д. Накануне, 24/X, в некоторых газетах появились заметки о подготовке к чествованию Мих. Ник. в Москве, Ленинграде и др. городах, а в «Веч. Москве» были уже напечатаны и юбилейные статьи [1]. И, наконец, во всех без исключения московских и крупнейших провинциальных газетах были опубликованы в последующие (после 25/X) дни отчеты о торжественных заседаниях в честь М. Н., состоявшихся помимо Москвы в Ленинграде, Харькове, Семипалатинске, Тифлисе, Баку, Ростове, н/Д., Воронеже, Казани, Томске, Омске и многих других городах Союза, сведениями о которых мы к сожалению не располагаем.

Среди целого моря всяких, весьма многочисленных приветствий Михаилу Николаевичу в дни празднования его шестидесятилетия—от различных организации и персональных—естественно выделяются, прежде всего, обращения к нему крупнейших партийных организаций и органов власти—Советов. Приветствие Московского Комитета Партии, с которого мы начнем, лучше всего показывает, как Мих. Ник., «старейшему члену Московской организации», дорого было революционное дело рабочего класса, усыновившего М. Н. еще с давних пор. «Московская партийная организации и весь московский пролетариат с гордостью отмечают, что ваше имя, начиная с 900-х гг., неразрывно связано с революционной борьбой рабочего класса, с его поражениями и победами. Ваше имя, дорогой Михаил Николаевич, неразрывно связано с победой Великого Октября. Вместе с нашей партией и со всем рабочим классом вы прошли суровую школу борьбы, ни на минуту не прерывая кипучей революционной деятельности за победу пролетарской революции, являя в своем лице блестящее сочетание революционера и крупнейшего ученого. От имени московской партийной организации МК ВКП(б) приветствует сегодня в вашем лице, Михаил Николаевич, пламенного революционера - большевика - ленинца, марксистского ученого-социолога и историка, так много давшего марксистской науке, организатора народного просвещения при диктатуре пролетариата. Да здравствует старый большевик, Михаил Николаевич Покровский!» В приветствии Президиума Московского Совета та же мысль находит полное свое выражение в нижеследующих строках: «Вместе с московским пролетариатом вы прошли суровую школу борьбы. Вместе с ним вы терпели поражения и вместе с ним вы одержали победу в октябрьские дни. В эти дни вы прочно закрепили связь с московским пролетариатом, который спустя две недели после Октябрьской революции поставил вас во главе Московского Совета, избрав вас его первым председателем. Под вашим руководством Московский Совет взял власть в свои руки, и при вашем участии начали закладываться в Москве первые камни здания пролетарской диктатуры. В день вашего юбилея Президиум Московского Совета не может не отметить и ваших огромных и неоценимых заслуг в области науки и народного просвещения, принесших не малую пользу рабочему классу. Десятки тысяч рабочих и работниц и их детей учатся на рабфаках, создателем которых вы явились. Только с их созданием лозунг «наука -трудящимся» претворен в жизнь, и двери высшей школы открылись для рабочих. Сотням тысяч взрослых рабочих и работниц, вооружающих себя знаниями, студентам, рабфаковцам и школьникам известны ваши работы. Они являются для них незаменимым пособием, на котором они учатся правильному пониманию классовой борьбы. И эта ваша широкая популярность как историка-марксиста, старого большевика и крупного общественного деятеля является лучшей наградой за многолетнюю трудную работу на благо рабочего класса. Пролетариат может гордиться такими представителями, как вы»...

[1] А. Луначарского и В. Бонч-Бруевича. Еще раньше, 21 октября, очерк о М. Н.—тоже т. Луначарского—был напечатан в иллюстр. журнале «Огонек».

Из московских приветствий Мих. Ник. от руководящих научных организаций остановимся только на приветствии Ком. Академии и Института Ленина. «В лице М. Н.,—говорится между прочим в первом из них,—Коммунистическая Академия вместе со всем Советским Союзом чествует не только одного из блестящих представителей революционно-марксистской теории, но и неутомимого организатора марксистской научной и просветительской работы, с именем которого связан ряд наших крупнейших достижений в этой области. Обширные знания Михаила Николаевича, его энергия, его глубокая вера в творческие силы революции неизменно обеспечивали успех тем начинаниям, которые развивались под его руководством или при его участии». Приветствие Института Ленина рисует довольно красочно революционные заслуги М. Н. в области русской исторической науки: «Обладая огромными научными познаниями, в совершенстве владея марксистским методом, будучи первоклассным писателем и блестящим стилистом, М. Н. Покровский возглавил целую полосу в развитии марксистской исторической мысли, признанным руководителем которой он является. Автор стройной революционно-марксистской схемы русского исторического развития, М. Н. Покровский нанес сокрушающий удар буржуазной историографии. Неоспоримы громадные заслуги Михаила Николаевича в области изучения истории революционного движения и большевизма. Не только своими собственными трудами, но и как вдохновитель, организатор и руководитель коллективной работы в области исторической науки и, в частности, истории русской революции, Михаил Николаевич в высокой степени содействовал ее крупнейшим научным завоеваниям. По книгам Михаила Николаевича Покровского учатся и будут учиться широкие партийные рабочие массы и учащаяся молодежь не только в СССР, но и за его пределами». Следует привести также выдержку из приветственной статьи в «Правде» А. Криницкого[1], выходящей за пределы простого приветствия и имеющей большое злободневно политическое значение. «Особенно нужен Михаил Николаевич нам теперь,—пишет тов. Криницкий,—в период напряженного социалистического роста СССР, культурной революции, огромной тяги масс к знаниям, неутолимого спроса, пред'являемого партией и пролетариатом на новые теоретические силы. Особенно теперь, революционер в науке и большевик, тов. М. Н. Покровский много может сделать и сделает в развертывающейся борьбе на идеологическом фронте, в условиях попыток ревизии марксизма и ленинизма и наличия правой опасности не только в области политики, но и теории».

[1] «Большевику и ученому», «Правда» от 25 октября.

Отметим еще, что в центральных газетах были напечатаны также приветствия Мих. Ник. от Президиума ВЦСПС, пленума ЦК ВЛКСМ, Института Карла Маркса и Энгельса, Закрайкома ВКП(б) и ЦК Компартии Грузии, а также председателя ЦИК Грузинской ССР и правительства Закавказской федерации, украинского правительства[1], Центрархива, тов. Ярославского, секции Международного права I МГУ, Рабфака им. Покровского, почти всех редакций газет и т. д., и т. д. В ленинградских газетах в эти же дни появилось приветствие происходившего 27,X пленума Ленинградского Совета и адрес Ленинградского Университета. «Для нас, работников университета,—говорится в адресе,—прежде всего ясно, что вы большого калибра ученый, в своей науке создавший эпоху. Мы все видим, что в настоящее время русская историческая наука течет в том русле, которое проложили вы своим строгим марксистским методом и огромным личным талантом. Новое поколение ученых идет бодро по вашим следам, старое, еще не утратившее способности откликаться на зов жизни, проверяет себя и часто сдает свои старые позиции, чтобы итти за вами. Так мы склонны расценивать, прежде всего, значение ваших общих курсов и думаем, что мы в данном случае далеки от каких бы то ни было преувеличений. XX век, век победы пролетариата принадлежит в исторической науке вам». В «Бакинском Рабочем» опубликовано было приветствие Совнаркома Азербайджана; в тифлисской «Заре Востока»—приветствия Закавк. Об-ва Историков-Марксистов, Гос. Ун-та Грузии и Зак. Комм. Ун-та, а также и Наркомпросов Грузии и Армении; в минской «Звезде»—Истпарта Белорусской компартии; в ив.-вознесенском «Рабочем Крае»—приветствия Губкома партии и местного Политехнического Института и т. д., и т. д. Мы позволим себе еще только остановиться в кратких чертах на двух приветствиях из вышеперечисленных—Закавказского Общества Историков-Марксистов (подписанного тов. Сефом) и Тифлисского Госуд. Университета—на первом, как имеющем помимо «юбилейного» также и большое политическое значение, на втором, как хорошем для приветствий образчике оценки научной

[1] Ответные телеграммы Мих. Ник. тт. Петровскому и Махарадзе были напечатаны в «Правде» (4 ноября) и «З. Вост.» (27 октября).

деятельности Михаила Николаевича. «Закавказское Общество Историков-Марксистов, недавно лишь сорганизовавшееся (как филиал Всесоюзного Общества) и приступающее к работе, своим основным лозунгом выдвигает необходимость борьбы с буржуазно-националистическими тенденциями в исторической науке советских республик Грузии, Азербайджана и Армении. Выдвигая этот основной лозунг в день празднования юбилея руководителя марксистской исторической науки Советского Союза, Закавказское Общество Историков-Марксистов считает, что лучшим откликом со стороны всех историков-марксистов республик Грузии, Армении и Азербайджана, лучшим откликом со стороны всей близкой нам и марксистски мыслящей учащейся молодежи будет плодотворная и напряженная работа по разработке марксистско-исторической схемы развития республик, входящих в состав ЗСФСР, напряженнейшая борьба с идеологами националистических тенденций в исторической науке, стремящимися реставрировать муссаватско-дашнакско-меньшевистскую идеологию под прикрытием нейтральной надклассовой истории. Закавказское Общество Историков-Марксистов глубоко убеждено, что этой работой и этой борьбой, как частью всей работы по руководству исторической наукой, будет руководить тов. Покровский».

В ярком приветствии Тифлисского Университета читаем: «Октябрьская революция, расковав пролетарскую мысль, дала возможность и вашему таланту расцвести пышным цветом. Заново переработав весь материал по русской истории с точки зрения диалектического материализма, вы упростили до осязаемости сложнейшие научные вопросы, приблизили их к повседневной жизни и разрешили целый ряд проблем, казавшихся загадкой самым крупным историкам. Создав новую русскую историю, вы уточнили и заострили историческую мысль, дав яркие примеры применения в исторической работе новой марксистской методологии истории, разработав колоссальное количество сырого архивного материала и всем этим завоевав себе имя одного из крупнейших ученых мира».

В ответ на все многочисленные приветствия юбиляру, напечатанные в газетах и в еще большей мере посланные лично на его имя, Мих. Ник. написал всего несколько строк, в которых с присущей скромностью относит все адресованные ему приветствия на общий счет «историков-ленинцев», своих соратников и последователей: «Не имея никакой возможности индивидуально ответить всем, приславшим мне приветствия, прошу их коллективно принять от меня — и думаю, что могу это сказать от всех историков-ленинцев — горячий, сердечный привет за сочувствие к делу, которое мы отстаивали всю жизнь и будем отстаивать, пока будем живы» [1].

Даже самый беглый обзор статей о Мих. Ник., напечатанных в прессе Ленинграда, Поволжья, Севера, Урала и Сибири, Киргизии, Ц. Ч. О., Крыма, Сев. Кавказа и Закавказья, Украины и Белоруссии [2], показывает насколько полно и в общем довольно подробно было информировано «шестой державой» огромное население нашего Союза о личности юбиляра [3] и важнейших этапах его разносторонней деятельности.

Из статей в ленинградских газетах отметим замечательную по своей простоте статью Н. К. Крупской, вспоминающей с глубокой проникновенностью в прошлое работу Мих. Ник. как идейного руководителя ГУС'а, статью акад. Н. Марра, дающую оценку деятельности М. Н. в новом разрезе — культурнейшего «ученого-революционера», создавшего новый подход к нашим культурным ценностям, даже чисто музейным или археологическим, и организатора научно-библиотечного дела, С. Пионтковского, рисующего облик М. Н. — «бойца на фронте истории» и, наконец, С. Томсинского, посвященную тому же «историческому» портрету юбиляра советской общественности. В ц. о. закавказья — «Заре Востока» выделяются статьи Ф. Махарадзе и С. Сефа, обе показывающие во весь рост основоположника диалектики Маркса—Энгельса—Ленина в области истории и создателя школы молодых марксистов-историков, в харьковском «Коммунисте» — большая статья М. Яворского (на укр. яз.), а в ростовском «Молоте» — В. И. Невского, написанные на эту же основную тему, и т. д.

Нужно заметить, что в подавляющем большинстве остальные наши провинциальные газеты напечатали одинаковые статьи нескольких авторов, переданные из центра по телеграфу [4]. Но

[1] «Письмо в редакцию», напечатанное в «Правде» и «Известиях» от 31/X—28 г.

[2] Всего мы насчитали 68 названий различных газет, откликнувшихся в какой бы то ни было степени на юбилей Мих. Ник., но действительное их число несомненно больше.

[3] Более или менее подробные биографии Мих. Ник. (или статейки биографического характера) напечатали все, без исключения, газеты, даже самые «захолустные».

[4] ТАСС'ом. Наибольшее распространение получила статья А. Шестакова, напечатанная в архангельской, ярославской, казанской, вятской, тамбовской,

нельзя в то же время пройти мимо того интересного обстоятельства, что многие из провинциальных газет, не всегда даже губернского масштаба, поместили в той или иной мере оригинальные, посвященные М. Н., статьи, принадлежащие перу местных авторов. Так, например, в воронежской «Коммуне» была напечатана статья т. Фишкина [1], характеризующая большие заслуги М. Н. в области архивного дела, в «Красноярском Рабочем»—статья В. Базаева, освещающая выдающееся значение работ М. Н. Покровского для русской историографии, в ульяновской, тульской, владимирской, минской, великоустюжской и других газетах тоже появились в юбилейные дни небольшие, полубиографического характера статьи местных авторов.

25 октября в честь шестидесятилетия Михаила Николаевича и тридцатипятилетия его научной и революционной деятельности в Большом зале Московской Консерватории состоялось об'единенное торжественное заседание Коллегии Наркомпроса, Президиума Ком. Академии, научных, общественных и рабочих организаций, отчеты о котором опубликовали почти все московские [2] и крупнейшие провинциальные газеты. В тот же день в фойэ Консерватории была открыта организованная Музеем Революции совместно с Ком. Академией и Библиотекой им. Ленина юбилейная выставка, посвященная революционной, общественной и научной деятельности М. Н. Покровского, перенесенная впоследствии в Музей Революции. На выставке были очень полно представлены не только все исторические работы ученого и профессора, до последних томов «Историка-Марксиста» включительно, но и публицистические статьи революционера и большевика, начиная с пожелтевших от времени эмигрантских листков «Социал-Демократа» и кончая совсем еще свежими номерами «Правды». В чествовании юбиляра приняло горячее участие около двух тысяч человек, среди которых были многочисленные ученики Мих. Ник.—марксистский молодняк из Института Красной Профессуры, РАНИОН'а, рабфаков, его младшие товарищи по работе, представители старой большевистской гвардии, члены правительства, рабочие от станка, посланные для приветствия Мих. Ник. своими заводами, седые профессора-академики и даже пионеры.

Торжественное заседание от имени юбилейного Комитета открыл тов. Савельев, отметивший в своем кратком вступительном слове, что чествование М. Н. Покровского вылилось далеко за пределы его юбилея, значение которого в том, что он по существу является юбилеем марксистско - исторической мысли, возглавляемой юбиляром, юбилеем пролетарской интеллигенции, воспитанию которой он отдал так много сил. После избрания президиума, в который вошли целиком президиум Ком. Академии, Коллегия Наркомпроса и юбилейный Комитет, с общим докладом о деятельности юбиляра и общественном значении его созидательного творчества выступил А. В. Луначарский. Ниже мы приводим краткое содержание этого первого доклада [1].

«В основе прихода Мих. Ник., выходца из интеллигенции в ряды большевиков-марксистов лежит его огромная научная честность. Большие люди точнее всех отражают свою эпоху, и М. Н. сумел об'ективно отразить первые революционные толчки. Подымающийся русский пролетариат пленил Михаила Николаевича. Как носитель науки завтрашнего дня, он вынужден был защищать ее от целого «иконостаса» деятелей признанной буржуазией псевдонауки. Блестящий полемист и изумительный популяризатор, Мих. Ник. не сводил свою деятельность только к об'ективной научной работе. Она не расходилась с его практическим делом непосредственного участия в революционной борьбе пролетариата. Свою педагогическую деятельность М. Н. использовал для революционной пропаганды. Он неизменно держал связь с боевыми подпольными организациями нашей партии. Это соединение в нем теоретика-марксиста и борца привело его к высылке из России, а затем, после революции, выдвинуло на пост председателя Моссовета. Революционная работа М. Н. шла и идет под знаком борьбы и созидания. В деле народного просвещения и культурного строительства заслуги М. Н. неоценимы. По его инициативе и при его непосредственном руководстве проведена реформа выс-

---

бакинской, грозненской, севастопольской и др. газетах, среди которых есть даже газета г. Павлово, Нижегород. губ.; статья П. Горина—в сибирских газетах, Бийска и Златоуста; статья А. Луначарского—в самарской, майкопской и др. газетах; статья В. Бонч-Бруевича—в саратовской, курской, калужской газетах и т. д. и т. д.

[1] «М. Н. Покровский как ученый архивариус» в ном. от 25/X. В след. ном. воронеж. «Коммуны» напечатана статья тов. Кустова—«М. Н. Покровский как историк и революционер».

[2] До профсоюзных включительно. Достаточно указать на такие хотя бы газеты, как «Рабис», «Пищевик» или «О-во потребителей». Появились отчеты об этом заседании и в иностранной прессе.

[1] Изложенного по газетным отчетам в «Правде» и «Учительской газете».

шей школы. Рабфаки — предмет нашей гордости — являются подлинным детищем М. Н. Мало того, он не только нашел пути к пролетаризации высшей школы, но и явился инициатором и созидателем учреждения, готовящего профессоров из пролетариата—Института Красной Профессуры. Создатель и сотрудник многих журналов, блестящий публицист, М. Н. поражает совершенно исключительным размахом своей деятельности. Мы гордимся и благодарим историю за то, что она дала нам таких людей, как тов. Покровский. И вот почему мы относимся к 60-летнему юбилею Мих. Ник., как к празднику огромного общественного значения».

После доклада тов. Луначарского с большой приветственной речью, посвященной Мих. Ник. выступил т. Бубнов от имени ЦК ВКП(б). Мы текстуально приводим наиболее существенные места из напечатанной в газетах стенограммы этой речи[1] большого политического значения.

«25-летняя революционная деятельность М. Н. Покровского блещет исключительным, я бы сказал, выдающимся богатством содержания. В одной из своих статей, написанных в 1921 г., Ленин говорил о Покровском, как о человеке «с заданиями исключительного свойства», добавляя к этому, что М. Н. Покровский является обязательным советником и руководителем «по вопросам научным, по вопросам марксизма вообще». Вот эта черта, с моей точки зрения, в первую очередь и выдвинула тов. Покровского в первый ряд среди самых передовых и самых испытанных руководящих кадров старой ленинской гвардии. На протяжении многих лет М. Н. является человеком, который возглавляет два выдающихся научных учреждения нашей страны—это Коммунистическая Академия и Институт Красной Профессуры. Характерна для М. Н. одна черта, именно то, что он чрезвычайно настойчиво пользуется одной цитатой из постановлений XII партийного с'езда, в котором была впервые определена роль Коммунистической Академии как центра научно-марксистской мысли. Эта цитата, о которой я говорю, в основном своем содержании заключается в том, что там резко и определенно указывается на необходимость «организованного противодействия» влиянию буржуазной и ревизионистско-настроенной профессуры. Это качество М. Н. особенно ценно в нынешний период нашей огромной созидательной работы, когда в обстановке гигантского роста социализма в нашей стране и усиленного наступления на частно-капиталистические элементы в городе и в деревне, мы имеем картину того, как поднимает голову кулак, нэпман, бюрократ и реакционный профессор. Партия ведет жестокую борьбу против этой правой рати, ведя за собою громадные колонны передовых рабочих и крестьян. В связи с этим, мы в настоящее время выдвигаем лозунг — «Огонь направо», лозунг борьбы с правым уклоном в партии. Я не сомневаюсь, что в нашей когорте ученых-марксистов тов. Покровский будет первым, кто с особенной и исключительно сокрушительной силой будет проводить этот лозунг партии. М. Н. Покровский как-то говорил, что «очень нехорошо было бы, если бы теория следовала за фактами на расстоянии выстрела из дальнобойного орудия». Мы знаем, что в лице М. Н. мы имеем такого марксиста-теоретика, революционера-большевика и ученого, который стоит на уровне требований, пред'являемых строительством социализма в нашей стране. Марксистско-ленинская, большевистская наука, наука революционного рабочего класса, имея во главе себя такого выдающегося большевика и такого выдающегося марксиста-теоретика и ученого, как М. Н. Покровский, вне всякого сомнения сумеет справиться с теми гигантскими научно-исследовательскими задачами, которые выдвинуты перед ней нашей эпохой громадных задач, идущих по линии все большего и большего развертывания социалистического строительства. Дорогой Михаил Николаевич, позвольте мне от имени и по поручению Центрального комитета нашей партии передать вам горячее товарищеское приветствие и пожелать, чтобы вы прожили еще, скажем, шестьдесят лет на пользу партии и мировой революции. (Аплодисменты)».

После речи тов. Бубнова с пожеланиями Мих. Ник. плодотворной работы на фронтах социалистического строительства обратился от имени ЦИК и СНК СССР тов. Толоконцев, призывавший молодежь учесть жизненный опыт тов. Покровского. Выступивший затем С. Дубровский дал исчерпывающую характеристику юбиляра как воинствующего историка-материалиста и создателя марксистской исторической школы, который «не только «делал историю», но и помогал делать историков». Далее, Мих. Ник. приветствовали акад. Н. Марр от научных организаций Ленинграда, тов. Луппол—от ЦК Союза Рабпрос и др. После многочисленных приветствий выступил сам Михаил Николаевич. Его примечательная во всех отношениях речь, расцвеченная свойственным ему одному тонким юмором, была прослушана двух-

[1] «Теоретик ленинской школы», «Правда» и «Известия» от 27/X.

тысячной аудиторией с напряженным вниманием и интересом [1].

«Дорогие товарищи! Не стану скрывать, что положение мое весьма трудное. Я принципиальный противник всяких возрастных юбилеев. Ну, что особенного в том, что мне 60 лет? Баобабы, например, черепахи и крокодилы живут гораздо дольше (смех). Ведь шестидесятилетних у нас тысячи. Но я человек дисциплинированный, и раз «чествование» состоялось,— приходится считаться с волей данного собрания; к тому же я не мог отказать себе в лишней возможности общаться с массой. Мой юбилей не имеет никакого значения, но данное собрание может иметь известное значение: действительно, как-то нужно подвести итоги той революционной науке, последователем которой я являюсь, ибо нам предстоят новые большие бои, которые неизбежны и на фронте истории. Обостряющаяся классовая борьба отражается и в направлении исторической науки. Нам бросают вызов все буржуазные историки. В то же время немногие историки-марксисты Западной Европы группируются вокруг нас. В этой обстановке мы были бы изменниками, если бы не взяли на себя руководство борьбой и не открыли со всей ленинской непримиримостью огонь направо. И мы эту борьбу поведем. Пусть нас обвиняют в нетерпимости, в резкой критике,—вызов буржуазными историками нам брошен—и мы от этой борьбы не откажемся.

Напрасно приписывают мне необычайные заслуги,—сказал Мих. Ник. дальше.—Я был только рупором масс. Среди них я нащупывал волнующие вопросы. Как я стал марксистом? Элементарный материализм сообщила мне та мещанская среда, из которой я вышел. Первичный исторический материализм возник у меня от первого соприкосновения с массой. Этой первой массой были курсистки. Лет 35 назад, когда я еще не был марксистом, я был преподавателем на женских курсах и читал там историю. Первая моя лекция, состоявшая из обычной «идеологической болтовни», оставила во мне самом впечатление, что масса слушательниц ушла неудовлетворенной. К следующей лекции я уже постарался подготовиться иначе, подобрав возможно большее число фактов и постаравшись серьезнее истолковать их. Серьезный подход к историческим фактам уже сам по себе сделал меня историком-материалистом. Ибо только острым ножом учения Маркса и Энгельса можно вскрыть ход истории и показать ее будущее. В дальнейшем каждое соприкосновение с массами давало свое отражение в моей научной работе. Соприкосновение с рабочей массой сделало из меня настоящего историка-марксиста и революционера-ленинца. Знаменитый курс русской истории возник из лекций, читанных мною еще в 1906 году на пропагандистских курсах.

Обо мне говорят, что я непреклонный революционер. Увы, это не так, о чем приходится только пожалеть. Лично я всегда был только рупором рабочего класса. Рабочие сделали меня марксистом и ленинцем. В 1905 году мои убеждения вовлекли меня в революцию. Из борющихся я нащупал одну единственную революционную партию— большевиков и к ней пристал, а через нее соприкоснулся с тем настоящим массовым революционным движением, увидел ту настоящую классовую борьбу, о которой раньше знал лишь по наслышке. Горе моей старой жизни, что мне приходится мало соприкасаться с массами, но всякий раз, когда я делаю что-либо путное,—оно исходит от тех же масс. Мне приписывают создание рабфаков и Института Красной Профессуры. Но ведь мысль об организации этих учреждений родилась тоже в массах. Рабфаки были выдвинуты рабочими Замоскворечья в годы войны и революции. Да, верно, я подхватил эту мысль масс и провел ее в жизнь. И так во всей моей деятельности. Я пришел к массам, жил среди них и был их рупором. Так было и в «музыкальном» кружке 1905 года, так было и с рабфаками и с красной профессурой. А мой сжатый очерк «Русской истории» — ведь это лишь переработанные мои лекции свердловцам.

Самое радостное, что мы можем сегодня отметить,—это то, что пролетариат создал свою науку. Это свидетельствует о его росте, о его зрелости. Я еще не настоящий пролетарский историк, я лишь предтеча того, кто расскажет, как возник наш рабочий класс, как он рос, борясь с царизмом, как он взял власть и как строил социализм. Перед новыми молодыми историками-марксистами стоит эта неразрешенная пока гигантская задача— дать историю того, как развивался пролетариат, как он закалялся в борьбе и дошел до Октября. Того, кто даст эту историю, надо бы действительно чествовать. Но это будет, пожалуй, не индивидуальная работа, а скорее коллективное творчество. Индивидуальному творчеству в исторической науке приходит конец, и наступает период коллективного творчества. Одному человеку уже не под силу охватить огромные материалы, которыми вынужден

[1] Эта речь воспроизведена нами по газетным отчетам в «Правде», «Известиях» и «Комс. Правде», а также «Бедноте», «Экон. Жизни», «Раб. Москве» и газ. «Чит. и Пис.».

оперировать историк: 1905 год, 1917, историю Октября можно освещать только в коллективных трудах. Этим молодым «коллективным» историкам, я говорю здесь: умейте пользоваться марксизмом для освещения истории! Никогда не отрывайтесь от масс! Самое большое несчастье, какое может постигнуть человека,—это отрыв от масс. Держитесь четкой классовой ленинской линии в вашей революционной практике. Старайтесь вести научную работу коллективно. Настоящая история еще не написана она будет плодом коллективного труда. И еще одно мое маленькое завещание: борясь с буржуазной историей, не забывать, что у нее есть техника, которой нам надо овладеть. Не чурайтесь того хорошего, которое вы видите у противника. Будучи идеологически далеко впереди всех буржуазных историков, перенимайте их технику, вооружайтесь их техническим опытом. Ведь первые танки, которые я видел в Кремле, были французские танки, взятые нами под Одессой. А теперь давно уже мы стали строить и свои собственные танки. Давайте же эту историю с танками мы проделаем и в нашей исторической работе!» В конце речи Михаила Николаевича, так же, как и в начале ее, весь зал встает и устраивает юбиляру шумные, продолжительные овации.

После первого выступления Мих. Ник. снова—до поздней ночи—продолжались приветствия организаций и учреждений, на которые М. Н. в конце заседания ответил кратким заключительным словом. С приветствиями выступали представители Московского Совета (т. Лавров), Украинского правительства (товарищ Яворский), Общества Старых Большевиков (т. Морозов), Ком. Академии (т. Пашуканис), Всесоюзной Академии Наук (т. Ольденбург), рабочие делегации от Дукса, Трехгорной мануфактуры, представители ЦК ВЛКСМ, пионеров, пролетарского студенчества, московского учительства и т. д. Тов. Гориным от имени комитета было сообщено собранию, что количество присланных юбиляру приветствий и адресов настолько велико, что нет никакой возможности огласить на данном собрании даже список организаций, приветствующих Мих. Ник. Поэтому комитет передает юбиляру от лица приветствующих организаций общий привет.

Помимо об'единенного юбилейного заседания, посвященного шестидесятилетию Мих. Ник., его юбилей был отмечен в Москве также целым рядом торжественных заседаний в научных и общественных организациях, учебных заведениях и т. д. Такие заседания были организованы, например, Управлением Центрархива, выделившего даже специальную комиссию по проведению юбилея Мих. Ник., рабфаком им. Покровского, Институтом Народного Хозяйства им. Плеханова и т. д. Особо отметим торжественное заседание в Институте Красной Профессуры, состоявшееся 3 ноября 1928 г., и в РАНИОН'е (20 октября).

В Ленинграде чествование М. Н. Покровского представителями науки и ленинградского пролетариата было также об'единенное в Выборгском доме культуры (25/X). Посвященное шестидесятилетию Мих. Ник. торжественное собрание [1] открылось вступительным словом уполномоченного Наркомпроса тов. Позерна, сжато, но выпукло обрисовавшего основные моменты деятельности М. Н., как глубокого мыслителя на почве строго выдержанного марксизма и в то же время революционного практика, который еще в начале своей исследовательской работы, относившейся к периоду 1905 года, сумел сочетать все выдающиеся данные кабинетного историка с подпольной работой большевика. Один из учеников М. Н. Покровского тов. Томсинский, выступивший с докладом о нем, как историке, в весьма популярной форме изложил всю лживость старой русской историографии, пробавлявшейся побасенками о «благодетельной» роли в развитии русского исторического процесса царей и императоров. Докладчик привел ряд опровергнутых М. Н. псевдонаучных построений прежней казенно-исторической школы, вроде пресловутого «призвания варягов», когда лучшие силы профессуры не стеснялись, напр., сознательно искажать подлинный смысл таких крупных народных движений, как разинщина и пугачевщина. Ректор Ленинградского Университета т. Серебряков подчеркнул мысль о воспитательном значении рабочей среды, которая помогла М. Н. проявить свою личность на фоне действенного служения революционному коллективу рабочих масс. Проф. Осипов приветствовал деятельность М. Н. Покровского от лица ленинградской секции научных работников, помянув участие юбиляра в осуществлении забот В. И. Ленина о нуждах ученых в годы разрухи [2].

Из торжественных заседаний в других городах Союза следует остановиться подробно на чествовании Мих. Ник. в Тифлисе.

---

[1] Излагаем по «Красной Газете» (веч. вып.) от 26 X.

[2] Среди выступлений на заседании, упомянутых другими газетами, отметим выступление представителя научно-исследовательского Института Марксизма т. Зейделя, который «приветствовал Покровского, как любимого старшего товарища и руководителя кадров молодых марксистов-ученых».

От имени закавказской и грузинской юбилейной комиссии торжественное заседание открыл Ф. Махарадзе, имевший первое слово о юбиляре [1].

Тов. Миха Цхакая поделился с аудиторией своими воспоминаниями о личных встречах с М. Н., первая из которых произошла еще в 1907 году на Лондонском с'езде. Исключительная скромность и простота юбиляра в обращениях с товарищами восходит еще к этому раннему периоду деятельности Мих. Ник. Выступивший затем с обстоятельным докладом тов. Сиф охарактеризовал М. Н. как последовательного марксиста и создателя новой школы в русской истории. Тов. Мария Орахелашвили выступила с докладом о М. Н. как деятеле народного образования.

В Баку торжественное заседание научных и общественных организаций Азербайджана состоялось при большом стечении их представителей и вузовской молодежи в большом городском театре [2]. Заседание открыл т. Кулиев. «Значение Покровского,—сказал он,—как ученого—необычайно велико. Наши буржуазные и мелкобуржуазные интеллигенты говорили, что у Азербайджана есть какой-то свой, самобытный путь исторического развития. Покровский нам показал на примере истории России, что наша история Азербайджана есть частица всемирного исторического процесса, что путь нашей страны—это путь пролетарской революции». Приветствовавший юбиляра от имени Главнауки тов. Мишель обратился также и к присутствующей на собрании молодежи: «Вам, присутствующим здесь представителям рабочей молодежи, должен быть особенно дорог этот юбилей. Жизнь и работа М. Н. должны быть для вас прекрасным примером подлинного большевика, у которого пламенность революционера сочетается со спокойной выдержкой большого ученого. Вы должны особенно приветствовать этот юбилей еще и потому, что Покровский горячо боролся за образование рабочей молодежи». С небольшим, но весьма содержательным докладом о научном творчестве юбиляра выступил тов. Ратгаузер, после чего начались приветствия местных организаций.

В Воронеже 25 октября состоялось торжественное заседание секции научных работников с представителями партийных и советских организаций в Воронежском Гос. Ун-те [3]. Выступавшие ораторы всесторонне охарактеризовали деятельность М. Н. Покровского, как основоположника русской марксистской исторической науки, видного практика-революционера и выдающегося строителя советской трудовой школы. Были отмечены также труды Мих. Ник. по организации архивного дела в СССР.

Такое же заседание состоялось и в Ростове н/Дону (27/X), в Сев.-Кавк. Гос. Ун-те [1]. Собрание, на котором присутствовало много научных работников и почти все студенчество, заслушало доклад т. Соловьева, после чего послало юбиляру телеграмму следующего содержания: «Глубокоуважаемый М. Н.! Собрание научных работников и студентов С.-К.Г.У. приветствует вас в день вашего 60-летия, как боевого вождя марксистской исторической науки, организатора молодых научно-исследовательских сил, неутомимого руководителя просветительной политикой советской власти, идейного вдохновителя крупнейших советских научных учреждений. Собрание желает вам долгие годы дальнейшей плодотворной работы во всех направлениях вашей научно-педагогической и общественно-политической деятельности».

В Харькове и Казани Мих. Ник. был с большой теплотой чествуем в местных научных кругах. На об'единенном торжественном заседании харьковской секции научных работников с научно-исследовательскими кафедрами истории украинской и европейской культуры были заслушаны доклады о Мих. Ник. акад. Багалея, профессоров Семковского, Рохкина, Веретенникова и т. т. Рубача и Редина. На торжественном заседании Казанского Восточно-Педагогического Ин-та выступали профессора-историки, останавливавшиеся подробно на огромном значении научно-политической деятельности М. Н. Юбиляру был послан привет и коллективный адрес. Торжественные заседания в ознаменование 60-летия М. Н. состоялись также по всей почти Сибири—в Омске, Семипалатинске, Томске [2] и многих других городах Союза.

Такова в самых общих чертах внушительная картина чествования Михаила Николаевича Покровского в дни его шестидесятилетнего юбилея, как она отразилась в газетных статьях.

И. Б.

[1] «Заря Востока» от 27/X, «Рабоч. Правда» от 26/X.
[2] «Бакинский Рабочий» от 29/X.
[3] «Воронежская Коммуна» от 27/X.

[1] Ростовский «Молот» от 30/X.
[2] В Томском Ун-те, см. «Известия ЦИК» от 3/XI; в семипалатинском отделении Географического Общества — «Прииртышская Правда» от 30/X; в Омском рабфаке (читальне которого присвоено имя М. Н.)—«Советская Сибирь» от 1/XI.

ВЫСТАВКА «ПАРИЖСКАЯ КОММУНА 1871 года».

Институтом Маркса-Энгельса организована в Доме Красной Армии выставка по Парижской Коммуне 1871 г. Впервые такого рода выставка была устроена Институтом в 1926 г. С тех пор удалось пополнить уже имевшиеся коллекции большим новым материалом исключительной ценности. Размещенные по четырем большим отделам (разложение Империи, осада Парижа, Коммуна и ее падение), экспонаты дают достаточно полное представление об эпохе первого в истории рабочего правительства. Учитывая основной состав посетителей (пропагандист, педагог, студент-вузовец, рабочий-активист), организаторы выставки приложили немало усилий, чтобы сделать ее максимально наглядной и понятной, с одной стороны и идеологически выдержанной—с другой. Экспонаты классифицированы по обстоятельно проработанному плану: документальный и газетный материал снабжен не только подробными аннотациями, но и переводом французского текста, что чрезвычайно облегчает ознакомление с выставкой посетителям, в подавляющем большинстве не знающим французского языка. Проделана большая работа по переснимке и увеличению портретов, гравюр, автографов и рукописей, хранившихся в архиве Института. Специальные диаграммы, выполненные при участии ряда художников (Гуревича, Лопатинского, Сапалова), ласкают глаз своим изяществом и прекрасной техникой исполнения... Превосходные карты, изготовленные лучшими специалистами под руководством проф. Лазаревича, дают наглядное представление о важнейших операциях во время Франко-Прусской войны и Коммуны.

Политическая история 60-х годов иллюстрируется целой серией едких карикатур на императора и его жену, политическими памфлетами, портретами вождей республиканской оппозиции. Многочисленные диаграммы и современные гравюры знакомят посетителя с состоянием французской (и в частности, парижской) промышленности, ростом городов, положением рабочего класса, рабочей политикой Империи (перестройка Парижа Хаусманном, различные типы сыщиков и провокаторов: сыщик - букинист, сыщик - разносчик, уличный филер, завсегдатай кофеен и т. п. и т. п.), стачечным движением и идеологическими течениями, господствовавшими среди тогдашнего французского пролетариата. Здесь и превосходный бюст Бланки работы Рукавишникова, и редкий портрет Прудона, сделанный Курбе; подлинный договор об аренде помещения для парижской секции Интернационала, фотографии Асси, Малона, Ришара, Мильера, Риго, Гайяра, автограф Флюранса. Интересный фотографический снимок группы участников Базельского конгресса, фотокопии отчетов Генерального Совета, снимок с дома, занимавшегося им в Лондоне, портреты Маркса и Бакунина вводят нас в историю I Интернационала.

Франко-Прусская война представлена, главным образом, беспощадными карикатурами на бездарных французских генералов и самого злосчастного главкома—Наполеона III. Комфортабельный плен императора дает особенно обильную пищу сатирическим журналам того времени. Бросается в глаза интересная карта, на которой операции под Седаном сопоставлены с теми предсказаниями относительно возможного хода военных событий, которые были сделаны Энгельсом, писавшим тогда в качестве военного обозревателя в английской газете «Pall-Mall». Это сопоставление наглядно показывает, что предсказания Энгельса блестяще оправдались.

Портреты членов правительства национальной обороны и карикатуры на них, огромная красная метла, выметающая из страны мусор империи, знаменитая прокламация «К немецкому народу» встречают нас у порога молодой республики. Образцы мясных и обеденных карточек, внутренность народной столовой, меню дорогого ресторана, превосходная коллекция карикатур Moloch'а («Париж в погребах»), типы национальных гвардейцев, современные гравюры, изображающие «хвосты» у лавок и т. п. все это превосходно рисует быт осажденного Парижа и те лишения, которые революционизировали широкие массы парижского населения.

Карикатуры на ген. Трошю с его пресловутым «планом», занятие Ратуши батальоном национальной гвардии из Бельвилля, освобождение из тюрьмы Флюранса говорят о неудачных попытках восстаний 31 октября и 22 января. Особые витрины отведены выборам в Нац. Собрание и созданию политической организации национальной гвардии. Немецкая оккупация представлена многочисленными жанровыми сценками («Переводчики») и рядом карикатур на Вильгельма I («Кошмары Вильгельма», его торжественный в'езд в Париж на колеснице, запряженной членами правительства, подписавшими договор о перемирии; «ни шагу дальше!» говорит красная Республика забрызганному кровью мяснику-Вильгельму).

Особенно обстоятельно представлен отдел революции 18 марта и Коммуны, который, в свою очередь, распадается на ряд подотделов (социально-экономическая политика Коммуны, Коммуна и крестьянство, антирелигиозная поли-

тика, клубная жизнь, женское движение, движение в провинции и т. д.). Не совсем, как нам кажется, удалась очень интересная попытка дать наглядное представление об имевшихся в Коммуне политических группировках: дело в том, что при несовпадении группы так наз. «меньшинства» с членами Интернационала и даже с нео-прудонистами, классификация имевшейся в распоряжении Института богатой иконографической коллекции наталкивается на большие трудности. Много внимания уделено армии Коммуны, в частности ее высшему и низшему комсоставу, который представлен рядом фотографических снимков. Особая витрина отведена Комитету Общественного Спасения.

В отделе падения Коммуны имеются две превосходно составленные карты: это — «72 дня Парижской Коммуны» и схема военных действий, происходивших на улицах Парижа в течение так называемой «кровавой недели». Вторая схема позволяет шаг за шагом проследить продвижение ворвавшихся в город версальцев. Экспонаты заканчиваются небольшой витриной «Маркс, Энгельс и Ленин о Коммуне» и коллекцией наиболее значительных старых и новых работ по ее истории.

Но эта прекрасная выставка имеет не только политико-просветительное, но и крупное научное значение. Она позволяет судить о тех ценнейших печатных и рукописных материалах, о тех единственных по своей полноте коллекциях газет, гравюр, сатирических журналов, фотографий и т. п., которыми располагает сейчас Институт Маркса-Энгельса.

Таковы, например, любопытнейшие материалы из редакционного портфеля газеты «Père Duchesne», корректуры «Гражданской войны во Франции» Маркса, фотокопии писем Маркса и Энгельса по поводу Франко-Прусской войны; письма Маркса к Кугельману и Ньювангуису (1881 г.), замечательные коллекции портретов женщин-коммунарок и многочисленные фотографии усыновленных Коммуной детей павших федератов; подлинные прокламации Ц. К-та нац. гвардии, позволяющие проследить изо дня в день его деятельность в качестве временного правительства, подлинное воззвание Коммуны к солдатам Версаля и образцы тех изготовлявшихся Тьером фальшивок, которые находили потом в карманах убитых коммунаров. Громадный интерес представляет собрание газет и сатирических журналов того времени («La Charge», «Le Grelot», «L'Alarme», «Célébrités populaires» и др.), а также ценнейшие коллекции карикатур, принадлежащих художнику-коммунару Пилотелю, Дюпандан (Dupendant) (антирелигиозная пропаганда), Домье, Moloch'у («Силуэты 71 г.,»—«Париж в погребах»), Дорэ (карикатуры на Нац. Собрание), Шаму, Шереру и др. Последнего рода коллекции интересны и для историков искусства, которые найдут среди экспонатов выставки настоящие шедевры, вроде пяти акварелей неизвестного художника, оставившего нам замечательные иллюстрации к «Майской неделе» (из 400 имеющихся в Институте на выставке имеется 5).

Таковы богатства этой образцовой во всех отношениях выставки, созданной об'единенными усилиями сотрудников Института и Дома Красной Армии. Конечно, т а к а я выставка по истории Парижской Коммуны возможна только в нашем бедном материальными ресурсами, но богатом революционными традициями и волей к социалистическому строительству советском государстве. Эта истина становится как-то особенно ощутимой, когда, проходя ряд великолепных зал, где размещена выставка, и восхищаясь ее экспонатами, вспоминаешь о том полутемном угле с 4-5 витринами, который отведен Парижской Коммуне в парижском музее Carnavalet.

Н. Л.

Ответственный редактор **А. В. Шестаков**. Ответственный секретарь **И. Л. Татаров**.